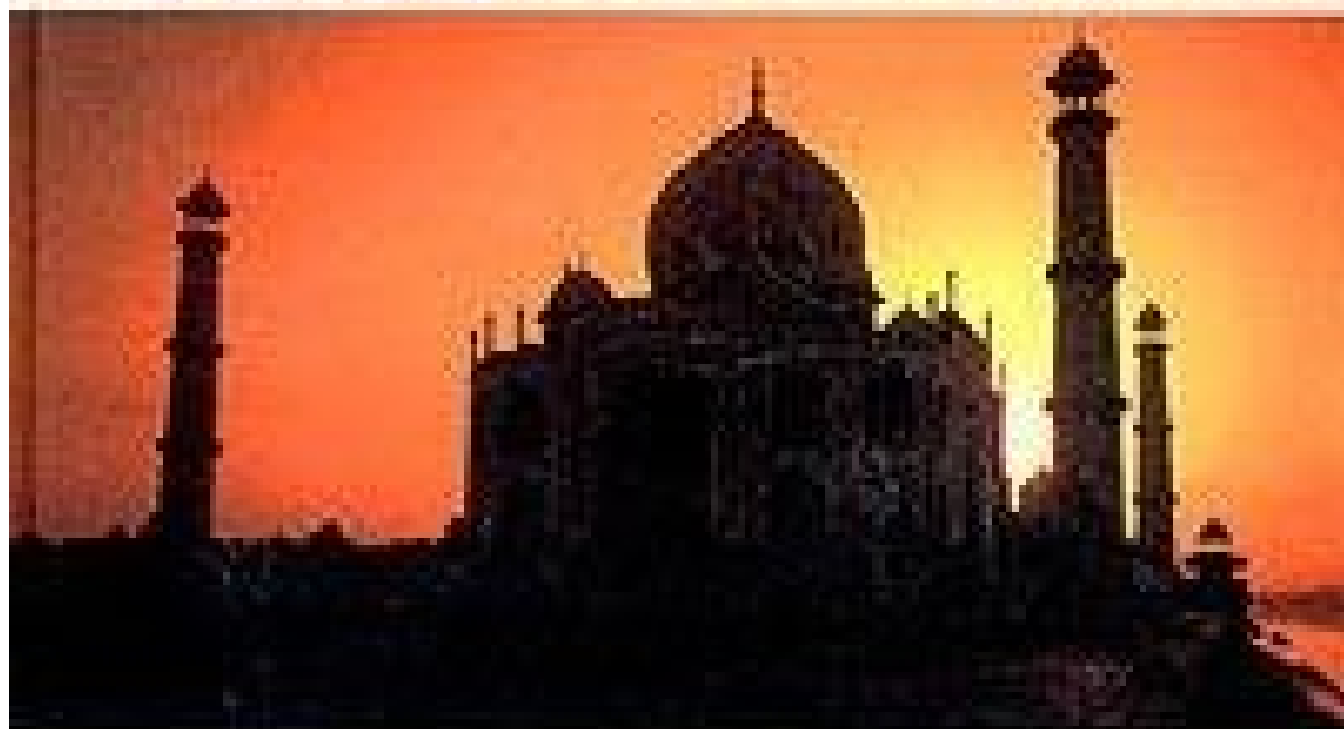




ЕЛЕНА Елена Блаватская БЛАВАТСКАЯ



ПИСЬМА ИЗ ПЕЩЕР И ДЕБРЕЙ ИНДОСТАНА

✪ ДУХОВНИ ПУТЕШЕСТВИЯ ✪

✪ Гогольград — Город отшельников

✪ Египетские и Голландские
исследования Перостана...

✪ Личные истории оловорок

✪ Москва, столица и мифы...

✪ Письма Блаватской

✪ «Дорога на восток» — для всех стран!

LITRU.RU

«Письма из пещер и дебрей Индостана» – пожалуй, самая «научная» и «реалистичная» книга в творчестве Елены Блаватской, одного из величайших теософов, философов и мистиков второй половины XIX – начала XX в., женщины, долгие годы изучавшей эзотерические учения самых разных народов – и создавшей на основе этих учений свое собственное – всеобъемлющее, уникальное, очень необычное – и удивительно логичное в своей явной неортодоксальности.

Мистицизм Индии – провидческим взором Елены Блаватской. Тайные доктрины буддизма и индуизма в восприятии мастера эзотерики, непрестанно отталкивавшейся от них в своем учении. Путешествие по Индостану реальному – превращающееся в путешествие по Индостану философскому!..

Елена Блаватская

Письма из пещер и дебрей Индостана

Поздно вечером 16 февраля 1879 года, после тяжелого тридцатидвухдневного плавания из Ливерпуля, раздались с пассажирской палубы радостные восклицания: «Маяк, Бомбейский маяк!..» И вот все, кто ни был чем занят, побросали карты, книги, музыку и кинулись наверх. Луна еще не всходила и, невзирая на звездное тропическое небо, на верхней палубе было совершенно темно. Звезды блистали так ярко, что трудно было сразу разглядеть между ними земной огонек: точно громадные глазища навывкате, моргали они на вас с черного неба, на склоне которого тихо сиял Южный Крест... Но вот, наконец, еще ниже на далеком горизонте заблестал и маяк, ныряя огненной точкой в волнах словно из растопленного фосфора. Горячо приветствовали измученные путешественники давно желанное явление. Все развеселились...

Недолго пришлось нам, однако, любоваться маяком; раздался звонок, и в главной каюте потушили огни. Было десять часов вечера, и в приятных мечтах о будущем дне все разошлись по каютам. Зато в эту ночь никто не ложился спать. Все суетливо укладывались, приготавливаясь на другое утро как можно ранее распротиться с нашею дырявою, заливаемою водою кадушкой, величаемою «океанским стимером»^[1] Ливерпульского общества, и с ее вечно пьяным, грубым капитаном, который, между прочим, чуть было не утопил нас, а по воскресным дням запрещал пассажирам не только что играть в карты или шашки, но даже заниматься музыкой.

К четырем часам утра все пассажиры были уже на палубе, даже дамы. Такое раннее появление прекрасного пола не входило в расчет группы англо-индийских офицеров и очень было их переконфузило. Одна партия храбрых воинов, при помощи матросов, весело обливалась водою под палубною помпой, в то время как товарищи их, ожидая очереди, расхаживали кругом в национальных костюмах индусов, т. е. безо всякого костюма. Но скромные леди тоже *возвращались*, а не ехали в Индию. Видимо, успев уже по привычке к подобной пластической обстановке, они остались совершенно хладнокровными, тем более, что теперь вся разница заключалась в одном колорите. К тому же едва светало...

Но что это был за рассвет!.. Пароход уж больше не качало... Под искусным управлением только что прибывшего туземного лоцмана в костюме Геркулеса, бронзовый силуэт которого резко выделялся на бледном небе, наш стимер, тяжело пыхтя испорченною машиною, тихо скользил по спокойным прозрачным водам Индийского океана прямо по направлению к гавани. Приближались к заливу, и до Бомбея оставалось всего несколько миль; и тому, кто, подобно нам, за четыре недели до того дрожал от пронзительного холода и снежной бури, застигшей нас у входа во много воспеваемый поэтами, но еще более проклинаяемый моряками Бискайский залив, окружавшая нас обстановка казалась просто волшебным сном!.. После тропических ночей на Красном море и невероятно знойных дней, промучивших всех от самого Адена, на нас, северян, веяло чем-то непривычным, тяжело обаятельным в этой чудно-мягкой предрассветной свежести воздуха. Ни одного облачка не виднелось на густо усеянном потухавшими звездами небе... Догорающий свет луны, серебряною пеленой застилавший небеса, стал мало-помалу исчезать; и по мере того как прямо перед нами, на востоке, над далеким островом постепенно загоралось первое зарево рассвета, последнее лунное сияние все более и более сосредоточивалось на западе, обрызгивая золотыми искрами прорезаемую кильватером и далеко оставляемую за нами темную водную полосу: словно с вами, людьми из Америки,^[2] прощались сияние запада и свет востока приветствовал пришельцев из далеких стран. Все сильнее голубело небо, быстро поглощая одну за другою последние еле мерцавшие звезды; и чудилось нечто трогательное в кротком достоинстве, с каким царица ночи передавала свои верховные права могучему узурпатору. Наконец, она стала тихо погружаться в волны и – исчезла... И вдруг, почти

без малейшего перехода от тьмы к свету, багрово-огненный шар вынырнул с противоположной стороны из-за мыса, уперся на несколько мгновений золотым подбородком в нижний ярус скал острова и, как бы оглядывая нас, на минуту приостановился... Затем одним могучим взмахом очутилось дневное светило высоко над морем, и победоносно поплыло вверх по тропе своей, мгновенно рассеяв мрак и разом захватывая в пламенные объятия и посиневшие воды залива, и прибрежные дачи, и острова с их скалами и лесами кокосовых пальм... Не забыли золотые лучи поласкать и толпу благочестивых поклонников своих, парсов-гебров, простиравших руки с берега моря к могучему «Оку Ормузда». Картина была до того великолепна, что на минуту все примолкло на палубе; даже красноносый старый матрос, суетившийся возле нас с канатом, приостановил работу и, крикнув, одобрительно кивнул солнцу головой.

Пробираясь тихо и осторожно вдоль столь же прелестного, как и коварного залива, мы имели еще довольно времени любоваться его окрестностями. Направо от нас виднелась группа островов, во главе которой высится головообразный Гхарипури, или Элефанта, со своим глубокой древности храмом. *Гхарипури* в переводе означает «город пещер» – по мнению ориенталистов, «город очищения» – коли верить туземным санскритологам. Этот высеченный неизвестною рукой в самой сердцевине скалы храм из камня, похожего на порфир, давно уже служит яблоком раздора для археологов, из коих ни один не был доселе в состоянии определить даже приблизительно его древность. Высоко вздымается скалистое чело Элефанты; густо обросло оно вековым кактусом, а под челом, у самого подножия скалы, высечены два придела и главный храм... Словно сказочный Змей Горыныч, широко разинул он черную зияющую пасть, как бы готовясь поглотить дерзновенного, пришедшего выведать сокровенную тайну титана; и скалит он на пришельца два уцелевшие, потемневшие от времени длинные зуба, – две громадные колонны, поддерживающие при входе небо чудовища...

Сколько поколений индусов, сколько рас простиралось во прахе пред *Тримурти*, тройным божеством твоим, о Элефанта!.. Сколько веков понадобилось слабому человечеству, дабы прорыть в порфирном чреве твоём весь этот город пещерных храмов и мраморных пагод и изваять твои гигантские идолы? Кто может это знать теперь! Много лет прошло с тех пор, как виделись мы с тобою в последний раз, древний и таинственный храм! А все те же беспокойные мысли, те же неотвязные вопросы волнуют меня теперь, как и тогда, и остаются все же безответными... Через несколько дней опять увидимся мы с тобой; снова взгляну я на твое суровое изображение, на твой гранитный тройной лик в 19 футов вышины, чувствуя столь же мало надежды когда-либо проникнуть тайну бытия твоего!.. Эта тайна попала в верные руки еще за три века до нашего столетия. Недаром старый португальский летописец дон Диего де Кута похвалится (8 декада, книга III, глава XI) тем, что «большой квадратный камень, вделанный над аркой пагоды с четкою и крупною на нем надписью, был выломан и послан королю дом Жуану III, а затем *таинственно* исчез... и добавляет далее: «Возле этой большой пагоды стояла другая... и даже третья... самое изумительное строение на острове как по красоте, так и по неимоверно громадным размерам своим и богатству материала. И на эти-то постройки сатаны наши (португальские) солдаты накинулись с такою яростью, что в несколько лет не осталось от них камня на камне».

А главное, не осталось надписей, кои могли бы дать ключ ко многому. Вследствие этого фанатизма португальских вандалов, хронология пещерных храмов Индии должна остаться для археологического мира навеки загадкой, начиная от браминов, которые уверяют туристов, будто элефантскому храму 374 000 лет, и кончая Фергюсоном, доказывающим, что этот храм был высечен чуть ли не в XII веке по Р. Х. ^[3] Куда ни загляни в историю, всюду одни гипотезы, мрак. И, однако же, о Гхарипури упоминается в эпической поэме *Махабхарата*, написанной, по мнению Колебука и Уилсона, задолго до царствования Кира. В другой древней легенде

говорится, будто храм Тримурти на Элефанте построен еще сыновьями *Панду*, изгнанными по окончании войны, воспетой в *Махабхарате* – между династиями Солнца и Луны – восторжествовавшей расой Солнца: раджпуты (потомки последнего) воспевают еще до сей поры победу свою над врагами. Но и в их народных песнях нет ничего положительного. Прошли и еще пройдут столетия, а вековая тайна так и умрет в скалистой груди пещеры...

Налево, как раз против Элефанты, через залив и как бы в контраст всей этой древности и величю, растянулся Малабарский холм, жилище современных европейцев и богачей туземцев. Их ярко расписанные *бэнглоу* (бунгало) утопают в зелени индийской смоквы, баньяновых и других деревьев; а прямые высокие стволы кокосовых пальм покрывают бахромой верхушек своих весь гребень холмистого мыса.

Остров Бомбей, называемый туземцами «Мамбе», получил свое название от богини *Мамба* – на маратском языке *Махима*, или «амба», «мама» и «амма», смотря по диалекту – слово, означающее буквально: «Великая Матерь». Едва сто лет назад, там, где теперь городская эспланада, стоял храм, посвященный «Мамбе Дэви». С невероятными затруднениями и издержками перенесли его ближе к берегу, близ крепости, и поставили против храма Болешвара, *Владыки Невинных*, – одно из названий бога *Сивы* или, вернее, *Шивы*. Бомбей составляет часть значительной группы островов. Между ним и материком немного узкий при входе рукав реки постоянно расширяется; затем, снова суживаясь, далеко впивается между вогнутыми боками обоих берегов, составляя таким образом бесподобнейшую в мире гавань. Недаром изгнанные англичанами португальцы прозвали ее «*Vuon Bahia*», т. е. хорошим заливом.

В припадке туристского восторга некоторые путешественники сравнивали бомбейский порт с неаполитанским. Но оба, в сущности, столь же похожи друг на друга, как *лазарони* похож на *кули*; все сходство между последними в цвете кожи, а между портами – в воде. В Бомбее, как и в его гавани, все оригинально и самобытно, ничто не напоминает даже южной Европы. Взгляните на эти каботажные суда и рыбацьи лодки: оба построены наподобие птицы, и обоим служила моделью морская птица *сат*, нечто вроде рыболова. Такая лодка, особенно на ходу, олицетворение грации; в движении она словно плывет задом, а странной формы косоугольный (латинский) парус прикреплен к высокому шесту острою вершиной вверх, словно два крыла. С широко раздутыми на обе стороны крыльями, такое туземное судно, при попутном ветре и пригнувшись носом почти в уровень с водой, летит с изумительною быстротой.

Окрестности залива перенесли в то утро наше воображение в одну из волшебных стран «Арабских сказок».^[4] Далеко тянулась вдоль восточной стороны города горная цепь Гхат, с перемежающимися ее почти столь же высокими холмами. От подножия до скалистых, фантастически торчащих верхушек своих, эти холмы обросли дремучим лесом и непроходимыми *джунглями*, где живут хищные звери, а народное воображение одарило каждую скалу своей особенной легендой. Весь скат усеян пагодами, минаретами и храмами всевозможных сект. Там и сям, горячо обливаемая утренним солнцем, торчала древняя крепость, когда-то грозная и неприступная, теперь же полуразрушенная и обросшая непроницаемым кактусом. Что ни шаг, то чья-либо святыня. Здесь – далеко уходящая внутрь горы «вихара», колья буддийского *бикшу*; там скала, осененная символом бога *Шивы*; далее – капище джайнов; заросший тиной священный *танк* – пруд, наполненный благословенною брамином и поэтому очищающею ото всякого греха водой – неременная принадлежность каждой пагоды. Все окрестности, вся страна усеяна символами богов и богинь; каждое из 33 миллионов божеств индийского Пантеона имеет в чем-нибудь своего представителя или что-нибудь посвященное себе: кусок камня, цветок, дерево, птицу. Вот на западной стороне Малабарского холма выглядывает «Валукешвара», храм *Владыки из песка*.

Толпы индусов обоого пола, блистая на солнце золотыми кольцами на пальцах ног и рук,

браслетами от кисти рук до локтей и от щиколотки до икр ног, со свежеразрисованными красною, желтою и белою красками священными сектантскими знаками на лбах, в ярких тюрбанах и белоснежных одеяниях, тянутся длинною вереницей к знаменитому храму.

Индия – страна легенд и таинственных уголков. Нет в ней развалины, нет памятника или леска, чтобы не было у него своей истории. А главное, как обыкновенно ни опутана последняя паутиной народной фантазии, все гуще свиваемой с каждым последующим поколением, но трудно, однако, указать хоть на одну такую, которая не была бы основана на каком-нибудь историческом факте. С терпением, а главное с помощью ученых браминов, раз войдя в их доверие и дружбу, всегда возможно докопаться до истины. Но уж, конечно, не англичанам, с их высокомерием и явно выказываемым презрением к «побежденной расе», ожидать чего-либо подобного. Поэтому-то между *официально* расследованной Индией и (если дозволено так выразиться) *подземной*, настоящей Индией такая же разница, как между Россией в романах Дюма-рèге и настоящей *русской* Россией.

Еще далее по той же дороге стоит парсийский храм огнепоклонников. У алтаря его горит неугасаемый огонь, ежедневно пожирающий пуды сандалового дерева и ароматических трав. Зажженный триста лет тому назад священный огонь еще ни разу не потухал, невзирая на беспорядки, сектантские распри, ни даже на войну. Парсийцы весьма гордятся этим храмом *Заратушты*, как они называют Зороастра. Рядом с этим – храмы индусов, разукрашенные как красная писанка. То капища, чаще всего посвященные Хануману, богу-обезьяне и верному союзнику бога Рамы, или же какому другому божеству, как, например, слогоголовому Ганеше (бог тайной мудрости), или одной из *дэви*. Подобные храмы встречаются на всех улицах. Пред каждым ряд столетних пипал (*Ficus religiosa*), без которых не обойдется ни один храм, так как эти деревья служат любимым жилищем для стихийных духов и грешных душ. Все это перемешано, спутано и разбросано, являясь пред глазами внезапно, как картина во сне... Тридцать столетий оставили своих представителей на этих островах. Природная лень и сильно присущее Индии чувство консерватизма сохранили еще до европейского вторжения эти памятники буддистов и других неприязненных браминам сект даже от разрушительного мщениа фанатиков. По природе индус неспособен на бессмысленный вандализм, и френолог напрасно отыскивал бы на его черепе шишку разрушения. Если столько древностей и незаменимых памятников старины, пощаженных рукой времени, теперь искажены, разрушены и даже совсем попорчены, то разрушителями их постоянно являлись если не мусульмане, то португальцы, под руководством иезуитов.

Красота Бомбейского залива далеко, однако, не искупает, со стратегической точки зрения, слабостей его порта. Эта слабость, которую, впрочем, никто кроме специалиста никогда бы и не заметил, странно указывается самими же англичанами. И с чужестранцами толкуют они о ней, и рассуждают об этом в газетах, и даже горько жалуются на нее в своих «гидах».

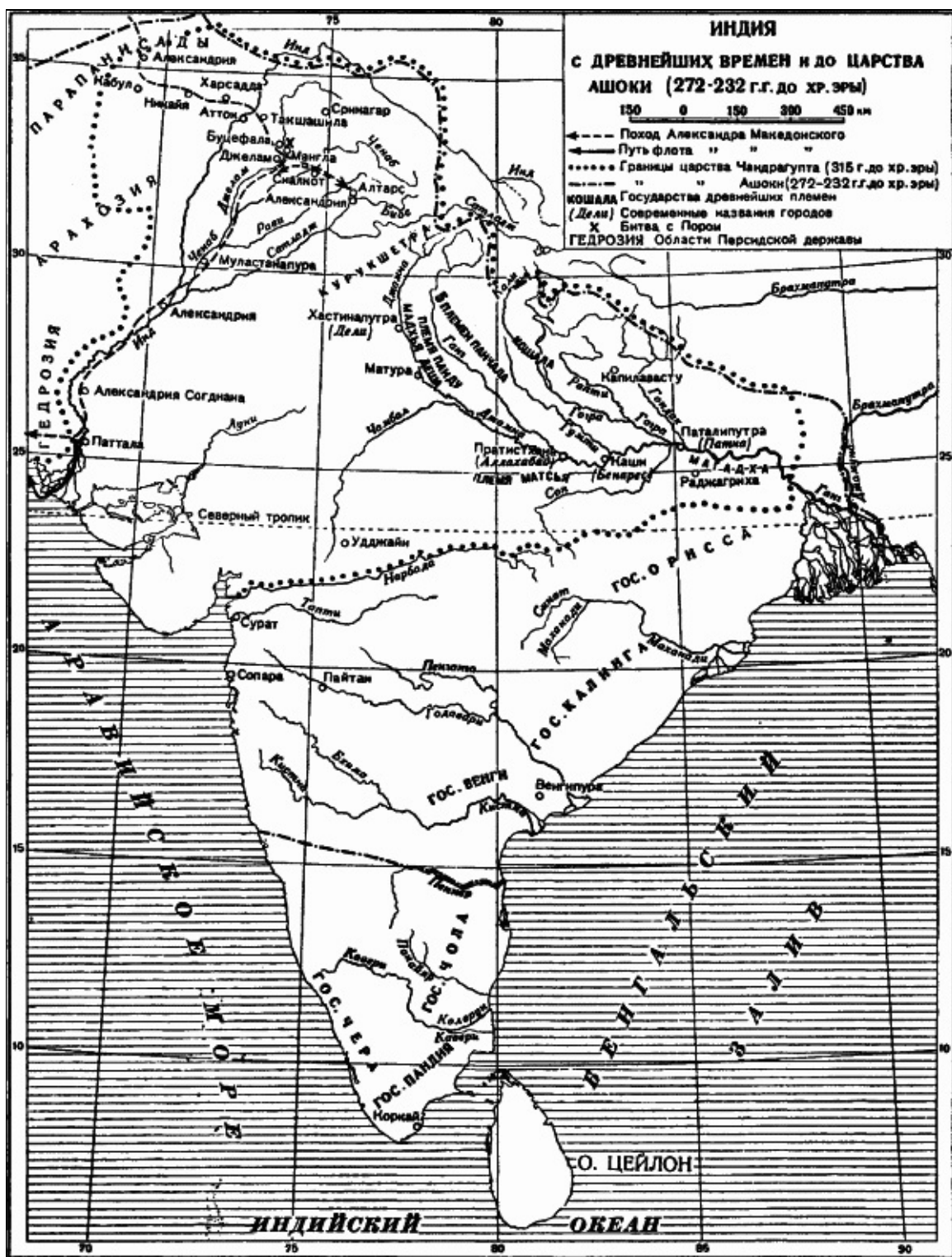
А между тем, описывая так подробно свои слабейшие пункты, англо-индийцы видят в каждом невинном туристе из других государств – шпиона. Проехала здесь, года два назад, русская артистка, пианистка m-lle Olga Duboin, и пожелала прокатиться по Индии; двадцать сыщиков тайной полиции, как тени, следили за ней по пятам. Явился немец-живописец, уроженец Петербурга, но еле говорящий по-русски (г. Орас фан-Руит), изучать типы Индостана; шпионы переодеваются и являются к нему, предлагая себя в модели. Приехала партия, состоящая из американского полковника, чистейшего янки, двух англичан из Лондона – ярых патриотов, но либералов, и американской гражданки, хотя и *русской* по рождению, и вот национальность последней подымает на ноги всю полицию! Напрасно было бы доказывать, что эти туристы единственно заняты метафизическими спекуляциями о мирах неведомых, и что они не только не интересуются политикой земного мира, но что их русская спутница даже и «аза в

ней не смыслит». «Коварство России давно вошло в поговорку», отвечают ей.



Е. П. Блаватская (в то время, когда она писала «Из пещер и дебрей Индостана»)

Эта национальная черта англичан кричать «караул, режут», тогда их никто и не думает трогать, – отвратительна. Она в них особенно развилась со времен Биконсфильдского премьерства. Но если эта черта замечательна даже в Англии, то с чем же сравнить ее в Индии? Здесь подозрительность перешла в монomanию: англо-индийцы готовы видеть шпионов России даже в собственных сапогах, и они упиваются этой идеей до чертиков.



Следят за каждым новоприбывшим из одной провинции в другую, даже если бы то был и англичанин. У народа не только отняли всякое оружие, но даже лишили последнего топора и ножа. Крестьянину нечем ни дров нарубить, ни защититься от тигра. Но англичане все еще дрожат. Правда, что их здесь всего 60 000, в то время как туземного населения насчитывают до 245 миллионов. Да и система их, перенятая ими от искусных укротителей зверей, хороша лишь, доколе зверь не почувет, что его укротитель, в свою очередь, трусит... Тогда горе ему! Во всяком случае подобное постоянное выказывание хронического страха обнаруживает лишь сознание собственной слабости.

Наконец мы бросили якорь, и в одну минуту сотни тощих, голых индусов, могулей, парсийцев и других народов атаковали как наш багаж, так и нас самих. Вся эта ватага мгновенно выскочила как бы со дна морского; защебетала, зачирикала, залопотала и стала голосить, как умеют голосить одни азиатские народы. Чтобы скорее избавиться от подобного Вавилонского столпотворения, грозившего оглушить нас навеки, мы бросились в первый попавшийся бундер-

бот и отчалили.

Едва успели мы войти в густой, заросший сад нашего будущего жилища, как с каждого дерева послетала с пронзительным карканьем стая ворон: птицы эти окружили нас, прыгая на одной ноге. Чудилось нечто положительно *человеческое* в позе хитро склоненной на бок головы *пьяной* птицы, и чисто дьявольское выражение светилось в лукавом глазе, оглядывающем нас снизу вверх...

Мы занимали три маленькие бэнглоу, утопающие как гнезда в зелени сада, с крышами, буквально покрытыми розами, растущими на трехсаженных кустах, и с окнами, затянутыми кисеей, вместо обычных рам и стекол. Эти бунгало находились в туземном квартале. Таким образом мы были разом перенесены в настоящую Индию: мы жили в Индии, и отнюдь не как англичане, лишь издали окруженные Индией; мы могли изучать ее нравы, обычаи, религию, суеверия и обряды, знакомиться с ее преданиями, словом, жить в одном кругу с индусами, в кругу заколдованном и недоступном англичанам, как вследствие вековых предрассудков туземцев, так и по собственному высокомерию англо-саксонской расы.

Все в Индии, в стране слона и ядовитой кобры, тигра и неудачного английского миссионера, все своеобразно, странно; все кидается в глаза чем-то непривычным и неожиданным даже для того, кто побывал в Турции, Египте, Дамаске и Палестине. В этих тропических странах условия природы до того разнообразны, что делается понятным, почему все формы бытия в животном и растительном царствах должны различаться от тех же форм, к которым мы так привыкли в Европе. Взгляните: вот идут женщины к колодцу через частный, но всем открытый сад, где пасутся чьи-то коровы. Кому не случилось встречать женщин, видеть коров и любоваться садом? Кажется, вещи самые обычные; но стоит лишь взглянуть в них внимательнее, чтобы тотчас же сообразить всю громадную разницу между этими самыми предметами в Европе и Индии. Нигде человек не чувствует так своего ничтожества, своей слабости, как пред этою величественною природой тропиков. Прямые, как стрелы, стволы кокосовых пальм достигают иногда 200 футов вышины; эти «принцы растительного царства», как назвал их Линдлей, увенчанные короной длинных ветвей – кормилицы и благодетели бедного народа: пальмы доставляют ему и пищу, и одежду, и кров. Самые высокие наши деревья показались бы карликами пред баньяном и особенно пред кокосовыми и другими пальмами. Наша европейская корова, приняв индусскую свою сестру сперва за теленка, тотчас же отказалась бы от родства с нею, так как ни мышиный цвет шерсти, ни прямые, как у козла, рога, ни большой на спине ее горб (как у американского бизона, но без его гривы) не позволил бы ей впасть в подобную ошибку. Что же касается женщин, то хотя каждая из них способна привести любого художника в восторг своими движениями, костюмом, грацией, тем не менее от нашей румяной и дебелой какой-нибудь Анны Ивановны ни одна из красавиц Индостана не дождалась бы ни ласки, ни привета: «Ведь экая срамота, прости Господи, глядишь: баба-то совсем голая!» Мнение нашей русской женщины 1879 года вполне согласовалось бы на этот счет с таковым же мнением знаменитого русского странника XV столетия, «грешного раба Божия Афанасия, сына Никитина, из Твери». Совершив «грешное странствовало» свое по трем морям: морю Дербентскому, сиречь «Дорьи Хвалиской», морю Индии, «Дорьи Иондустанской», морю Черному или «Дорьи Стамбольской» (Стамбул), – Афанасий Никитин прибыл в Чаул^[6] (или, как он называет его, Чевиль) в 1470 году и описывает Индию в следующих словах: «Сия есть земля Индейская. Люди в ней ходят голые, с непокрытыми головами и голыми грудями; с волосами заплетенными в одну косу. Жены здесь рожают детей каждый год и ребят у них много; мужи и жены черные. Их князь носит одну фату на голове, а другую обматывает промеж ног; бояре носят ее на плечах (т. е. брамины, носящие шарф через плечо), а княгини – на плечах и вокруг поясицы; но все босые. Жены прохаживаются простоволосые и с голыми грудями. Мальчики и девочки ходят до семи лет совершенно наги и стыда своего не скрывая...»^[6] Все это описание совершенно верно; только относительно их *бескостюмия* Афанасий Никитин не совсем-то прав: описание его может относиться лишь к низшим и беднейшим кастам. Эти действительно

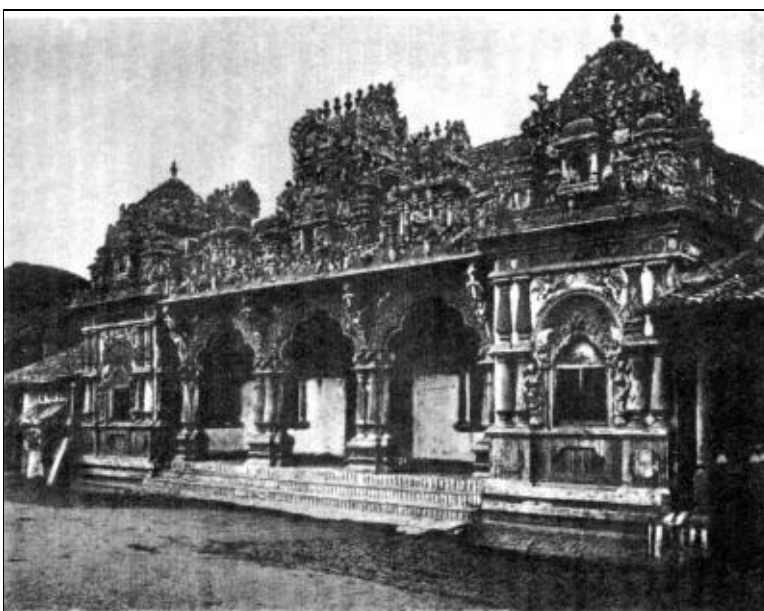
прохаживаются в одной «фате»; да и *фата*-то эта до того бедна, что часто представляет собою лишь тесемку. Но у женщин она состоит из куска материи иногда до 15 аршин длины; один конец служит короткими шароварами, а другим прикрывается грудь и голова на улице, хотя лица всегда открыты; прическа же напоминает греческий шиньон. Ноги ниже колен, руки до плеч и поясница всегда голые. Да и ни одна здесь честная женщина не согласится надеть башмаки: последние составляют принадлежность и отличительную черту только «нечестных» туземок. В южной Индии, напротив, башмаки дозволены лишь женам и дочерям браминов. Когда не так еще давно жена мадрасского губернатора вздумала, под влиянием миссионеров, хлопотать в пользу закона, обязующего женщин покрывать грудь, то дело дошло почти до революции: ни одна женщина на это не согласилась, так как верхнее платье здесь носят лишь публичные танцовщицы. Проект, к великому горю миссионеров и благородных леди, провалился; правительство скоро поняло все неблагоприятное восстанавлять против себя женщин (которые в иных случаях гораздо опаснее своих мужей и братьев) покушением уничтожить обычай, предписанный законом Ману и освященный трехтысячелетнею давностью.

В течение более двух лет до нашего выезда из Америки мы находились в постоянной переписке с одним ученым, известным даже в Европе, брамином, слава которого гремит в настоящее время по всей Индии. Этот брамин, под руководством которого мы приехали изучать древнюю страну ариев, «Веды» и трудный язык ее, пандит Дайананд Сарасвати, свами.^[7] Он считается величайшим санскритологом современной Индии. Пандит этот составляет для всех непроницаемую загадку: выступив лет пять тому назад на арену реформаторства, он, как древние «гимнософисты» (упоминаемые греческими и римскими писателями), жил до того времени отшельником в «джунглях», а затем, под руководством мистиков и анахоретов,^[8] изучал главные философские системы *Арьяварты* и тайный смысл «Вед». С первых дней своего появления он поразил всех, и его тотчас прозвали Лютером Индии. Странствуя из одного города в другой, сегодня на юге, завтра на севере, переносясь с невероятною быстротой с одного конца страны на другой, он исходил весь полуостров от мыса Кумари до Гималаев и от Калькутты до Бомбея, проповедуя *единство божества* и доказывая с «Ведами» в руках, что в этих древних писаниях нет ни одного слова, могущего быть перетолкованным в смысле политеизма. Гремя против идолопоклонства, великий оратор восстает всеми силами против каст, раннего брака и суеверия. Карая все это зло, привитое к Индии столетиями фальшивой казуистики и лжетолкованием «Вед», он прямо и бесстрашно укоряет в нем браминов, обвиняя их пред массами народа в унижении родины, когда-то великой и независимой, теперь павшей и поработанной. Но Великобритания имеет в нем не врага, а пожалуй даже и защитника. Он не только не подстрекает народ к бунту, но, напротив, говорит ему прямо: «Прогоните англичан, и завтра и вы, и я, и все мы, восстающие против идолопоклонства браминов и зол мусульманского деспотизма, будем перерезаны как бараны. Мусульмане сильнее идолопоклонников, но последние сильнее нас...» И однако же англичане так мало понимают свою выгоду, что два года тому назад, в Пуне, где народ разделился на две партии: реформаторов и идолопоклонников-консерваторов, когда партия первых развозила своего проповедника с торжеством и ликованиями на слоне, а другая бросала в него камнями и грязью, то вместо того, чтобы защищать Дайананда, она выслала его из города, запретив ему впредь являться туда.



Индусский храм в Центральной Индии

Много горячих диспутов держал пандит с браминами, этими коварными врагами народа, и всегда выходил победителем. В Бенаресе к нему подослали убийц; но преступление не удалось. В одном местечке Бенгалии, где он особенно резко нападал на фетишизм, какой-то фанатик ловко бросил ему на голые ноги огромную змею кобру-дикапеллу, укушение которой причиняет в три минуты смерть и от которого медицина до сих пор не знает спасения. «Да решит наш спор сам бог *Васуки!*»^[9] воскликнул поклонник Шивы, уверенный, что его воспитанная и дрессированная для таинств змея тут же покончит с оскорбителем ее святыни. «Да», спокойно ответил Дайананд, стряхнув сильным движением ноги обвившуюся вокруг нее кобру, «только твой бог слишком медлил; спор решаю я...» И быстрым, могучим движением пятки раздавил голову змеи. «Идите», добавил он, обращаясь к народу, «и поведайте всем, как легко погибают фальшивые боги!»



Один из храмов индусов

Благодаря превосходному знанию санскритского языка, пандит оказывает великую заслугу как народу, рассеивая его невежество насчет монотеизма Вед, так и науке, указывая, что такое именно брамины, единственная каста в Индии, имевшая в продолжение столетий право изучать санскритскую литературу и толковать «Веды» и воспользовавшаяся этим правом лишь для собственного интереса. Задолго еще до появления таких ученых ориенталистов, как Бюрнуф, Колебрук и Макс Мюллер, было немало туземных реформаторов, старавшихся доказать чистый монотеизм учения «Вед». Являлись и основатели новых религий, отрицавшие откровение этих писаний, как, например, раджа Рамохун Рой, а за ним бабú Кешуб-Чендер-Сен, оба калькуттские бенгальцы.^[10] Но ни те, ни другие не имели положительного успеха: они только к бесчисленному множеству других сект Индии прибавили новые. Рамохун Рой умер в Англии, не успев ничего сделать, а преемник его, Кешуб-Чендер-Сен, установив «церковь Брахмо-Самадж», в которой исповедуется религия, извлеченная из глубины собственного воображения бабу, бросился в самый отвлеченный мистицизм и теперь оказывается «одного поля ягода» со спиритами, которые его считают за медиума и провозглашают калькуттским Сведенборгом.

Таким образом, все попытки возобновить чистый первобытный монотеизм арийской Индии оставались до сей поры более или менее тщетными. Они разбивались, как волны, о неприступную скалу брахманизма и веками вкоренившихся предрассудков. Но вот неожиданно-негаданно является пандит Дайананд. Никто даже из самых приближенных к нему учеников не знает, кто он и откуда он. И сам он откровенно сознается перед народом, что даже имя, под которым они его знают, ему не принадлежит, а дано ему при посвящении его в *йоги*.^[11] Знают одно: такого ученого санскритолога, глубокого метафизика, удивительного оратора и бесстрашного карателя всякого зла, Индия не видала со времен «Шанкарачарьи», знаменитого основателя философии *веданты*, самой метафизической из всех систем Индии, венца пантеистического учения. К тому же наружность Дайананда поразительная: громадный рост, бледная (скорее европейская, нежели индийская) смуглость лица, большие черные искрометные глаза и длинные черные с проседью волосы.^[12] Голос у него чистый, звучный, способный передавать оттенки всякого внутреннего чувства, переходящий от нежного, почти женского шепота, увещания, до громоподобных раскатов гнева против злоупотреблений и лжи презренного жречества. Все это взятое вместе неотразимо влияет на нервного, мечтательного индуса. Всюду, где бы ни появился свами Дайананд, толпы падают пред ним ниц и простираются во прахе ног его. Но он не проповедует им, как, например, бабу Кешуб-Чендер-Сен, новой религии, не учит их новым догматам; он только просит их обратиться к санскритскому, почти забытому языку и, сравнив учение праотцев их, арийской Индии, с учениями Индии браминов, вернуться к чистым воззрениям на божество первобытных риши (*rishis*): Агни, Вайю, Адитьи и Ангиры.^[13] Он даже не учит, как другие, что «Веды» были-де получены откровением свыше; он учит, что «всякое слово в „Ведах“ принадлежит к высшему разряду божественного вдохновения, *возможного* человеку на этой земле, – вдохновению, повторяющемуся в истории всего человечества, в случае надобности, и между другими народами...»

В эти последние пять лет у свами Дайананда насчитывают около двух миллионов новообращенных, большею частью из высших каст. Последние, по-видимому, готовы положить за него все до одного и жизнь, и душу, и даже самое состояние, что для индуса часто бывает драгоценнее самой души. Но Дайананд, как истый йог, до денег не дотрагивается, денежные дела презирает и остается довольным несколькими горстями риса в день. Словно заколдована жизнь этого удивительного индуса, так беспечно играет он самыми худшими человеческими страстями, возбуждая во врагах своих самый бешеный и столь опасный в Индии гнев. Мраморное изваяние не оставалось бы спокойнее Дайананда в минуты самой ужасной

опасности. Мы один раз видели его на деле: отослав всех приверженцев своих и запретив им следовать за ним либо заступаться за него, он остановился один перед разъяренной толпой и спокойно смотрел в глаза чудовищу, готовому прыгнуть и разорвать его на куски... Два года тому назад он начал переводить с собственными, совершенно новыми комментариями «Веды» с санскритского на язык *хинди* – самый распространенный здесь диалект. Его *Веди-Бхашия*^[14] служит неисчерпаемым источником учености самого Макса Мюллера, в переводах немецкого санскритолога, который постоянно переписывается и советуется с Дайанандом. Ему также многим обязано другое светило по части ориентализма – Монье Уильямс, профессор в Оксфорде, который, побывав в Индии, лично познакомился с пандитом Дайанандом и его учениками.^[15]

Но здесь необходимо небольшое отступление.

Лет пять тому назад в Нью-Йорке образовалось общество образованных, энергичных, решительных людей. Один остроумный ученый прозвал этих людей «членами Общества *des Malcontents du spiritisme*». Основатели этого клуба были люди, верившие в феномены *спиритуализма*, как и в возможность всяких других феноменов в природе, но вместе с тем отвергавшие теорию «о духах». Люди эти взирали на современную психологию как на науку, стоящую еще на самой первоначальной ступени развития, находящуюся в совершенном неведении относительно «духовного человека» и, притом, отвергающую в лице многих своих представителей все то, чего она сама не может разом объяснить по-своему.



Жилище человека среднего достатка в Индии

С первых же дней основания этого Общества (Теософического) к нему примкнули многие из самых ученых людей Америки. Члены эти разнились в своих понятиях и взглядах не менее членом любого географического или археологического общества, столько лет ссорившихся, например, из-за истоков Нила или египетских иероглифов. Но как в отношении к устьям и иероглифам все единодушно соглашались, что раз существуют воды Нила и пирамиды, то где-нибудь да находятся и эти истоки, и ключ к иероглифам; так точно и в отношении к феноменам *спиритизма* и *магнетизма*. Феномены ждали лишь своего Шампольона, а Розетский Камень следовало искать не в Америке или Европе, а в странах, где еще верят в магию, где местным жречеством производятся «чудеса» (в которые общество не верило) и куда еще не проникал

холодный материализм науки, словом – на Востоке. «Ламо-буддисты», рассуждал совет Общества, «не верят ни в Бога, ни в личную индивидуальность человеческой души, но они славятся своими феноменами; а „месмеризм“ известен и практикуется в Китае под названием *инь* и *янь* уже много тысяч лет. В Индии боятся и ненавидят столь уважаемых спиритами духов, но их простые, невежественные факиры производят «чудеса», ставящие в тупик самых ученых исследователей и приводящие в отчаяние известнейших в Европе фокусников. Многие из членов Теософического общества бывали в Индии, многие родились там и самолично неоднократно присутствовали при «колдовствах» ее браминов. Основатели этого клуба, глядя на современное невежество относительно духовной стороны человека, рассуждали, что должен же когда-нибудь метод сравнительной анатомии Кювье быть допущенным и в метафизике и перейти из области *физической* в область *психологической* науки и на таких же дедуктивных и индуктивных началах, как и в первом случае; иначе психиатрия не сделает ни одного шага вперед и запрудит даже и другие науки естествознания. Мы уже видим, как физиология мало-помалу захватывает не принадлежащие ей права охотиться во владениях чисто метафизических, абстрактных знаний, притом делая все время вид, будто бы и знать ничего не хочет о последних, и, втеснив их в неподдающееся ее страданиям Прокрустово ложе естествознания, старается подвести психологию под итог *точных наук*.

В скором времени Теософическое общество стало считать своих членов не сотнями, а тысячами. Все «malcontents» спиритуализма в Америке (а там считается спиритуалистов 12 миллионов) присоединились к помянутому Обществу. Между тем установились коллятеральные^[16] ветви его в Лондоне, Корфу, Австралии, Испании, Кубе, Калифорнии и пр.^[17] Производились эксперименты, и все более приходили к убеждению, что *не одни же «духи» производят феномены*.

Наконец основалась ветвь Теософического Общества и в самой Индии, и на Цейлоне.^[18] В числе членов Общества постепенно стало оказываться больше буддистов и брахманистов, нежели европейцев. Составился союз, и к имени общества было добавлено название «Brotherhood of Humanity» (братство человечества). Вступив в деятельную переписку с вождями религиозных и реформаторских партий *Арии-Самадж* (то есть Общества арийцев), основанной свами Дайанандом, все слились с Теософическим обществом. Затем главный совет Нью-Йоркского Общества решил отправить в Индию делегацию с целью изучения на месте, под руководством санскритологов, древнего языка «Вед», рукописи и «чудес» *йогизма*. Для этого избраны президент Нью-Йоркского общества, два секретаря и два советника. И вот 17 декабря 1878 года «миссия» отплыла из Нью-Йорка в Лондон и затем в Бомбей, куда и прибыла в феврале 1879 года.



Вице-президент Теософического общества



Пандит Прамада-Дас-Митра, профессор санскритского языка

Понятно, что при таких благоприятных обстоятельствах члены помянутой миссии в состоянии изучать страну и производить исследования тщательнее, нежели кто-либо другой, не принадлежащий к Обществу. На них взирают, как на «братьев», и им помогают самые влиятельные туземцы Индии. Они имеют членов между пандитами Бенареса и Калькутты, между первосвященниками буддистских *вихар* Цейлона (ученый «Сумангала», между прочим, глава пагоды на Adam's Peak, о котором упоминает г. Минаев в своем путешествии), среди лам Тибета, в Бирме, Траванкоре и т. д. Членов миссии допускают в святилища, где еще не была нога европейца; поэтому они смело могут надеяться, что, несмотря на неохоту представителей *точных наук* и их недоброжелательство к ним, верующим, они будут в состоянии оказать более одной услуги миру и науке.

Тотчас по приезду в Бомбей мы намеревались ехать лично знакомиться с Дайанандом и поэтому немедленно отправили к нему телеграмму. В ответ он нас известил, что ему необходимо ехать в Хардвар (Hurdwar), куда стекалось в этот год несколько сот тысяч пилигримов. Он просил нас вместе с тем не приезжать в Хардвар, так как там непременно должна появиться холера, и назначил нам чрез месяц местом свидания местечко у подножия Гималаев, в Пенджабе. Таким образом нам оставалось довольно времени осмотреть все достопримечательности Бомбея и его окрестностей.

Решив наскоро осмотреть первый, мы согласились ехать потом, не теряя времени, в Декан, на большой храмовой праздник в *Карли*,^[19] старинный пещерный храм буддистов, по уверению одних, – браминов, как доказывают другие. Затем, посетив Танну, на острове Сальсетте, и храм Каннари, мы намерены были отправиться в столь прославленный Афанасием Никитиным Чаул.

А пока поднимемся на вершины Малабарского холма, к «Башне Молчания», последнему жилищу каждого из сынов Зороастра.

«Башня Молчания», как сказано, кладбище парсов. Тут богатый и убогий, *набоб* и *кули*, мужчины, женщины и дети – все кладутся рядом, и от каждого из них *через несколько минут* остаются лишь одни скелеты... Странное, тяжелое впечатление производят на иностранца эти «башни», где действительно целые века царствует гробовое молчание. Подобные строения рассеяны повсюду, где только живут и умирают парсы, особенно в Сурате. Но в Бомбее из шести таких башен самая большая выстроена 250 лет тому назад, а следующая за ней по величине даже очень недавно. Это круглые, иногда и четырехугольные строения без крыш, без окон, без дверей, от 20 до 40 футов вышины и с одним лишь закрытым кустами отверстием на восток, состоящим из толстой железной дверцы. Первый труп, принесенный в новую *дакхму* (так называются эти башни), должен быть трупом невинного ребенка и непременно дитяти «*мобеда*» (жреца). К этим башням, построенным в стороне, на холме и среди уединенного сада, никому не дозволяется подходить, даже главному смотрителю и сторожам, ближе как на тридцать шагов расстояния. Одни *нассесалары*^[20] (носильщики трупов), ремесло коих наследственное и которым закон строго воспрещает заговаривать с живыми, дотрагиваться или даже подходить к ним, входят и выходят из «Башни Молчания». Входя, они вносят труп, безразлично богатого или бедного человека, завернутый в белые и самые старые тряпки; раздев его донага, они кладут его в тот или другой из трех кругов и, не произнося ни слова, выходят в таком же молчании из башни, запирая ее до следующего покойника, а саван – тряпки – тотчас же сжигают.

Смерть у огнепоклонников лишена всего своего величия, и труп возбуждает в них лишь одно омерзение. Коль скоро замечают, что наступает последний час больного, все домашние отделяются от него, как для того, чтоб не помешать душе освободиться от тела, так и затем, чтобы живому не оскверниться прикосновением к мертвому. Один *мобед* шепчет на ухо умирающему напутственное из Зенд-Авесты наставление: «Ашем-Воху» и «Ято-ахуварье», и удаляется, пока отходящий еще жив. Затем приводят собаку и заставляют ее смотреть в лицо

умирающему. Эта церемония называется *сас-дид* (собачий взгляд), так как собака единственное из живых существ, взгляда которого боится *друкс-насу* (злой демон), сторожащий умирающих, дабы завладеть их телом... Следует однако остерегаться, чтобы чья-нибудь тень не легла между мертвым и собакой; иначе пропадает вся сила собачьего взгляда, и демон воспользуется благоприятною минутой. Где бы ни умер парс, там он и остается, пока за ним не явятся *нассесалары*, с руками, погруженными до плеч в старые мешки. Положив покойника в железный закрытый гроб (один для всех), его относят в *дакхму*. Если б отнесенный в *дакхму* даже ожил (что нередко случается), он уж не выйдет более на Божий свет: *нассесалары* в таком случае убивают его. Кто раз осквернился прикосновением к мертвым телам и побывал в «башне», тому возвращаться в мир живых уже невозможно: он осквернил бы все общество.^[21] Родные следуют за гробом издали и останавливаются в 90 шагах от «башни». У отверстия, после последней молитвы, повторяемой хором носильщиками возле тела, а *мобедом* издали, еще раз повторяется церемония с собакой. В Бомбее нарочно для этого дрессированная собака держится на цепи у дворец башни. Затем *нассесалары* вносят тело внутрь и, вынув его из гроба, кладут на отведенное трупы, смотря по полу или возрасту, место.

Мы два раза присутствовали при церемонии «умирания» и один раз при «погребении», если позволено употребить подобное не подходящее к делу выражение. На этот счет парсы гораздо снисходительнее индусов, считающих присутствие европейца осквернением их религиозных обрядов. Хоронили какую-то богатую женщину, и наш знакомый смотритель башни, Н. Байранжи, пригласил нас к себе в дом. Таким образом мы присутствовали при всех обрядах, находясь шагах в сорока от башни, на веранде бунгало нашего любезного хозяина. Сам он, хотя уже много лет служил при «башне», в нее никогда не входил и даже близко не подходил. Пока собака гладела на покойника, мы, признаваясь, с тайным чувством отвращения гладели, в свою очередь, на огромную стаю коршунов, летавших над *дакхмою*. Коршуны влетали в нее и снова вылетали с кусками окровавленного человеческого мяса в клюве... Эти птицы, которые ныне сотнями свили себе гнезда над «Башней Молчания», привезены нарочно с этою целью из Персии, так как коршуны Индии оказались и не довольно хищными и слишком слабыми, чтобы справляться с окоченевшими трупами со скоростью, требуемою законом Зороастра. Говорят, будто процесс совершенного очищения костей от мяса требует не более нескольких минут...



Центральная Индия

По окончании обряда нас повели в другое здание, где на небольшом столе стояла превосходная деревянная модель *дакхмы* с ее внутренним устройством. Таким образом мы могли легко сообразить, что в эту минуту происходило в башне. Представьте себе дымовую четверугольную трубу, стоящую на земле, и вы получите верное понятие об устройстве пустой «башни». В гранитном помосте, в самом центре, чернеет глубокий, безводный колодец, покрытый, как водосток, железною решеткой. Вокруг, на постоянно возвышающейся к стене покатости, окружая колодец тройным кольцом, прорыты три широкие круга; в каждом из них, отделенные одно от другого тонким простенком в два вершка вышины, находятся гробообразные места для тел. Таких мест 365. В первый круг или выбой (2 фута ширины) у колодца кладутся дети; в средний (в 4 фута) – женщины; в третий (5 футов ширины), расположенный у самой стены, – мужчины. Этот тройной круг служит типом трех кардинальных у Зороастра добродетелей: «добрых дел, ласковых слов и чистых помышлений». Последний круг принадлежит детям, первый мужчинам.

Благодаря стаям голодных коршунов, менее нежели в час времени кости всегда обглоданы до последнего атома, а через две-три недели тропическое солнце сушит скелеты до такой хрупкости, что они при малейшем прикосновении обращаются в прах, а затем их уже сваливают в колодец. Ни малейшего запаха, ни малейшего предлога для чумы или другой эпидемии. Способ этот, пожалуй, еще вернее телосожигания, которое все-таки оставляет за собой в атмосфере *goma*^[22] хотя слабый, но дурной запах. Вместо того, чтобы кормить «мать сырую землю» падалью, парсы отдают *Армаити* (земле)^[23] лишь совершенно очищенный прах. Почитание земли, предписанное им Зороастром, так велико у них, что они принимают всякие меры предосторожности, дабы не осквернить «Коровы-Кормилицы», дарящей их «стократ золотым зерном за всякое зерно». Во время муссона, когда дождь льет в продолжение четырех месяцев ливнем и, конечно, смывает все оставленные коршунами около трупов нечистоты в колодец, вода, стекая в него, всасывается в землю уже фильтрованная: все дно колодца, стенки которого выложены гранитными плитами, покрыто с этою целью водоочистения песчаником и углем.

Менее мрачно и гораздо любопытнее зрелище *Пинжрапала*, бомбейского «госпиталя для престарелых животных», существующего, впрочем, в каждом городе, где только живут *джайны*, о которых кстати здесь сказать несколько слов. По своей бесспорной древности эта секта здесь одна из самых интересных, она много древнее буддизма (появившегося около 543–477 до Р. Х.). *Джайны* похваляются тем, что религия Будды есть не что иное, как ересь джайнизма, так как Гаутама, основатель буддизма, был учеником и последователем одного из их главных *гуру* и святых. Обычай, обрядность и философские воззрения *джайнов* ставят их чем-то средним между браминами и буддистами; в общественном отношении они походят на первых, в религиозном склоняются более к буддистам. Как и брамины, они придерживаются каст, никогда не едят мясного и не почитают тел святых; но вместе с буддистами они отвергают «Веды» и богов индусов, вместо которых поклоняются своим двадцати четырем *тиртáнкарам* (*Tirthankara*) или *джайнам*, причтенным к лику «блаженных». Опять как у буддистов: духовенство у *джайнов* сохраняет безбрачие и живет в уединенных *вихарах* (кельях) и монастырях, выбирая себе приемников во всех классах общества. Считая священным и употребляя в духовной литературе лишь язык *пали* (как и на острове Цейлоне), они имеют с буддистами одну общую традиционную хронологию, также не едят после заката солнечного и тщательно подметают

место, прежде чем сесть на него, боясь раздавить и малейшую букашку. Обе системы или, скорее, философские школы, следуя в этом древней школе атомиста Канады, ^[24] защищают теорию вечных атомов или элементов и неразрушимости материи. По их понятиям, мир никогда не имел начала и никогда не будем иметь конца. «Все в мире одна иллюзия, *майя*», говорят ведантисты, буддисты и джайны. Но в то время как последователи Шанкарачарьи проповедуют *Парабрахму* (божество без воли, понимания и без действия) ^[25] и исходящего от него *Ишвару*, джайны вместе с буддистами отрицают создателя Мира и учат лишь о существовании *свабхавата*, пластического, вечного и самосозданного принципа в природе. Зато твердо веруют, как и все прочие секты в Индии, в переселение душ; их страх лишить жизни животное или насекомое и этим совершить, быть может, отцеубийство доводит их любовь ко всему животному царству и попечение о нем до невероятно аффектированных крайностей. Не только в каждом городе и деревне устроены больницы и приюты для всех искалеченных и старых животных, но их жрецы ходят не иначе, как с кисейным «намордником» (да простят они мне это непочтительное выражение), прикрывающим им рот и ноздри, дабы дыханием своим нечаянно не истребить какой-нибудь мошки. Поэтому они и воду пьют не иначе, как фильтрованную. Джайнов считают несколько миллионов; они рассеяны в Гуджерате, Бомбее, Конкане и других местностях.

Бомбейский *Пинжрапаль* занимает целый большой квартал, разделенный на дворы и дворики, на лужайки и рощицы с прудами, большими клетками для опасных животных и загородками для более ручных. Заведение это могло бы служить моделью для Ноева ковчега. На первом дворе, вместо животных, мы увидели несколько сот человеческих живых скелетов: стариков, женщин и детей. То были уцелевшие жители из так называемых *famine-districts* (голодающих уездов), приползшие в Бомбей молить о куске хлеба. Отечественное правительство, повыгнав их из последних лачужек за недоимки податей, взимающихся во время голодного мора так же, как и в самые урожайные годы, ^[26] довершило свое христоролюбивое попечительство о язычниках, отведя им место при больнице животных. В то время как несколько постоянно находящихся при этой странной богадельне ветеринаров перевязывали перебитые лапы у шакалов, терли мазью опрокаженные спины чесоточных собак и приправляли деревянные костыли хромым журавлям, там, в двух шагах, на другом дворе, умирали от голода старики, женщины и дети. Их кормили пока за счет благотворителей животных, а животных, к счастью, было в то время менее обыкновенного. Наверное многие из этих страдальцев с радостью согласились бы, не теряя времени, трансмигрировать в любого из зверей, так спокойно доканчивающих жизненное поприще в больнице...

Но и в Пинжрапале розы не без шипов. Если травоядные «субъекты» ничего лучшего не могут себе пожелать, то сомневаюсь, чтобы плотоядные, как, например, тигры, гиены, шакалы и волки, оставались вполне довольны как постановлениями, так и насильно предписанною им диетой. Так как сами джайны не употребляют мясной пищи и с ужасом отворачиваются даже от яиц и рыбы, то и все находящиеся на их попечении животные обязаны поститься. При нас кормили старого, подстреленного английскою пулей тигра. Понюхав рисовую похлебку, он замахал хвостом и, свирепо скаля желтые клыки свои, глухо зарычал и отошел от непривычной пищи, все время косясь на толстого надсмотрщика, который ласково уговаривал его «покушать». Одна решетка спасала джайна от протеста этого ветерана лесов «действием». Гиена, с окровавленную, повязанною головой и отодранным ухом, бесцеремонно и видимо в знак своего презрения к этому для нее спартанскому соусу, сперва села в лохань с похлебкой, а затем опрокинула ее; волки же и несколько сот собак подняли такой оглушающий вой, что привлекли внимание двух неразлучных друзей, Кастора и Поллукса заведения, старого слона с передней ногой на деревяшке и исхудалого вола с зеленым зонтом над больными глазами. Слон, по своей

благородной природе думая лишь о приятеле, покровительственно обвил хоботом шею вола, и оба, подняв головы, с неудовольствием замычали. Зато попугаи, журавли, голуби, фламинго, корольки, все пернатое царство ликовало, заливаясь на все тоны над завтраком. Охотно отдавали ему честь и обезьяны, прибежавшие первыми на зов. Нам также указали на *святого*, кормившего в углу насекомых собственной кровью. Совершенно нагой, он неподвижно и с закрытыми глазами лежал на солнце. Все тело его было *буквально* покрыто мухами, комарами, муравьями и клопами...

– Все, все они наши братья! – умиленно повторял директор госпиталя, указывая рукой на сотни насекомых и животных. – Как можете вы, европейцы, убивать и даже поедать их?

– А что, – спрашиваю, – сделали бы вы в случае, если бы вот эта змея подползла к вам и попыталась укусить вас? От ее укушения ведь неминуемая смерть. Неужели вы бы не убили ее, если б успели?

– Ни за что на свете! Я бы старался осторожно поймать ее, а затем отнес бы за город в пустое место и пустил бы ее на свободу.

– А если б она все-таки укусила вас?

– Тогда бы я произнес «мантру».^[27] А если б мантра не помогла, то я счел бы это за определение судьбы, и спокойно оставил бы это тело, чтобы перейти в другое.

Это нам говорил человек по-своему образованный и даже весьма начитанный. На наше возражение, что ничто не дается природой напрасно, и что если устройство зубов у человека плотоядное, то стало быть ему определено самой судьбой питаться мясом, он отвечал нам чуть ли не целыми главами из Дарвиновской «Теории естественного отбора и происхождения видов». «Это все неправда, будто первобытные люди родились с глазными зубами», рассуждал он. «Лишь впоследствии, с разращением рода человеческого и когда в нем стала развиваться страсть к плотоядной пище, то и челюсти, покоряясь новой потребности, стали изменяться, пока мало-помалу совершенно не изменили своей первобытной формы»...

Подумаешь: où la science va-t-elle se fourrer?...^[28]

В тот же день вечером в театре Эльфинстона давалось в честь «американской миссии» (как нас здесь величают) необычайное представление. Туземные актеры играли на гуджератском языке древнюю волшебную драму *Ситта-Рама*, переделанную из *Рамаяны*, известной эпической поэмы Вальмики. Драма состояла из 14 актов и несчетного множества картин с превращениями. Все женские роли игрались по обыкновению мальчиками и, верные историческому и национальному костюму, все актеры были полунагие и босые. Зато богатство костюмов – какие требовались – декорации, машины, превращения были поистине изумительны. Трудно было бы даже на сцене больших столичных театров представить лучше и вернее природе, например, армию союзников Рамы – обезьян, под предводительством их знаменитого в истории (Индии, *s. v. p.*) полководца Ханумана: воина, государственного мужа, бога, поэта и драматурга. Древнейшая и лучшая из всех санскритских драм *Хануман-наттек* (наттек – драма) приписывается этому нашему талантливому праотцу... Увы! прошли те времена, когда гордые сознанием своей белой, быть может, *après tout*^[29] только *вылинявшей* под северным небом кожи, мы взирали на индусов и других черномазых народов с подобающим нашему величию презрением! Крепко огорчился мягкосердечный сэр Вилльямс Джонс, переводя с санскритского такие, например, унижительные для европейского самолюбия речи, что «*Хануман* был-де нашим прародителем». Коли верить легенде, то за оказанное храброй обезьяньей армией пособие Рама, герой и полубог, даровал в супружество каждому из холостяков этой армии одну из дочерей великанов острова Ланки (Цейлона), *бакшазасов*, назначив этим «дравидским» красавицам в приданое все *западные* части света... Тогда, после величайшего в мире торжества бракосочетания, обезьяны-воины, соорудив из собственных хвостов висячий мост, перекинули его из Ланки в Европу и, благополучно перебравшись с супругами на другой берег, зажили счастливо и наплодили кучу детей. Эти дети – мы, европейцы. Найденные в языках Западной Европы (как в наречии басков, например) чисто дравидские слова привели браминов в восторг; в благодарность за это важное открытие, так неожиданно подтверждающее их древнее сказание, они чуть было не возвели филологов в сан богов. Дарвин увенчал дело. С распространением в Индии западного образования и ее научной литературы, в народе более чем когда-либо утвердилось убеждение, что мы потомки их Ханумана и что притом каждый европеец (если только поискать) украшен *хвостом*: узкие панталоны и длинные юбки пришлецов с Запада много способствуют к укоренению этого крайне нелестного для нас мнения... Чтò ж? уж если раз наука в лице Дарвина поддерживает в этом мудрость древних ариев, то нам остается лишь покориться. И право, в таком случае гораздо приятнее иметь Ханумана – поэта, героя и бога – праотцем, чем какую-либо другую «макашку», хотя бы даже и бесхвостую...

Но *Ситта-Рама* – пьеса представленная в тот вечер – принадлежит к мифологическим драмам-мистериям вроде Эсхилowych. Глядя на это классическое произведение отдаленнейшей древности, зритель невольно переносится в те времена, когда боги, сходя на землю, принимали живое участие во вседневной жизни смертных: ничто не напоминало нам современную драму, хотя внешняя форма сохранилась почти та же. «От великого до смешного (и наоборот) всего один шаг»: от козла (τράγος ὕδῆ), выбираемого в жертвоприношении Бахусу, мир получил трагедию; предсмертное блеяние и бодание четвероногой жертвы древности вышлифованы рукой времени и цивилизации: в итоге является предсмертный шепот Рашели во образе Адриенны Лекуврер и ужас наводящее реалистическое «брыканье» современной Круазет в сцене отравления в «Сфинксе»... Но в то время как потомки Фемистокла, в продолжение многих лет рабства, как и независимости, принимали и продолжают с восторгом принимать все изменения,

а по современным воззрениям и «улучшения» Запада, как вновь исправленное и дополненное издание гения Эсхила, – индусы, к счастью археологов и любителей древностей (вероятнее всего со времен нашего незабвенного прародителя Ханумана), так и застыли на одном месте...

С живым любопытством готовились мы следить за представлением *Ситта-Рама*. Кроме здания самого театра, да разве нас самих, все было здесь туземное и ничто не напоминало нам нашу западную обстановку. Об оркестре не было и помину: вся наличная музыка должна была раздаваться за кулисами или же на самой сцене. Наконец взвился занавес... Тишина, заметная даже в антрактах при таком наплыве зрителей обоего пола, стала еще заметнее. Видно было, что в глазах публики, по большей части поклонников Вишну,^[30] шла не обыкновенная пьеса, а религиозная мистерия, представляющая жизнь и приключения их любимых и самых уважаемых богов.

Пролог. *Эпоха* (ранее которой еще ни один драматург не рискнул выбрать для своего сюжета) *пред сотворением*, или скорее пред последним появлением *мира*:^[31] в то время как *пралайя* приходит к концу, Парабрахма просыпается; вместе с его пробуждением вся вселенная, покоящаяся в божестве, то есть бесследно исчезнувшая с предыдущего разрушения мира в субъективной эссенции его, отделяется вновь от божественного принципа и делается видимой. Все боги, умершие вместе со вселенною, начинают медленно возвращаться к жизни. Один «Невидимый» дух – «вечный, безжизненный», ибо он есть безусловная *самобытная жизнь*, – парит, окруженный безбрежным хаосом. Священное «присутствие» невидимо: оно проявляется лишь в правильном периодическом колыбании хаоса, представляемого темною массой вод, затягивающею всю сцену. Эти воды еще не отделены от суши, ибо Брахма, творческий дух Нараяна, еще сам не отделился от Вечного. Но вот колыбнулася вся масса, и воды начинают светлеть: от золотого яйца, лежащего под водами хаоса, пробиваются лучи; оживотворенное духом Нараяны яйцо лопається, и проснувшийся Брахма поднимается над поверхностью вод под видом огромного лотоса. Являются легкие облачка; сперва прозрачные и белые, как паутина, они сплываются и мало-помалу превращаются в «праджапати» – десять олицетворенных творческих сил Брахмы, владыки всех тварей, поющих хвалебный гимн Творцу. Веяло чем-то наивно поэтическим от этой непривычной нашему уху странной мелодии, без оркестра, в унисон. Пробил час общего пробуждения; конец *пралайе*: все ликует, возвращаясь к жизни. На отдалившемся от вод небе являются *азуры* и *гандхарвы*.^[32] Индра, Яма, Варуна и Кувера, – духи, заведующие четырьмя странами света. Из четырех стихий: воды, огня, воздуха и земли, брызжут дождем атомы и зарождает змия *Ананду*. Чудовище всплывает на поверхность воды и, согнув лебединую шею дугой, является лодкой, на которой покоится Вишну; в ногах бога сидит Лакшми – богиня красоты, его супруга. «Сватха! Сватха! Сватха!»^[33] – восклицают хором небесные певцы, приветствуя божество. Вишну в одном из своих будущих воплощений (аватар) будет Рамою, сыном великого царя, а Лакшми воплотится в Ситте. Вся поэма *Рамаяны* вкратце пропета небесными хористами. Кама, бог любви, осеняет божественную чету, и от этого вмиг загоревшегося в их сердцах пламени плодится и размножается весь мир...^[34]

Далее идут 14 действий хорошо всем известной поэмы, в которой принимают участие несколько сот лиц. Под конец *пролога* собравшиеся боги, по примеру лиц древних драм, подходят к рампе и знакомят вкратце публику с сюжетом и развязкой предстоящей пьесы, прося снисхождения зрителей. Словно оставив свои ниши в храмах, сошли с них знакомые нам божества из раскрашенного гранита и мрамора, чтобы напомнить смертным о делах...

...«давно минувших дней,
Преданьях старины глубокой»...

Зала была битком набита туземцами. Кромечас четырех, не было ни одного европейца. В креслах расстилалась, как огромный цветник, масса женщин в ярких цветных покрывалах. Между прекрасными бронзовыми лицами выглядывали красивые, иногда матово-белые личики парсийских женщин, очень напоминающих красотой грузинок. Все первые ряды были заняты женщинами. От огнепоклонниц с их чистыми лицами и волосами, покрытыми белою косынкой под цветным покрывалом, их сестры индианки отличались непокрытою головой, роскошью своих блестящих черных кос, закрученных греческим шиньоном на затылке, расписанным красками лбом^[35] и кольцами в одной ноздре. В этом состоит вся разница их костюма.^[36] Как те, так и другие страстно любят яркие, но однообразные материи, покрывают голые руки до локтей браслетами и носят одинаковые *сары* (покрывала). За ними, в партере волновалось целое море самых оригинальных, нигде кроме Индии не встречающихся тюрбанов. Тут были и длинноволосые *раджпуты* с их прямыми, чисто греческими чертами лица, с разделенною на подбородке бородой, концы которой закручиваются за уши, в *пагри*, тюрбане, состоящем из двадцати аршин белой тонкой кисеи, обкрученной веревкой вокруг головы, в серьгах и ожерельях; тут были *маратские брамины*, с гладко выбритою (кроме центральной длинной космы волос) головой, прикрытой громадным блюдообразным тюрбаном ослепительно красного цвета с золотым, выгибающимся вперед, словно рог изобилия, украшением наверху. Задавшись было долгом сосчитать, сколько разных форм тюрбанов в одном Бомбее, мы уже через две недели объявили себя побежденными: легче сосчитать звезды на небе. Каждая каста, ремесло, секта, каждое из тысячи подразделений общественной иерархии имеет свой отличительный, блестящий пурпуром и золотом головной убор; золото снимается только в случае траура. Но зато все, даже богачи, советники муниципалитета, купцы, брамины, *рао бахадур*ы и пожалованные правительством баронеты – все до одного ходят босые, голые до колен и в белоснежных *балахонах*: этой полурубашки-полукафтана нельзя сравнить ни с чем другим. Сидит министр, либо раджа какой на слоне^[37] – видали мы их в Бароде даже на жирафах из конюшни зверинца Гайквара^[38] в торжественные дни их праздников – сидит и жует *пансопар* (бетель).^[39] Голова у него так и клонится вниз под тяжестью драгоценных камней на тюрбане; все пальцы на руках и на ногах украшены перстнями, а ноги браслетами. В тот вечер в зале не было ни слонов, ни жирафов, но зато были и раджи, и министры. С нами приехал красавец-посол и бывший воспитатель юного Махарани Удайпурского (*Oodeypore*), раджа-пандит, Мохунлал-Вишнулал-Пандиа, в бледно-розовом маленьком тюрбане с бриллиантами, в розовых же барежевых панталонах и белой газовой кофте. Длинные, черные, как вороново крыло, волосы падали на янтарную шею, украшенную ожерельем, способным свести с ума парижанку. Бедному раджпуту ужасно хотелось спать; но он геройски выдерживал роль и, задумчиво пощипывая бородку, водил нас по безысходному лабиринту метафизических запутанностей Рамаяны.

В антрактах нас потчевали кофе, шербетами и папиросами, которые мы и курили во все время представления, сидя напротив сцены, в первом ярусе. Нас, как идолов, обвешали длинными гирляндами из жасмина, а сам директор, дебелый индус в рогообразном малиновом тюрбане и белой прозрачной кисее на смуглом теле, несколько раз окроплял нас розовою водою.

Представление, начавшееся в 8 часов вечера, дошло до 9-го акта только в два с половиною часа пополуночи. Невзирая на стоявшего позади каждого из нас сипая с гигантскою *панкой* (веером), жара была нестерпимая. Чувствуя себя не в силах выдержать долее, мы отпросились домой. Опять букеты, *пансопар* и окропление розовою водою, и мы наконец добрались домой в четыре часа пополуночи... На другой день мы узнали, что представление окончилось в половине седьмого утра.

Раннее утро последних мартовских дней; светлое безоблачное небо. Ветерок, нежно ласкающий бархатной рукой заспанные лица пилигримов; по дороге опьяняющий запах тубероз и жасмина в цвету, перемешанный с острыми запахами базара. Толпы голоногих браминок, стройных и величавых, в цветных *sari*, с блестящими, как золото, медными *лотти* (кувшинами) на головах, направляющихся, как библейская Рахиль, к колодцу. Наполненные тинистой водой священные *танки* (пруды), на ступенях которых индусы обоих полов совершают свое утреннее религиозное омовение. Под забором сада, под самыми скалами Малабарского холма, чей-то ручной *мангуст*, величиной с сурка, пожирает голову пойманной им *кобры*; обезглавленное туловище змеи судорожно, но уж безвредно обвивается вокруг и хлещет худощавого зверька, с видимым наслаждением взирающего на эту операцию. Возле группы животных группа индусов. Совершенно нагой *мали* (садовник), стоя у безобразного каменного идола Шивы, сыплет ему приношение соли и бетели, дабы отвратить гнев «Разрушителя» за убиение одного из подвластных ему богов, опасной змеи *кобры*. В нескольких шагах от железнодорожной станции мы встречаем скромную католическую процессию из новообращенных париев и туземных португальцев. Под балдахин, на носилках, раскачивается коричневая Мадонна в одеянии туземных богинь и с кольцом в носу (*sic*). На руках у нее младенец в желтых *пиджамах* и красном тюрбане брамина. «*Хари! Хари деваки!*» (Слава, слава деве-богине!) восклицают новообращенные, не признавая ни малейшей разницы между *Деваки*, матерью Кришны, и Мадонной.

Наконец наши *гарри*, туземные двухколесные таратайки с запряженными в них двумя сильными волами с громадными прямыми рогами, подкатывают к крыльцу станции. Чиновники-англичане таращат в изумлении глаза при виде европейцев в *туземных* позолоченных колесницах... Но мы американцы; мы приехали знакомиться с Индией, а не с Европой и ее произведениями на здешней почве.

Если турист потрудится бросить взгляд на берег, противоположный бомбейской пристани, то он увидит пред собою темно-синюю массу, возвышающуюся, словно стена, между ним и горизонтом. То Парбуль, плоскоголовая гора в 2250 футов высоты. Правый склон ее крепко прижался к двум остроконечным скалам, доверху покрытым густым бором; самая высокая из них – *Матаран*, цель нашей поездки. Полотно железной дороги расстилается у подножия прелестнейших холмов, пересекает сотни озерков и пронизывает слишком двадцатью тоннелями самую сердцевину скалистых *гхот*.

Мы ехали с тремя знакомыми индусами. Двое из них – когда-то высокой касты, ныне исключены из нее и «отлучены» от пагоды за сообщничество и сношения с нами, презренными иностранцами. На станции к нам присоединились еще двое приятелей из туземцев, с которыми мы переписывались из Америки уже несколько лет. Все они члены нашего Общества, реформаторы юной Индии и враги браминов, каст и предрассудков, сговорились отправиться вместе с нами на годичную ярмарку храмового праздника в пещерах *Карли*, посетив сперва Матаран и Кхандалы. Один из них был брамин из Пуны, другой *мудельяр* – помещик из Мадраса, третий *сингалезец* из Кегаллы, четвертый *земиндар* – землевладелец из Бенгала, пятый – громадного роста раджпут, независимый *такур* из провинции Раджастхан, ^[40] которого мы давно знали под именем Гулаб Лалл Синга, а звали просто Гулаб Синг. Распространяюсь о нем более, нежели о других, потому что об этом странном человеке шли самые удивительные и разнообразные толки. Ходила молва, будто он принадлежит к секте *раджа-йогов*, посвященных в таинство магии, алхимии и разных других сокровенных наук Индии. Он был человек богатый и

независимый, и молва не смела заподозрить его в обмане, тем более, что если он и занимался этими науками, то старательно скрывал свои познания ото всех, кроме самых близких ему друзей.

Такуры почти все ведут свой род от *Сурьи* (солнце) и потому называются *сурьявансами*, потомками солнца, в гордости не уступая никому. По их выражение: «земная грязь не может пристать к лучам солнца», т. е. к раджпутам; поэтому они не признают никакой касты, кроме браминов, отдавая почести лишь одним бардам, воспевающим их военные доблести, которыми они так справедливо гордятся.^[41] Англичане страшно боятся их и не решились их обезоружить, как другие народы Индии. Гулаб Синг приехал со слугами и щитоносцами.

Владея неистощимым запасом легенд и, как видно, хорошо знакомый с древностями своей страны, Гулаб Синг оказался самым интересным из всех наших собеседников.

– Вон там на лазоревом фоне неба, – рассказывал нам Гулаб Лалл Синг, – рисуется вдали величественный *Бхао-Маллин*; то бывшая обитель святого отшельника, куда теперь ежегодно стекаются толпы пилигримов и где, по глупому народному преданию (прибавил он улыбаясь), происходят разные чудодейные дела... На верху горы в 2000 футов высоты – платформа крепости, а позади ее еще другая скала в 270 футов; на самой ее остроконечной верхушке находится развалина другой, еще более древней крепости, служившей в продолжение семидесяти пяти лет обителью одному святому. Чем отшельник питался, останется навсегда неразгаданною тайной; вероятно, кореньями, которых, впрочем, на голой скале никогда не бывало. Единственный доступ к этому отвесному возвышению – это высеченные в скале углубления для носка ноги и веревочные перила. Казалось бы, одним только акробатам да обезьянам и лазить по ней! И однако же фанатизм придает индусам, по-видимому, крылья: ни с одним из них никогда не было еще несчастного случая. Как на беду, лет сорок тому назад, несколько человек англичан задумали было полезть туда для осмотра развалин. Поднялся ветер и сильным порывом их снесло в бездну. Тогда генерал Диккинсон приказал разрушить доступ к верхней крепости. А нижняя крепость (осада которой стоила бомбейской армии, в первые времена их нашествия, столько крови и потерь) теперь совершенно брошена и служит логовищем тиграм и орлам...

Пред таинственным и грандиозным *прошлым* Индии, древней *Арьяварты*, ее *настоящее* естественная тушевка; черная тень на светлом фоне картины, необходимое зло в цикле каждой нации. Индия одряхла и упала, как падают громадные памятники древности, разбившись вдребезги; но зато каждый из мельчайших кусков этих обломков останется навеки драгоценностью для археолога и артиста, и даже со временем может послужить ключом для философа, как и для психолога. «Древние индусы строили как гиганты и заканчивали работу как ювелиры», восклицает в восторге епископ Гебер в книге своих путешествий по Индии. Описывая «Тадж-Махал» в Агре,^[42] это поистине восьмое чудо света, он называет его «целою поэмой из мрамора». Но он мог бы также добавить, что трудно найти в Индии хотя сколько-нибудь сохранившуюся развалину, которая бы не повествовала красноречивее целых томов о прошлом Индии, о ее религиозных стремлениях, верованиях и надеждах.

Нигде в мире древности, не исключая даже фараоновского Египта, переход от субъективного идеала к демонстрации его объективным символом не выражен более отчетливо, искусно и вместе артистически, как в Индии. Весь пантеизм веданты заключается в символе двуполого божества *Арданари*. Он окружен двойным треугольником, известным в Индии под именем «знака Вишну»; возле него лежит лев, бык, орел; в руке у него полный месяц, отражающийся в воде у ног его. Веданта учит несколько тысяч лет уже тому, что некоторые немецкие философы проповедовали в прошлом и настоящем столетиях, а именно, что все объективное в мире, как и сам мир, не более как иллюзия, *майя*, призрак нашего воображения,

закрывающий в себе столь же мало действительности, как отражение луны в воде; как феноменальный мир, так и наша субъективная концепция об эго – одна греза. Истинный мудрец никогда не поддастся обольщениям иллюзии. Он знает, что человек познает самого себя и становится настоящим эго лишь по окончательном слиянии собственной частички с целым, соделавшись неизменным, вечным, всемирным *Брахмой*, и поэтому весь цикл рождения, жизни, дряхлости и смерти в его глазах один фантазм воображения...

Вообще говоря, философия Индии, раздробленная на бесчисленное множество метафизических учений, имеет в связи с ее онтологическими доктринами столь развитую логику и такой замечательной утонченности психологию, что может поспорить в этом со всеми древними и современными школами, как идеалистов, так и позитивистов, и побить каждую по одиночке. Позитивизм мистера Луиса (Lewes), подымающий дыбом от ужаса каждый волосок на голове оксфордских богословов, является какою-то карикатурной игрушкой пред учением атомистической школы вайшешики, с ее миром, разделенным, как шахматная доска, на шесть категорий вечных атомов, 9 веществ, 24 качества и 5 движений. И как ни трудным и даже невозможным кажется верное представление всех этих абстрактных идей, идеалистических, пантеистических и даже чисто материалистических в сжатой форме аллегорических символов, однако ж Индия сумела более или менее успешно выразить все эти учения. Она обессмертила их в уродливых о четырех головах кумирах, в геометрических формах своих замысловатых храмов и памятников и даже в запутанных линиях и знаках на лбах своих сектантов.

Обо всем этом и о другом рассуждали мы с нашими спутниками индусами. Присевший к нам на одной из станций католический *падре*, учитель из иезуитской коллегии Св. Ксаверия в Бомбее, не выдержал и вмешался в разговор. Улыбаясь и потирая руки, он любопытствовал узнать, в силу каких софизмов мог бы наш спутник доказать что-либо подходящее к философскому объяснению, например, «в основной идее четырех лиц этого увенчанного змеями уродливого Шивы, что торчит там при входе погоды», заключил он, тыкая по направлению идола пальцем.

– Очень просто, – отвечая бенгальский *бабу́*. – Вы видите, что эти четыре лица направлены к четырем странам света – к югу, к северу, западу и востоку?... Но эти лица на одном туловище и принадлежат одному богу...

– Вы прежде объясните нам философскую идею четырех лиц и восьми рук вашего Шивы, – заметил он.

– С большим удовольствием... Считая нашего великого Рудру ^[43]*вездесущим*, мы изображаем его с лицом, повернутым в одно и то же время во все четыре стороны, восемь рук указывают на его всемогущество, а одно туловище напоминает, что хотя он везде и всюду и никто не может избежать как его всевидящего ока, так и карающей его длани, но все же он един...

Падре хотел было что-то сказать, но поезд остановился: мы приехали в Нарель.



Храм в Аджанте

Прошло едва 25 лет с тех пор как Матеран, – громадная масса различных родов траппа, большею частью сильно кристаллизованного, – был впервые попан ногой белого человека. Под самым боком Бомбея, всего в нескольких милях от Кхánдалы (летней резиденции европейцев), грозные вершины этого великана долго считались совершенно неприступными. К северу, его гладкая и почти перпендикулярная стена возвышается на 2450 футов над долиной реки Пен; а еще выше возносятся до облаков бесчисленные вершины отдельных скал, холмы, покрытые дремучим бором и пересеченные долинами и пропастями. В 1854 году железная дорога пронизала один из боков Матерана и теперь доходит до подножия последней горы, останавливаясь в Нареле, котловине, где еще недавно была одна только пропасть. Оттуда до верхней площадки остается около 8 миль, и туристу приходится выбирать между пони и паланкином, закрытым либо открытым, смотря по вкусу. Так как мы приехали в Нарель только к шести часам пополудни, то последний способ представлял маленькое неудобство: цивилизация одолела неодолимую природу, но до сих пор еще, невзирая на весь деспотизм властелинов, не могла преодолеть ни тигров, ни змей. Если первые удалились в более непроходимые тущобы, зато змеи всевозможных родов, особенно кобры и *коралилло*, живущие предпочтительно на деревьях, царствуют в матеранских лесах как и во времена оны, и ведут против узурпаторов настоящую гверильясскую^[44] войну. Горе запоздавшему пешеходу или даже всаднику, проезжающему под деревом, на котором засела такая змея! Кобры и другие пресмыкающиеся по земле породы редко нападают на человека, разве только в случае, если неосторожная нога наступит на них; вообще же они бегут и прячутся от людей. Но эти лесные гверильясы, *tree serpent*, кустарные змеи, выжидают жертв. Едва голова человека поравняется с ветвью дерева, на котором приютился «враг человечества», как, укрепясь за ветку хвостом, змея ныряет всею длиной туловища в пространство и жалит человека *в лоб*. Этот любопытный факт, долго считавшийся вымыслом, теперь проверен и принадлежит к фактам естественной истории Индии. В подобных случаях туземцы видят в змее посланника смерти и исполнителя воли кровожадной Кали, супруги Шивы.

Но вечер после знойного дня был так обаятелен, а лес манил нас издали такую прохладой, что мы решились рискнуть. Среди этой дивной природы, где так и тянет стряхнуть с себя земные оковы, обобщиться с нею жизнью беспреградной, и самая смерть в Индии является *привлекательной*.

К тому же после восьми часов вечера всходила полная луна, и нам предстояло трехчасовое путешествие в гору в одну из тех лунных тропических ночей, за который туристы готовы приносить всевозможные жертвы и которые одни только истинные великие художники и способны описать. Молва начинает громко произносить имя нашего В. В. Верещагина как одного из тех немногих художников, которые сумели передать на полотне всю прелесть лунной ночи в Индии...

Пообедав на скорую руку в *дак-бэнглоу* (почтовой станции), мы потребовали наши кресла-носилки. Нахлобучив покрепче на лбы наши *топи* с их широкими, крышей спускающимися на глаза и затылок полями, мы отправились в 8 часов вечера в путь. Восемь *кули*, одетых по обыкновению в «виноградные листья» из тряпок, подхватили каждое кресло и с гиком и криком, бессменными спутниками индусов, пустились в гору. За каждым креслом бежали по восьми человек переменных носильщиков, итого, не считая индусов со слугами верхом, 64 человека: армия, способная спугнуть любого забредшего из *джунглей* леопарда или тигра, словом всякого зверя, исключая только наших бесстрашных «кузенов» по прадедушке Хануману. Едва мы

повернули из аллеи в лесок у подножия горы, как несколько десятков этих родственников присоединились к нашему шествию. Благодаря заслугам союзника Рамы, обезьяны считаются в Индии священными, почти неприкосновенными. Правительство, следуя в этом старинной мудрости Ост-Индской Компании, запрещает трогать их или даже прогонять их из городских садов, а тем менее из принадлежащих им по праву лесов. Перескакивая с одной ветки на другую, стрекоча как сороки и делая страшнейшие рожи, они, как ночные кикиморы, преследовали нас почти всю дорогу. Облитые светом полной луны, они висли как русалки на деревьях и, далеко забегая вперед, поджидали нас на поворотах дороги, словно указывая нам путь. Один младенец-макашка так и свалился ко мне в ноги на носилки. В одно мгновение ока родительница его, бесцеремонно перескакивая по плечам носильщиков, явилась тут же и, прицепив младенца к груди, скорчила мне самую богопротивную гримасу... и была такова.

– *Бандры* (обезьяны) всегда приносят своим присутствием счастье, – заметил мне в утешение за измятую топи один из индусов. – К тому же, если мы видим их здесь ночью, то можем оставаться совершенно спокойными: наверное на десять миль кругом нет ни одного тигра...

Все выше и выше подымались мы по крутой извилистой тропе; а лес становился все гуще, темнее и непроходимее... Под чащей иногда становилось темно, как в могиле; пробираясь под вековыми баньянами, невозможно было различить в двух вершках собственный палец. Мне казалось непонятным, чтобы люди шли тут иначе как ощупью; но кули даже ни разу не споткнулись, а, напротив, прибавили шагу. Все, как бы сговорясь, молчали в такие минуты; среди этого тяжелого, окутывающего нас как флером мрака, слышалось лишь короткое, прерывистое дыхание носильщиков, да мерная, мелко выбиваемая дробь нервных шажков их босых ног по каменистому грунту тропинки... Делалось больно, стыдно за человечество, или скорее за ту часть человечества, которая способна была превратить другую во вьючных животных. И эти несчастные, с одного конца года до другого, получают за подобную работу по 4 *анны* в день на человека: 4 *анны*, то есть менее 8 коп. в сутки за совершение путешествия вверх и вниз на 8 миль в конец, не менее двух раз или четырех концов, что составляет 32 мили на возвышенности 1500 футов и к тому же с ношею на шеях в 6 пудов!.. Впрочем, в Индии, стране застывшей в вековых обычаях, где все идет по одному шаблону, 4 *анны* – законная плата за день какой угодно работы. Призовите искусного поденщика-ювелира, и он сядет, поджав ноги, на пол, без всяких инструментов, кроме щипцов и крошечной железной печи, и создаст вам, из вашего золота и по данному рисунку, украшение, достойное мастерской фей. За это, то есть за 10 часов работы, он потребует 4 *анны*...

Но вот чаще и чаще стали попадаться просеки и открытые площадки, где становилось светло, как днем. Миллионы кузнечиков трещали по лесу, наполняя воздух металлическим звуком, напоминающим гудение губной гармоники; гоготали совы, и стаи испуганных попугаев металась с одного дерева на другое. По временам доносилось до нас издалека, из глубины поросшей дремучим лесом пропасти, долгое, громоподобное рычание тигра, могучий рев которого, по словам *шикари* (охотников), можно слышать в тихую ночь за много миль. Освещенная, словно бенгальским огнем, панорама изменялась при каждом повороте. Реки, поля, леса и скалы, расстилаясь у ног наших на необозримом пространстве, волновались, дрожали, облитые серебряным светом, переливались как волны марева... Фантастичность этой картины просто захватывала дух; кружилась голова, когда заглядывали мы в эти глубины на 2000 футов вниз, при неверном свете луны; а бездна так и тянула к себе... Один из наших спутников (американец), ехавший верхом, принужден был сойти с лошади и пойти пешком, боясь невольно поддаться влечению и нырнуть в бездну головой вниз. Несколько раз мы встречали спускавшихся с Матерана совершенно одиноких мужчин и даже молодых женщин,

возвращавшихся с поденной работы на горе в свои села. Но случается нередко, что ушедший накануне человек не возвращается более и пропадает без вести. Полиция хладнокровно решает, что его унес тигр или убила змея, и исчезновение предается тут же забвению: что может значить одною личностью более или менее среди 240 миллионов народонаселения Индии? Но странно поверье, существующее между племенами Декана, сгруппированными вокруг этой таинственной и доселе во многих местах еще не исследованной горы. Поселяне уверяют, будто, несмотря на число погибающих в горах, никогда еще не было найдено в лесу *ни одного скелета*: покойник, будь он целым или обглоданным тиграми, тотчас же переходит во владение обезьян; они собирают кости и хоронят их в глубоких ямах, зарывая так искусно, что не остается и малейшего следа. Англичане смеются над этим поверьем, но полиция не отрицает бесследного исчезновения тел. При прорытии горы для железной дороги найдено, на удивительной глубине, несколько скелетов, сохранивших как бы измятые зубами зверей и переломанные браслеты и серебряные украшения на руках, ногах и шеех. Эти украшения доказывали, что их владельцев зарывали не люди, так как ни религия индусов, ни жадность их не допустила бы их до этого... Неужели же в царстве животных, как и между людьми, рука руку моет?

Переночевав в португальской гостинице, свитой как орлиное гнездо из бамбука и прилипшей к почти перпендикулярно обрывающемуся боку скалы, мы встали с рассветом и, обойдя все знаменитые красотой *points de vue*,^[45] тотчас же собрались в обратный путь. Днем панорама являлась еще великолепнее: недостаточно целых томов для ее описания. Не будь горизонт замкнут с трех сторон истерзанными гребнями горных хребтов – все плато Декана явилось бы пред глазами. Бомбей – как на ладони; лиман, отделяющий город от Сальсеты, кажется тонкою серебристою струйкой. Как змея извивается он кольцами по направлению к гавани, окружает Канери и другие острова, разбросанные словно горошинки по светлой скатерти вод, пока наконец не сливается нестерпимо блестящей линией с далеким горизонтом Индийского океана. С другой стороны северный Конкан, замыкаемый хребтом Таль-Гхат; иглообразные вершины скал Джано-Маоли, и наконец зубчатый кряж Фунелля, грозный силуэт которого, словно замок сказочного великана, обрисовывает свои темные линии на далекой, дымчатой синеве неба.

Тому, кто совершал несколько раз перевал через Кавказские горы и следил за громом и молнией под ногами с Крестовой горы, кто побывал на Альпах и посетил Риги, знаком с Андами и Кордельерами и обходил все углы Катскильских гор в Соединенных Штатах – тому, надеюсь, будет дозволено выразить свое скромное на этот счет мнение. Быть может, Кавказские горы и величественнее и в отношении красоты несколько не уступают *гхатам* Индии, но то красота чисто условная, классическая, если можно так выразиться; она внушает восторг, но вместе с тем и страх: человек чувствует себя пигмеем пред этими титанами природы. Но в Индии, за исключением Гималаев, чувство, возбуждаемое горными видами, совершенно другого рода. Самые высокие вершины нагорной равнины Декана, как и треугольной цепи, обрамляющей северный Индостан, и даже восточных *гхат*, не превышают 3000 футов. В одних только западных *гхатах*, расстилающихся вдоль всего Малабарского берега от мыса Кумари до реки Сурата, найдутся вершины в 7000 футов над уровнем моря. Поэтому, не с белым, как лунь, дедушкой Эльбрусом, или Казбеком, вышиной в 15-16000 футов, мы позволим себе сравнить горы Индостана. Главная и совершенно своеобразная прелесть последних состоит в изумительно прихотливой их форме. Эти горы или, скорее, отдельные вулканические скалы, иногда тесно прижатые друг ко другу, тянутся хребтами; но чаще всего, к великому затруднению геологов, разбросаны безо всякой видимой причины в самых неподходящих к ним по грунту местностях. На каждом шагу пространные долины, замкнутые, как стеной, высокими скалами, по кряжу которых часто пролегает железная дорога. Взгляните вниз: вам померещится, будто перед вами

мастерская прихотливого титана-ваятеля, наполненная разбросанными полуоконченными группами, статуями, памятниками... Вот невиданная птица, распустив крылья и разинув пасть дракона, сидит на голове чудовища в 600 футов вышины; возле нее бюст человека в зубчатом, как стена феодального замка, шлеме; далее сказочные, пожирающие друг друга животные, безрукие статуи, шары, наваленные кучами, одинокие стены с бойницами, переломленные мосты и башни. Все это перепутано, разбросано; все с каждым новым шагом изменяет форму, как призрачные видения во время лихорадочного сна... А главное, нет здесь ничего искусственного; все это чистая игра природы, которую при случае и пользовались древние строители. Человеческое искусство в Индии следует чаще искать *внутри*, чем *на поверхности* земли. Как бы стыдись или считая грехом соперничать с изваяниями природы, индусы редко строили свои древние храмы иначе, как в недрах земли. Выбрав, например, пирамидально заостренную скалу или куполообразный холм, как в Элефанте и Карли, они выдалбливали их, по преданию Пуран, в продолжение веков, по планам, грандиозность которых превышает все понятия современной архитектуры и теперь совершенно ей недоступна.



Факир в Мадрасе



Лимро-Гуджират, брамин, член Теософ. общества

Из Нареля проезд в Кхандалы совершается по железной дороге, напоминающей свою удивительную постройкой такую же дорогу из Генуи вверх через Аппенинские горы. Это путешествие скорее можно назвать «воздушным», нежели сухопутным. Дорога проходит на возвышении 1400 футов над Конканом, и в иных местах одна сторона рельсов проложена на острых гребнях скал, в то время как другая опирается на своды арок; один виадук в Мали-Кхинде возвышается на 163 фута. В продолжение двух часов мы летели между небом и землей, окруженные с обеих сторон пропастями, густо заросшими цветущими манговыми деревьями и бананами. Надо отдать справедливость английским инженерам: они строят великолепно.

Переезд через Бхор-гхат совершен благополучно, и мы в Кхандалах. Наш бунгало построен на окраине пропасти, глубину которой тщательно скрыла природа самую роскошную растительностью. Все в цвету, и одной этой бездонной ямы хватило бы на всю жизнь ботаника. Пальмы исчезли; они растут лишь на морских берегах, и их заменили баньяны, манго, *пипалы* (*Ficus religiosa*), смоковницы и тысячи других деревьев и кустарников, пород для нас, профанов, неизвестных. Флора Индии была не раз оклеветана: ее обвиняли в том, что цветы ее прекрасны, но без запаха. Быть может, в известные сезоны замечание окажется справедливым; но пока цветет жасмин и различных родов бальзамина, белая тубероза и золотистая *чампа* – царь по величине меж цветущими деревьями, – то это совершенная неправда. От одного запаха чампы, растущей обыкновенно на гористых местностях и цветущей, как алоэ, один раз каждые сто лет, может закружиться голова; а в этот год сотни таких деревьев цвели на Матеране и в Кхандалах.

Сидя в тот вечер на веранде отеля над пропастью и невольно залюбовавшись окружающими нас видами, мы заговорились почти до полуночи. Все вокруг нас спало, и мы остались одни с нашими спутниками, говорившими по-английски не хуже любого оксфордского профессора. Кхандала, большая деревня, построенная на гладкой ровной возвышенности одной из гор хребта

Сахиядры (около 2200 футов над морем), окружена изолированными холмами такой же странной формы, как и прочие. Один из них, прямо пред нами на противоположной стороне пропасти, представлял совершенное подобие длинного одноэтажного строения с плоскою крышей и зубчатым парапетом. Индусы клялись, что в окрестностях этого холма существует потайной вход, ведущий в пространные залы под холмом – целый подземный дворец, и что есть еще люди, владеющие тайной этой подземной обители. Святой отшельник, йог и маг, обитающий уже много столетий в подземелье, открыл тайну его знаменитому махратскому вождю Сиваджи. В этой таинственной обители непобедимый герой, как Тангейзер в опере Вагнера, провел семь лет своей юности; там он и приобрел свою необычайную силу и храбрость.

Сиваджи – деканский Илья Муромец XVII столетия, вождь и царь махратов, основатель их весьма недолгой империи. Ему одному Индия обязана ослаблением, если не совершенным уничтожением мусульманского ига. Маленького, как женщина, роста, с рукой, как у ребенка, он, однако же, владел необычайною силой, которую, конечно, соотечественники его приписывают колдовству. До сих пор его сохраняющаяся в музее сабля приводит всех в изумление своею величиной и тяжестью, в то время как разве только десятилетний ребенок в состоянии просунуть руку в узкую рукоятку. Основанием славы нашего героя, сына бедного офицера на службе у могольского императора, послужило умерщвление этим новым Давидом мусульманского Голиафа – Афзал-хана. Но он убил его не пращей, а страшным махратским орудием *вагхнакх*, состоящим из пяти длинных стальных, заостренных, как иглы, и крепких, как железо, когтей, которые публичные бойцы надевают на пальцы правой руки и затем рвут друг друга как дикие звери на куски. Декан полон преданиями о Сиваджи, и даже английские историки упоминают о нем с большим уважением. Как в легенде о Карле Великом, одно из местных преданий уверяет, что он не умер, а обитает до поры до времени в одном из многих подземелий горных хребтов Сахиядры. Когда пробьет час освобождения (по исчислению астрологов он недалек), Сиваджи явится и снова освободит свою любимую родину.

Хитрые и ученые брамины, настоящие иезуиты Индии, пользуются этими глубоко вкоренившимися в народе преданиями, чтобы выманывать у них деньги, часто даже последнюю корову, кормилицу целых семей. Привожу курьезный пример случившегося всего месяца два тому назад происшествия. В последних числах июля 1879 года появилось послание, таинственно ходившее по рукам в Бомбее. Перевожу буквально с махратского оригинала:^[46]

«Шри!» (Приветствие – непере译имое).

«Да будет всем известно, что это послание, начертанное на оригинале золотыми буквами, снизошло в присутствии святых браминов с „Индра-лока“ (небо Индры) на алтарь храма Вишвешвара, что во святом граде Бенаресе.

Внимайте и помните, народы Индостана, Раджастхана, Пенджаба и пр. и пр. В субботу, на второй день первой половины месяца *магха*,^[47] эры Шаливагана 1809 года (то есть 1887 года), ровно через восемь лет, во время Ашвини Накшатра,^[48] когда солнце войдет в знак Козерога, а время дня станет приближаться к созвездию Рыб, то есть ровно один час и 36 минут по восходу солнца, пробьет конец калиюге и восстановится столь желанная сатья-юга.^[49] На этот раз сатья-юга продлится 1100 лет. Во все продолжение этого периода сроком человеческой жизни будет 128 лет. Дни удлинятся и будут состоять из 20 часов 48 минут, а ночи из 13 часов и 12 минут, то есть сутки станут длиться ровно 34 часа и 1 минуту. В тот знаменательный для нас первый день сатья-юги, в четыре часа и 24 минуты после восхода солнца, к нам прибудет с далекого севера новый царь, с белым лицом и златыми кудрями. Он сделается самодержавным владыкой Индии. *Майя* (иллюзия) человеческого неверия со

всеми ей подвластными ересями будет низвергнута в Патал,^[50] а *майя* достойных и благочестивых людей поселится с ними и поможет им наслаждаться жизнью в *Мрэтин-локе*.^[51] Да будет также всем и каждому известно, что тому, кто поможет в распространении сей божественной рукописи, за каждую отпустится столько грехов, сколько обыкновенно отпускается набожному человеку за пожертвование брамину ста коров. Что же касается неверующих и непомогающих нам, то они будут отправлены в *Нарак* (ад).

Передано и переписано работою бога Вишну, во храме Вишвешвара, в Бенаресе – Мадлау Шрирам, в субботу, 7-го дня, первой половины шравана^[52] 1801 года, эры Шаливагана...» (то есть 26 июля 1879 года).

Дальнейшая судьба этого невежественно-хитрого послания мне неизвестна; остановила ли полиция распространение его или нет – дело мудрых правителей. Но оно превосходно характеризует как легковерие погрязшего в фанатизме народа, так и бессовестность браминов, эксплуатирующих свою несчастную паству.

Чрезвычайно интересно в отношении названия *Патал*, буквально означающего «преисподняя», одно открытие, сделанное санскритским ученым (свами Дайанандом Сарасвати, о котором мы говорили во втором письме), особенно если оно подтвердится филологами, как это обещано фактами. Дайананд доказывает, что древние арийцы знали и даже посещали Америку, которая и называется в древних рукописях Паталом – преисподней страной, из имени которой позднее народная фантазия создала ад вроде греческого Ἅδης. Он подтверждает свое открытие изобильными цитатами из старейших писаний, особенно из легенд о Кришне и его любимом ученике Аржуне. По преданию, сам Аржуна ввел это поклонение змеям в Патале. Стечение обстоятельств и тождественность имен до того поразительны, особенно, когда мы находим их в двух совершенно противоположных странах света, что, право, стоило бы нашим ученым обратить на это внимание.

Имя жены Аржуны *Иллупль* чисто древне-мексиканское и если мы отбросим в сторону гипотезу свами, то станет совершенно невозможным объяснить себе присутствие подобного названия в санскритских рукописях задолго до христианских времен. Из всех древних языков и диалектов только между языками аборигенов Америки постоянно встречаются подобные комбинации согласных букв как *тль*, *иль* и т. д. Дайананд указывает, между прочим, на Сибирь и Берингов пролив, как на путь, пройденный Аржуной 5000 лет тому назад и приводивший его в Америку.

Далеко за полночь просидели бы мы, слушая подобные легенды, если бы содержатель гостиницы не прислал предупредить нас об опасностях, угрожающих нам на балконе, ночью, особенно в *лунные* ночи. Программа этих опасностей состояла из трех отделений: 1) змеи; 2) дикие звери; 3) дакоиты. Кроме кобры и «скалистой змеи», здешние горы изобилуют породой маленьких горных змей, известных под именем *фурзен*, самой опасной из всех пород; укушение их убивает человека с быстротою молнии. Луна привлекает их, и целые компании этих непрошенных гостей залезают на веранды домов «греться»; им тут, во всяком случае, теплее, нежели на земле. Цветущая же и благоуханная пропасть у подножия веранды оказывалась любимым местом прогулки тигров и леопардов, приходящих туда по ночам «напиться» у протекающего внизу широкого ручья, и бродящих иногда до самого рассвета под окнами бунгало. Наконец шальные дакоиты, притоны которых рассеяны по этим неприступным для полиции горам, часто стреляют в европейцев из одного лишь удовольствия отправить к праотцам ненавистного им *белляти* (иностранца). За три дня до нашего приезда жена одного брамина была унесена тигром в пропасть, а две любимые собаки коменданта, спавшие на дворе,

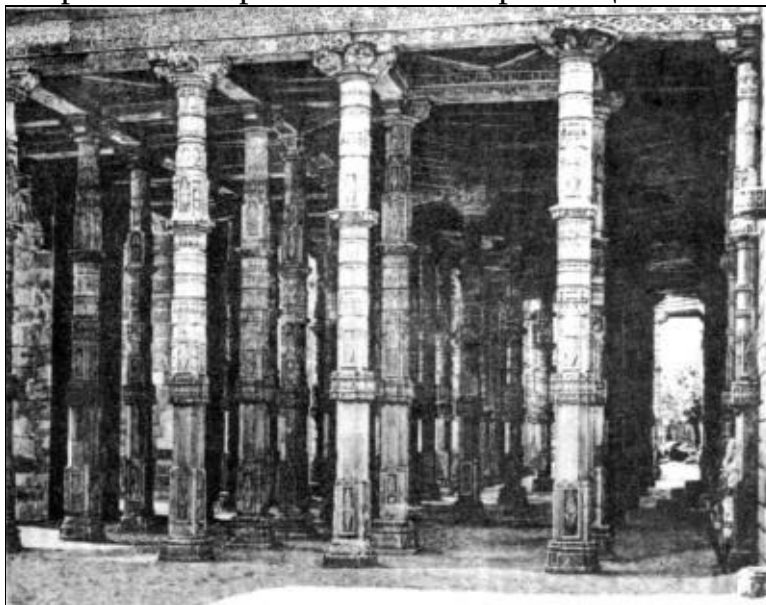
были убиты змеями. Не дожидаясь дальнейших объяснений, мы немедленно разошлись по своим комнатам. На рассвете нам предстояло ехать за 6 миль в Карли.

В пять часов утра мы уже были у подножия горы, доехав в нашей колымаге на волах до последних пределов не только экипажного, но и верхового тракта. Последнюю полмилю мы ехали по настоящему взбаломученному морю камней, а теперь оставалось лишь взлезать или скорее карабкаться на четвереньках по тропе, идущей зигзагами вверх по перпендикулярному почти склону в 900 футов высоты. Совершенно растерявшись, посматривали мы на эту историческую громадину, не зная, что делать далее. Почти на самом верху горы, под далеко нависшими скалами, зияло с дюжину черных отверстий; сотни пилигримов в праздничных одеждах ползли по склону, как разноцветные муравьи. Но тут выручили нас наши преданные друзья индусы. Один из них, приложив ладонь ко рту, закричал громким, пронзительным не то криком, не то свистом. По первому зову раздался ответный сигнал сверху; вслед за тем несколько полуголых браминов – наследственные сторожа храма, – с быстротой и ловкостью диких кошек запрыгали по скалам сверху вниз. В пять минут они уже были около нас, опутали нас ремнями и затем скорее поволокли, нежели повели, вверх. Через полчаса, измученные, но целые, мы уже стояли пред входным портиком главного храма, до той поры сокрытого со всех сторон гигантскими липами и кактусами.

Величественный, весь покрытый скульптурой портик храма (в 52 фута ширины), на четырех массивных колоннах, образующих четырехугольник, покрыт вековым мхом. Впереди портика стоит «колонна льва», так названная от четырех изваянных в натуральную величину львов, сидящих спиной к спине на четырех сторонах капители. Над главной дверью проведена огромная арка, а стены по обе стороны фасадной двери покрыты изваяниями мужских и женских фигур гигантских размеров; впереди этих фигур далеко выдвигаются из стены три колоссальные слона *en relief* с головами и хоботами. Самый храм овальной формы в 128 футов длины и 46 ширины; среднее его пространство отделено от правого и левого крыла 42 колоннами, поддерживающими круглый куполообразный потолок; за ним, отделенный от первого алтарем, находится другой купол, поменьше, над комнатой вроде потаенного святилища, служившего внутренним алтарем для древних первосвященников арийского племени. Оба ведущие к ней боковые коридора, не доходя до главного алтаря, обрываются, заставляя предполагать, что в древности здесь были или двери, или стена, которых теперь уже не существует. Все 42 колонны на высоких подножиях, восьмиугольных стержнях и богатой лепной работы на капителях, изображающей на каждой двух коленопреклоненных слонов с двумя сидящими на них фигурами, бога и богини, «самой изящной работы», говорит Фергюсон. По его мнению, храм этот, или *чаитья*, сохранился лучше всех других и древнее прочих. Он может быть отнесен к эпохе за 200 лет до Р. Х., так как надпись, разобранная Принсепом на колонне Силастамбы,^[53] гласит, что колонна льва есть жертвоприношение храму от Аджмитры Указа, сына Сахы Равизобхоти, а другая надпись указывает на посещение храма Датхамой Харой (он же и Даттагамини) царем цейлонским на 20 году его царствования, то есть 163 года до нашей эры. Д-р Стивенсон,^[54] почему-то в этом случае настаивает на 70 годах до Р. Х., уверяя, будто Карлен (Карли) построен императором Девобхути, под надзором Ксенократа (Дханукаката). Но как могло бы это быть ввиду предыдущей и, как доказано, совершенно подлинной надписи? Даже Фергюсон, этот известный защитник египетских древностей и враг древностей Индии, положительно доказывает, что Карли принадлежит к постройкам III века до Р. Х., добавляя при том, что «расположение отдельных частей архитектуры его совершенно тождественно с архитектурой хоров готического круглого или со многоугольными апсидами собора».

Над главным храмом еще два выдолбленные в скале яруса; в каждом из них открытая во всю

ширину галерея с толстыми резными колоннами, а из галереи идут внутрь горы большие залы-кельи и внезапно оканчивающиеся по-видимому глухую стеной коридоры, иногда очень длинные, но теперь бесполезные. Сторожа и хранители святилища либо сами утратили тайну входов, ведущих далее, либо ревниво скрывают ее от европейцев.



Один из храмов

Кроме главной, есть множество меньших *вихар*, или храмов-монастырей, еще древнее первой, как полагают археологи, рассеянных по склону горы; но какому именно веку или эпохе принадлежат они, о том не знает никто, кроме немногих браминов, да и те молчат. Вообще говоря, положение археологов в Индии весьма грустное: массы народа, погруженные в невежество, не могут, конечно, оказать им какой-либо помощи, а ученые брамины, посвященные во все тайны потаенных библиотек в пагодах, молчат и стараются всеми силами препятствовать разысканиям археологов. Да и трудно и даже несправедливо было бы обвинять в этом браминов после всего случившегося. Горький опыт в продолжение долгих столетий научил их, что их единственное спасение – в осторожности и недоверчивости, иначе и национальная история и драгоценнейшие их святыни давно пропали бы бесследно. Политические перевороты, мусульманские нашествия, столько веков терзавшие Индию и потрясшие эту страну до самого основания, всеразрушающий фанатизм мусульманских вандалов, католические падре, пускающиеся на всякие хитрости, лишь бы завладеть рукописями, а затем уничтожить их, все это более чем оправдывает браминов. Несмотря, однако же, на вековые разрушения, до сих пор в разных местах Индии имеются обширные библиотеки, доступ куда пролил бы яркий свет не только на древнюю историю самой страны, но и на самые темные гипотезы всемирной истории. Некоторые из этих наполненных драгоценными рукописями библиотек находятся во владении туземных принцев и подвластных им пагод; но большая часть в руках джайнов (самой древней секты) и такуров Раджпутаны,^[55] старинные, наследственные замки которых разбросаны по всему Раджастхану, как орлиные гнезда, на вершинах скал. Знаменитые коллекции в Джайсалмере и Патане известны, но недоступны правительству. Рукописи написаны на древнем и давно забытом языке, понятном лишь великому первосвященнику и его посвященным библиотекарям. Один толстый фолиант считается до того священным и неприкосновенным, что он повешен на тяжелой золотой цепи среди храма Чинтамуна в Джайсалмере (столице Раджпутанской пустыни) и снимается только для обчистки и нового переплета с каждым

восшествием нового понтифика. Это сочинение известного в истории Сомадиты Суру Ачарьи, великого первосвященника до мусульманского нашествия. Мантия его сохраняется до сих пор в храме и в нее облачается при посвящении каждый новый первосвященник. Тод, живший столько лет в Индии и приобретший любовь народа и браминов, какой ни один англичанин не добился и не добьется, человек, привязавшийся к этому народу всеми силами души и написавший об Индии единственную правдивую историю,^[56] не мог получить дозволения даже дотронуться до фолианта. Молва идет, что ему предложили принять веру этой секты, обещая в таком случае посвятить его во все таинства. Страстный археолог, он чуть было не решился на это, но, принужденный по болезни ехать в Англию, умер, не успев вернуться в свое второе отечество. Таким образом тайна этого нового тома Сивиллы остается доселе неразгаданной.

То же рассказывают и о Карли, его библиотеках и подземных ходах. А между тем археологи даже не в состоянии определить, кем построен этот древний храм, буддистами или браминами. Огромная *дагхона* (алтарь), закрывающая от взоров прихожан находящееся за нею святилище, похожая на низкий минарет с куполом, осенена грибообразною крышей, называемую археологами зонтиком, как фигуры Будды и китайских мудрецов. Но шиваиты, во владении коих находится теперь Карли, уверяют, будто это приземистое здание, похожее на барабан с куполом, есть *лингам* Шивы. К тому же и лепная работа, и вырезанные в скале изваяния богов и богинь не допускают мысли, что этот храм есть произведение буддистов.

«Мое замечание, что пещеры *чаиты* как бы мгновенно достигли высшего совершенства в архитектурном и скульптурном смысле, относится в особенности к этому пещерному храму (Карли)», пишет Фергюсон. «Возьмем ли мы нашим путеводителем Махавансу или надписи царя Ашоки, как тот, так и другой выбор приводит нас к одному и тому же результату. Очевидно, что эта страна (Декан) под именем Махараштханы (в рукописях Махавансы, а в надписях – Питеники) есть та самая необращенная земля, куда Ашока на десятом году своего царствования посылал миссионеров Будды; поэтому, если допустить это исчисление, то между обращением страны и сооружением этого великолепного памятника прошло не более одного века. В *вихарах* Карли, как и в других таких же, принадлежащих к той же эпохе, нет ничего такого, что не могло бы быть изваяно из натуральной пещеры того же времени; но в храме Карли мы видим такое смешение стилей и такое совершенство работы, что находимся более чем когда-либо в затруднении. Что такое этот памятник древности? Храм ли то браминов или буддистов? Выстроен ли он по плану, начертанному после смерти Шакьи Синги, или это есть принадлежность еще более древней религии? Наконец, если мы правы, полагая, что рытье пещер началось только после царствования Ашоки (в III веке до Р. Х.),^[57] то для чего же, в то время как другие *вихары* (за исключением, впрочем, десятков иных, как Элефанта, Аджунта, Каннери и пр., которые Фергюсон старается придвинуть по возможности ближе к нашим временам) так малы и ничтожны, был предпринят подобный громадный труд прорытия скалы и сооружены именно этого храма?»



В буддийском пещерном храме

«That is the question».^[58] Если Фергюсон, вынужденный фактическими доказательствами надписей допустить древность Карли, все-таки станет утверждать, что Элефанта гораздо современнее, то ему едва ли когда-либо удастся выпутаться из этой дилеммы, так как стиль архитектуры тот же, а скульптурная работа еще грандиознее. Приписывать храмы Элефанты и Каннери буддистам, а затем относить их постройку к IV и V, а другую к X столетиям нашей эры, значить навязывать истории странный и ни на чем не основанный анахронизм. После I века по Р. Х. в Индии не оставалось ни одного влиятельного буддиста; разбитые и преследуемые браминами, они бежали тысячами на Цейлон и за Гималаи. Со смертью царя Ашоки буддизм стал быстро распадаться, и в Индии его совершенно вытеснил теократический брахманизм. Гипотеза Фергюсона, что изгоняемые с материка последователи Шакьи Синги, вероятно, искали убежища на окружающих Бомбей островах, также едва ли может выдержать критический анализ. Элефанта и Сальсета под боком Бомбея (всего в двух и пяти милях) наполнены древними храмами индусов. Возможно ли предположить, чтобы брамины, более чем когда-либо в силе пред периодом, предшествовавшим мусульманскому нашествию, фанатики и смертельные в ту эпоху враги буддистов, дозволили ненавистным им еретикам строить буддистские пагоды не только в своих владениях вообще, но в «Харипури» в особенности, на острове их священного «города пещерных храмов»? Не нужно быть ни специалистом-архитектором, ни великим археологом, чтобы с первого же взгляда убедиться в том, что храм Элефанты, например, есть работа циклопов, требующая столетий, а не годов. В то время как в Карли все выстроено и высечено по строго обдуманному плану, в Элефанте как бы тысячи разных рук, задаваясь каждая своим планом и следуя собственной идее, созидали каждая в свое время. Все три пещеры, например, выдолблены внутри твердой порфировой скалы: как средний большой, так и два боковые храма. Первый храм, почти квадратный (130 $\frac{1}{2}$ ф. длины и 130 ширины), имеет 26 толстейших колонн и 16 пилястр. Некоторые колонны отстоят друг от друга на 12, другие на 16 футов, на 15 и три вершка, на 13 и два вершка и так далее. Таковую же разницу мы находим в пьедесталах колонн, где каждая разнится украшениями и чистотой работы от другой. Так почему же, спрашивается, не обратить внимания на объяснения браминов? Они говорят, что храм был задуман и начат сыновьями Панду, после «великой войны» *Махабхараты*, и что они завещали всем верующим продолжать работу по своему усмотрению. Затем храм строился целые три века. Желаящий искупить свои грехи приносил резец и работал; часто многие из членов царских

фамилий и сами цари лично принимали участие в труде...^[59] Если храм был мало-помалу заброшен, то это потому, что люди предыдущих и нынешнего поколения сделались слишком недостойными посещать подобное святилище.

Ярмарка была в самом разгаре, когда мы, окончив наши визиты в кельи, облазив все ярусы и осмотрев знаменитую «залу бойцов», спустились вниз не по лестницам, от которых не осталось и следа, а как спускаются ведра в колодцы – на веревках. До трех тысяч народа собралось из соседних сел и городов. Женщины, разукрашенные до пояса, в блестящих *сары*, с кольцами в ноздрях, ушах, губах и всюду, где только можно их прицепить, с гладко зачесанными назад блестящими от кокосового масла волосами, цвета воронова крыла, с синим оттенком, косы коих были украшены пурпуровыми цветами, посвященными Шиве и Баване, женской половине бога. Перед храмом образовались ряды лавочек и палаток, где продавались все принадлежности обычных жертвоприношений: ладан, ароматические травы, сандаловое дерево, рис и *гулаб*, красная краска в порошке, которым они мажут идолов и затем собственные физиономии. Факиры, байраги, госсейны, весь штат нищенствующей братии прохаживались в толпе; обвитые четками, с обмазанными синеватою сажей лицами и телом, с их длинными, включенными волосами, собранными на макушке в чисто женский шиньон, они со своими бородатыми физиономиями представляли пресмешное подобие голых обезьян. Некоторые из них, вследствие самобичевания, были страшно изранены. Были тут и *буни* – змее-чародеи, с целыми десятками кобр, фурзенов и змей вокруг пояса, шеи, рук и ног – модель, достойная кисти художника, желающего изобразить мужскую «фурию». Особенно отличался между ними один *джадугар* (колдун), обвивший себе голову кобрами как чалмой; раздув капюшоны и подняв свои зеленые, листообразные головы, кобры безостановочно шипели – шипением, напоминающим тяжелое дыхание умирающего; оно слышно за сто шагов. Быстро высовывая тонкое жало,^[60] они сверкали маленькими злыми глазками на всех проходящих... Между прочим, вот что случилось: передаю факт так точно, как происходил, безо всяких объяснений и собственных гипотез, а прямо предоставляя разгадку проблемы натуралистам.

Надеясь, вероятно, на заработок, *буни* в змеиной чалме прислал к нам мальчика, предлагая показать, как он очаровывает змей. Не желая терять случая, мы согласились. Не стану распространяться обо всех штуках и фокусах, какие нам удалось видеть; перейду прямо к главному факту. Вынув *вагуду* (род дудки из бамбука), *буни* сперва погрузил змей в каталептический сон. Наигрываемая им мелодия, тихая, медленная и чрезвычайно оригинальная, усыпила было и нас самих: по крайней мере, всех нас вдруг стало непреодолимо клонить ко сну безо всякой видимой причины. Из этого полунетаргического состояния мы были вырваны нашим приятелем *Гулаб Сингом*, который, нарвав какой-то травы, советовал нам натереть ею крепко виски и веки. Затем *буни* вынул из грязного мешка что-то вроде круглого камешка, похожего на рыбий глаз или черный оникс с белой крапинкой посередине, величиной с наш гривенник. Он уверял, что кто купит этот камень, тот «очарует» им какую угодно кобру (на других змей камень не действует), мигом парализуя и под конец усыпляя ее: к тому же это единственное, по его словам, спасение против укушения кобры; следует только немедленно приложить этот талисман к ране, к которой он тут же и пристанет так крепко, что его нельзя будет оторвать; затем, высосав весь яд, камень отпадает сам собою, и тогда минует всякая опасность...

Буни между тем стал дразнить своих змей. Выбрав громадную кобру, футов в 8 длины, он раздражил ее до бешенства: обвив хвостом пень, она поднялась на дыбы и стала страшно шипеть.^[61] Наконец она укусила *буни* за палец, на котором вскоре показалось несколько капель крови. У толпы вырвался единодушный крик ужаса. Но *буни* не торопясь приклеил к пальцу свой камешек, который и пристал к нему как пиявка, и затем стал продолжать свои

представления. «У змеи мешок вырезан», заметил полковник из Нью-Йорка; «это просто фарс...» Как бы поняв замечание, буни, после небольшой борьбы в ловкости, поймал кобру за шею одной рукой, а другою всунул ей в рот сломанную спичку, установив ее перпендикулярно между двумя челюстями так, что они остались разинутыми; затем он стал подносить змею к нам поочередно, указывая на убийственную железку с ядом. Но полковник сдался не сразу. «Мешок там, а яду быть может и нет. Почему мы знаем?» Принесли живую курицу и, связав ей ноги, положили возле змеи. Но та отвернулась от жертвы и грозно шипела на буни. Тогда, просунув между связанных лап курицы палку, буни стал снова дразнить кобру, пока та, наконец, не укусила несчастную птицу. Слабо закудахтала жертва, встрепенулась раз, другой и окоченела. Смерть была мгновенная...

Вслед за этим произошло нечто столь странное, что можно быть заранее уверенным, что мой рассказ восстановит против себя всех петербургских и московских антиспиритов и критиков. Но *факты*, даже вследствие самой убийственной критики, не могут перейти в область фикции, а так и останутся фактами. Змея мало-помалу дошла до такого исступления, что видно было, как самому *джадугару* становилось опасно приблизиться к ней. Как бы приклеенная хвостом ко пню, она металась во все стороны передним телом, стараясь укусить что ни попадало. В нескольких шагах от нас показалась собака, и на нее-то теперь буни устремил все свое внимание. Скорчившись на земле, на благоразумном расстоянии от бесновавшейся кобры, он вперил в собаку неподвижный, стеклянный взор и стал напевать что-то сквозь зубы. Собака сразу обнаружила признаки беспокойства: поджав хвост, она было полуобернулась, чтоб уйти, но осталась как бы прикованною к земле. Через несколько секунд собака стала ползти на животе по направлению к буни, все ближе и ближе, слабо визжа и не сводя с него глаз, словно очарованная... Я поняла мысль чародея, и мне стало ужасно жаль бедной собаки; мне хотелось как-нибудь спасти ее, разрушить это влияние. Но, к ужасу моему, я почувствовала, что у меня самой язык как бы прилип к гортани, и что мне невозможно было не только встать, но и пошевелить пальцем. Эта дьявольская сцена продолжалась, к счастью, недолго. Медленно ползя, собака уже была на пол-аршина от кобры: в одно мгновение со страшным шипением змея кинулась на нее и укусила в голову... С жалобным визгом животное упало на спину, задрогало ногами и менее чем в минуту издохло. Сомневаться в присутствии яда в мешочке становилось более невозможным. Между тем камешек отпал от ранки, и колдун стал всем показывать свой заживший палец, на котором чуть краснел укол не более как в булавочную головку. Поставив всех своих змей на хвосты и держа камешек между большим и указательным пальцами, он стал показывать влияние на них своего талисмана. По мере приближения пальцев к головам змей, те подавались всем телом назад; упершись глазами в камень, они дрожали, наклонялись все ниже и ниже, пока наконец не падали наземь усыпленные... Затем он предложил скептическому полковнику сделать лично опыт. Несмотря на наши предостережения, этот немедленно согласился, выбрав для первого эксперимента большую кобру. Вооруженный *камнем*, полковник храбро подошел к ней и поднес его к голове змеи. Сперва, раздув капюшон, она сделала движение, чтобы кинуться на него, но вдруг остановилась как бы вкопанная и, закинув голову назад, вперила глаза в камешек, которым тот медленно водил по всем направлениям, приближая его постепенно ко лбу змеи и заставляя ее крутиться на хвосте. От страха мы положительно не смели двигаться. Когда же камень, а вместе с ним и пальцы полковника приблизились на полвершка от головы змеи, она вдруг зашаталась всем телом и во все стороны, как пьяная; шипенье делалось все слабее, капюшон повис по обеим сторонам шеи; глаза стали закрываться. Склоняясь все ниже и ниже, змея наконец упала наземь, как надломленный сучок дерева, и в свою очередь заснула...

Только тогда мы вздохнули свободно. Отведя колдуна в сторону, мы пожелали купить у него

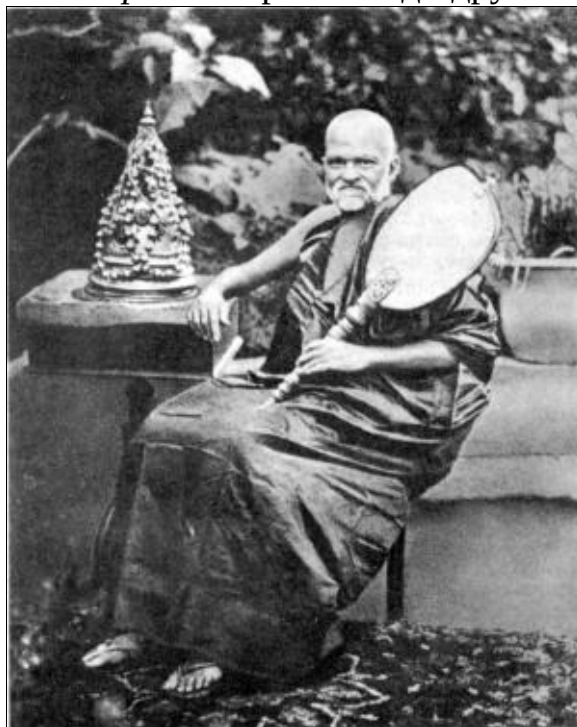
камень, на что он, к нашему удивлению, тотчас же согласился, запросив две рупии. Талисман перешел в мою собственность и в настоящее время находится у меня в сохранности. Буни уверяет (а наш приятель индус подтверждает), что это не камень, а нарост. Его находят в нёбе у кобры, у одной из ста, между костью верхней челюсти и кожей, покрывающей нёбо. Камешек этот не прикреплен к черепу, а висит отдельно на жилке и может быть вынут посредством простого надреза кожи; но вслед за этою операцией кобра умирает. По словам Бишу-Натха (имя нашего колдуна), подобный во рту нарост делает из владеющей им змеи нечто вроде царя между кобрами». Такая кобра все равно что брамин, дважды рожденный брамин между шудрами ^[62] (говорил буни), и другие кобры повинуются ей. Затем буни предложил поймать другую собаку, что и было сделано: змея укусила ее, а он приложил к ранке камень; собака даже и не заметила укушения, оставаясь очень спокойною, пока он не отнял камня от раны. Прощаясь с нами, буни советовал держать «талисман» в сухом месте и остерегаться оставлять его поблизости мертвого тела, или же оставлять при свете во время солнечного и лунного затмения, иначе он потеряет силу. Затем, в случае укушения бешеной собакой, стоило только положить «камень» в стакан с водой и оставить его в ней на ночь; на другой же день дать больному выпить эту воду, и он выздоровеет.

– Это черт, а не человек! – воскликнул полковник, когда буни ушел в направлении к святилищу Шивы, куда нас, впрочем, не пустили.

– Такой же смертный, как и мы с вами, – заметил, улыбаясь, *раджпут*, – и даже очень невежественный. Только, как почти все эти *serpent charmers*, ^[63] он воспитан браминами во храме Шивы, великого патрона всех змей; там их учат разным «месмерическим фокусам» *практически*, не объясняя им ровно ничего, с целью, чтоб они верили, что все это производится Шивой, которому они, конечно, и приписывают всю честь своих чудес.

– Но ведь правительство давно уже предлагает премию в несколько тысяч рупий за противоядие от укушения кобры. Почему же они не являются за премией, когда каждый год погибает столько народу?

– Брамины никогда не допустят их до этого. Если бы правительство потрудились вникнуть серьезнее в статистику смертных случаев от укушения змей, то оно нашло бы, что *ни один индус из секты Шивы не умирал еще от кобры*. Умирают люди других сект, а своих они спасают.



– Но ведь вот же он нам, незнакомым, и вдобавок иностранцам, открыл секрет. Почему же англичанам не воспользоваться им?

– Потому что для европейцев он совершенно бесполезен. Индусы и не скрывают этого противоядия, ибо знают, что без них никто не в состоянии им воспользоваться. «Камень» сохраняет свою силу лишь при условии быть вынутым из *живой* кобры. Чтобы поймать эту змею живую, необходимо сперва погрузить ее в летаргический сон или, как это называется, «очаровать» ее. Кто из иностранцев способен на это? Даже между индусами, за исключением воспитанников шиваитских браминов, не найдется ни одного во всей Индии человека, владеющего этим секретом древности. Одни брамины Шивы, да и то далеко не все, а только исключительно принадлежащие к школе лже-Патанжали, к школе так называемых аскетов *бхутов* (демонов), имеют монополию. Во всей стране осталось лишь с полдюжины таких школ-пагод, рассеянных по всем пунктам Индии, а их обитатели скорее расстанутся с жизнью, чем выдадут тайну.

– Мы заплатили две рупии за камень, который в руках полковника оказал такое же влияние, как и в руках буни. Разве так трудно скупать запасы подобных камней?

Наш приятель засмеялся.

– Через несколько дней талисман в ваших неопытных руках потеряет всю свою целительную силу. Он оттого-то так дешево и продал вам его, и в эту минуту, вероятно, приносит свой ловкий обман в жертву пред алтарем своего божества. За одну неделю целительного свойства вашей покупки ручаюсь; затем вы можете его смело выбросить за окно.

Мы скоро убедились в истине сказанных слов на деле. Укушенная на другой же день зеленым скорпионом девочка каталась в последних судорогах. Как только мы приложили к ране камень, ребенок получил немедленное облегчение, а через час уже весело играл, тогда как в случае укушения даже простым черным скорпионом люди болеют по две недели. Но когда дней *через десять* после того в Аллахабаде мы пожелали испробовать силу «камня» над бедным кули, которого только что ужалила змея (тут же убитая кобра), талисман наш даже и не пристал к ране, а через час несчастный умер.

Я не берусь ни объяснять, ни защищать свойство «камня»; я просто заявляю факт, оставляя его дальнейшую судьбу на произвол судьбы и господ скептиков. Но и в этом мне легко найти много живых свидетелей в Индии. Когда д-р Файрер, только что издавший в свет свое известное во всей Европе сочинение о змеях Индии *Thanatophidia*, категорически заявил в нем о своем неверии во все эти пресловутые средства «фокусников» Индии, то случилось следующее. Его повар через неделю или две по появлении его ученого сочинения между англо-индийцами был укушен коброй. Проходивший мимо дома буни вызвался спасти несчастного. Именитый натуралист уже приготовился было приказать вытолкать буни за порог, как майор Келлей и другие офицеры упростили его «попробовать». Презрительно махнув рукой и объявив, что через час его повара все-таки не станет, доктор согласился. *Через час* повар стряпал почтенному ученому и его гостям обед на кухне, а сам профессор чуть было не кинул свое новое сочинение в огонь...

День становился страшно знойным; солнце накалило скалы до такой степени, что они жгли ноги даже сквозь толстые подошвы. Мы решились уйти домой, то есть в нашу прохладную пещеру, находившуюся шагах в шестистах от большого храма.

Пройдя портик у главного входа, мы заметили стоящего отдельно от толпы молодого человека, поразившего нас своею идеальной красотой. То был член секты *садху*, «кандидат во святого», как выразился один из нашей компании.

Эти *садху* отличаются от прочих сектантов. Они не ходят нагими, не покрывают тела мокрою золой, не носят отличительных знаков на лице и лбу и не поклоняются идолам. Принадлежа к строгой секте адвайти школы веданты, они признают лишь Парабрахму (великого духа). Одетый в довольно приличную светло-желтую кисейную рубашку без рукавов, с длинными распущенными волосами, *садху* стоял с непокрытою головою, опершись локтем на корову, с выросшею у ней из горба «пятою ногой». Это удивительное произведение природы обмахивалось своею пятою ногой, словно рукой, чеша голову копытцем и хлопая им по ней мух. Приняв сперва этот запасный член за фокус, мы очень недоверчиво смотрели как на него, так и на красивого обладателя коровы; но, подойдя ближе, мы убедились, что то действительно была игра шаловливой природы, а не хитрость человека. Мы узнали от хозяина, что это животное было подарено ему магараджей Холькаром и уже два года кормило его своим молоком, единственной его пищей.



Браминская семья. Глава семьи в молебном костюме.

Садху – ученики и последователи *раджа-йога* обыкновенно секты ведантистов (как уже сказано выше), то есть посвященных мистиков, совершенно отрешившихся от света и ведущих целомудренную жизнь монахов; они не отличаются каким-либо особенным костюмом, кроме белого тюрбана и длинных волос. Между *садху* и *буни* (учеников шиваитов) существует смертельная вражда, выражающаяся с одной стороны молчаливым презрением, а с другой – неудачными со стороны *буни* попытками стереть *садху* с лица земли. Эта неприязнь напоминает антагонизм «света и тьмы», нечто вроде дуализма Ахура-Мазды и Аримана у последователей Зороастра. На первых народ взирает как на магов, сынов солнца и божественного начала; на вторых – как на опасных колдунов. Наслышавшись о репутации первых и их «чудодейных» способностях, сгорая любопытством увидеть на деле приписываемые им (даже многими англичанами) чудеса, мы очень просили *садху* навестить нас вечером в нашей вихаре. Но красивый аскет наотрез отказался, под предлогом, что мы поселились в храме

идолопоклонников, одна атмосфера которых действует на него неприязненно. Видя его непреклонность, мы было пробовали предложить ему денег, но он решительно от них отказался, и мы ушли.



Группа учеников махатм, среди которых полковник Олькотт и Е.П. Блаватская

Тропинка, или скорее выем на почти перпендикулярной стене скалы к нашей вихаре, ведет от главной пещеры вдоль обрыва в 900 футов глубины. Требуется верный глаз, твердая поступь и очень крепкая голова, чтобы при малейшем неосторожном шаге не скатиться в пропасть; тут посторонняя помощь почти бесполезна, так как по этому выему (около двух футов ширины) идти двум особам рядом положительно невозможно. Пришлось пробираться гуськом, призывая на помощь все имеющееся налицо присутствие духа; у некоторых же из нас этот дух находился в бессрочном отпуску. Особенно неприятно было положение нашего американского полковника, весьма полного, близорукого почти до слепоты и, вследствие этого, страдающего головокружением. В виде слабого утешения, мы было затянули хором дуэт из *Нормы* «*Moriam insieme*»... и для вящей уверенности, что смерть либо минует всех, либо мы все четверо «умрем вместе», крепко держали друг друга за руки – гуськом; однако полковник нас заставил-таки сильно перетрусить за него. Мы были уже на полдороги, как вдруг он, оступившись, зашатался, внезапно вырвал руку из моей руки и – покотился вниз... Держась все трое одною рукой за кусты и скалы, мы даже не успели поддержать его другою. Вырвавшийся у нас единодушный крик ужаса замер с первой секунды, когда, обернувшись лицом к пропасти, мы увидели, как, наткнувшись по склону шагах в шести под нами на деревцо, он повис на нем обеими руками и ногами. К счастью, мы знали его за хорошего гимнаста, владеющего к тому же замечательным хладнокровием. Но минута была критическая: тонкий ствол мог каждую минуту сломаться, и наш полковник полететь в бездну. Мы уже стали было кричать о помощи, как вдруг, будто выросши из недр горы, нам предстал таинственный садху со своею коровой...

Оба шли футах в двадцати под нашими ногами, по невидимым выступам скал, где, казалось, негде было укрепить и детской ноги – шли также беспечно и уверенно, как если бы вместо отвесной скалы они шли по широкой шоссейной дороге. Подняв голову, садху закричал висевшему над его головой полковнику держаться крепче, а нам не трогаться с места. Ласково потрепав «пятиногую» по шее, он снял с нее веревку, все время тихо напевая что-то вроде

«мантры»; затем, взяв ее обеими руками за голову, направил ее в нашу сторону и, защелкав языком, спокойно сказал ей: «чал!» (иди!) В одно мгновение, запрыгав, словно дикая коза, вверх по скалам, корова очутилась немного впереди нас, где и стала на тропинке, как вкопанная. Сам же *садху*, по-видимому, с такую же ловкостью полез к дереву, и обмотав полковника веревкой за пояс, сперва поставил его на ноги, а затем, поднявшись выше на тропинку, одним взмахом сильной руки втащил его за собою, немного бледного и потерявшего лишь свое *rinse-pez*, но отнюдь не присутствие духа.

Происшествие, грозившее было окончиться трагедий, заключилось комедией.

Солнце уже склонялось к западу и становилось опаснее, чем когда-либо, терять время. «Через несколько минут станет темно, и тогда мы все погибнем», заметил секретарь полковника, Эдвард У****. Между тем наш *садху*, не понимавший, по-видимому, ни слова по-английски, опутав снова шею своей коровы веревкой, стоял неподвижно на повороте тропинки. Его высокая, тонкая фигура, возвышаясь над пропастью, словно висела на воздухе; одни развевающиеся по ветру длинные черные волосы заставляли помнить, что пред нами стоит живой человек, а не великолепное бронзовое изваяние. Забыв только что миновавшую опасность и наше положение, мисс Б., художница по призванию и страстная почитательница всего артистического, громко воскликнула: «Вы только взгляните на этот чисто греческий, величественный профиль!.. Посмотрите на позу этого человека... Как он весь отделяется на золотисто-голубом фоне неба. Это греческий Адонис, а не индус»... Но «Адонис» первый прервал этот восторг. Он медленно повернулся к нам, взглянул мельком, не то кротко-насмешливым, не то презрительным взором на выпучившую на него глаза мисс Б****, и произнес своим тихим певучим голосом на языке хинди:

– Маха-саиб (великий саиб, господин) не может идти далее без помощи чужих глаз; его глаза – враги саиба. Пусть саиб сядет на мою корову; она никогда не оступится...

– Чтоб я сел верхом на корову, да еще вдобавок и пятиногую? никогда! – воскликнул бедный полковник с таким растерянным видом, что мы все покатались со смеху.

– Лучше саибу сидеть на корове, нежели лежать на читте, ^[64] – серьезно и также кротко заметил *садху*. – Зачем приближать час, который еще не пробил?

Делать было нечего, и мы наконец уломали полковника. Осторожно и ловко посадив его на корову и посоветовав держаться покрепче за ее пятую ногу, индус повел ее на веревке вперед, а за ним поплелись и мы.

Через минуты две мы уже стояли на крытом крыльце или – по-здешнему – веранде, идущей глубоко внутрь скалы вихары, где и нашли наших вернувшихся другою тропинкой индусов. Рассказав им о происшествии, мы повернулись, ища глазами *садху*. Но он уже успел исчезнуть со своею коровою...

– Не ищите его, он ушел другою, одному ему известною дорогой, – небрежно заметил Гулаб Синг. – В вашей благодарности он вполне уверен, а денег ваших ему не нужно. Он *садху*, а не *бун*, – добавил он с гордостью.

Мы вспомнили, что наш гордый приятель сам принадлежит к секте *садху*. ^[65]

– Кто знает, – шепнул мне полковник, – быть может и правда, что о нем говорят?

В главной зале вихары, в трех стенах которой были прорыты двери в 12 меньших келий, находилось высеченное в скале в натуральный рост изображение *Бавани* (богиня Шивы). Из утробы «деваки» струились чистые, прохладные воды горного родника, падавшие в бассейн у ног ее. Кругом лежали кучи жертвоприношений: цветы, рис, бетель и ладан. Там было так сыро, что мы предпочли остаться ночевать на воздухе. Таким образом мы провели эту ночь на веранде, висая, можно сказать, между небом и землей, освещаемые снизу огнями пылавших костров, зажженных слугами Гулаб Синга на страх диким зверям, а сверху – светом полной луны. Эта

обстановка, ужин в чисто-восточном вкусе, на полу, на разостланных коврах и на толстых банановых листьях вместо тарелок; скользкие неслышными шагами, как немые тени, босые служители в белых кисейных драпировках и красных тюрбанах; пред нами беспредельная глубь, теряющаяся в волнах лунного сияния, а за нами темные своды вековых пещер, вырытых неизвестною расой, в неведомые времена и неведомо в честь какой доисторической религии, – все это переносило нас в непривычный мир, в другие далекие эпохи... Вот пред нами сидят пять представителей пяти различных народов, пяти совершенно разных типов и в пяти разнообразных костюмах. Все пятеро известны в этнографии под генерическим названием *индусов*, вроде того как орлы, грифы, ястреба, коршуны и совы известны в орнитологии за «хищных», но представляют между собою такую же разницу. Каждый из этих пяти собеседников – раджпут, бенгалиец, мадрасец, сингалезец и махрат – потомок рас, о началах и происхождении которых европейские ученые спорят уже более полувека, не приходя ровно ни к какому между собою соглашению. Несмотря ни на что, показания самих народов отвергаемы по большей части потому только, что они не гармонируют с предвзятыми понятиями; смысл древних рукописей их перевернут и факт отдан в жертву фикции, коль скоро последняя исходит из уст неких излюбленных оракулов. Невежественный народ часто обвиняется в суеверии по той лишь причине, что создает себе вымышленных идолов в мире духовном; а между тем образованный мир, мир жаждущий познаний, мир просвещенный, поступает в отношении к своим авторитетам еще глупее обвиняемого им народа. Предоставив полдюжине увенчанных лаврами ученых право извращать факты по-своему, выводить собственные заключения по личному усмотрению, он побивает камнями каждого, кто осмелится восстать против резолюции этих якобы непогрешимых специалистов, называя его невеждой и глупцом. Вспомним, например, случай с Луи Жаколио, прожившим двадцать лет в Индии, изучившим в совершенстве язык и страну и смешанным однако же с грязью Максом Мюллером, чья нога никогда не была в Индии.

Самые древние народы Европы являются ребятами, еле вышедшими из пеленок в сравнении с племенами Азии, особенно в Индии. И, Боже мой, как жалки и бедны кажутся генеалогии самых старинных европейских фамилий сравнительно с генеалогией некоторых раджпутских семейств! По мнению полковника Тода, более двадцати лет изучавшего их на месте в Раджастхане, эти родословные, ведущие свои записи от 1000 до 2200 лет до Р. Х. и подтверждаемые во множестве случаев греческими писателями, являются самыми совершенными и самыми безошибочными между родословными всех древних народов. После долгих и тщательных разысканий и сравнений с ними *Пуран* и разнообразных надписей на памятниках, Тод пришел к заключению, что в одних рукописях Удайпурского архива (ныне уже кем-то припрятанных) найдется ключ не только к истории Индии, но и ко всемирной древней истории. Вот что, между прочим, говорит он по этому поводу: «Дабы отыскать этот ключ, мы не должны следовать легковерному примеру многих археологов, незнакомых с Индией и потому воображающих, будто истории Рамы, Махабхараты, Кришны и пяти братьев Панду суть одни лишь „аллегии“. Тот, кто пожелает серьезно вникнуть в их легенды, очень скоро убедится, что эти так называемые „басни“ все до одной основаны на фактах истории, доказательством чему служат потомки их героев, племена, древние города и до сей поры существующие монеты. Разберем сперва надписи на колоннах *Инды-Престхы*, *Пураса* и *Мевара*, на скалах *Джунагура* в Биджоли, на *Аравули* и в древних, рассеянных по всей Индии джайнских храмах, где мы находим столько надписей на языке, до сей поры нам неизвестном языке, в сравнении с которым самые иероглифы являются игрушкой, – и только тогда мы получим право выразить наше окончательное мнение».

А между тем профессор Макс Мюллер, который, как сказано выше, никогда и не заглядывал в Индию, судит и рядит и устанавливает для нее хронологические таблицы по собственному

усмотрению. Европа, принимая его слово за слово оракула, беспрекословно подчиняется его решениям. Et c'est ainsi que s'écrit l'histoire...^[66] Говоря о хронологии почтенного немецкого санскритолога, не могу утерпеть, чтобы не показать (хоть бы России), на каких хрупких началах основаны все его ученые доводы и как мало мы можем придавать веры его исчислениям, когда дело идет о давности той или другой рукописи. Быть может, что в этом поверхностном описании Индии, не имеющем ни малейшей претензии на ученость, сказанное мною покажется не идущим к делу; но в России, как, впрочем, и во всей Европе, об этом филологическом светиле судят лишь по знакам восклицания и одобрения его подобострастных последователей, а *Веда-Бхашии*, например,^[67] свами Дайананда не читают, да может никогда и не слышали об этом сочинении, что профессору Макс Мюллеру, конечно, весьма на руку. Постараюсь передать суть дела как можно короче.

В своем санскритском сочинении *Sahitya Grantha* профессор Макс Мюллер, указывая, что арийское племя в Индии приобрело свои понятия о Боге постепенно и чрезвычайно медленно, желает этим доказать, что *Веды* совсем не такое древнее писание, как это утверждают некоторые из его коллег. Представив затем более или менее веские доказательства и подтверждение этой новой теории, он заключает их неопровержимым, по его мнению, фактом, указывая в *Мантрах* на слово *hirannya-garbha*, которое он переводит словом «золото», и при этом добавляет, что так как отдел *Вед*, называемый *Chanda*, появился 3100 лет тому назад,^[68] то отдел *Мантр* не мог быть написан ранее 2900 лет. При этом он рассекает филологически и хронологически *Мантру* («*Agnihī Poorwebhīhi*» etc.), в которой он находит выражение *hirannya-garbha* и затем торжественно уличает оное в анахронизме: «о *золоте* древние народы не имели никакого понятия (говорит он), стало быть, если в *Мантре* говорится о *золоте*, то эта *Мантра* сочинена и эпоху сравнительно современную» и пр.

Но тут именитый санскритолог сильно обрывается. Свами Дайананд доказывает, а за ним и другие ученые пандиты и даже самые ему неприязненные подтверждают, что Макс Мюллер совершенно не понял значения термина «*Hirannya*». Первоначально оно вовсе не означало, а в соединении со словом *garbha* и теперь не означает «золота» – слова современного и не существующего на старом санскритском языке *Вед*. Таким образом, все блестящие доводы профессора так и пропадают даром; слово *Hirannya* в этой *Мантре* должно переводить «божественный свет», символ познания (в мистическом смысле), подобно тому, как у алхимиков «свет» назывался *сублимированным золотом*, из лучей которого они надеялись составить объективный металл. А в соединении со вторым словом – *Hirannya-garbha* (буквально *светозарное чрево*), означает в *Ведах* первоначальный принцип, в утробе коего (как золото в утробе земной) покоится свет божественного познания и истины, эссенция освобожденной от греховного мира души. В *Мантрах*, как и в *Чандах*, постоянно следует искать двоякий смысл: 1) чисто-метафизический и отвлеченный и 2) чисто-физический, так как земное или существующее на земле тесно связано с миром духовным, из которого исходит и которым снова поглощается. Например, *Индра* бог грома, *Сурья* – бог солнца, *Вайю* – бог ветра, и *Агни* – бог огня; все четверо, подвластные этому первоначальному божественному принципу, исходят, по учению *Мантры*, из утробы *Hirannya-garbha*. В этом случае они (боги), подвластные единому принципу, суть духи или олицетворенные силы природы. Но посвященные в таинство адепты Индии весьма хорошо понимают, что вместе с этим бог *Индра*, например, просто звук, происходящий от столкновения электрических сил, или, вернее, само электричество; *Сурья* не бог солнца, а центр огня в нашей системе – эссенция того, из чего проистекают огонь, тепло, свет и т. д., то есть именно то, чего никто, даже из наших великих ученых, лавирующих между Тиндалем и Шрёпфером, не умел еще определить... Этого-то тайного смысла профессор Мюллер и не сумел доискаться, вследствие чего он и рубит сплеча, придерживаясь одной

мертвой буквы. Каким же образом позволяет он себе определять давность Вед по собственным выводам и заключениям, когда он еще так несовершенно понимает язык этого древнего писания?...

Вот сущность ответа свами, к которому мы и отсылаем гг. санскритологов, если они только потрудятся заглянуть в его *Rigvedàdi Bhàshya Bhoomika*^[69] (книга 4, стр. 76).

В эту ночь все мои спутники, кроме меня, спали как убитые. Свернувшись возле догорающих костров, они нимало не обращали внимания ни на гул доносившихся с ярмарки тысяч голосов, ни на продолжительный, глухой, словно раскаты далекого грома, рев тигров, поднимавшийся из долины, ни даже на громкое моление пилигримов, шествие которых по узкому карнизу скалы, с которого мы чуть было не слетели днем, продолжалось взад и вперед всю ночь. Они приходили партиями по два, по три человека; иногда шли одинокие женщины. Так как им не было доступа в большую вихару, на веранде которой мы лежали, то, поворчав, они отправлялись в боковую келью, нечто вроде часовенки, с изображением Деваки-Мата (богини матери) и с наполненным водою *танком*. Подойдя к дверям, пилигрим простирался на земле, клал приношение у ног богини и затем или окунался в «святую воду очищения», или же, зачерпнув рукой воды из *танка*, мочил себе лоб, щеки, грудь; потом снова простирался и шел уже назад, спиной к дверям, где опять простирался, пока с последним воззванием к «мата, маха мата!» (матери, великой матери!) окончательно не исчезал в темноте. Двое слуг Гулаб Синга, с традиционными копьями и щитами из носорожьей кожи, получив приказание охранять нас от диких зверей до рассвета, сидели на ступеньке над пропастью. Не в состоянии уснуть, я следила за всем окружающим с возрастающим любопытством. Не спал в ту ночь и такур. Каждый раз, как я полуоткрывала отяжелевшие от усталости веки, мне бросалась в глаза гигантская фигура нашего таинственного друга...

Поместясь по-восточному (с ногами) на одной из высеченных в скале скамеек, у самой окраины веранды, он сидел неподвижно, обвив обеими руками приподнятые колена и вперив глаза в серебристую даль. Раджпут сидел так близко к краю, что малейшее неосторожное движение, казалось, должно было свергнуть его в зияющую у ног его пропасть. Но он двигался не более стоявшей наискось от него гранитной богини Бхавани. Обливавшее все впереди его сияние месяца было так сильно, что черная тень под нависшею над ним скалой делалась еще непроницаемее, оставляя его лицо совершенно во мраке. Только вспыхивавшее по временам яркое пламя догорающих костров, обливая темно-бронзовое лицо горячим отсветом, позволяло порой разглядеть неподвижные черты сфинксоподобного лика, да как угли светящиеся, такие же неподвижные глаза.

Что́ это? спит ли он или замер? Замер, как замирают посвященные *раджа-йоги*, о которых он сам рассказывал утром... О Боже мой! хоть бы заснуть!.. Вдруг громкое продолжительное шипенье, раздавшееся у самого уха, как бы из-под сена, на котором мы свернулись, заставило меня внезапно вскочить с какими-то неясно определенными воспоминаниями о «кобре». Затем пробило раз, другой... То был наш американский дорожный будильник, как-то нечаянно попавший под сено. Сделалось и смешно, и стыдно за невольный испуг.

Но ни шипенье, ни громкий бой часов, ни мое быстрое движение, заставившее мисс Б*** сонливо приподнять голову, не пробудили Гулаб Синга, который все также висел над пропастью, как и прежде. Прошло еще с полчаса. Несмотря на долетавший издалека гул праздника, все кругом было тихо и неподвижно; сон бежал от меня все более и более. Подул свежий предрассветный и довольно сильный ветер, разом зашелестевший листьями и вскоре закачавший кругом нас вершинами торчавших из бездны деревьев. Все мое внимание было теперь сосредоточено на группе трех сидевших предо мною раджпутов: на двух щитоносцах и их господине. Не знаю почему, но оно было особенно привлечено в эту минуту длинными

развивавшимися по ветру волосами слуг, сидевших сбоку веранды и более защищенных от ветра, нежели их *саиб*. При взгляде в его сторону, мне показалось, будто вся кровь у меня застыла в жилах: висевшую возле него и крепко привязанную к колонне кисейную вуаль (*топи*) хлестало со всех сторон ветром; длинные же волосы *саиба* лежали неподвижно, словно приклеенные к плечам: ни один волос не шевелился, ни малейшего движения в легких складках обвивавшей его белой кисеи; изваянная статуя не может казаться неподвижнее...

Да что ж это такое? Бред, галлюцинация или изумительная, непонятная действительность? Крепко зажмурив глаза, я было решила не глядеть долее. В эту минуту что-то захрустело в двух шагах от ступени, и длинный черный силуэт – не то собаки, не то дикой кошки – ясно очертился на светлом фоне неба. Животное стояло на краю обрыва боком, и высокий, трубою хвост то подымался, то опускался в воздухе... Оба раджпута быстро, но неслышно встали и повернули голову к Гулаб Сингу, как бы ожидая приказаний... Да где же сам Гулаб Синг? На месте, где за минуту до того он так неподвижно сидел, никого не оказалось; лежала лишь одна сорванная ветром *топи*... Страшный, продолжительный рев вдруг оглушил меня, заставив вскочить на ноги; рев этот, проникнув в вихару, казалось, разом пробудил уснувшее эхо и отозвался глухими раскатами вдоль всего обрыва. Господи... тигр! Не успела эта мысль еще ясно сложиться в уме моем, как захрустели деревья, и словно чье-то тяжелое тело покатилося в пропасть. Все мгновенно вскочили; мужчины схватились за ружья и револьверы; произошла страшная суматоха...

– Что с вами? – раздался спокойный голос Гулаб Синга со скамьи, где он снова сидел, как ни в чем не бывало. – Что это вас всех испугало?

– Тигр! Ведь это был тигр? – посыпались вопросы европейцев и индусов. Мисс Б*** дрожала, как в лихорадке.

– Тигр, или что другое, теперь это для нас очень мало значить. Что бы оно ни было, теперь оно лежит на дне пропасти, – отвечал, зевая, раджпут. – Вы, кажется, особенно встревожены? – добавил он с легкою иронией в голосе, обращаясь к истерически рыдавшей англичанке, которая видимо колебалась, упасть ли ей в обморок или нет.

– И почему это правительство не уничтожит всех этих ужасных зверей? – всхлипывала наша мисс, вполне веровавшая во всемогущество своего правительства.

– Вероятно потому, что наши *повелители* приберегают порох на нас самих, делая нам честь считать нас опаснее тигров, – отрезал Гулаб Синг.

Чем-то грозным и вместе насмешливым звучало это слово «повелители» в устах раджпута.

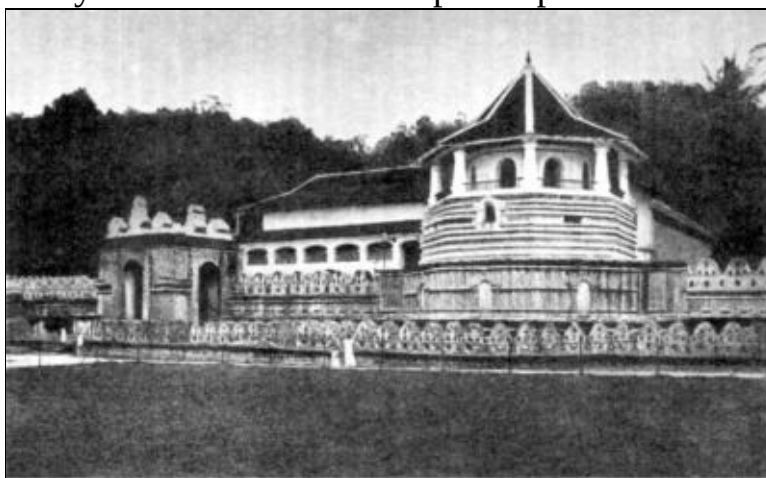
– Но каким же образом вы отделались от «полосатого»? – допытывался полковник. – Разве кто стрелял?

– Огнестрельное оружие только у вас, европейцев, считается *единственным* или, по крайней мере, *самым верным способом* одолевать диких зверей. У нас, дикарей, есть и другие средства, даже более опасные, – пояснил бабу Нарендро Дас-Сен. – Вот когда вы приедете к нам в Бенгалию, то будете иметь хороший случай познакомиться с тиграми; они приходят к нам непрошенные и днем и ночью, даже в городах...

Начинало светать, и Гулаб Синг предложил спуститься вниз и до первых жаров осмотреть другие пещеры и развалины крепости. В пять минут все было готово к завтраку, и в половине четвертого мы отправились другой, более покатою дорогой в долину, на этот раз без особенных приключений. Только махрат, не говоря ни слова, отстал от нас и исчез.

Осмотрев Логарх, крепость, взятую Сиваджи в 1670 году у могулов, и ныне разрушенные покои, где вдова Нана Фарнавизы^[70] под предлогом протекции и 12000 рупий пенсии со стороны Англии, сделалась *de facto* пленницей генерала Уелеслея (Wellesley) в 1804 году, мы поехали в богатую и когда-то укрепленную деревню Варгаон. Там мы решили переждать знойные часы (от 9 утра до 4 пополудни) и потом ехать в исторически знаменитые пещеры Бирзы и Баджах, милях в трех от Карли.

Часа в два пополудни, когда, обвеваемые огромными протянутыми через всю длину комнаты пánками, мы, несмотря на то, сильно охали от жары, неожиданно предстал нам исчезнувший с дороги приятель наш – махратский брамин. Сопровождаемый полдюжиной дакни (жителей Деканского плато), он тихо ехал верхом, сидя почти на ушах лошади, которая фыркала и очень неохотно шла; когда же он подъехал к крыльцу веранды и спрыгнул с коня, мы увидели в чем дело: поперек седла лежал, волоча по земле хвост, громадный тигр. Из полуоткрытой пасти висела кусками запекшаяся черная кровь. Его сняли и положили у порога.



Храм в Конди, где хранится зуб Будды

Неужели это наш ночной посетитель? мелькнуло у меня в уме. Я взглянула на Гулаб Синга. Он лежал в углу на ковре, опершись головой на руку, и читал; брови его слегка нахмурились, но он не произнес ни слова. Молчал и брамин, привезший тигра, тихо отдавая приказание, словно он приготовлялся к торжественному таинству. По народному суевию, то было действительно «таинством», как мы это скоро узнали...

Клочок шерсти тигра, убитого не пулей или каким-либо холодным оружием, а словом, считается самым верным талисманом против нападения ему подобных. «Такие случаи чрезвычайно редки, говорил нам махрат, так как чрезвычайно трудно встретить человека, обладающего этим словом. Отшельники *йоги* и *садху* не убивают их, считая убиение даже тигра и кобры грехом, а просто *отстраняют* от себя зверей. Есть только одно *братство* в Индии, члены коего обладают всеми секретами и для которых нет в природе тайн... А что тигр был убит не вследствие падения со скалы (они никогда не оступаются), не пулей и не каким-либо другим орудием, а просто *словом* Гулаба Лалл Синга, то в этом нам порукой тело самого зверя». «Я нашел его очень скоро», продолжал рассказывать брамин, «в кустах, где он лежал, прямо под нашею вихарой, и у подножия скалы, с которой он скатился вниз уже мертвым... Гулаб Лалл Синг, – ты раджа-йог, и я тебе кланяюсь!..», добавил гордый брамин, присоединяя дело к слову и

простираясь пред такуром на землю.

– Не говори пустого, Кришнарао! – перебил его Гулаб Синг. – Вставай, и не представляй из себя *шудры*... Тигр просто свалился со скалы и сломал себе при падении шею. Иначе нам пришлось бы употребить в дело оружие, а не *слова*...

– Повинуюсь тебе, саиб, но... прости, что верю все-таки в *свое*... Ни один *раджа-йоги* еще не сознавался, что он принадлежит к *братству*, с тех пор как существует гора Абу.

Он стал оделять нас клочками шерсти, вырываемой им у мертвого зверя. Все молчали. Со странным чувством любопытства я стала наблюдать над группой моих спутников. Полковник (президент нашего общества) сидел, потупив глаза в землю и очень бледный; секретарь его, мистер У***, курил сигару и лежал навзничь, вперив холодные, ничего не выражающие глаза в потолок. Он молча принял клочок шерсти и спрятал его в портмоне. Индусы стояли над тигром, а сингалезец чертил какие-то кабалистические знаки на лбу у зверя. Один Гулаб Синг продолжал лежать, спокойно читая в углу. Мисс Б*** тихо предложила мне вопрос: «Знает ли наше правительство о существовании этого *братства*, и дружелюбно ли расположены *раджа-йоги* к англичанам?»

– О, чрезвычайно дружелюбно! – серьезно отвечал раджпут, прежде чем я успела раскрыть рот, – если они только существуют: одни *раджа-йоги* мешали до сей поры индусам перерезать всем вашим соотечественникам горло; удерживая их... *словом*.

Англичанка не поняла.

Наши психологические исследования в Индии начинались, по-видимому, хорошо, обещая столь же богатую нашему обществу жатву, как и археологические.

Пещера Бирзы – около шести миль на юго-запад от Варгаона, вырыта по тому же плану, как и Карли. Сводообразный потолок храма поддерживается двадцатью шестью колоннами, 18 футов вышины, а портик – четыремя в 28 футов, над коими высечена замечательной красоты группа лошадей, быков и слонов. Зала «посвящения», огромная овальная комната с колоннами и одиннадцатью кельями, идущими внутрь скалы. Пещеры Баджа древнее и красивее. Там сохранились надписи, доказывающие, что все эти храмы были высечены буддистами, или скорее джайнами. Нынешние буддисты признают, как известно, лишь *одного* Будду – Гаутаму, принца Капилавасту (VI века до Р. Х.), а джайны считают и признают за Будду каждого из своих двадцати четырех (*Тиртанкара*) божественных учителей, из коих последний был учителем (*гуру*) Гаутамы. Это разногласие чрезвычайно мешает верному определению древности некоторых вихар или *чаитий*. Секта джайнов неизвестной и глубокой древности; поэтому имя Будды, упоминаемое на надписях и таблицах, может относиться как к последнему, так и к первому Будде, жившему (по генеалогии, составленной Тодом) гораздо ранее 2200 лет до Р. Х. Первая надпись, например, в пещере Беире (гвоздеобразная) гласит так:

«Аскетом из Назики, уподобленному очищенному от грехов *святому* Будде, первобытному, небесному и великому».

Решают, что эта пещера вырыта буддистами.

Вторая надпись в той же пещере, над другую кельей, содержит в себе следующее:

«Благоугодный дар небольшого приношения движущейся силе (жизни), умственному принципу (душе), многолюбимому вещественному телу, плоду Ману, бесценной драгоценности, высшему и присутствующему здесь Небесному».

Выходит, что постройка принадлежит не буддистам, а браминам, признающим Ману.

Или вот еще эти две надписи (из пещеры Баджа):

- 1) «Благоугодный дар символа и колесницы (вместилища) грехоочищенного Сака-Сака».
- 2) «Дар вместелища Радды (жены Кришны, символ совершенства) Сугате, навеки ушедшему»

Сугата опять одно из имен Будды. Опять противоречие!

Здесь, возле Варгаона, после сражения Кхирхи, махраты схватили капитана Вогана (Vaughan) и брата его, которых и повесили.

В тот же вечер мы вернулись в Бомбей. Через два дня мы готовились пуститься в наше далекое путешествие в северо-западные провинции, и наш маршрут казался самым привлекательными. Мы приготавливались увидеть Бенарес, город 5000 храмов и стольких же обезьян; Канпур, прославленный кровавым мщением Нана-Саиба, и развалины города Солнца, разрушенного, по мнению Колебрука, около 6000 лет тому назад; Агру и Дельхи, и затем, объехав весь Раджастхан с его тысячами такурских укрепленных замков, крепостей, разрушенных городов и легенд, намеревались проехать в Лахор, столицу Пенджаба, и остановиться, наконец, в Амритсаре. Там, в *Золотом Храме*, построенном посреди озера «Бессмертия», должна была состояться первая встреча членов нашего «Общества» – браминов, буддистов, сикхов, словом, представителей тысячи и одной секты двухсот сорока пятимиллионной Индии, которые все, более или менее, сочувствовали нашему Теософическому *Обществу братства со всем человечеством*.

Бенарес, Праяга (ныне Аллахабад), Насик,^[71] Хардвар, Бадринат, Матхура – вот те священнейшие места древней доисторической Индии, которые одно за другим мы собирались посетить, но, конечно, не так, как их обыкновенно посещают туристы *à vol d'oiseau*,^[72] с дешевым гидом в кармане и под командой сбивающего вас и с ног, и с толку чичероне. Нет, мы хорошо знали, что вокруг всех этих мест, словно плющ на развалинах старых замков, обвилось предание, веками narosли сорные травы фантазии, пока, наконец, по примеру этих паразитных растений, постоянно сдавливая в своих холодных объятиях стены, они совсем не разрушили первобытной формы здания, и археологу так же трудно по обезображенным, усыпающим окрестности остаткам судить об архитектуре когда-то целого здания, как и для нас из этой массы легенд отделить плевелы от настоящего зерна. До неискаженной истины, до первоначальной истории каждой интересующей нас местности нам, конечно, придется доискиваться самим, следуя собственным соображениям.

Современная Индия не представляет и бледной тени не только древней, то есть Индии дохристианской эры, но даже и Индостана под владычеством Аурангзеба, Акбара, Шах-Джахана. Словно кровавыми, окаменелыми слезами усеяны круглым красноватым булыжником окрестности каждого многократно истерзанного города, каждой разрушенной дереvушки. Но не по природным камешкам, изранивая себе ноги, приближаетесь вы к высоким, окованным железом воротам старинных укрепленных городов, а по гранитным еще древнейшим обломкам, под которыми часто покоятся развалины третьего еще более древнего города. Нынешние названия даны им мусульманами, которые обыкновенно строили свои города на пепелище побежденных, взятых приступом городов; названия последних кое-как еще упоминаются в преданиях, но названия их предшественников исчезли из памяти людской еще до мусульманского вторжения. Кому когда удастся проникнуть в эти вековые тайны!..

Зная все это заранее, мы решились не терять терпения, и даже, если бы того потребовали обстоятельства, посвятить целые годы на частые экскурсии в одни и те же места, пока не добьемся более верных исторических данных, менее исковерканных фактов, нежели добытые нашими предшественниками. Последние должны были довольствоваться набором диких вымыслов, с трудом вызываемых из уст напуганного, неохотно отвечающего дикаря, или же враждебного, нарочно искажающего истину брамина. Нам же помогает целое общество образованных, заинтересованных теми же вопросами, как и мы, индусов; мы уже имеем положительное обещание быть допущенными хотя бы в некоторые тайны древних хранителей их, *махантов*, слышать не предание, а верный перевод старинных, чудом уцелевших хроник и грамот о некоторых городах.

История Индии давно исчезла из памяти ее сынов, она совершенно неизвестна ее завоевателям; но она несомненно существует, хотя, быть может, и в растерзанных частях, в тщательно оберегаемых от европейского глаза рукописях. Недаром брамины, в редкие минуты дружеских излиятий, иногда проговаривались. Так не раз уже упомянутому мною англичанину Тоду старый *махант* (настоятель) некоего древнего храма-монастыря раз заметил: «не теряя времени, сааб, в напрасных розысках: Индия *беллати* (Индия иностранцев, англичан) пред тобою, *гупта* Индию (то есть тайную) ты никогда не увидишь; мы, хранители ее тайн, скорее отрежем язык друг у друга».



Буддист, член Теософического общества



И однако же Тод много кой-чего узнал. Правда, ни один англичанин не был так любим туземцами, как этот старый, храбрый друг Махарани Удайпурского; но зато и он любил туземцев и никогда не показывал презрения даже к беднейшему из них. Он писал до периода полного развития современной этнологии, и книга его до сей поры считается авторитетом во всем касающемся Раджастанхана. Хотя, по собственной скромной оценке ее автора, она представляет «лишь свод добросовестно собранных материалов для будущего историка».

Так пусть же недоверчиво улыбаются наши друзья и наши недоброжелатели, даже смеются над нашею претензией «проникнуть в мировые тайны Арьяварты», как выразился недавно один критик. Смотри с самой пессимистической точки зрения, наши заключения если даже и не окажутся достовернее заключений и доводов Фергюсона, Вильсона, Уиллера и прочих археологов и санскритологов, трактовавших об Индии, то во всяком уж случае не будут бездоказательнее прочих. Нам замечают, что мы неблагоприятно затеяли то, пред чем ежедневно отступают археологи и историки, которым способствует здешнее правительство с его влиянием и неистощимой казной; что мы взялась де за работу, оказавшуюся не под силу даже Азиатскому Королевскому обществу...

Пусть так. Но у всех свежо в памяти, а у нас тем более, как бедный венгр, не только без средств, но почти нищий, отправился пешком в Тибет, чрез страны неизведанные, опасные, увлекаемый лишь любознательностью да желанием пролить свет на историческое начало своего народа. В результате вышло то, что были внезапно открыты неисчерпаемые рудники литературных сокровищ. Филология, дотоле бродившая в египетских потемках безвыходного лабиринта этимологий и уже важно предлагавшая ученому миру помириться с самыми фантастическими теориями, вдруг неожиданно напала на нить Ариадны. Она открыла, наконец, что санскритский язык если не праотец, то все же «старший брат» всех других древних языков, по выражению Макса Мюллера. В Тибете найдена неисчерпаемая литература на языке, о письменности которого не было ничего известно. Благодаря необыкновенному рвению Александра Ксомо де Кэрэш, она им частью переведена, а частью анализирована и выяснена. Перевод же его доказал всему ученому миру, что, во-первых, подлинники *Зенд-Авесты* – солнцепоклонников, *Трипитаки* – буддистов, и *Айтареи-брахманы* – браминов, были в оригиналах своих написаны на том же древнесанскритском языке; во-вторых, что все три языка, то есть зендский, непалийский и современный или брахманосанскритский – более или менее диалекты первого; в-третьих, что от санскритского произошли все менее древние индо-европейские и современные языки и диалекты Европы; в-четвертых, что три самые значительные религии язычества: зороастризм, буддизм и брахманизм, хотя только ереси монотеистического учения *Вед*, но это не мешает им быть всем трем древними религиями, а вовсе не современными подлогами.

Мораль вышесказанного очевидна. То, чего не могли бы добиться целые поколения ученых, то есть проникнуть в *ламасерию* Тибета и получить доступ к священной литературе этого вполне изолированного народа, того добился бедный странник, без средств и без протекции; быть может, и даже вероятно, только потому, что смотрел на диких монголов и тибетцев, как на *братий* своих, а не как на *низшую расу*. И стыдно становится подумать, стыдно за человечество вообще, а за науку в особенности, что первый добывший такие драгоценные для науки результаты, сеятель столь обильной для нее жатвы, оставался почти до самой смерти тем же непризнанным бедным тружеником. Достигнув Калькутты по возвращении из Тибета пешком, без гроша денег, он сделался известен и его имя стало громко произноситься с почестями и

хвалой лишь в то время, как, вследствие бескорыстной любви своей к науке, Ксомо де Кэрэш умирал в одном из беднейших кварталов Калькутты и, больной, на обратном пути пешком через Сикким в Тибет умер в Даржелинге, где и похоронен.

Само собою разумеется, что в пределах журнальных писем нельзя было серьезно начинать что-либо подобное затеваемому нами. Мы могли лишь надеяться, что зложим первый камень здания, дальнейшую постройку коего может взять на себя разве будущее поколение. Чтоб успешно опровергнуть установленные целыми двумя поколениями индологов мнения о древностях Индии, потребуется не менее полувека упорной работы. А для того чтобы заменить эти мнения другими, необходимо заручиться фактами, основанными не на хронологии и лжепоказаниях лукавых браминов, заинтересованных в невежестве европейских санскритологов (как то испытали, к своему горю, лейтенант Вильфорд, а за ним Луи Жаколио), а на неопровержимых доказательствах древнейших, доселе неразобранных надписей, ключа к которым европейцы еще не нашли, ибо он, как не раз уже указано, хранится в *не менее древних*, почти недоступных рукописях. Да если даже наши надежды и осуществятся, и мы получим этот ключ, то и тогда явится другая необходимость: начать систематическое опровержение, страница за страницей, каждого из многих десятков фолиантов, доселе опубликованных Королевским Азиатским обществом, *гипотез*. А на это потребовалось бы дюжины постоянно занятых ученых санскритологов, которые даже в Индии редки, как белые слоны. [\[73\]](#)

Сильно занятые подобными мыслями, мы, то есть один американец, три европейца и три туземца, заняли целый вагон *Great Indian Peninsular Railroad*, и отправились в Насик, один из древнейших, как уже упомянуто мною, городов Индии, и самый священный в глазах обитателей западного президентства. Насик заимствует свое имя от санскритского слова *насика*, то есть «нос», вследствие эпической легенды, уверяющей, будто Лакшман, старший брат обоготворенного царя Рамы, отрезал на этом самом месте нос у великанши «Сарпнаки», сестры царя Раваны, похитителя Ситты (тройной Елены индусов).

Поезд железной дороги останавливается в шести милях от самого города, и мы приехали в ночь; поэтому нам пришлось отправиться далее в час пополудни в шести золоченых двухколесных таратайках, называемых *эка*, и на волах. Даже невзирая на поздний час ночи, рога этих животных были вызолочены и украшены гирляндами цветов, а на ногах звенели медные браслеты. Дорога пролегла неровными, ухабистыми оврагами, густо заросшими джунглями, в которых, по приятному показанию наших возниц, постоянно играли в прятки тигры и другие четвероногие мизантропы лесов. С тиграми в эту ночь мы не знакомились, но зато в продолжение всей дороги были угощаемы концертом целого общества шакалов. Неотвязно следовали они за нами, раздирая уши своим воплем, диким хохотом и лаем. Эти милые животные здесь до того дерзки и вместе с тем трусливы, что хотя они в ту ночь бегали вокруг стаями достаточно сильными, чтобы легко поужинать не только всеми нами, но и нашими златорогими волами, ни одно из них однако не осмелилось подойти ближе нескольких шагов. Достаточно было стегнуть одного из них длинным кнутом, которым мы запаслись от змей, чтобы вся стая с невообразимым визгом далеко отбегала прочь. И однако же погонщики не пренебрегли ни одним из своих суеверных средств против нападения тигров. Они хором пели заклинательные молитвы «мантры», сыпали бетелем по дороге в знак своего уважения к лесному «радже», и после каждого куплета заставляли волов становиться на передние колена и низко наклонять в честь высших богов голову, причем легкая, как ореховая скорлупа, *эка* грозила каждый раз, вместе с седоком, перекинуться вверх дном через рога животных. Это приятное путешествие в темную ночь длилось пять часов. Мы достигли «гостиницы пилигримов» лишь в шесть часов утра.

Настоящая причина святости Насика, как мы узнали, не в отрезанном хоботе великанши, а в

местоположении города на Годавари, вблизи источников этой реки, называемых почему-то туземцами *Гангой* (Гангес). Этому магическому имени, вероятно, город и обязан своими многочисленными богатыми храмами и отборным классом браминов, поселившихся на берегах реки. Два раза в год пилигримы собираются сюда молиться, и число странников превышает в такие торжественные дни даже население Насика (35000). Чрезвычайно живописны, но столь же и грязны дома богатых браминов, построенные вдоль спуска, от центра города до самых берегов Годавари, по обеим сторонам которой тянутся целые леса узких пирамидальных храмов. И что ни храм, то легенда, которую каждый брамин из массы этих наследственных жуликов рассказывает на свой манер, в надежде, конечно, на приличное вознаграждение.

Самое интересное в Насике – это пещерные храмы, расположенные в пяти милях от города.

Так как приходилось долго ехать в крутую гору, то мы решились отправиться на слонах. Нам привели лучшую парочку в городе, самца и самку, на которых, по уверению хозяина, «ездил сам принц Уэльский и остался доволен». За все удовольствие туда и назад на целый день мы сторговались по две рупии за слона, ударили по рукам и стали приготавливаться.

Наши товарищи-туземцы, с малолетства привыкшие джигитовать на слонах, мигом очутились на спине у своего. Как мухи облепили они его, преспокойно рассевшись где ни попало, цепляясь за разные веревочки сидений гораздо более пальцами ног, нежели рук и вообще представляя картину полного довольства и комфорта. Под нас, европейцев, как самую смиренную из двух, приготовили слоницу, на спине которой прикрепили нечто вроде двух скамеечек, на сиденье покато на обоих боках и без малейшей опоры для спин. Недоверчиво посматривали мы на это «усовершенствованное» сиденье, но делать было нечего. Наш вожак (махут) поместился между ушами громадного животного (о росте которого несчастные подростки, показываемые в странствующих цирках Европы, дают весьма слабое понятие), а мы с постыдным чувством мурашек по всему телу кое-как влезли по лесенке на спину слоницы, ставшей по приказанию *махута* на колена. Она носила поэтическое название *Чанчули-Пери* (в переводе «Деятельная Пери») и была действительно самая послушная и веселая из всех когда-либо виденных мною представительниц своей породы. Крепко цепляясь друг за друга, мы, наконец, подали сигнал, и *махут*, вооруженный железным дротиком, ткнул животное острием его в правое ухо. Установясь сперва на передние ноги, от чего нас отбросило назад, слоница тяжело приподнялась затем на задние, и мы, едва удержавшись от падения, шарахнулись вперед, чуть было не сбив *махута* с места. Но этим не окончилось еще наше испытание. При первых шагах *перы* мы все четверо развалились в разные стороны, словно комки киселя...

Пришлось остановиться. Нас кое-как подобрали, причем добродушная *Пери* много помогала нам хоботом. Мы отправились далее. С ужасом подумывая о предстоявших нам пяти милях подобного путешествия и совестясь отказаться от поездки, мы однако с гневом отвергли постыдное предложение хохотавших товарищей привязать нас к сиденью... Чуть не пришлось мне горько раскаяться в своем самолюбии. Этот непривычный нам способ локомоции^[74] являлся чем-то невообразимо фантастическим и вместе глупым. Рысью бежавшая возле важно шагавшей слоницы лошадь с багажом казалась нам с непривычной высоты каким-то малым осленком. Каждый шаг *Пери* превращал нас в акробатов, заставляя выкидывать самые неожиданные штуки. Шагнет она правой ногой – и мы ныряем вперед; левой – мы как сноп и валимся назад, все время вдобавок перетряхиваемые с одного ее бока на другой. Это ощущение, особенно под палящим солнцем, стало вскоре переходить в лихорадочный бред, оно являлось чем-то средним между морскою болезнью и кошмаром во сне. К довершению удовольствия, только что мы стали подниматься по каменистой, извилистой тропинке, на окраине глубокого оврага, в гору, как вдруг наша *перы* тяжело оступилась. Этот неожиданный толчок заставил меня окончательно потерять равновесие: сидя на задней части спины слоницы, на почетном месте экипажа, я

неудержимо покатила вниз, и в следующую затем секунду непременно очутилась бы с неприятным для своей особы изъяном на дне оврага, если бы не удивительный инстинкт и понятливость нашего умного животного. Слониха задержала мое падение со своей «покатости», буквально поймав меня налету *хвостом*. Чувствуя вероятно, что я падаю, она крепко и ловко обвила хвост вокруг моего туловища и тут же, остановясь как вкопанная, стала опускаться на колена. Но природная тяжесть моя дала себя, вероятно, зная и оказалась не под силу тонкому хвосту доброго животного. Хотя *Пери* и не выронила меня, но зато быстро опустилась на землю и тут же тихо и жалобно замычала, вероятно размышляя, что чуть было не поплатилась за свое великодушное собственным хвостом. Так по крайней мере заявил соскочивший мигом с ее головы *махут*, бросившийся на помощь мне и принявшийся осматривать якобы «поврежденный» хвост слонихи. И тут произошла сцена, как нельзя лучше характеризующая грубое лукавство, хитрость, жадность к наживе и вместе с тем трусость низшего класса индусов, «бескастников» (*outcastes*), как их здесь называют.

Сперва хладнокровно осмотрев хвост и для вящей проверки крепко дернув его несколько раз, он уже собирался возвратиться на свое место, но, услышав мое неосторожное соболезнование о хвосте *Пери*, он внезапно и самым неожиданным образом переменял тактику. Бросившись плашмя наземь, он вдруг стал кататься по ней, испуская все время ужасные, дикие вопли. Рыдая на всю долину, он стал приговаривать и причитать, как над покойником, стараясь уверить публику, будто «мам-сааб»^[75] оторвала у его *Пери* хвост. «*Пери* навеки осрамлена (плакался он). Ее супруг, свидетель позора ее, гордый *Айравати*, прямой потомок любимого слона бога *Индры*, теперь отвергнет ее, и ей остается лишь умереть»...

Так голосил *махут*, невзирая на все увещания сбежавшихся наших товарищей. Напрасно было доказывать ему, что «гордый *Айравати*» не показывал ни малейшего поползновения поступить так жестоко со своею супругой, добродушной *Чанчули-Пери*, о бок которой он даже в эту критическую минуту преспокойно чесал свой хобот, и что у самой *Пери* хвост был цел и на месте. Ничего не помогало! Тогда, выведенный из терпения наш приятель *Нараян*, известный силач, прибег к весьма оригинальному средству. Бросив одною рукой на землю серебряную рупию, он приподнял другою тщедушную фигурку *махута* за его *дотти*^[76] и преспокойно швырнул его прямо носом на монету. Невзирая на окровавленную физиономию и даже не обращая внимания на нее, *махут* бросился на рупию с жадностью дикого зверя на добычу. Много раз простершись во прах пред нами, с нескончаемыми «салаамами» в знак благодарности, он стал без малейшего перехода изъявлять такую же безумную радость, какое за минуту до того выказывал горе. В заключение спектакля и в знак того, что хвост был действительно цел «молитвами *сааба*», он повис на нем, как виснет звонарь на колокольной веревке, пока его силой не оторвали и не заставили вернуться на свое место.

– Неужели все это за одну несчастную рупию? – воскликнули мы в изумлении и дружным хором.

– Изумление ваше понятно, – объявили нам индусы. – Трудно, особенно нам, не чувствовать стыда и отвращения при виде подобного унижения и жадности. Но не забудьте, что этот несчастный *махут*, у которого есть жена и, вероятно, дети, получает от своего хозяина номинально 12 рупий в год без содержания, а *фактически* последний с ним чаще расплачивается пинками, чем деньгами. Вспомните также долгие века угнетения от своих же браминов, от фанатиков-мусульман, видящих в индусе лишь нечистую гадину, наконец, от наших настоящих, высокообразованных, *гуманных* властителей-англичан, и вы, вместо отвращения, почувствуете, быть может, глубокое сожаление к этой карикатуре рода человеческого.

Но «карикатура» рода человеческого видимо считала себя счастливой, не чувствуя ни

малейшего унижения. Сидя, поджав ноги на широкой макушке *Пери*, он ей рассказал про свое неожиданное богатство, и, напоминая ей, что она «божья» слониха, заставлял кланяться *саабам* хоботом. *Пери*, в превосходном расположении духа, вследствие пожертвованного ей мною целого стебля сахарного тростника, забрасывала хоботом назад и игриво дула нам через него в лицо...

Из мира современных пигмеев житейских дрязг Индии, столь падшей и униженной, мы опять в мире глубокой древности, в мире Индии неведомой, великой и таинственной...

Пещеры Насика, очевидно, вырывались не одним поколением, как и не одной сектой. Первое, что в них поражает, – это грубость первоначальной работы, громадные размеры и дряхлость скульптуры на капитальных стенах, в то время как резьба и изваяния на шести колоссах, поддерживающих главную пещеру, во втором этаже, великолепно сохранились и чрезвычайно изящны. Это обстоятельство заставляет думать, что пещера была начата за много веков до своего окончания. Но когда же хоть приблизительно? Одна из приведенных санскритских надписей, находящихся на работах гораздо позднейшей эпохи (на подножии одного из колоссов) прямо указывает на 453 год до Р. Х., как на год этих пристроек. Так, по крайней мере, доказывают по астрономическим данным на этой надписи Гибсон, Бэрд, Стивенсон, Ривз и несколько ученых, воспитанных на Западе, стало быть не предубежденных, как туземные пандиты. Да, впрочем, дата, по соединению планет, очевидна; она обозначает или 453 год до Р. Х., или 1734 нашей эры, или же 2640 лет до Р. Х., что невозможно, так как в надписи говорится о Будде и буддистских монастырях. Привожу главные и самые интересные фразы из нее по переводу, сделанному сперва доктором Стивенсоном и переправленному в коллегии санскритских правительственных пандитов в Бенаресе:

«Совершеннейшему и высшему. Да окажется сие благоприятным ему! сыном царя Кшапараты, властелина племени кшатрий (то есть воинов) и покровителя людей, владыкой Диника, лучезарным как заря, приносится сей дар сто тысяч коров пасущихся на реке Баназа вместе с рекой, а также дар злата, им, строителем сего святого пристанища богов и места для укрощения страстей браминов. Нет более желанного места, нежели это место, и даже в Прабхазе, куда стекаются сотни тысяч браминов, повторяя священный стих; ни в святом граде Гайа, ни на Крутой горе возле Дазатуры, ни на Змеином поле в Говардхане, ни во граде Пратисраи, где монастырь буддистов, ни даже и здании, воздвигнутом Депанакарой на берегу пресноводного моря (?). Это место доставляющее несравненные милости, приятное и во всех отношениях полезное для пятнистой оленьей шкуры (?) аскета.^[77] Безопасная лодка, присланная в дар также им, строителем бесплатного парома, ежедневно перевозит к хорошо охраняемому берегу. Им также, строителем здания для путников и общедоступного резервуара воды, позолоченный лев был поставлен у постоянно осаждаемых толпою ворот этой Говардханы; также другой (лев) у перевоза, а еще другой у Раматирты. Для тощего стада найдется здесь разных родов корм; для такого стада более ста родов трав и тысячи горных кореньев припасены этим щедрым дарителем. В этой же самой Говардхане, в лучезарной горе, эта вторая пещера была вырыта по приказанию той самой благодетельной особы, в тот самый год, когда почитаемые людьми. Солнце, Сукра и Раху^[78] были в полном ликовании своего восхода; в этот-то год и были дары поднесены. Лакшми, Индра и Яма,^[79] освятив их, отправились назад с кликами торжества на свою колесницу, поддерживаемую заклинательными мантрами, на беспрепятственном пути;^[80] когда все они (боги) уехали, то полил проливной дождь» и т. д.

Первые пещеры вырыты на конусообразном холме саженях в сорока от подножия. В

главной, в 45 квадратных шагов, стоят три фигуры Будды; в боковых – лингам; затем два джайнские идола, а в верхней пещере находится идол или скорее статуя *Дхармы Раджи*, или *Юдхитхиры*, старшего Панду, которого здесь обоготворили и которому поклоняются в собственном, в честь его воздвигнутом, храме. Затем целый лабиринт келий, очевидно, буддистских отшельников, громадная статуя Будды в лежачей позе; другая таких же колоссальных размеров и окруженная колоннами с капителями, украшенными фигурами различных зверей. Стили всех эпох, как и всех сект, перемешаны, и перепутаны как разнородные деревья в лесу.

Весьма замечательно то обстоятельство, что почти все без исключения пещерные храмы Индии вырыты в конусообразных скалах и горах, словно древние строители нарочно отыскивали такие природные пирамиды. О странной и необычайной, нигде не виданной мною, кроме Индии, форме уже замечено при описании поездки в Карли. Случай ли это, или же одно из правил религиозного зодчества тех далеких времен? И кто тут подражатель? Зодчие ли египетских пирамид, или же неизвестные строители подземных храмов Индии? Как в пирамидах, так и в храмах все кажется геометрически рассчитанным и, подобно пирамидам, вход во храмы находится не внизу, но на известном расстоянии от подножия горы. Природа, как известно, никогда не подражает искусству, а напротив, последнее всегда старается воспроизвести формы природы. И если даже в этом сходстве между символами Египта и Индии на найдется ничего, кроме случайности, то остается только сознаться, что игра случая бывает иногда необъяснима. Далее нам придется, быть может, представить более веские доказательства тому, что Египет заимствовал многое у Индии. Не забудем, что начала царства фараонов совершенно неизвестны науке; а то малое, что мы успели узнать, не только не противоречит этой теории, но даже указывает на Индию, как на колыбель и первобытную родину египтян. Так в своей *Истории Индии* Каллука-Батта писал еще во дни глубокой древности следующее:

«Во время царствования Висвамитры, первого царя Сома-Вангской династии, вследствие пятидневного сражения, Ману-Вена, наследник древних царей, покинутый браминами, эмигрировал со всею армией и, пройдя страну Арии и Бариин, дошел наконец до берегов *Масры*...»^[81]

Лесли нам ответит, что «Каллука-Батта» – историк до того древний, что санскритологи до сей поры ссорятся из-за него, затрудняясь придать ему какую-либо правдоподобную эпоху и поэтому благоразумно колеблются между 2000 лет до Р. Х. и эпохой императора Акбара (т. е. как раз во времена Иоанна Грозного), то вот что говорит историк более современный и всю жизнь свою изучавший Египет (не в Лондоне или Берлине, по примеру многих его коллег, а и самом Египте) прямо с надписей древнейших саркофагов и папирусов, словом Генрих Брюгшбей.



Факиры

«...Повторяю, это мое непоколебимое убеждение, что египтяне пришли из Азии задолго до исторического периода и, перейдя этот мост всех наций – Суэцкий перешеек, – нашли новое отечество на берегах Нила». Есть доказательства, что во времена одиннадцатой династии египтяне вели торговлю с Аравией и берегами Индийского Океана – кто знает, с каких незапамятных времен? А надпись, найденная на скале Хамавата, гласит, что *Шанкара*, последний царь одиннадцатой династии, послал вельможу Ханну в *Пунт* или Пёнт. «Я был послан везти корабли в страну Пунта, дабы привезти домой душистой камеди, собираемой принцами Красной Земли», сказано в надписи. Комментируя эту надпись, Брюгш-бей объясняет, что «под именем Пунта древние жители *Кеми* (Египта) подразумевали дальнюю страну, омываемую большим океаном, страну, полную гор и долин, изобилующую черным деревом и другим дорогим лесом, бальзамом, ладаном, драгоценными металлами и камнями; страну богатую, изобилующую дикими зверями, жирафами, леопардами, пантерами, большими обезьянами и длиннохвостыми макашками». Даже название обезьяны на древнеегипетском языке *Каф*, *Кафи* (у израильтян *Коф*) чисто санскритское – *Кану*.

Этому «Пунту» (очевидно, Индии) легендарные сказания уже весьма древнего Египта придавали весьма священный характер; ибо Пунт^[82] (или Пент) был «первобытною обителью богов, которые именно оттуда, под предводительством А-Мона (*Ману-Вена* Каллуки-Батта?), *Хора* и *Хатор* отправились по направлению долины Нила и благополучно прибыли в *Кеми*». ^[83]

Недаром Хануман имеет такое родственное сходство с египетским священным киноцефалом (*Супосефалус*), а эмблемы *Озириса* и *Шивы* одни и те же. *Qui vivra verra!*... ^[84]

Обратный путь в город на *Пери* оказался приятнее. Мы приноровились к ее шагу и, въезжая в Насик, почувствовали себя бесподобными наездниками. Зато в продолжение целой недели мы

едва могли ходить от боли в пояснице.

На вопрос – кто бы что предпочел, если бы пришлось выбирать между слепотой и глухотой – девять из десяти всегда скорее помирятся с последней. А кому пришлось хоть раз заглянуть в один из волшебных уголков Индии, часто напоминающей вам самые фантастические и казалось бы в природе невозможные декорации Большой Парижской оперы, – этой страны мраморных кружевных дворцов и заколдованных садов, – тот вдобавок к глухоте решил бы скорее захромать на обе ноги, нежели лишиться подобных зрелищ.

Рассказывают, что великий поэт Саади раз горько жаловался на равнодушие друзей, которым будто бы надоедали его бесконечные, восторженные похвалы своей возлюбленной. «Если бы, замечал он им, вы получили хотя один раз возможность и счастье, подобно мне, увидеть ее дивную красу, вы вполне поняли бы мои стихи, непрестанно воспевающие – увы! так слабо и так бледно – то чарующее душу чувство, которое она внушает всякому, хотя издали увидавшему ее!..» Я вполне понимаю положение влюбленного поэта, но не виню и друзей его, не выдавших его возлюбленной. Поэтому я дрожу от боязни, как бы мои постоянные восторженные рапсодии об Индии не нагнали на читателей скуки друзей Саади. Но что же делать бедному повествователю, если на каждом шагу он открывает в своей «милой» все новые и самые диковинные прелести! Самые темные ее стороны, отвратительные, безнравственные, а подчас и глубоко ужасающие черты – и те полны чего-то столь дико-поэтического, незаурядного, чего никогда не встретишь ни в какой другой стране. Нередко местные сцены заставляют непривычного европейца содрогаться; но в то же время, как ночной призрак, они притягивают его, приковывают к себе внимание, и от них невозможно глаз оторвать...

Всего этого мы насмотрелись вдоволь в продолжение многих дней нашей *école buissonnière*. Дни эти мы провели вдали от линии железной дороги, этого проблеска цивилизации, которая столь же к лицу Индии, как модная шляпка на голове полуголой перуанки, «девы солнца» Кортесовских времен.

Ежедневно бродили мы через реки и джунгли, по селам и развалинам старых крепостей, по проселочным дорогам, между Насиком и Джабалпуром; днем переезжая из одной деревни в другую, частью в арбах на волах, иногда на слонах, а не то так и в *пальках* (в паланкинах) и верхом, а ночью – обыкновенно разбивая палатку где ни попало. В эти дни мы имели случай убедиться, насколько человек, в силу одной привычки, может сделаться властелином, хоть и пассивным, над непобедимыми для всех других и смертельно опасными климатическими условиями. В то время как мы «белые», невзирая на толстейшие пробочные *топи* на головах и защиту навеса, чуть не падали в обморок и положительно *тлели* под нестерпимо палящими лучами солнца, и когда даже туземцы-спутники обвивали лишним куском кисеи голову, наш приятель, бенгальский *бабу*, проезжал верхом целые мили под вертикально стреляющим в него солнцем с обнаженной головой!.. У него даже не было с собой и простого *пэгери*, куска легкой материи для тюрбана, не только шляпы. Спокойно ехал он целые часы с непокрытой ничем, кроме собственных густых волос, макушкой, и над его бенгальским черепом солнце оказывалось совершенно бессильным. Этот народ никогда не покрывает головы, кроме торжественных случаев, когда тюрбан надевается лишь как принятое украшение, как цветы на бале, во время *дурбара*, свадьбы или пира.

Бенгальские *бабу*, занимающие почти все низшие гражданские и особенно писарские должности, наводняют все железнодорожные и телеграфные станции, канцелярии, почтамты и правительственные присутственные места. Закинув через плечо белые кисейные мантии наподобие римской *тоги*, с голыми от колен ногами и всегда простоволосые, они гордо

расхаживают на платформах станций и пред дверьми своих контор, с презрением посматривая на женственные украшения махратов, с их кольцами на пальцах ног и рук и огромными серьгами в верхней части правого уха... Они не носят сектантских знаков на лбах, как прочие индусы, и позволяют себе лишь дорогие *колье*, да и то редко. И однако же, в то время как страстно преданные женоподобным украшениям махраты справедливо считаются одним из храбрейших народов Индии (не раз уже заявив себя очень неприятно с этой стороны англичанам) и долгими веками войн выказали себя превосходными и храбрейшими воинами, Бенгалия, испокон века, из *шестидесяти пяти миллионов своих жителей не произвела еще на свет ни одного солдата*: среди туземных войск английской армии никогда не было и нет ни одного бенгальца. Это странный, но тем не менее неопровержимый *факт*, которому мы долго не могли верить, но должны были наконец сдаться пред подтверждениями многих английских офицеров и самих бенгальцев. И со всем этим, однако, их нельзя назвать трусами. Если *бабу* и высшие классы раджей изнежены, то их *земиндары* (землевладельцы) и поселяне несомненно храбры. Обезоруженный правительством бенгалец идет на тигра своей родины, самого свирепого изо всех тигров Индии, так же спокойно с дубиной, как в прежние времена шел на него с винтовкой и ятаганом.

Много глухих тропинок, на которые, быть может, с начала мира не ступала нога белого, еще более чудом уцелевших рощ прошли и посетили мы в эти короткие дни. И всюду мы встречали привет, благодаря магическому влиянию Гулаб Лалл Синга, который за отсутствием своим послал провожать нас и руководить нами в дороге своего доверенного слугу. И если бедные, голые крестьяне дичились и часто запирали пред нами двери, зато все брамины являлись к нашим услугам.

Прелестны местоположения в окрестностях Кандеша, по дороге в Тхальнер и Мхау, но много украшена здесь природа и искусством человеческим, и это искусство проявляется более всего на мусульманских кладбищах. Теперь все они большею частью полуразрушены и заброшены вследствие изгнания из этих местностей мусульманских принцев и ханов и большинства индусского населения. Когда-то властелины почти всей Индии, мусульмане теперь в загоне и в тысячу раз более унижены, чем индусы. Но много они оставили по себе несокрушимых памятников, между прочим свои кладбища. Эта неискоренимая верность мусульманина своим покойникам – одна из самых трогательных черт в характере сынов Пророка. Их посмертная преданность, всегда горячее выказываемая ими, нежели их любовь к семейству при жизни, как бы вся сосредоточивается на последних жилищах тех, кто отошли до них в лучший мир. Насколько их понятия о рае, обещанном Магометом, грубы и материальны, настолько поэтична обстановка их кладбищ, особенно в Индии. В этих тенистых, прелестных садах, с рядами белых гробниц, увенчанных чалмами, покрытых сверху донизу розами и жасмином, с кипарисами вокруг, невольно можно засиживаться по целым часам. В них мы обыкновенно совершали привалы, обедали, часто и ночевали. Особенно прелестно кладбище возле городка Тхальнер. Из нескольких уцелевших исторических мавзолеев великолепен памятник семейства Киладара, повешенного на городской башне в 1818 году генералом Гислопом, который между прочим расстрелял в тот же день всех солдат сдавшегося гарнизона, под предлогом, будто те составили против него заговор. Кроме памятника этому повешенному злополучному Киладару, есть четыре другие мавзолея, из коих один славится на всю Индию. Восьмиугольной формы, весь из белого мрамора, он покрыт сверху донизу резьбой, какой не найти и на *Père Lachaise*. Персидская надпись на подножии гласит, что он стоил 100000 рупий. Днем залитый горячим солнцем, этот высокий, минаретообразный мавзолей отделяется на синеве безоблачного неба, блестя как пирамидальная ледяная глыба; ночью, при том особенном фосфорическом свете луны в Индии, который приводит в восторг всех путешественников и

артистов, он еще ослепительнее и поэтичнее. Будто вновь выпавшим легким снегом покрыты его вершины; возвышая над темною зеленью кустов свой тонкий профиль, он кажется каким-то полуночным чистым видением, витающим над этой безмолвной обителью разрушения и смерти и оплакивающим невозвратное прошлое...

А рядом с такими кладбищами, обыкновенно на берегу рек возвышаются гхоты индусов... Есть действительно нечто величественное в этом обряде сожжения мертвых, – а в очень недалеком прошлом и сожжения живых, – но только в теории, а не на практике. Следуя за церемонией и видя, как в какой-нибудь час времени после смерти от покойника остается лишь несколько пригоршней пепла, который тут же рукой посвященного брамина, жреца смерти, и рассеивается на все четыре стороны по ветру, над рекой, дабы пепел навеки смешался со священной водой, зритель невольно поражен глубокою философией основной мысли подобного обряда. Разбрасывая горсть того, что некогда жило и чувствовало, любило и ненавидело, радовалось и плакало, брамин поручает пепел всего этого четырем стихиям: *земле*, из которой оно мало-помалу развилось и сформировалось в человека и которая так долго питала его; *огню*, эмблеме чистоты, пожравшему его тело, дабы дух его также был очищен ото всего греховного и мог свободнее вращаться в той новой сфере загробного существования, где каждый грех является камнем преткновения на пути души человеческой к «Мокше» или вечному блаженству; *воздуху*, которым он дышал и тем самым жил, и *воде*, которая очищала его физически, как и духовно, поила его и теперь принимает его пепел в «чистое лоно свое...» (Мантра XII.)

«Чистое», как прилагательное, является здесь только в фигуральном смысле «мантры». Говоря вообще, реки в Индии, начиная с трижды священного Ганга, невообразимо грязны, особенно близ городов и селений. Двести миллионов человек круглым счетом омываются в них от тропического пота и грязи по несколько раз в день; а *касты*, недостойные сожжения, как шудры, парии, мэнги и пр., бросают в них вдобавок всех своих покойников. Далее все касты, до браминов включительно, бросают туда же детей, умерших ранее трехлетнего возраста.

Пройдемся вдоль берегов любой реки, но только поздно вечером, чтобы провести там ночь и дожждаться рассвета. Вечером хоронят лишь богатых или принадлежавших к высшим кастам. Только для таковых зажигаются после заката солнечного высокие костры из сандалового дерева вдоль священных вод; для них одних произносятся мантры и заклинания богам, а для простых смертных, для бедных *бескастников*, нет не только костра, но и простой молитвы: *шудра* недостойн слышать даже после смерти божественные слова из священной книги откровения, продиктованного в начале мира четверьмя Риши Ведавьясе, великому богослову Арьяварты. Как не допускался он ближе семи шагов к ступеням храма при жизни, так не допустится он и в загробной жизни стать наряду с «дважды рожденными».

Ярко горят костры, протягиваясь по берегу реки длинной огненной змеей. Черные силуэты странных, дико-фантастических фигур тихо двигаются среди огней, то подымая тонкие руки к небу как бы в молитве, то подбавляя дров к костру, то мешая огонь длинными вилообразными кочергами, пока потухающее пламя не вспыхнет снова, треща и вясь и брызгая во все стороны растопленным человеческим жиром, да выпаливая под облака целый дождь золотых искорок, тотчас же исчезающих в густом облаке черной копоти. Это на правом берегу; перейдем на левый...

В тот самый предрассветный час, когда красные огни костров, черные облака миазмов и тощие фигуры факиров-прислужников, отразившись в последний раз в темном зеркале реки, одни потухают, другие расходятся, а миазмы с их запахом пригорелого мяса рассеиваются утренним ветерком и все на *гхотах* погружается в тишину до следующего вечера, – в тот самый час, на противоположном берегу, начинается процессия другого рода...

Печальною, безмолвною вереницей, то короткою, то длинною, смотря по смертности в

городе и окрестностях, тянутся индусы обоего пола. Они подходят к реке отдельными группами, без плача, безо всяких обрядов. Вот двое принесли на плечах что-то длинное, тонкое, завернутое в красную тряпку. Раскачав его за ноги и за голову, носильщики хладнокровно кидают ношу в желто-грязные воды реки. При падении, красная тряпка слетает в сторону, и темно-зеленое лицо молодой женщины показывается на один лишь миг, чтобы тотчас же исчезнуть в мутных волнах. Далее другая группа. Старик и две молодые женщины; одна из них, девочка лет десяти, низенькая, худая, далеко еще не развитая, рыдает с причитаньем: то *мать мертвого ребенка*, которого она тотчас же бросит в холодные воды грязной реки. Слабый голос ее монотонно раздастся по берегу, а дрожащие руки словно не находят силы кинуть бедную, маленькую фигурку, скорее похожую на темно-коричневого котенка, нежели на младенца. Старик ее уговаривает, затем берет мертвое тело из ее рук и, войдя в воду по пояс, кидает его на середину реки. За ним входят обе женщины, в чем стоят, то есть одетые или скорее полунагие, по обыкновению, и, погрузившись семь раз сряду в воду, для очищения после мертвого тела, выходят на берег и даже не отряхнувшись идут домой. Между тем коршуны, вороны и другие хищные птицы, целый день кружащиеся над рекой в ожидании добычи, собираются черною тучей над телами и долго задерживают их путь вниз по течению. Иногда такое обглоданное тело, зацепясь за прибрежный тростник или попав меж двух камней, беспомощно торчит из-под мелкой воды, пока наконец один из прибрежных *мэнгов*, несчастное бескастное существо, доля которого всю жизнь со дня рождения до последнего вздоха возиться за подобной *нечистой* работой, не придет вооруженный своим длинным шестом и, зацепив застрявший скелет между ребер, не выковырнет его из-под камней или тростника, чтобы снова толкнуть по течению – по дороге к синему Океану...

Но встанем теперь с песчаного и, несмотря на раннюю пору, уже накаленного берега. Простимся с водяным кладбищем бедных. Встанем и пойдем далее... Тяжелы и омерзительны для европейца подобные картины, и невольно при этом переносишься быстрокрылою мечтой туда, на далекий север, на те мирные сельские кладбища, где вместо резных мраморных с высокими чалмами гробниц, костров из сандалового дерева, да грязной реки вместо последнего ложа, стоять кресты, осененные старыми березами. Как мирно спят под высокой сочной травой наши *покойнички*. Не видал никто из них, сердечных, плывя вниз по течению, ни гигантских пальм, ни дворцов мраморных, ни пагод, крытых чистым золотом. Но зато над их бедными курганами цветут и фиалки, и белые ландыши, да весной заливаются соловей на старой березе...

Для нас соловьи уже давно не поют ни в соседних рощах, ни на душе. Этого-то уж тут всего менее. Но пойдем вдоль высокой стены из красного песчаника, ведущей к крепости, когда-то знаменитой и залитой кровью, теперь же безвредной и полуразрушенной, как и прочие. Стаи зеленых попугаев, испуганные нашим приближением, выпархивают из каждой полуразваленной ниши стены, сверкая на солнце крыльями, словно летающие изумруды. Мы на «проклятой» англичанами территории, и стране Чандвада, где во время сипайского мятежа бхили, ринувшиеся из своих засад как неудержимый горный поток в долины, перерезали несколько дюжин своих властелинов.

В двенадцати милях на юго-восточной стороне Чандвада находится целый город пещерных храмов, известных под именем *Енкай-Тэнкай*. Опять, как и в прочих пещерах, храмы на высоте ста футов над подножием, а холм пирамидальный. Описывать их здесь в подробности невозможно, так как предмет этот требует совершенно иной разработки. Поэтому лишь бегло замечу, что и в этом случае все статуи, идолы и работа на колоннах приписываются *буддистским* аскетам первых веков по смерти Будды. На том бы и можно покончить, если бы здесь неожиданно не являлось для гг. археологов новое и гораздо более серьезное затруднение, нежели все затруднения, вместе взятые, касательно других спорных пунктов. В этих пещерах находится более идов, называемых *буддами*, нежели где-либо в другом месте. Они покрывают главные входные двери, густо посажены вдоль каменных балконов, занимают задние стены всех келий, стоят на часах, как чудовища-великаны у входов, и наконец две такие фигуры сидят в главном *танке* (бассейне), где столетие за столетием ключевая вода оmyвает их по пояс без малейшего видимого ущерба для их гранитных тел. Между этими *буддами* есть прилично одетые, с пирамидальными, многоярусными пагодами на головах, есть и голые: некоторые в сидячем положении, другие представлены стоя; есть между ними колоссальной величины идолы, есть и маленькие, найдутся и средние. Все бы это еще ничего, хотя мы знаем, что реформа, затеянная Гаутамой или Сидхартой-Буддой, именно в том и состояла, чтобы вести ожесточенную войну против браминов и искоренить навеки идолопоклонство. Эта религия сохранялась чистой, *без малейшей примеси идолопоклонства* целые века, пока, наконец, попав в руки тибетских лам, китайцев, бирманцев и сиамцев, она не совратилась и не исказилась ересями. Затем, изгоняемая из Индии, преследуемая ожесточенными и, в свою очередь, торжествующими браминами, она нашла последнее убежище на острове Цейлоне. Там теперь она и процветает подобно тому легендарному алоэ, что цветет будто бы лишь один раз в жизни и цвет коего убивает главный корень, а семена цветов, пуская, в свою очередь, отпрыски, производят сорную траву. Но главное затруднение для археологов состоит не в идолах, приписываемых буддистам, а в физиономиях, в *типе* всех этих *Енкай-тэнкайских будд*. Все они до единого, от малого до большего – негры: приплюснутые носы, толстейшие губы, профили под углом 45° и курчавые волосы! Ни малейшего сходства между этою физиономией чистокровных негров и каким-либо из будд даже в Сиаме или в Тибете, где, при монгольских лицах с широкими скулами и такими же широкими носами, у всех этих идов, однако, гладкие, совершенно *прямые* волосы. Этот неожиданный и нигде не находимый в Индии африканский тип приводит антиквариетов в полное смущение. Недаром археологи избегают говорить об этих замечательных пещерах, так как после насикских пещеры *енкай-тэнкайские* для современных антиквариетов настоящие Фермопилы.



Раджпут, воин и помещик



Один из великих учителей (махатма)

Мы проехали Малеганв и Чикалвал, где осматривали чрезвычайно любопытный и весьма древний храм джайнов, снаружи построенный без малейшего цемента из сложенных квадратных, так аккуратно и тесно прилаженных камней, что даже тонкое лезвие ножа не проходит между ними; внутри храм украшен великолепной резьбой. Вернувшись в Тхальнер, мы

отправились прямо в Гхару. Там, для того чтобы посетить великолепные развалины старинного, когда-то укрепленного города *Мáнду*, находящиеся в двадцати милях к северо-востоку, нам пришлось опять нанимать слонов. На этот раз мы доехали благополучно и скоро. Упоминаю об этом месте, так как оно связано в моих воспоминаниях с одним из самых замечательных когда-либо виденных мною зрелищ, относящихся к той ветви многочисленных сект Индии, что обыкновенно называют «чертопоклонством».

Мáнду расположен на хребте гор Виндии около 2000 футов над уровнем моря. По уверению Малькольма, этот город был построен в IV веке по Р. Х. (в 313 году) и долго был столицей индусских раджей Дхары. Историк Фириштах указывает на *Мáнду* как на резиденцию Диливара хана Гхури, первого царя Мальвы, процветавшего от 1387 до 1405 года. В 1526 году город был взят приступом Багадур-шахом, царем Гуджератским, и затем снова взят обратно в 1570 году Акбаром, имя коего и год его посещения вырезаны на мраморной доске над главными воротами.

Странное чувство, должно быть схожее с тем, которое овладевает иными особами при их первом посещении Помпеи, охватило нас при самом входе в этот огромный, пустынный, называемый туземцами «мертвым» город. По всему видно, что некогда *Мáнду* был одним из самых обширных городов Индии. Городская стена – *тридцать семь* миль в окружности, по измерению, сделанному в 1852 году. В этом бесконечном пространстве тянутся улицы на целые мили; по обеим сторонам стоят разрушенные дворцы, валяются мраморные колонны. Из-за развалившихся гранитных стен зияют провалы подземных покоев, в прохладном полумраке которых проводили жаркие дни султанши. Далее разбитые ступени, засохшие танки, безводные резервуары, бесконечно длинные дворы, мрамором выложенные помосты и поломанные арки величественных портиков. Все это заросло вьющимися растениями и кустами, ныне скрывающими берлоги диких зверей. Высоко над развалинами торчат там и сям полууцелевшие стены мраморных и гранитных дворцов, пустые окна которых, широко тараща безглазые впадины под густою бахромой вековых чужездных растений, как бы хмурятся на назойливых, нарушивших их покой пришлецов. А еще далее, там, в самом центре развалин, из разбитого сердца опочившего города, из широкой богатырской груди, в которой когда-то бушевало столько страстей, столько жизни, выросла целая кипарисовая роща...

Казалось просто невероятным, чтобы город, который еще в 1570 году назывался *Шадиабád*, «обителью счастья», и в несчетный раз описанный и упоминаемый францисканскими миссионерами Адольфом Акуавива, Антарио де Монсеротти, Энрикесом и другими лицами посольства, отправленного с тот самый год из Гоа к Могольскому правительству за разными привилегиями, один из величайших городов того времени в целом свете, с великолепными улицами и роскошью, удивлявшею даже самые роскошные дворцы того периода в Индии, – чтобы тот город был этими самыми развалинами, на которых мы насилу могли отыскать чистое место для палатки. Наконец, из опасения диких зверей, мы решились разбить ее в единственном, почти неповрежденном здании Джамии-Масжид, или «Соборной мечети», возвышающемся на гранитной платформе, ступеней на двадцать пять выше площади. Ведущая сюда лестница, мраморная, как и все прочее, широка и мало повреждена временем; но зато крыша совершенно исчезла, и над нами сиял бы целую ночь небесный свод, если бы не случилось одного обстоятельства, о котором ниже. Кругом главного строения, стоящего на квадратной площадке, с четырех сторон идет низкая галерея, поддерживаемая несколькими рядами огромных столбов. Издали, невзирая на свою немного неуклюжую непропорциональную величину, это здание очень напоминает Акрополь в Афинах. Со ступеней, где мы расположились, видится мавзолей Гушанга-Гури, царя Мальвы, доведшего город до высшей степени блеска и роскоши. Массивное, величественное строение из цельного белого мрамора, с крытою галереей на превосходно украшенных резьбой колоннах, когда-то ведшей прямо в один из его дворцов, теперь же

обрамляющей глубокий овраг, который завален камнями и зарос кактусом. Внутри мавзолея пространная комната с потолком и стенами из широких квадратных плит, покрытых сверху донизу изречениями из Корана, писанными золотыми буквами, а посреди комнаты саркофаг самого султана. Неподалеку от этого жилища смерти дворец Баз-Бахадура – в мелких кусках, в пыли и заросший деревьями...

Усталые и изнемогая от жажды и голода, пройдя весь день по развалинам, и с тремя убитыми змеями, перекинутыми через палки как военный трофей, мы вернулись за несколько времени до солнечного заката и уселись пить чай и ужинать у входа нашей палатки, уже расположенной внутри мечети. Мы нашли у себя неожиданных гостей: *патель* – официальное лицо, нечто среднее между сборщиком податей и мировым судьей – соседней деревни и два землевладельца (*земиндары*) приехали верхом засвидетельствовать нам свое почтение и умолять как нас самих, так и наших спутников-индусов, с которыми были давно знакомы, принять их приглашение и ехать с ними. Услышав, что мы намерены ночевать в «мертвом городе», они горячо восстали против этого плана. По их уверениям, мы затеяли опасное и совершенно неслыханное дело. Через два часа развалины оживятся и из-под каждого куста, из подземных комнат каждого дома начнут вылезать для ночного разбоя гиены, *читты* и тигры, не говоря о нескольких тысячах шакалов и диких кошек. Наши слоны или убегут, или же будут обессилены и съедены. Следует, не теряя времени, собраться в путь и, оставив как можно скорее за собою развалины, ехать в их деревню, которая отсюда всего на полчаса расстояния. Там у них уже все приготовлено, и наш бабу ожидает нас.

Только в эту минуту заметили мы, что наш простоволосый и осторожный друг блещет своим отсутствием. Как видно, еще за три часа до того он спустился в долину к своим знакомым и послал их за нами.

Вечер был так хорош и мы так было славно устроились, что мысль перевернуть все наши планы на утро вовсе не улыбалась нам. К тому же казалось просто смешным, чтобы развалины, где мы спокойно проходили целый день, не встретив ничего опаснее трех убитых нами змей, были наполнены дикими зверями. Мы продолжали благодарить и отнекиваться.

– Но вам положительно невозможно оставаться здесь, – настаивал толстый *патель*. – Если случится несчастье, то я один должен буду отвечать перед правительством. Неужели вам приятно будет провести ночь без сна и в рукопашной схватке с шакалами, если не хуже того?... Вы не верите, что окружены дикими зверями, невидимыми до заката солнца, но тем не менее опасными? Так поверьте же инстинкту слонов, которые не трусливее нас, но, пожалуй, умнее. Взгляните, что они проделывают!..

Действительно, с нашими важными, напоминающими философов слонами происходило в эту минуту нечто необыкновенное. Высоко задрав вопросительным знаком хобот кверху, они сопели и с беспокойством топтались на одном месте. Еще минута, и один из них, перервав толстую, привязывавшую его к сломанной колонне веревку как гнилую нитку, повернулся в один прием всем тяжелым телом и стал напротив ветра. Крепко тянул он хоботом воздух, поднимая правую ногу и как бы собираясь бежать... Он, очевидно, чуял опасного зверя.

Полковник поглядел на него через очки и продолжительно свистнул.

– Дело действительно выходит серьезное, – заметил он. – Ну, а как в самом деле на нас нападут тигры...

Да, подумалось мне, а такура-то Гулаб Лалл Синга с нами и нет!..

Оба наши индуса, поджав ноги, сидели на ковре и спокойно жевали бетель. На вопрос об их мнении они хладнокровно отвечали, что это до них не касается: что мы решим, тому они и последуют. Но остальные наши спутники, англичане, уже перепугались и поспешно собирались уезжать. Через пять минут мы все сидели на слонах, а через четверть часа, и в тот самый

момент, как солнце заходило за гору и мигом распространились сумерки, мы выезжали из Акбаровских ворот и начинали спускаться в долину.

Но не отъехали мы и десяти шагов, как позади нас, не более как в полуверсте расстояния и как бы из только что оставленной нами кипарисовой рощи, поднялся вой и лай шакалов, а вслед за этим, как рев обманутого ожидания, послышалось такое продолжительное, громкое, вдруг потрясшее воздух рычание, что нас всех бросило в холодный пот. Наш слон рванулся вперед и чуть было не сбил с ног ехавших впереди верховых. Но на этот раз собственно мы, наездники, находились в безопасности: мы сидели в крепкой *хауде*, – в плотно запертой, как карета, башне.

– Вовремя же мы убрались, – заметил полковник, рассматривая из окна, как верховые, человек двадцать приведенной *пателем* прислуги, зажигали факелы.

Через час мы остановились у ворот довольно большего бунгало и нас встречал, улыбаясь, наш простоволосый спутник бенгалец. Введя всю нашу компанию во двор и под веранду, он объяснил нам, что, зная наперед, что наше «американское» упрямство восстанет против всякого предостережения, он пошел на хитрость, которая, к счастью, и удалась.

– А теперь отправимся умыться и за ужин...

И он добавил, наклонясь ко мне:

– Вы давно желали присутствовать на чисто индусском обеде или ужине. Ваше желание теперь исполняется. Наш хозяин брамин, и вы первые европейцы, переступающие порог его *семейного* жилого дома...

Кому когда-либо приходило в Европе в голову, что есть на белом свете такая страна, где каждый шаг в жизни человека, малейший его поступок, особенно в домашнем быту, самое незначительное действие связаны с религиозными постановлениями и *не могут* быть иначе совершены, как по известной программе? В этой стране не только все крупные эпизоды жизни, все главные выдающиеся черты ее, как-то: зачатие, рождение, переход из одного периода жизни в другой, женитьба, родительское звание, старость и, наконец, смерть, но даже все ежедневные отправления, функции физические и физиологические, как, например, утренние омовения, туалет, еда *et tout ce qui s'en suit*,^[85] со дня рождения до последнего вздоха, – все это должно быть исполнено по установленному браминами шаблону, *под опасением отлучения от касты*. Браминов можно уподобить музыкантам оркестра, в котором разнохарактерные инструменты представляют бесчисленные секты этой страны. Все они различной формы, разнятся и в звуках; тем не менее все подчинены одному и тому же капельмейстеру.

Насколько бы эти секты ни отличались одна от другой в толковании своих священных текстов и как бы враждебно ни относились они друг к другу, стараясь выставить вперед и возвысить над прочими каждая свое божество, но все они и каждая из них, слепо повинувшись веками установленным обычаям, обязаны следовать, как музыканты, одному дирижерскому жезлу – законам М́ану. На одном этом пункте они сходятся и составляют единоклубную, единомыслящую общину, крепко, неразрывно связанную массу. И горе тому, кто в этой общей симфонии произвольно или даже нечаянно сфальшивит! Старшины (должность у индусов наследственная) и выбираемый пожизненно верховный совет каждой касты или даже субкасты (коих множество) держат членов своей общины, что называется, в «ежовых рукавицах». Их решения беспелляционны, и поэтому-то исключение или, по принятому выражению, «отлучение» от касты является, одним из самых страшных наказаний, влекущих за собою ужасные последствия. «Отлученный» хуже прокаженного, так как солидарность между кастами, особенно в этом отношении, нечто феноменальное и может сравниться разве лишь с солидарностью сынов Лойолы. Если, при самом строгом соблюдении всех требований, члены двух разных каст, хотя бы и связанные самыми горячими чувствами взаимного уважения и дружбы, не могут не только вступать между собою в брак или вместе обедать, но даже и выпить, принять стакан воды друг у друга, или же выкурить вместе кальян, то понятно, насколько строже соблюдаются подобные запрещения касательно «отлученного». Несчастный в полном смысле слова *умирает* для всех: для своих столько же, как и для чужих. Даже собственное семейство: отец, мать, жена, дети обязаны или отвернуться от него, или же быть, в свою очередь, отлученными. Нет надежды на замужество его дочерей, на женитьбу сыновей, как бы ни были дети неповинны в наказуемом грехе...

С минуты «отлучения» индус как бы исчезает для всех любивших и знавших его. Его мать, жена, дети не смеют накормить его, ни даже позволить напиться из домашнего колодца. Никто из прежней касты, тем менее из других, ни за какие деньги не осмелится ни продать ему, ни приготовить для него пищу. Ему буквально приходится или умереть с голоду, или же еще более *осквернить* себя, покупая необходимое у *бескастников* или у европейцев.

Понятно, что против такой силы – она тем страшнее в своей пассивности, что против последней закон совершенно бессилён – не помогут ни западное воспитание, ни английское влияние. Остается одно: каяться и подчиняться всевозможным унижениям, а благодаря алчности браминов иногда и полному разорению. Я знаю лично несколько браминов, кончивших самым блестящим образом курс в английских университетах, которые, вернувшись на родину,

вынуждены были подвергнуться всем отвратительным требованиям «очищения», а именно: сбривать половину усов и бровей, ползать голыми на животе вокруг пагод, держаться по часам за хвост священной коровы, читая молитвы, и, наконец, есть испражнения этой коровы! ^[86] Путешествие за море (*калапани*, т. е. за «черную воду») считается самым тяжким из грехов и требует вследствие этого самых строгих очищений. На совершившего такой поступок взирают как на человека, который от самой минуты отъезда на корабле *беллати* (иностранцев) до минуты возвращения осквернялся постоянно... Всего несколько дней тому назад один наш знакомый, доктор юриспруденции, блистательно окончивший курс в Англии, вынужден был пройти через подобное «чистилище» и чуть с ума не сошел. На наше замечание, для чего же ему подчиняться всему этому, если, по собственному сознанию, он давно перестал верить в брахманизм и сделался ярым «материалистом», он нам привел причины, против которых возражать было невозможно. «У меня в доме две дочери (говорит он), одна пяти, другая шести лет; если я их не выдам замуж, особенно старшую, в продолжение этого года, то их станут считать перезрелыми и на них уже никто не женится. Допустив, чтобы меня отлучили, я их этим обещаю, поставлю в невозможность найти мужей и сделаю их навеки несчастными. Затем старуха-мать до того суеверна, что, вследствие такого семейного позора, непременно покончит с собою: она уже не раз грозила мне самоубийством»... Но, быть может, заметят нам: почему бы ему, человеку образованному, разом не разорвать всякую связь с брахманизмом и кастой? Почему бы не соединиться с другими товарищами в подобном ему положении? Забрав семейство и всех ему близких – не перейти целою колонией на сторону цивилизации, присоединиться к европейцам?

Вопрос весьма естественный, но и ответ на него далеко не затруднителен. Как в знаменитом ответе одного маршала Наполеону, из тридцати двух приведенных им причин, почему нельзя было атаковать некоей крепости, первою причиною являлось отсутствие пороха, так что о других причинах и спрашивать было нечего, так и из многих причин, почему для индуса немислимо *объевропеиться*, – первая должна оказаться совершенно достаточною и, конечно, не потребует указания остальных. Разрубив Гордиев узел, индус не только не помог бы горю, но попал бы прямо из огня да в полымя. Будь у него семь пядей во лбу, будь он в науке соперником какого-нибудь Тиндаля, в политике равен Дизраэли и Бисмарку, принадлежи он к знатнейшему роду, – как только он отрекается от своей касты и соотчичей, так разом становится в положение гроба Магомета: говоря метафорически, он повиснет между небом и землей!..

Мудрая поговорка: «от своих отстал, а к чужим не пристал», кажется, сложена нарочно для этого злополучного народа. Напрасно воображают, будто отстранение как индийцев-магометан, так и индусов ^[87] от гражданской службы есть лишь результата несправедливой, трусливой политики, боящейся привлечения своих заклятых врагов к управлению страной. Общественный остракизм и совершенно откровенно высказываемое со стороны англичан враждебно-презрительное чувство «высшей» к «низшей» (по английским понятиям) расе играет в этом вопросе гораздо более серьезную роль, нежели предполагают даже в Англии. Это незаслуженное презрение, высказываемое при всяком случае туземцам (включая тут и мусульман), с каждым годом расширяет между двумя нациями пропасть, которой им веками не засыпать. Приведу два примера.

Мы гостили у одного весьма влиятельного здесь лица, редактора английской газеты, и имели случай познакомиться с одним чрезвычайно замечательным мусульманином, молодым человеком из высшей туземной аристократии Сеидом М. Что туземец принят в доме, посещаемом всем местным английским *beau monde*, ^[88] объясняется двумя причинами: во-первых, мистер С*** далеко не заурядный англичанин, а джентльмен в полном смысле этого слова; во-вторых, этот курьез, как нам кажется, можно отчасти объяснить тем, что Сеид М., не в

пример прочим, носит европейское платье, воспитывался в Англии и человек не только талантливый, но вдобавок сумевший заставить даже англичан уважать его. Горячий патриот, он бросил адвокатуру, обещавшую ему громкое имя и еще большее состояние, и перешел в гражданскую службу, приняв место судьи в незначительном округе, из-за одной надежды, по его словам, «хоть сколько-нибудь улучшить политическое и общественное положение туземцев». Единственный, быть может, пример между индийскими мусульманами: он не делает разницы между могулами и индусами и одинаково горячо защищает интересы обеих рас. Его любовь к индусам даже чуть ли не горячее привязанности к единоверцам: мать Сеида была перешедшею в мусульманство браминкой...

– Все мы, туземцы, дети одной и той же несчастной матери нашей, Индии, – говорил он нам недавно, выражаясь привычным ему восточным и весьма поэтическим слогом. – Сыны одной горькой участи, мы должны дружно нести ее, а не растревлять наболевшие язвы распрями между двумя фанатическими религиями.

Это говорилось вследствие только что происшедшего публичного в Бенаресе побоища между могулами и индусами во время и по случаю религиозных празднеств у первых.

Сеид М. заезжал к нам каждый день и обыкновенно тотчас же заводил беседу о «болячках» Индии, как он их называл, и по целым часам бывало спорили – С. отстаивая англичан, М. доказывая угнетенное положение туземцев, несправедливость к ним англо-индийского общества и невыносимое высокомерие британцев в Индии. Раз у них зашел спор горячее обыкновенного по поводу только что вышедших в Калькутте новых гражданских служебных постановлений. М. спрашивал, почему, например, из двух чиновников, англичанина и туземца, и совершенно равных чинах и занимающих совершенно одинаковые должности (окружного судьи, например), англичанин получает на 35, а иногда с разными натяжками и на 60 процентов более годового оклада, нежели полагается на той же должности туземцу? Первому выдаются для летней кочевки экстренные суммы, так называемые «лагерные», каждый год «вспомогательные», а туземцу *ничего*, кроме жалованья? «И ведь все это из денег Индии (добавил он), т. е. из кровавого пота несчастной дойной коровы англичан, коровы, уже до того передоенной, что следует только удивляться, как у нее до сих пор не отвалилось вымя»...

Припертый таким образом к стене, С., блестящий писатель и такой же оратор, знакомый с политическим направлением калькуттского кабинета как с собственным карманом, не нашелся что на это ответить и сказал парадоксальную глупость: «Не забудем (пробормотал он), что мы в этой стране *изгнанники*; что вы, индийцы, по вашему же собственному сознанию, нуждаетесь в нас, и что было бы несправедливо заставлять нас служить вашей стране без хорошего вознаграждения. Вы, туземцы, обязаны платить нам: наши нужды, наконец, более ваших»...

У М. от изумления даже опустились руки.

– «Изгнанники»?... – воскликнул он наконец. – Вы изгнанники? Да кто же вас просил приезжать сюда из-за морей спасать нас! Неужели...

Но он не закончил!.. Под перекрестным огнем наших изумленных взглядов, при этой комической выходке, сам С. расхохотался над самим собою... Он видимо старался замять этот щекотливо-политический разговор. Но М. не унимался; очевидно, у него сильно накопело на сердце, и он через несколько минут снова повел атаку.

– Вот, – заметил он, – мы с вами старые друзья, и вы принимаете меня как равного. Но ведь это не потому, что мои прадеды были в продолжение стольких веков первыми сановниками могульской империи, или что мы ведем свой род от дочери Магомета... А просто оттого, что я в Англии сделался более или менее похожим на *джентльмена*, что я ношу черный фрак и, при случае, даже палевые перчатки. Иначе и в туземном костюме, хотя он красивее ваших черных мешков, вы стыдились бы принимать меня, тем более сажать за свой стол.

И на горячий протест хозяев он прибавил:

– Не спорьте, С.; а главное не отвечайте за других, так как я вам сейчас же докажу, что вы неправы и что есть между вами лица, в глазах которых даже мой черный фрак не спасает меня. Вчера, например, леди К. не приняла моего визита. Это бы еще ничего. Но знаете ли, что она приказала сказать мне через секретаря ее супруга? Фраза знаменательная, уже облетевшая весь город и обрисовывающая в нескольких штрихах наше политическое и социальное положение. Она приказала мне передать свое «удивление»... Я должен был знать, что лорд К., ее высокородный супруг и мой начальник, три дня тому назад уехал из города, а что «жены» сановников ни в Англии, ни в Индии не имеют обыкновения принимать визиты «по службе». Иными словами, что ей и в голову не могло придти, чтобы туземец «осмелился» сделать английскому семейству визит наравне с другими смертными, кроме разве по *служебным обязанностям*.

– Леди К. этим показала только свою природную глупость, – вспыхнула мистрис С. – Никто, кроме нее, не сделал бы вам подобной дерзости.

– Совсем нет, – отвечал, по-видимому, спокойно мусульманин. – Делали мне весьма часто и другие ваши дамы, и даже их мужья, мои собственные сослуживцы, такие же ничем не вызванные дерзости. – И он назвал несколько имен. – А если я, в моем исключительном для туземца положении, подвержен таковым, то чего же приходится ожидать другим, менее фаворизованным судьбой и правительством туземцам?

Он сидел, нагнувшись над чашкой, и говорил тихо, по-видимому, сохраняя полное хладнокровие. Только ложечка, которою он машинально постукивал о блюдечко, слегка дрожала в его руке, да черные глаза налились кровью и пылали...



Один из наших спутников



Бабуля. Один из спутников Е.П. Блаватской во время путешествия по Индии

– За Англию, которая меня воспитала, – продолжал он тем же тоном, – за правительство, которому я присягал в верности и которому служу, я готов отдать, ради моей же возлюбленной Индии, жизнь. Мы, как народ, неспособны теперь управлять страной без чужой помощи, это я знаю, хотя худо ли, хорошо ли, а управляли ею веками, и страна была богаче и счастливее. Но я сознаю, что теперь, за последнее столетие, мы выродились и что помощь Англии нам необходима. Но если я присягал в верности правительству, то не делал еще ничего подобного в отношении к обществу и частным лицам... и я *ненавижу их!*.. Попомните мои слова: если Англии когда-нибудь снова придется бороться с мятежом, то этому виной будет единственно английское же общество; и случится это вследствие до бешенства доводящего туземцев презрительного высокомерия посылаемых сюда ваших чиновников. Нам все твердят о тирании и деспотизме России, нас пугают жестокостью ее правительства. Да знаете ли вы, что на это отвечают хоть бы наши мусульмане, потомки султанов, сердарей, героев и величайших государственных людей прошлых веков? Они говорят следующее: да, быть может, администраторы России и жестоки и ее правительству не сравниться с «благодарным» правительством ее величества императрицы Индии. Но когда мы читаем и слышим со всех сторон, что в России такой-то генерал – *мусульманин*, другой – армянин и, несмотря на это, главнокомандующий целой армией, между тем как у нас последний английский солдат скорее дезертирует, нежели согласится повиноваться и признать начальником *туземца*, будь последний хоть принц крови, то, сравнивая нашу горькую участь с судьбой и надеждами каждого верного России иноверца и иноплеменника, у нас невольно шевелится на душе вопрос: чем же это мы одни заслужили подобные унижения? Почему это только нас одних держат в черном теле? И, в безмолвном отчаянии, сознавая всю безвыходность нашего положения, нельзя нам подчас и не позавидовать положению нашего брата мусульманина – в так называемой вами *деспотической*

России!..

Второй пример. Семейство одного известного и очень ученого доктора медицины в Бомбее, уроженца Гоа, по фамилии португальца. Уже более трех поколений они христиане католики, но прадеды как мужа, так и жены были чистокровными высокородженными браминами. И муж, и жена воспитывались за границей и получили превосходное образование. Муж – кавалер нескольких почетных орденов, член многих ученых обществ и находится на хорошем счету в Азиатском Королевском Обществе. Жена – молодая двадцатилетняя женщина, превосходно образованная, обладает восхитительным голосом. *Ни тот, ни другая в обществе не приняты.* На их музыкальных вечерах по вторникам, кроме нескольких журналистов из европейской *богеми*, не найдется ни одного лавочника-англичанина; из дам положительно ни одной. «Помилуйте», завопят либеральные барыни и барышни, юность которых, быть может, протекла в какой-нибудь задней лавке Оксфордской улицы, «помилуйте! Кто же водит знакомство с подобными *неграми?*»...

Чем-то странным, чудовищно невероятным покажется все это нашим русским читателям.

Ради яснейшего понятия о туземцах Индии, мы здесь распространились об этом вопросе, быть может, более, нежели следовало; как бы то ни было, но злополучные индусы, ввиду всего этого, предпочитают временное унижение и все страдания «очищения», как физические, так и нравственные, подобной перспективе общего презрения до самой смерти.

Множество подобных вопросов занимало нас в продолжение тех двух часов, которые нам пришлось высидеть до обеда с браминами. Это, как казалось с первого взгляда, опасное, почти невозможное отступление от предписаний Ману – обед с иностранцами и людьми других каст – объяснялось на этот раз просто. Во-первых, толстый *патель* был *главою* своей касты, поэтому не боялся отлучения; во-вторых, он заранее принял все предосторожности и предписанные законом меры, дабы не *оскверниться* нашим присутствием; а в-третьих, либерал в душе и приятель Гулаб Лалл Синга, он обещал ему показать нашему обществу на деле, сколько софизма и тонких уловок придумано хитрыми браминами, дабы, сохраняя на вид мертвую букву закона, в то же время ловко вывертываться при экстренных случаях из-под его железной руки.

Таковы были, во всяком случае, объяснения нашего бабу в ответ на выраженное нами удивление. Нам оставалось, стало быть, только возрадоваться редкому случаю и не упустить оного. Кто раз был допущен не только разделить, но даже присутствовать при обеде брамина, тот становится как бы священным в его глазах. Не только сам хозяин, но даже все члены касты его взирают на такого счастливца как бы на принадлежащего по крайней мере *de jure* к их касте. Но зато как редко, почти невозможны такие случаи!..

Индусы едят всего два раза и день (мы говорим о богатых), утром в десять и вечером в девять часов; оба раза трапеза сопровождается сложными обрядами и церемониями. В остальное время дня никто, даже дети не едят ничего, так как есть без предписываемых религий заклинаний считается грехом. Тысячи образованных индусов давно перестали верить в эти суеверные обряды – остатки глубокой старины, но, невзирая на это, обязаны подчиняться им.

Наш хозяин Шамрао Бахунатджи принадлежал к древней касте «Патарских Прабху» (Pátáres Prabbhús) и весьма гордился своим происхождением. Прабху (т. е. лорды, господа) – потомки кшатриев (воинов), родоначальником коих был Ашвапати (700 лет до Р. Х.), происходивший по прямой линии от Рамы и Притту, которые, по местной хронологии, управляли Индией в *двапара* и *трета* югах.^[89] Для них одних брамины обязаны исполнять чисто-ведические обряды, известные под названием «обрядов кшатриев». Теперь их зовут *патанами* вместо патаров (т. е. «падшие»), и этим несчастьем они также обязаны родоначальнику своему царю Ашвапати. Раз, раздавая милостыню святым отшельникам, он нечаянно обошел великого Бригу. Оскорбленный этим, пророк и ясновидец проклял его, пригрозив, что его царствованию скоро придет конец, а все потомство погибнет. Тогда царь, бросившись к его ногам, стал умолять о прощении. Бригу наконец согласился простить его, но проклятие святого уже пустило корни, и все, что он сам мог сделать для поправления дела, было не допустить его род до окончательной гибели. Вследствие этого патары вскоре потеряли престол и даже всякую власть. С тех пор им приходилось жить «пером» и службой разным правительствам, переменить имя патаров на патанов (падших) и жить беднее, нежели многие из миллионов бывших их подданных. К счастью, еще прадеды нашего словоохотливого амфитриона перешли в брахманство, т. е. пролезли через золотую корову...

Выражение «жить пером», как мы узнали, относилось к тому, что со времени английского владычества почти все должности писарей и мелких чиновников в бомбейском президентстве заняты патанами, как в северо-западных провинциях их занимают бенгалийские бабу. В одном Бомбее их насчитывают до 5000. Они смуглее конканских браминов, но зато и гораздо красивее и умнее. А таинственное выражение «пролезать через золотую корову» означало следующее: в исключительных случаях и при готовности затратить большую сумму денег, не только кшатрии, но даже презренные шудры могут преобразоваться, так сказать, в «побочных» браминов. Настоящие брамины, от которых исключительно зависит эта метаморфоза, заставляют их покупать это право за несколько сот, а иногда и тысяч коров. Затем, вылив из чистого золота корову, которая освящается при разных мистических церемониях, кандидата заставляют пролезать три раза через ее пустое отверстие, и тогда подвергшийся такому искусству тотчас же перерождается в брамина. Нынешний траванкорский махараджа и даже великий, недавно умерший махараджа Бенареса – оба шудры и некогда купили себе подобным образом желаемое право.

Все эти сведения как исторически-легендарная хроника о патарах были переданы нам с большою любезностью нашим хозяином. Попросив нас готовиться к ужину и обещав вернуться за вами через полчаса, почтенный Шамрао исчез, уводя с собою и наших кавалеров. Оставшись одни и пользуясь отсутствием мужчин, мисс Б*** и я отправились рассматривать пустой, как нам казалось, дом, захватив с собою одного лишь простоволосого бабу для объяснений. Бабу, как истый, современный бенгалиец, презирал религиозные приготовления к столу и поэтому находил лишним «готовиться». Он пошел с нами.

«Прабху», если их несколько братьев, все живут в одном бунгало, и у каждого женатого

брата непременно своя особенная комната (если не отдельное помещение во дворе) и свой слуга. Дом нашего хозяина был обширный, окруженный меньшими пристройками, занимаемыми его братьями, тогда как главное здание служило для гостей и заключало в себе общую столовую, молельню или кумирню, комнату для родильниц, другую для покойников и т. д. Как и все туземные бунгалы, весь нижний этаж был окружен верандой (крытой галереей), с которой входы с арками и без дверей вели в большую, занимавшую весь нижний этаж залу. Вокруг этой комнаты, со всех ее четырех сторон шли деревянные с великолепной резьбой колонны, поддерживавшие потолок верхнего этажа и заменявшие в этом случае стены. Мне почему-то показалось, что эти колонны когда-то должны были украшать один из дворцов «мертвого города». Резьба была совсем не индусского характера, и вместо богов, баснословных чудовищ и зверей, колонны были покрыты арабесками с изящно вырезанными цветами и листьями. Колонны поставлены вблизи одна от другой, но рельефная работа не позволяла им, однако, составлять одну сплошную стену, вследствие чего вентиляция оказывалась немного форсированною: во время нашего сидения посреди столовой нас продувал из-за каждой колонны сильный сквозной ветер и со всех четырех сторон жужжали миниатюрные ураганы, будя все уснувшие было в климате Индии ревматизмы и зубную боль. Весь фасад дома был покрыт прибитыми к стенам и над окнами железными подковами – вернейшее средство против злых духов и от *глазу*. К правой стороне фасада была прилеплена пристройка – высокая комната, называемая «озри»; из этой «озри» во всех туземных домах ведет наверх (резной работы, как и все прочее) лестница, у подножия которой на большой висячей без ножек кровати, спускающейся с потолка на железных цепях, лежал в натуральную величину идол, которого я сперва приняли за спящего индуса и даже приготовилась было ретироваться. Узнав, однако, нашего старого друга Ханумана, я расхрабрилась и стала его рассматривать... Увы! от когда-то целого бога оставалась одна лишь голова; остальное, долженствовавшее представлять тело, оказалось старыми тряпками... Налево от веранды находился еще ряд пристроенных комнат; каждая из них имела особенное назначение. Комната для прекрасного пола, который хотя и не обязан прятаться под вуалью, как мусульманки, и проводить жизнь в гаремах, имеет однако весьма мало общения с мужчинами и держится совершенно особняком. Здесь женщины только готовят пищу для мужчин, но не обедают вместе с ними; они часто пользуются уважением и даже иногда робкою почтительностью со стороны мужа, но тем не менее не осмелятся с ним заговорить не только при постороннем лице, но даже при его сестрах и матери. Что же касается вдовы в Индии, то это самое несчастное существо в мире. Как только умирает муж, ей сбивают волосы и брови навсегда. Все ее украшения снимаются: и серьги из ушей, и кольца из носу, браслеты с рук и ног, и перстни со всех двадцати пальцев. Она буквально *умирает* для своего семейства как и для света, и даже «мэнг» не женится на ней, так как самое легкое к ней прикосновение оскверняет мужчину и он должен тут же бежать «очищаться». На ее долю выпадает самая черная работа в доме, и ей не позволено есть вместе с замужними женщинами или детьми. Самосожжение вдов («сутти») запрещено, но брамины взяли свое: все вдовы жалеют о костре.

Наконец, осмотрев последнюю комнату – святилище индусов – «кумирню», наполненную идолами, перед которыми стояли цветы, горели лампы, свечи и курился фимиам в богатой бронзовой вазе, а пол был густо усеян *тульси* и другими ароматическими травами, мы отправились одеваться. После умывания нас заставили снять обувь: таков обычай, и нам оставалось лишь подчиниться или отказаться от браминского ужина. Но нас ожидал еще более неожиданный сюрприз. Войдя в столовую, мы просто остолбенели: оба наши европейские кавалера были одеты – или скорее раздеты – индусами!

Из приличия на них оставили нечто вроде безрукавных фуфаяк; они были босы, с

обмотанными вокруг бедер снежной белизны *дотти* и представляли нечто среднее между белыми индусами и константинопольскими *garçons de bains*.^[90] Оба были невыразимо смешны, и я не знаю ничего уморительнее европейца в подобном костюме. К великому смущению мужчин и, как полагаю, скандалу серьезных хозяек, я расхохоталась на весь дом. Сорокапятилетняя мисс Б*** старалась покраснеть, но тут же последовала моему примеру. Худшее совершилось; посмотрим, что далее...

Церемонии и обряды, о которых только что шла речь, достигают у индусов полного апогея пред каждым обедом и ужином. За четверть часа до того как садиться за еду, каждый индус от мала до велика обязан совершить *пуджу* пред богами. Он не переменяет белья, но снимает даже то малое, чем прикрывается во время дня. Выкупавшись у колодца, то есть умыв себе руки, ноги и лицо, он распускает длинную прядь волос на макушке бритой головы и остается простоволосым;^[91] обедать одетым или с покрытой головой считается у индусов грехом. Обмотав бедра белой шелковой *дотти* (шелк обладает свойством отгонять злых духов, обитающих в магнетических токах атмосферы, говорит Мантра, книга V, стих 23), они идут поклониться идолам и затем уже садятся за трапезу.

Засим, позволю себе еще раз сделать маленькое отступление, хотя бы ради невольной являющегося вопроса: не таится ли за этим кажущимся суеверием о духах и шелке чего-либо более глубокого. Уже давно, хотя изредка и с видимым нежеланием расстаться с излюбленной учеными идеей, что все обычаи древности и язычества основаны де на одном лишь *невежестве* и грубом *суеверии*, – уже давно, говорю я, стали открывать, что некоторые из этих обычаев, казавшихся столь нелепыми с первого взгляда, возникли из чисто научного принципа. Почему же не предположить скорее, что древние ввели подобный обычай, хорошо зная свойства и благотворное влияние электричества в соприкосновении с голым телом человека на органы пищеварения? Те, которые изучали древнюю философию Индии с твердым намерением проникнуть в тайный смысл ее афоризмов, в большинстве случаев убедились, что с самых древних времен свойства электричества были в значительной доле известны таким философам, как, например, Патанжали. Чарака и Шушрут изложили систему Гиппократов еще за несколько веков до того, кого на Западе так долго называли «отцом медицины». Исчисления Сурьи-Сидхенты, доказывающие, что он знал и исчислил силу паров, века тому назад, неизгладимо начертаны на камне, что хранится в Бадринатском храме Вишну. Древние индусы первые вычислили скорость света и определили законы, которым он следует в своем отражении; а Пифагорова таблица и его знаменитая теорема о свойстве квадрата гипотенузы находятся в древних книгах *Джотиши* (*Geotishà*). Еще недавно западные математики указывали на Гиппарха Никейского как на отца тригонометрии, хотя все, что они когда-либо могли узнать о нем, почерпнуто ими со слов его же ученика Птолемея; а теперь здесь найдена древняя рукопись, доказывающая, что «уравнение центра» (*équation du centre*) было известно индусам задолго до Р. Х.

Все это позволяет нам предполагать, что древние арийцы, устанавливая этот странный обычай носить во время еды *шелковые* «дотти», имели в виду нечто серьезнее, нежели отвод от «демонов». Хотя странно, что даже в наш просвещенный век есть ученые доктораспиритуалисты, которые (как д-р Евгений Кроуэл, в Нью-Йорке) пишут целые ученые диссертации, доказывая, что так называемым «медиамам» одно спасение от злых духов-кикимор – носить на голове и груди плотно завязанные *шелковые* платки, и хотя почтенный Кроуэл еще не совсем ясно доказал ученому миру, что кикиморы вообще (американские в особенности) дрожат пред произведением шелковичных червей, зато он совершенно ясно и логично объясняет роль шелковой материи в отношении к электричеству. А поэтому...

За нами явился хозяин, и мы отправились в столовую.

Войдя в «трапезную», мы тотчас же увидели, в чем состоят предохранительные меры индусов от осквернения. Каменный пол залы был разделен на две равные половины чертой, нарисованной мелом со странными кабалистическими знаками по концам. Одна половина предназначалась для хозяев и однокастников, другая – для нас. В стороне находился еще третий квадрат для наших туземных спутников другой касты. За исключением этого легкого барьера, обе половины были одинаковы. Вдоль двух противоположных стен узкие ковры с подушками и низенькими скамеечками для сидений, по числу ужинавших; а пред каждым сидением на голом полу продолговатый квадрат, разделенный как шахматная доска на меньшие квадратики, – тоже мелом, – предназначаемые для различных блюд и тарелок. Последние заменялись толстыми и крепкими листьями ост-индского дерева «тика» (*Butea frondosa*): большие блюда – из нескольких листьев, склотых вместе шипами, блюдечки – из одного закругленного по бокам листа. Весь ужин был налицо и стоял пред каждою скамейкой; мы сосчитали сорок восемь таких блюдечек из малых листьев, на которых лежало по *глотку* яств – сорока восьми сортов! Все эти кушанья являлись нам материалом из *terra incognita*, некоторые оказались чрезвычайно вкусными, а ужин состоял из строго растительной пищи; говядина, птицы, яйца, рыба были изгнаны из этого *меню*. Тут были и *чатни*, маринованные в меду и уксусе, фрукты и овощи; и *панчамрит* – смесь из пампелло (ягоды), тамаринда, кокосового молока, патоки и прованского масла; и *кушмер* из редисок, меда и муки; и прожигающие насквозь рот пикули, и пряности, и т. д. Все это довершалось горою великолепно изготовленного риса и другою горой *чапати* – лепешек вроде грузинских «чуреков». Блюда стояли в четыре ряда, по 12 в ряд, а между каждым рядом дымилось по три курительных ароматных палочки, величиной с копеечную церковную свечу. Вдоль всего нашего отделения ярко горели красные и зеленые свечи в семи огромных, странной формы канделябрах, представляющих каждый семиглавую кобру, обвившую хвостом древесный пень и поднимающую во все стороны головы. Из семи ртов ее подымались семь тонких, завитых штопором красных и зеленых восковых свечей. Дующий из-за всех колонн сквозной ветер развеивал во все стороны желтое пламя, наполняя нашу высокую трапезную фантастически прыгающими тенями и заставляя сильно чихать наших «легко одетых» господ. Оставляя темные силуэты индусов еще более в тени, этот неверный свет тем резче выбрасывал ярким белым пятном этих двух европейцев, как бы дразня и глумясь над ними...

Один за другим входили родственники и однокастники хозяев. Все они были нагими до пояса, со священным «тройным» шнурком браминов через плечо, босые, с распущенными волосами и все в белых шелковых «дотти». За каждым «саабом» шел слуга, несший его чашку, два серебряные или даже золотые рукомыника и полотенце. Все они, поклонившись хозяину, подходили к нам поочередно и, сложив вместе ладони, прикладывали руки ко лбу, к груди и наконец, нагибаясь, дотрагивались ими до земли, проговорив: *Рам-Рам* и *намасте*.^[92] Затем они, поджав ноги, молча садились на свои места, напоминая мне, что этот древний обычай приветствовать друг друга вдвойне произносимым именем прародителя существует с доисторических времен.

Когда мы все разместились, индусы, спокойные и величавые, как бы собираясь совершать таинство, мы, чувствуя себя не совсем ловко, не зная что делать с собою далее и боясь совершить, в невинности души, какую-нибудь глупость и тем оскорбить хозяев, вдруг раздалось из темного угла тихое пение нескольких женских голосов. Полдюжины «научей» (певиц и танцовщиц пагод) затянули в унисон гимны и восхваления богам. Тогда под этот шумок, проголодавшиеся и усталые, мы принялись за рис, который, по научению и благодаря бабу, мы принялись есть правою рукой, так как иначе, если бы мы стали есть его левою, то разом привлекли бы на пир целую стаю *ракшасов* (демонов) и выгнали бы в ужасе всех туземцев. О ножах, вилках и ложках не было, конечно, и помину. Страшась провиниться невольно и по

рассеянности, я всунула левую руку в карман, крепко держась во все остальное время пиршества за носовой платок...

За исключением тихого пения, продолжавшегося всего несколько минут, пиршество оказалось из самых молчаливых. Был понедельник – день постный, и правило гробового молчания за пищей соблюдалось у них в тот день еще строже. Обыкновенно, когда при случаях неизбежной необходимости случится кому проговорить хоть одно слово, то он спешит, омочив средний палец дотоле спрятанной за спиною левой руки в воду, увлажнить себе оным оба века. Но действительно набожный человек не удовольствуется таким очищением: прервав молчание, он обязан тотчас же встать, умыться и уже в тот день не дотрагиваться до пищи.

Благодаря подобному гробовому молчанию, мне представлялась возможность наблюдать за всем происходившим с величайшим вниманием. Несколько раз, впрочем, взглянув на полковника и мистера У***, уплетавших рис пригоршнями, мне стоило величайших усилий, чтоб опять не расхотаться. Мною невольно овладевал неудержимый смех. Оба сидели с невозмутимою важностью и неловко работали и локтями и руками. Но я счастливо удержалась и устремила все свое внимание на необычайную процедуру индусов. Постараюсь описать любопытные детали их манеры обедать и ужинать.

Каждый из них, усевшись с поджатыми под себя ногами и держа в левой руке принесенный слугою кувшин, наливал себе из него воды сперва в чашку, а затем в горсть правой руки. Потом он медленно и долго кропил из нее вокруг стоявшего отдельно от других кушаний листа с яствами (как мы узнали, для богов и духов) и во все время этой церемонии напевал «мантру» из Вед. Набрав после этого в правую пригоршню рису, он повторял несколько других двустижий с припевом и, отложив пять щепоток на правую сторону своей тарелки, снова умывал руки (от глаза), снова кропил водой вокруг этой тарелки и, налив окончательно несколько капель в горсть правой руки, выпивал ее. Потом проглатывал другие шесть щепоток рису, одну за другою, бормоча все время молитвы и, обмакнув в чашку с водой средний палец левой руки, дотрагивался им до обоих глаз. В заключении он прятал левую руку за спину и тогда только начинал свой ужин правой. Все это совершалось в несколько секунд, но с большою торжественностью. Ели индусы, наклонясь всем туловищем вперед и подбрасывая рукой пищу в рот с ловкостью японских жонглеров, не проронив ни одного зернышка, не пролив ни единой капельки из разных жидкостей. Из уважения к хозяевам и, вероятно, желая оказать этим честь Индии, наш полковник видимо старался подражать им в каждом движении. Он также было наклонился далеко вперед всем туловищем, но, увы! – почтенное брюшко оказалось серьезною помехой. Потеряв равновесие, он чуть было не повалился со своей скамеечки лицом прямо в яства, счастливо отделавшись на этот раз одними очками, которые полетели в кислое молоко с чесноком. После такого несчастного опыта храбрый американец разом отказался от дальнейших попыток «индуизироваться» и успокоился.

Все кончили ужин по обыкновению рисом, приправленным сахаром, толченым горохом, оливковым маслом, чесноком и гранатами. Это последнее лакомое блюдо они едят поспешно, нервно, поглядывая на соседей и как бы вперегонки. Каждый из них смертельно боится опоздать и кончить после другого, так как это чрезвычайно дурная примета. Пред самым концом они снова забирают воды в горсть и, пошептав над нею заклинания, проглатывают ее залпом. Горе тому, кто поперхнется при этом! Ему залез в горло *бхут* (демон, дух умершего) и он должен бежать очищаться пред алтарем. Эти злые духи людей, умерших с неудовлетворенными желаниями и земными страстями в полном их разгаре (других беспокойных покойников они не признают), сильно тревожат бедных индусов. Индийские духи, если верить показаниям всех и каждого, толкуются вокруг смертных. Их боятся и проклинаят на всю Индию, не пренебрегая никакими средствами, дабы отвязаться от них и успокоить расхотевшихся *бхутов*. Понятия,

идеи и выводы индусов диаметрально противоречат аспирациям^[93] и надеждам западных спиритов. «Добрый и чистый дух, говорят они, на землю уж душу свою не пустит, коли та душа была также чиста. Он рад умереть и соединить свой дух (*атма*) с Брахмой, жить на *сварге* (небесах) жизнью вечной и брататься с прелестными *гандхарвами* (поющие ангелы или херувимы), под небесную песнь коих он дремлет целые вечности, в то время как душа (*джива*) продолжает очищаться от земной грязи в теле более чистом и более совершенном, чем только что оставленное ею».^[94] Но не то ждет злые души. Душа, не успевшая до смерти тела совершенно очиститься от земных помышлений, невольно отяжелеет под бременем грехов и вместо того, чтобы, следуя законам метемпсихоза, тотчас же воплотиться в другую форму, она остается бесплотной, осужденная бродить на земле. Она делается *бхутом* и, страдая сама, причиняет иногда невыразимые мучения своим же родственникам. Вот почему индус боится более всего на свете остаться *бесплотным* после смерти.

– Лучше перейти по смерти в тело тигра, собаки, даже желтого ястреба, – говорил мне недавно один старый индус, – нежели сделаться *бхутом*! Каждый зверь, какой бы он ни был, имеет свое собственное *законное* тело и право честно им пользоваться. А *бхуты* навек обреченные *дакоиты*, разбойники, воры, вечно настороже, как бы поживиться чужим добром. Это самое ужасное, невообразимо страшное состояние; это и есть *ад* по нашим понятиям. Что это за спиритизм такой на Западе? Неужели умные и образованные англичане и американцы сошли совершенно с ума?

И он так и не поверил, чтобы могли быть довольно безумные люди, чтобы любить *бхутов* и даже *приглашать их к себе на землю*.

После ужина мужчины все отправились во двор, к колодцу, и, умывшись, снова оделись. Обыкновенно они к ночи надевают чистые *малмалы*, род узких, длинных блуз, из тонкого жаконета, тюрбаны и деревянные сандалии с пуговкой, которую они захватывают между пальцами ноги, но оставляют обувь всегда у дверей дома. Вернувшись в приемную, они рассаживаются возле стены на коврах и подушках, жуют бетель, курят трубки или индийские сигары и слушают священное чтение или смотрят на танцы «науцей».

Это в обыкновенные дни. В этот же вечер (вероятно, в нашу честь) все оделись очень богато. На многих были *дарии* – из богатой атласной полосатой материи, и по несколько золотых браслетов, золотые, украшенные бриллиантами и изумрудами *колье*, золотые часы, цепочки и белые, тонкие, как дымки, с золотыми полосами *джанви* – браминские шарфы через плечо. Толстые пальцы нашего хозяина и правое ухо так и сияли бриллиантами.

Прислуживавшие нам женщины – хозяйки, исчезнувшие тотчас после ужина, вернулись к нам через полчаса разодетые и были теперь формально нам представлены. Их было пять: хозяйка, жена толстяка, женщина лет двадцати шести или семи; две женщины помоложе, из которых одна, к нашему удивлению, оказалась ее дочерью, с ребенком на руках; старуха – мать хозяина, наконец, жена брата его, *семилетняя* девочка. Таким образом хозяйка оказалась бабушкой, а девочка, которая должна была поступить в полное владение мужа года через два, много три, могла, в свою очередь, сделаться матерью задолго до двенадцати лет. Все они были босые, с перстнями на пальцах ног, и все, кроме старухи, носили гирлянды на шее и венки из натуральных цветов вокруг черных, как вороново крыло, кос. Их костюмы состояли из плотно облегающих шею и грудь вышитых золотом коротких корсажей (*чали*). Надетые на голое тело, они не доходили на целую четверть до *сары* – юбки-покрывала (если можно назвать юбкой эти короткие штаны, верхняя часть которых служит покрывалом для головы и вместе мантильей) и храбро открывали смуглый, блестящий при огне, словно вылитый из бронзы, стан красивых женщин. Их прекрасные руки были покрыты выше локтей дорогими браслетами, также как и щиколотки ног. При малейшем движении они звякали, а маленькая невестка, похожая на

большую куклу на пружинах, еле могла двигаться под их тяжестью. У молодой хозяйки, «бабушки», носовое кольцо, продернутое через левую ноздрю, опускалось ниже подбородка и оттягивало нос. Только когда она сняла его, чтоб удобнее пить чай, мы рассмотрели всю ее удивительную красоту.

Начались танцы «научей», из коих две были очень красивы. Пляска состояла из более или менее выразительной мимики. Ноги же семенили на одном месте, почти не двигаясь, или же двигаясь так быстро, что исчезали в тумане...

Я заснула сном праведных.

Приятно после стольких проведенных на голом полу палатки ночей выспаться на кровати, хотя бы и висячей, – особенно когда это сопровождается сознанием, что спишь на ложе «бога». Последнее обстоятельство, впрочем, было мною открыто только поутру, когда, сходя с лестницы, я нашла, что божественного генерал-аншефа (Ханумана) лишили висячего трона, а его самого, вместе с тряпичным телом, бросили под лестницу... Положительно, индусы XIX столетия вырождаются и кощунствуют!

Оказалось, что, за исключением старого дивана, это была единственная кровать в доме. Наши два кавалера провели ночь хуже нас: они оба спали в старой пустой башне, бывшей *гопаром* (алтарь) древней разрушенной пагоды за домом, куда их положили с благим намерением спасти от шакалов, забирающихся по ночам во все нижние этажи, где вместо окон и дверей существуют одни отверстия. Кроме неизменного ночного концерта, шакалы на этот раз не беспокоили их своим присутствием. Зато мистери У*** и полковнику пришлось воевать целую ночь с неотвязным *вампиром*, который оказался не только летучею мышью, но и «духом», как они это позднее узнали к своему горю. Вот как это случилось:

Безо всякого шума влетал в башню вампир и, помахав своими холодными, липкими крыльями, садился то на одного, то на другого из спящих, очевидно, решившись полакомиться европейскою кровью. Раз десять они просыпались и прогоняли его, но каждый раз безуспешно; только что они было соберутся задремать, как снова почувствуют его легкое, почти неслышное прикосновение на плечах, ногах, груди. Наконец У*** изловчился: он поймал его за крыло и свернул ему шею...

К утру, похвалясь в невинности души этим подвигом пред хозяином дома, они, казалось, навлекли на себя все громы небесные. Двор был полон народа, а пред дверьми башни стояли, понутив голову, все домашние: старуха-мать рвала на себе волосы и запевала, приговаривая и причитывая что-то на всех языцах Индии. Что же такое случилось? Происшествие ужасное, узнав о котором мы пришли в величайшее смущение: по особенным известным только одному домашнему брамину приметам, в этого кровожадного вампира, со дня своей смерти, *переселился* старший брат хозяина, а неистовствовавшей старухи – сын. Уж девять лет как покойник жил под этим новым видом, отбывая все повинности метемпсихоза. Днем, зацепясь когтями за ветку старого пипала, что пред башней (испокон века жилище духов), и, повиснув головою вниз, он проводил в глубоком сне часы между восходом и заходом солнца; ночью посещал старую башню, где ловил забравшихся туда на ночной покой насекомых. И так жил этот вампир, отмаливая потихоньку старые грехи, совершенные им, когда он был еще прабхуским «патаном». А теперь? Его бездыханное тело валялось у входа в башню, и одно крыло уже отгрызли крысы... Старуха заливалась слезами, бросая яростные взгляды из-под покрывала своей бритой головы на У***, который, в качестве убийцы, имел вид отвратительно равнодушный.

Но дело запутывалось и становилось трагическим. Весь комизм его исчезал пред искренностью ее неподдельного горя. Толпа стояла вокруг; молчаливая и серьезная, очевидно, не смея высказать свои настоящие чувства английским «саабам», но поглядывая на нас не особенно приветливо исподлобья. Возле старухи стоял семейный жрец и астролог, с книгой *Шастр* под мышкой и с жезлом в руке, приготавливаясь начать над башней церемонию очищения. Он уже распорядился покрыть куском новой холстины полуобъеденный, облепленный муравьями труп отвратительного вампира, лежавшего пред ним с широко распростертыми крыльями...

У*** по-прежнему стоял, хладнокровно посвистывая и с заложенными в оба кармана

руками. Подошедшая мисс Б***, не стесняясь присутствием хорошо говорившего по-английски хозяина, громко ораторствовала (совершенно *à l'anglaise* ^[95]) о грубом, невежественном суеверии этой «падшей расы». У*** не отвечал, но весьма презрительно улыбался. Тогда наш хозяин с низким «сала́мом» подошел к полковнику и учтиво попросил его вместе со мною на «несколько минут разговора»...

«Ну, подумалось мне, выгонят!..»

Но мы, как видно, не измерили еще сердца индусов до полной их метафизической глубины.

Он начал с того, что сочинил экспромтом весьма кудрявое вступление. В нем напоминалось, что он, хозяин, человек образованный, получивший *западное* воспитание. Вследствие этого он-де не совершенно еще уверен в том, что в теле вампира действительно обретался дух покойного брата. Дарвин и другие великие натуралисты Запада, однако, как бы сами верят в переселение душ, но, как он понимает, в *обратном* смысле; то есть родись у него в минуту несчастной смерти вампира сын, то, по самым последним научным соображениям, в этом сыне, вследствие разлагающихся по близости атомов вампира, явилось бы, по всей вероятности, много вампировского. «Так ли он понял Дарвина и его школу?» спрашивал он нас.

Мы скромно отвечали, что вследствие непрерывных путешествий за последний год мы немного отстали от современной науки и о таковом ее последнем заключении еще не слыхивали.

– А я следил за нею, – немного напыщенно произнес добродушный Шамраб, – и поэтому полагаю, что вполне понял и оценил ее последние выводы. Я даже только что кончил превосходную «Антропогению» Геккеля и много думал над его логическим, научным объяснением об образовании человека из более низших животных форм путем трансформации. А что такое *трансформация* как не *трансмиграция* древних и современных индусов – *метемпсихоз* греков?

Мы ничего не нашли сказать против тождества и даже заметили, что по Геккелю оно действительно как бы выходит так.

– Ну вот видите ли! – воскликнул он обрадовавшись. – Стало быть, наши воззрения не так глупы и суеверны, как об этом пишут и говорят некоторые противники Ману. Великий Ману, между тем, предупредил и Дарвина, и Геккеля. Судите сами: последний ведет генеалогию или *генезис* человека от группы «пластидов», от слизистого *монера*; этот «монер» через *амебу*, а затем *зинамебия*, *асцидии* и, наконец, безголового и бессердечного *амфиокса*, на восьмой стадии трансмигрирует в миногу – превращается, наконец, в позвоночного *амниота*, в промамалии, сумчатое животное, а к отделу позвоночных принадлежит и *вампир*... Вы, конечно, как люди образованные, против этого спорить не станете?

Мы и не спорили.

– Так прошу вас, следите за мной...

Мы, без сомнения, следили с большим вниманием, только уж решительно не понимали, куда он нас заводит.

– Дарвин, – продолжал он, – ведет свое учение о происхождении видов, следуя почти слово в слово «палингенетическому» учению нашего Ману. В этом я вполне убедился и готов это доказать с книгами в руках. Древний законодатель говорит, например, вкратце следующее: «Великий Парабрахма повелел, дабы от зародившегося в тине глубоких морей червя земного, пройдя через все стадии животного творения, явился в мире, наконец, человек. Червь сделался змием, змий рыбой, рыба преобразовалась во млекопитающее и т. д.». Не эта ли самая основная идея заключается в дарвиновской теории происхождения органических форм посредством постепенного перехода из простейших видов в более сложные, из бесструктурной протоплазмы в тине силурийского и лаврентийского периода (тина морей Ману) в антропоида, а затем в

человека?...

Мы согласились, что действительно представлялось такое сходство.

– Но, несмотря на все мое искреннее уважение к Дарвину и его последователю Геккелю, я не могу с ними согласиться в их окончательных заключениях, особенно с выводами последнего, – продолжал ораторствовать Шамраð. – Этот вспыльчивый и желчный немец, так верно копирующий эмбриологию нашего Ману и все метаморфозы наших предков, теряет из вида эволюцию *души человеческой*, которая, по учению Ману, следует рука об руку с эволюцией *материи* во всех ее изменениях... Сын *Сваямбхувы* («несотворенного») говорит так: «Каждое творение в ряду своих переселений приобретает, в дополнение к качествам всех предыдущих форм, новые таким образом, что чем ближе оно подходит к высшему земному типу, человеку, тем ярче в нем разгорается божественная искра» и добавляет: «Но, раз сделавшись Брахмой на земле (то есть достигнув в образе *человека* верхней точки цикла трансмиграций), человек вступает в ряд трансмиграций *сознательных*». Другими словами, его будущие превращения будут зависеть не от слепого закона постепенного развития, но от поступков его на земле, за малейший из коих он будет или награжден, или наказан. Поэтому в воле человека и от него самого зависит, пойдет ли он выше по дороге к *мокше* (вечному блаженству), переходя из локи в локу, ^[96] пока не дойдет до *Брахмалоки*, или же, вследствие грехов, снова не оттолкнется законом возмездия назад. В таком случае он будет обязан возвратиться к прежним, уже раз бессознательно пройденным животным формам. Но если и Дарвин и Геккель, как физики, оба теряют из вида этот, так сказать, *второй том* их неполной теории, так остроумно «дополненной» в учении Ману, то все же они нигде в своих сочинениях и не отвергают его. Не так ли?...

– Кажется, что не отвергают.

– Так почему же, – вдруг неожиданно накинулся он на нас, – почему же меня, вполне изучившего самые современные и последние идеи западной науки, меня, верующего в ее представителей, которые, в свою очередь, буквально подтверждают научными выводами по крайней мере *первую половину* (эволюцию физического мира) учения Ману... почему меня, спрашиваю я, почтенная мисс Б*** причисляет к невежественным и грубым индусам, называя наши *дополненные* научные теории «суеверием», а нас самих сынами «павшей низшей расы»)...

И у бедного Шамраð даже навернулись на глазах слезы при воспоминании о незаслуженном оскорблении со стороны бестактной англичанки. А мы стояли сконфуженные, не зная что сказать.

– Ведь я же не возвожу всех этих наших народных верований в «непреложные догматы». Я взираю на них пока как на простые теории, стараясь слить в одно, заставить древнюю науку гармонировать с современною; я просто «гипотезирую», как и Дарвин и Геккель. К тому же, как я слышал, мисс Б*** спиритка: она верит в духов, в *бхуту*. А если «бхут», по ее понятиям, в состоянии влезать в тела медиумов и овладевать на долгие часы и даже дни их организмами, то почему же невозможно не только *бхуту*, но и менее грешной душе войти в тело вампира?...

На подобную, чересчур уже «сжатую» логику мы, признаюсь, не нашли что ответить, а предпочли, не затрагивая этого деликатного метафизического вопроса, извиниться пред ним за грубость мисс Б***:

«Она англичанка (говорили мы), и ее не переделаешь: она не желала никого оскорблять, а просто высказала необдуманно клевету о суевериях» и т. д.



Полковник Олькотт



Могини. Один из учеников махатмы Кут-Хуми.

Хозяин мало-помалу успокоился. Он еще с бoльшим рвением принялся было доказывать нам, почему, вследствие глубоко обдуманного им закона «атавизма», или наследственной передачи свойств прыжками чрез пятого на десятого (как говорится) предка, он дошел до настоящей необходимости полууверовать в тождество покойного брата его с покойным вампиром... Но вдруг У*** чуть было не испортил всего дела:

– Старуха совсем рехнулась!.. – закричал он нам через весь двор. – Она проклинает нас, утверждая, что убийство вампира лишь начало целого ряда несчастий, навлеченных сыном на их дом – вами, Шамрао... – грубо продолжал он, обращаясь к последователю Геккеля. – Она говорит, что вы осквернили вашу браминскую святость, пригласив нас, *беллати*, ужинать с вами и провести ночь в вашем доме... Посылайте, за слонами, полковник, не то нас выгонят.

– Но, помилуйте! – говорит в свою очередь растерянный брамин. – Что же мне делать? Она старая женщина, быть может с предрассудками, но она мать моя... Вы люди образованные, люди ученые; скажите же мне и научите, как помочь всему этому несчастью? Что бы вы сделали на моем месте?...

– Что бы я сделал, сэр? – воскликнул рассерженный глупостью положения У****. – Будь я на вашем месте и верь я в то, во что вы верите, я бы не задумался ни на минуту, а взяв револьвер, перестрелял бы: во-первых, всех соседних вампиров, хотя бы для того, чтобы разом освободить всех моих родственников от отвратительных тел этих животных; затем я прикладом револьвера разбил бы голову вон тому мошеннику брамину, который сочинил подобную глупость. Вот что бы я сделал, сэр!..

Но этот совет не удовлетворил бедного потомка Рамы, и долго бы он бегал в недоумении от одного к другому, колеблясь между священным чувством гостеприимства, врожденным страхом к брамину и собственным суеверием, если бы всех нас не выручил находчивый бабу. Услышав, что мы, в свою очередь, рассердились и посылаем в деревню за слонами, чтобы тотчас же уехать, бабу уговорил нас подождать хоть один час, заявив нам, что подобный поступок был бы величайшим оскорблением хозяину, который отнюдь неповинен во всей этой истории. А что касается глупой старухи, то он обещал ее уговорить очень скоро; у него уже и план де готов.

С этую целью он попросил нас отправиться на большую дорогу осмотреть развалины старой крепости и ждать там его прихода. Мы повиновались, но, чрезвычайно заинтересованные его «планом», шли тихо и нехотя. Мужчины злились, мисс Б**** ораторствовала, а Нараян, невозмутимо хладнокровный, как и всегда, поддразнивал англичанку «духами», в которых она веровала. Проходя за домом, мы увидели бабу, шедшего вдоль стены с фамильным жрецом и горячо о чем-то с ним спорившего. Бритая голова жреца кивала на все стороны, длинное желтое платье развевалось, а руки высоко воздымались к небу, как бы призывая богов во свидетели его слов...

– Ничего он не поделает с этим фанатиком, – заметил полковник, закуривая трубку.

Не успели мы после этого замечания отойти и на сто шагов, как увидели бабу, бежавшего за нами и делавшего нам знак остановиться.

– Все благополучно кончилось, – кричал он нам еще издали, размахивая руками и от смеха насилу выговаривая слова. – Вам предстоят благодарения. Вы являетесь спасителями и благодетелями покойного *бхута*... Вы...

И он упал на камень, держась обеими руками за узкую, запыхавшуюся грудь, и хохотал до того, что заразил своим смехом всех нас, еще даже не понимавших, в чем дело.

– Подумайте только, – рассказывал он, – ведь всего десять рупий стоило; предлагал пять, но он заупрямился, а десять взял.

И он опять катался со смеху.

Наконец он объяснил нам следующую, дающую отчетливое понятие о святости браминов, придуманную им хитрость. Он знал, что вообще все *метемпсихозы* шаивов (поклонников Шивы) зависят от воображения фамильных «гуру», которые и получают за эти наставления от каждого семейства от 100 до 150 рупий в год. Такие брамины в то же время и астрологи, и распорядители всех установленных религиозных в семействе обычаев. Все обряды сопряжены с расходами, которые поступают в карманы ненасытных домашних браминов, причем обряды в честь какого-

нибудь счастливого события оплачиваются гораздо лучше, чем те, которые совершаются вследствие несчастия. Зная все это, бабу прямо приступил к делу: он предложил брамину пять рупий, если тот разыграет фальшивую *самадхи*, то есть притворится вдохновенным и, заговорив как бы от умершего сына, – объявить матери, что тот сам искал смерти в теле вампира; что он, с целью отвязаться от этой трансмиграции и перейти в высшую, – нарочно искал смерти; что ему теперь лучше и что он благодарить «сааба», освободившего его от отвратительного образа. К тому же он, бабу, слышал, что брамин желает продать ожидаемый на днях плод своей буйволицы, а Шамрао отказывался от покупки. Чего же лучше? Пусть только преподобный отец гуру объявит (под влиянием той же *самадхи*), что освобожденный дух намерен теперь поселиться в теле будущего буйволенка, и мать, конечно, заставить Шамрао купить это новое воплощение ее старшего сына. Пойдут увеселения, новые обряды, и почтенному брамину выпадет изрядная, по этому случаю, доля рупий.

Сначала, боясь быть избалованным, гуру отказывался и призывал небо и богов во свидетели, что в вампире действительно проживал сын дома; но потом, когда бабу (сам глубоко изучивший все штуки браминов) доказал ему, что его выдумка не в состоянии была выдержать критики, так как подобной трансмиграции в *Шастрах* не находится, – он поддался, потребовав только 10 рупий и молчания... Таким образом дело было слажено, и старуха успокоилась.

Когда мы подходили к высоким воротам дома, Шамрао вышел к нам на встречу с сияющим лицом... Боясь насмешек, или же не находя ни в современных положительных науках вообще, ни в Геккеле, в частности, чего-либо положительного, на что бы сослаться в вопросе об этой новой трансмиграции, он нам не объяснил, почему вдруг все переменялось к лучшему. Он только довольно неловко заметал, что старуха-мать, вследствие ей одной известных таинственных и новых соображений, успокоилась за судьбу сына, а затем не намекал более на эту маленькую неприятность. Зато он сделался еще приветливее и веселее и умолял нас «из чистой любви к науке» отправиться с ним в этот вечер на религиозную *тамашу*. Известная на весь околоток *джадувалла* (заклинательница, колдунья) находилась в то время под влиянием *семи богинь*, семи сестер, которые все поочередно овладевали ею и пророчествовали ее устами...

Мы с радостью согласились и стали с нетерпением ожидать вечера.

Чтобы рассеять неприятное впечатление утренней истории, Шамраò предложил нам, между тем, сидеть у открытой двери молельни и взирать, как он будет совершать свои утренние обряды, поклонение богам. Для нашей любознательности ничего не могло быть приятнее этого, и мы, усевшись на веранде, стали наблюдать за ним в широкое, заменяющее дверь, отверстие...

Было девять часов утра, обыкновенный час утренней молитвы туземцев. Шамраò пошел к колодцу приготовиться и «одеться» как он выражался, тогда как злые языки сказали бы: «раздеться». Через несколько минут, вернувшись в одном дотти, как за столом, и с непокрытой головой, он направился прямо к кумирне. В то самое время, как он входил туда, раздался громкий удар привязанного к потолку молельни колокола, который и не переставал звонить во все время обрядов. Звонарь оставался невидимым; но бабу сообщил нам, что то звонит мальчик с крыши...

Шамраò вошел правою ногой и очень медленно. Затем он подошел к алтарю и сел, поджав и скрестив ноги на низенькую, стоящую перед ним скамеечку. В глубине комнаты на алтаре, пополам на модную этажерку, стояли расположенные на покрытых красным бархатом полукруглых полках домашние боги. Идолы были из золота, серебра, меди и мрамора, смотря по достоинству и заслугам. Сам алтарь находился под куполообразной беседкой из сандалового с великолепною резьбой дерева; а по ночам эти боги и приношения покрывались огромным стеклянным колпаком от крыс.

Пока мы с любопытством рассматривали все это, Шамраò, бормоча все время молитвы, наполнил золой горсть левой руки и, закрыв ее на минуту правой, налил в нее воды и, растерев золу между ладонями, стал проводить большим пальцем правой руки линию от кончика носа до середины лба, а отсюда к углу правого виска, а потом назад – от правого к левому. Совершив эту разрисовку своей физиономии, он стал по порядку натирать той же мокрой золой горло, живот, левую руку, грудь, правую руку, плечи, спину, уши, глаза и голову; после этого, направляясь в угол комнаты к освященному фонтану, он трижды окунулся с головой, как был в дотти, в огромной полной водою бронзовой купели, откуда и вынырнул, изображая собою неуспевшего высохнуть на солнце толстого тритона. Эта операция завершила первое действие.

Действие второе началось молитвами *сандля* – религиозной медитацией – и *мантрами*, которые набожные люди повторяют по три раза в день, утром с восходом солнечным, в полдень и на закате солнца. Он громко произносил имена 24 богов, и каждое имя сопровождалось ударом колокола. Кончив, он сперва закрыл глаза, заложил уши ватой, а двумя пальцами правой руки левую ноздрю и, шумно вытянув воздух правой, захватил большим пальцем и другую ноздрю, крепко сжав губы, чтобы не дышать. В этом положении всякий благочестивый индус должен мысленно повторить некий стих с метром *Гайатри*: то священные и произносимые слова, которые ни один индус не осмелится повторить громко, и, даже читая их *мысленно*, удерживает насильственным образом дыхание, чтобы не вдохнуть в это время чего-либо нечистого. Дав честное слово не повторять всего стиха, я могу однако, привести отрывочные фразы; молитва начинается так:

«Ом!.. Земля!.. Небо! да осенит меня обожаемый свет... (этого имени нельзя произносить)... Твое солнце, о *Единый*, да осенит меня, недостойного... я закрываю глаза, затыкаю уши, не дышу... дабы видеть, слышать, дышать одним тобою... Да озарит наши мысли (снова тайное имя)».

Любопытно сравнить с этой молитвой индусов Декартовскую молитву, «*Méditation III*» в его «*L'Existence de Dieu*» (1.641). Если читатели помнят, в ней говорится следующее: «*Я теперь закрою глаза, заложу уши, отгоню все пять чувств от себя... и остановлюсь над одною мыслию о Боге, задумаюсь над Его качеством и стану взирать на красоту этой чудной светозарности*».

Кончив эту молитву и держа между двумя пальцами священный браминский шнурок, индус читает тихо и про себя другие молитвы. Потом, смешав немного рису и сандалового порошка, он берет стоящий на алтаре кувшин с водой и, отмыв старые пятна, налепляет на него свежие из только что сфабрикованного им теста. За этим следует церемония «умовение богов».

Снимая их одного за другим, по чину, он опускает их сперва в купель с водой, а затем купает в молоке, в другой бронзовой купели у алтаря. Молоко перемешано с простоквашей, маслом, медом и сахаром, так что вместо купанья выходит пачкотня. Но все это смывается в третий раз в первой купели и вытирается досуха чистым полотенцем. Поставив идолов на место, индус рисует на них кольцом с левой руки сектантские знаки, употребляя для *Линги* белый сандал, а для *Гэнпати* и *Сурьи* – красный. Потом он их окропляет разными душистыми маслами, посыпает цветами, принося каждый день свежие, и оканчивает длинную церемонию звоном из всей силы идолам под нос посредством маленького колокольчика – «дабы разбудить их», говорят брамины, вероятно полагая не без основания, что боги в это время все со скуки уснули. Заметив или же воображая (что иногда одно и то же), что боги проснулись, он начинает им подносить свои жертвы: зажигает курительные свечи, лампы и раскуривает им кадилницей фимиам, по временам щелкая пред их физиономиями пальцами, чтобы, как надо полагать, они «смотрели в оба». Покури в во все стороны ладаном и камфарой и набрав в руки цветов,^[97] он осыпает их снова, становится за скамейку и, произнося последние молитвы, проводит ладони обеих рук над пламенем свечей и ламп, трет себе руками лицо и, обойдя три раза вокруг алтаря, кладет трижды земной поклон и удаляется, лицом к алтарю и идя задом.

В то время как хозяин кончает свой утренний обряд, в молельню входят женщины и, сев на низенькие принесенные ими скамейки, начинают перебирать четки и молиться. Четки здесь играют немалую роль, как и у буддистов. У каждого бога свои особенные четки, и факиры покрываются ими.^[98]

Оставив женщин молиться на свободе, мы последовали за Шамрао в коровье стойло. В лице этого животного поклоняются «кормилице-земле», природе. Отперев дверь, он сел возле коровы и стал обмывать ей ноги, сперва ее же молоком, затем водой. Потом он покормил ее рисом и сахаром из горсти, выпачкал ей голову сандаловым и другими порошками, украсив рога и все четыре ноги гирляндами из цветов; покадив под морду ладаном и покрутив над головой зажженную лампой, он обошел ее трижды и сел отдохнуть. Есть такие индусы, что обходят вокруг священной коровы до ста восьми раз с четками в руках. Но наш Шамрао был человек с маленькою тенденцией повольнотумничать и слишком начитался Геккеля. Отдохнув, он наполнил кружку водой, обмакнул в нее хвост коровы и – выпил!..

Таким же образом он исполнил обряд поклонения священному растению *тульси*^[99] (жене Кришны) и Солнцу, с тою только разницей, что так как он не мог исполнить над этим божеством обряда омовения, то, став пред светилом дня на одной ноге и набрав в рот воды, он прыснул на *Сурью* три раза, обрызгав, вместо Солнца, всех нас.

Причина странного поклонения растению *тульси* до сих пор еще остается для нас загадкой. Знаю только одно, что хотя в сентябре каждого года совершается брачная церемония этого растения с богом Вишну, но *тульси* называется женой Кришны, быть может, потому, что Кришна воплощение Вишну.

Но вот настал вечер, и мы опять на слонах, и снова собираемся в путь; но это ненадолго. До логовища старой колдуньи (пифии Индостана) всего пять миль, и дорога хотя и пролегает через

густые джунгли, но гладкая и ровная. Даже и джунгли с их свирепыми обитателями уж не пугают нас. Препрежние трусливые слоны отосланы домой, и мы сидим на других, присланных нам соседним раджей. Они не раз охотились за тиграми, и рев всех зверей в околоте не испугает этих старых патриархов лесов; словно два темных холма стали они пред верандой... Итак, в дорогу!.. Красноватое пламя факелов ослепляет глаза, усугубляя мрак окружающего нас со всех сторон леса. От этого яркого освещения он кажется еще чернее, еще таинственнее...

Есть что-то невыразимо заманчивое, почти торжественное в подобных ночных путешествиях по Индии. Тихо и глухо всюду: все спит кругом, внизу и над головами. Один тяжелый мерный звук гигантских шагов слона глухо раздается в тиши ночной, словно удары молота по наковальне в подземной кузнице Вулкана. По временам разносятся по лесу странные голоса и звуки, будто кто-то тихо воет меж разбросанными скалами руин. «То ветер завывает», говорим мы: «удивительный феномен акустики»... – «Бхута! бхута!» – шепчут испуганные факельщики, трижды потрясают вокруг себя зажженными факелами, и быстро крутятся на одной ноге, щелкая пальцами, чтоб отогнать расхившихся духов. Жалобный вой замолк, и снова слышится одно металлическое трещанье ночных сверчков, заунывное кваканье древесной лягушки, да мелко выбиваемая дробь кузнечика. Временами все это умолкает, чтобы через минуту снова наполнить лес стройным хором... Боже мой! сколько бытия, сколько жизненной силы скрывается под каждым листиком, под малейшей травкой этих тропических лесов! Мириадами горят звезды на темной синеве неба, и, словно бледное отражение далеких светил, такими же мириадами светятся фосфорические искры светляков и огненных мушек, со всех сторон мигая нам на еще темнейшей зелени кустов, точно указывая и освещая наш путь...

Выехав из темного бора, мы очутились на довольно ровном месте, в котловине, окруженной с трех сторон стеной того же непроходимого леса, где, вероятно, и в полдень лежат ночные тени. Мы находились теперь на высоте около 2000 футов над подошвой Виндийской цепи, так как прямо над нашими головами виднелись высокие развалины стен Манду.

Неожиданно подул довольно холодный ветер и чуть не погасил все наши факелы. Пойманный в лабиринте скал и кустарника, он вдруг завыл, яростно потряс зелеными перьями цветущей моринги, вырвался и, пронесшись вихрем кругом котловины, полетел по ущелью, вопя и заливаясь, точно все лесные духи выли похоронные песни по ведьмам гор...

– Мы приехали! – объявил Шамрао, слезая с лошади: – Вот деревня, а дальше ехать нельзя.

– Куда приехали?... И где же деревня... здесь один лес!

– Деревни и домов вы ночью не увидите. Землянки все скрыты меж кустарников, а многие, вырубленные в скалах, мало отличаются от них и днем. Огня же никто здесь не зажигает после заката солнца... боятся духов, – пояснил он.

– А где же ваша ведьма? Неужели нам придется глядеть на нее в темноте?

Шамрао пугливо оглянулся кругом, и голос его заметно дрожал во время ответа нам:

– Прошу вас и умоляю, не называйте ее *дакини* (ведьмой)... Она может услышать вас...

Теперь нам недалеко до нее, хотя вам и придется идти пешком... с полмили. Туда к *ней* и лошадь, не только что слон, не пройдет. У нее мы найдем огонь...

Сюрприз выходил довольно неприятный. Идти ночью полмили в Индии, пролезая сквозь чащи кактусов в дремучем лесу, полном зверей! Мисс Б*** решительно протестовала и объявила, что не пойдет, а останется ожидать нас, не слезая со слона, в *хауде*, где может преспокойно заснуть. Она так и сделала.

Нараян, протестовавший против этой *partie de plaisir*^[100] с самого начала, хотя и не объясняя нам почему, заметил ей, что она очень благоразумно поступает в этом случае.

– Вы ничего не потеряете, отказавшись от свидания с *дакини*... И я очень бы желал, чтобы вашему примеру последовали и другие...

– Но какой же вред может выйти от этого? – настаивал Шамрао, немного огорченным тоном, так как он первый затеял эту поездку. – Не говоря уж о том, что наши гости будут иметь случай увидеть чрезвычайно любопытное зрелище «воплощения богов», зрелище редкое и которое не всякому европейцу удастся видеть, *Кангалимм* – женщина святая... Она пророчица, и ее благословение, хотя она и язычница, не может никому повредить... Я настаивал на этой поездке из чистого патриотизма...

– Если ваш патриотизм, сааб, состоит в том, чтобы хвастаться пред иностранцами мерзейшими язвами нашей без того униженной, почти задохшейся в грязи родины, то почему же вам скорее не пришло в голову собрать властью *пателя* всех прокаженных в вашем околотке и похвастаться перед вашими гостями ими? – отвечал со странною горечью Нараян.

Боясь ссоры между индусами, полковник заметил, что теперь уж поздно каяться. К тому же, хотя он сам в «воплощения богов» не очень верит, но знает, что так называемое на Западе *беснование* есть факт. Суд, недавно свершившийся в России над тихвинскими крестьянами, которые сожгли Аграфену-ведьму, – доказательство существования странной и таинственной болезни, называемой на Западе «медиумством», а в России «кликушеством». Полковник желал изучать всякие такие психические явления, где бы и под каким бы видом они ни являлись, с научной точки зрения...

Странное зрелище представилось бы глазам наших американских и европейских друзей,

если б они могли увидеть нас среди этого ночного шествия! Дорога шла узкою тропой в гору, и по ней нельзя было пройти более чем по два в ряд, а нас было тридцать человек с факельщиками.

Нельзя сказать, чтоб явившееся полчаса позднее в берлогу пророчицы Манду общество отличалось особенною свежестью или изяществом туалетов. У полковника и У*** дорожные блузы были в лохмотьях, как и мое платье. Кактусы собрали с нас посильную дань по дороге; а во взъерошенных волосах бабу копошилась целая колония светляков и длинноногих трещеток-сверчков, неотразимо привлекаемых к его голове, вероятнее всего, запахом кокосового масла. Толстый Шамрад пыхтел, как паровая машина. Один Нараян, высказав свое мнение, вернулся к своему невозмутимому хладнокровию, проходя во всякое время дня и ночи, а теперь в особенности, на бронзовую статую Геркулеса с палицей.

При последнем повороте, где нам пришлось лезть вверх по огромным обломкам скал, мы очутились на тропинке, которая вела далее по ровной окраине густого леса. Когда это последнее препятствие было побеждено, наши глаза были неожиданно и несмотря на наши факелы ослеплены необычайным светом, а слух поражен самыми непривычными звуками.

Пред нами открылась другая котловина, вход в которую, через пройденное нами ущелье, маскировался только что обойденным лесом. Как мы потом сообразили, можно было ходить вокруг этого заколдованного леса неделю и даже не подозревать о котловине, в глубине которой мы увидели жилище знаменитой Кангалиммы – колдуньи и оракула всего околотка.

«Логовище» оказалось довольно хорошо сохранившейся развалиной древнего индусского храма, и сквозь его четыре толстые колонны чернело бы, если бы не мешала дверь, глубокое отверстие, прорытое под горой. Чтò было за дверью, – никто не знал. По уверению Шамрад, еще ни одна нога живого существа, из трех последних поколений, не переступала за эту толстую, обитую железом дверь, ведущую во внутренность подгорного храма. Кангалимм жила там одна, и в памяти старейших обитателей всегда жила там. Говорили, что ей 300 лет.

Мы, видно, приехали рано, и пифия еще не выходила. Но площадка пред храмом была полна людей, и весьма дикую, хотя и живописную картину представлял этот народ. Громадный костер пылал на середине двора, и вокруг него копошились, словно черные гномы, голые дикари, подбрасывая в него целые ветви посвященных «семи сестрам-богиням» деревьев. Медленно и мерно перескакивали они с одной ноги на другую, повторяя хором монотонную фразу, все одну и ту же, и на тот же напев, под аккомпанемент нескольких туземных бубнов и барабана. Глухо раздавалась однообразная трель последнего, и ей вторило лишь лесное эхо да истерические всхлипыванья двух девочек, лежавших под кучей листьев возле костра. Их принесли матери, надеясь, что «богини» сжалятся над ними и выгонять овладевших ими злых духов. Обе они, еще молодые женщины, сидели над детьми на корточках, подгорюнившись, и тупо смотрели на огонь. При нашем появлении никто из присутствовавших даже не шевельнулся. Да и во все время пребывания нашего с ними все они действовали, как бы не видя нас.

– Это они все чувствуют приближение богов... Вся атмосфера полна их эманациями, – таинственно объяснял нам Шамрад, благоговейно озираясь.

– Они просто под влиянием *тодди* и опиума, – срезал его непочтительный бабу.

И, действительно, как сонные тени двигались те из них, которые не принимали прямого участия в «представлении», а принимавшие напоминали нам одержимых пляскою св. Витта, в группе Пэджа. Один из них, длинный, белый, как лунь, и худой, как скелет, старик, отделившись, при нашем приближении, из толпы, распустив руки крыльями, стал вдруг крутиться на одной ноге, громко скрежеща желтыми и длинными, как у старого волка, зубами. На него было страшно, отвратительно смотреть! Он скоро упал, и безмолвно, почти механически его откатали *ногами* (!) в сторону, к больным девочкам. Но то ли еще ожидало нас! Ведь сказка

наша впереди...

В ожидании «примадонны» этой лесной оперы, мы уселись, как могли, на пне старого упавшего дуба, у самого портика храма, приготавливаясь забросать нашего снисходительного хозяина вопросами. Но не успели мы сесть, как с нервным чувством неподдельного изумления и даже отчасти ужаса я быстро откинулась назад...

Предо мною стоял остов чудовищной головы зверя, подобного которому я ничего не находила в моих зоологических воспоминаниях.

Эта голова была гораздо более головы слоновьего скелета... То был однако слон, если судить по искусно приделанному хоботу, конец которого изгибался гигантскою черною пиявкой почти у моих ног. Но у слона нет рогов, а у этого целых четыре! Передняя пара, на плоском лбу, торчала, слегка закручиваясь вперед и раздаваясь в обе стороны, как рога быка, а за ними другие два, массивные, с широкою, как у оленя, перепонкой у корня, которая постепенно суживалась почти до середины рога, откуда они разветвлялись в обе стороны, на такую гигантскую вышину, что могли бы, кажется, украсить головы десяти обыкновенных оленей. В пустых впадинах черепа были вделаны два подобия глаз, из выделанной желтой и прозрачной, как янтарь, кожи носорога;^[101] а за этим подобием глаз горели две зажженные плоски, что придавало голове еще более ужасный, просто дьявольский вид.

– Да что ж это такое, наконец! – послышалось общее восклицание. Даже полковник не встречал ничего подобного и не мог узнать зверя.

– *Сиватерий*,^[102] – отвечал Нараян. – Разве вы не видали остовов этих допотопных зверей в европейских музеях?... Странно: в Гималайских горах их находят в большом количестве, хотя и в раздробленном состоянии... Они так названы в честь бога Шивы.

Признаюсь, мне в первый раз доводилось видеть это страшилище, которое Сенковский позабыл представить нам в своем допотопном романе, наряду со спасающим влюбленную чету мамонтом. Но лучше поздно, чем никогда. И вот, мы теперь стояли лицом к лицу с этим интересным чудовищем.

– Если коллектор (collector) когда узнает о существовании этого остова у вашей ведьмы, – вставил словцо бабу, – то недолго он станет украшать сие святилище...

Возле остова и рассыпанные на полу портика лежали кучи белых цветов, если не совсем допотопных, то, по крайней мере, неизвестной нам, профанам в ботанике, породы. Они были величиной с большую розу и посыпаны красным порошком «лал» – неизменной принадлежностью всех религиозных церемоний сей страны. Далее валялись кокосовые орехи, стояли медные блюда с рисом, в которых горели воткнутые в рис разных цветов свечи, а посреди портика курилась, окруженная высокими в больших медных канделябрах свечами, странной формы жаровня, на которую мальчик в белом одеянии и такой же белой *пэгери* на голове то и дело подбрасывать ладан и другие порошки.

– Эти люди, – рассказывал нам Шамрао, – хотя и поклоняются Кангалимме, как воплощению богинь, не принадлежат ни к ее, ни к его секте. Они чертопоклонники и индусских богов не признают.

– Я ездил в прошлом году по делам в Тиневелли, – продолжал он, – и, живя у одного приятеля моего шанара, был допущен видеть одну из таких церемоний в честь чертей. Из европейцев, несмотря на хвастанье миссионеров, еще пока ни один не был допущен на подобный обряд, хотя между обращенными в христианство шанарами есть и описывавшие им эти церемонии.

– А как же им поклоняются? Расскажите, в чем состоит их обряд?

– Обряд этот заключается, главное, в пляске, песнях и жертвоприношениях. Шанары не имеют каст, и священные обычаи индусов ими не соблюдаются. Они едят всякое мясо... Народ

собирается возле назначенного жрецом *пековия*, начинает бить в барабаны и резать домашнюю птицу, баранов, козлов. Поклоняясь мистерию Полу, в знак особенного уважения к нему самому, его вкусам при жизни и особенно национальности, всегда резали быка или корову... В тот вечер обряды совершались главным жрецом. Он явился с ногами, покрытыми до колен звенящими браслетами, с покрытым колокольчиками жезлом, с распущенными волосами, в черной мантии, вышитой фигурами разных страшнейших чертей, и с красными и белыми цветами на шее. При звуках рогов, барабанного боя и глубокого тона «чертова смычка», [\[103\]](#) секрет фабрикации которого сохраняется между одними шанарскими жрецами, – он вышел и, подождав минуту, пока мистерию Полу угодно будет вселиться в его недостойное тело, вдруг, высоко подпрыгнув на месте, приблизился к жертвенной корове и заколол ее на месте. Напившись горячей крови, он стал плясать... Но что это была за пляска! Вы знаете, я далеко не суеверен, но когда я увидел этого словно вдохновляемого всеми демонами *нарака* (ада) жреца, вертящегося с поразительной быстротою волчка на одном месте, со мной чуть не сделалось дурно. Вдруг, при бешеных криках и вое толпы, он стал наносить себе окровавленным жертвенным ножом глубокие раны по всему телу. Видеть его, как он с пенящимся ртом и развевающимися волосами купается в крови закланной жертвы, смешивая ее с собственной, стало, наконец, выше сил моих. Со мною стало происходить нечто вроде галлюцинации. Мне представлялось, будто то я сам верчусь. И вот все быстрее и быстрее...

Шамрао вдруг прервал свой рассказ и разом онемел на месте.

Пред нами стояла Кангалимм.

Мы все было смутились, до такой степени появление ее было неожиданно. Под влиянием рассказа Шамрао мы не видали ни как, ни откуда она явилась: и если б она выросла из-под земли, то этот факт не застал бы нас более неприготовленными и удивил бы не более, чем удивила нас ее поразительная личность. Нараян вытаращил на нее свои большие черные глаза, а бабу смущенно щелкнул языком...

Вообразите себе трехаршинного роста, обтянутый коричневым сафьяном скелет, на костлявых плечах которого посажена крошечная мертвая головка восьмилетнего ребенка! Глаза, глубоко впавшие и вместе с тем такие огромные, до такой степени пронизывающие вас насквозь своим дьявольским жгучим пламенем, что вы чувствуете под этим взглядом, как ваш мозг перестает работать, мысли начинают путаться, а кровь холодеет в жилах... Я здесь описываю свои личные чувства и описываю довольно слабо. Но и полковник, и У*** сильно побледнели, а У*** так даже плюнул.

Конечно, это впечатление длилось не более нескольких секунд: и когда ее мертвенно-пристальный и вместе жгучий взгляд оторвался от нас, чтобы перенестись на простертую перед ней толпу, оно так же мгновенно изгладилось, как и явилось. Но все наше внимание сосредоточивалось теперь на этом замечательном создании...

Триста лет? Почему и как кому это знать? Судя по ее наружности, ей можно было дать с таким же вероятием или невероятием и тысячу лет. Пред нами стояла неподдельная, живая или скорее одаренная движением мумия, до того высушенная, что она казалась как бы застывшею с самого сотворения мира. Ни время, ни невзгоды жизни, ни самые стихии не могли ни коснуться, ни даже повлиять более на эту статую смерти. Всесокрушающая рука времени, коснувшись ее в свой предназначенный час, сделала свое дело и – остановилась. Такою явилась пред нашими глазами колдунья «Мертвого города».

И со всем тем ни одного седого волоска! Длинные, черные, как смоль, блестящие от кокосового масла и отсвечивающие каким-то зеленоватым блеском волосы тяжело падали прямыми, как стрелы, густыми космами вдоль спины и до самых колен... «Говорят, у покойников... у вампиров растут в могилах волосы и отрастают ногти», мелькнуло у меня в

голове. И в то же время, к величайшему моему стыду, я старалась разглядеть ногти на руках и ногах отвратительно страшной старухи... А она?

Она стояла по-прежнему неподвижно, словно превратилась в безобразного бронзового идола, и устремив свои углем горящие глаза в толпу, раболепно лежащую в пыли у ног ее. В одной руке она держала небольшое медное блюдце, на котором пылал большой кусок горячей камфары, а в другой горсть рису. Желтоватое бледное пламя, развеваясь по ветру, почти касалось ее лица, лизало ей подбородок и освещало ее мертвенную голову; но она, казалось, не чувствовала и огня. Вокруг ее морщинистой, как гриб, тонкой, как косточка, шеи лежал тройной ряд не то медных, не то золотых медальонов, а голову окружала такая же змея. На жалком подобии тела кусок шафранного цвета кисеи; вокруг торчащих ребер – такой же...

Девочки, приподняв головы, вдруг завывли пронзительным животным воем, и их примеру последовал и старик. Тогда ведьма, судорожно встряхнув головой и будто приподымаемая на пружинах, медленно начала свою заклинательную молитву.

– *Ангатти энне-ангатти!*...^[104] – шептал Шамрао, с которого лился крупный пот. – Богиня... одна из семи сестер уже вселяется в нее... Смотрите!..

Рекомендация была излишней – мы смотрели во все глаза.

Сперва медленно, судорожно и как-то неровно засемила ногами колдунья; затем постепенно ее движения стали плавнее; и вот, будто приноровившись к выбиванию барабанной дроби, нагнувшись всем длинным телом вперед и угрем извивая его во все стороны, она понеслась с невероятной быстротой вокруг пылающего костра... Сухой лист, погоняемый вихрем, несется не быстрее. Беззвучно падают на скалистую почву ее босые костлявые ноги; черные космы разлетаются, как стая змей, во все стороны, хлещут простирающих к ней руки больных зрителей, навиваются словно живые... Кого ни заденет черная прядь на голове этой фурии, тот так и падает на землю, рыча от счастья, благодаря богиню и считая себя излеченным!.. То ведь не развевающиеся косы ведьмы хлестнули его, то сама *богиня*, одна из «семи», дотронулась до избранного!..

Быстрее, все быстрее летят дряхлые ноги; молодые, крепкие руки барабанщика еле успевают за ними; а старуха все мчится вперед... Устремив неподвижный, мертвенный взор свой во что-то для всех невидимое, для нее одной присущее, она лишь по временам и на одно мгновение заглядывает в лица стоящих, пронизывая их насквозь этими взглядами; и на кого взглянет она, на того и бросает зернами сухого риса. Маленькая горсточка кажется неистощимой; словно в морщинистой ладони спрятан мешок самого Фортуната. Но вот, она вдруг останавливается, будто вкопанная. После этой длившейся, по часам, ровно 12 минут бешеной скачки вокруг костра вы думаете она шатается, падает?... Ничуть. Ни малейшего знака утомления, ни капли пота на мертвенном лице! Она остановилась лишь на две секунды, дабы дать время богине выскочить из нее. И вот, в один прыжок, не посрамивший бы и дикой кошки, она перескакивает через костер, и в один взмах уж очутилась в глубоком танке, возле портика, по горло в воде. Окунувшись один раз с головой, где под водой ею овладевает другая сестра богиня, она снова выскакивает из колодца и ждет – олицетворенное подобие головы Медузы... Мальчик в белой одежде подает ей другое блюдечко, с другим куском зажженной камфары. И вот она опять несется.

И снова, в продолжение уже 14 минут, по часам полковника, она мчится, и скачет, и прыгает, после чего окунается два раза с головой в колодец в честь *второй* сестры. И так с каждым новым «беснованием» она прибавляет по одному разу, пока дело не доходит до шести исчезновений под водой.

До сих пор мы еще не слышали ее голоса. Ее губы крепко сжаты, и она их еще не разжимала. Теперь ровно *полтора часа* как она бежит, мчись во весь опор и ни разу не переводя духа. Во все

это время она остановилась шесть раз, всего на несколько секунд при каждом перерыве... «Сестры» не мешкают; они знают свое дело... На то они и богини!

– Да что это, черт или женщина!.. – восклицает вполголоса полковник в то время, как голова ведьмы исчезает в шестой раз под водой.

– Будь я проклят, если знаю! – ворчит У***, нервно дергая себя за бороду. – Знаю только, что зерно ее чертова риса попало мне в горло и застряло там... Я не могу его выплюнуть...

– Тише... пожалуйста, тише!.. – шепчет Шамрао. – Вы испортите все дело...

Я взглядываю на Нараяна и теряюсь в догадках... На его бронзовом, всегда столь спокойном, даже суровом лице теперь лежит тень глубокого, неподдельного страдания. Его губы судорожно сжимаются; болезненно прищуренные глаза светятся сквозь черные ресницы фосфорическим блеском глаз дикого зверя; а зрачки, расширенные, как у человека под влиянием морфия, и, по-видимому, устремленные на черный лес пред нами, смотрят куда-то далеко в неведомые и, быть может, никем не виданные страны... Что это с ним? думается мне; но я не успеваю его спросить, потому что колдунья, оставляя за собою ручьи воды, снова пускается в бешеную погоню за собственной тенью. Но на этот раз она изменяет программу. Она уже не бежит, а порывисто скачет. То пригнувшись к земле, с движением черной пантеры, она подскакивает к одному большому и, дотронувшись пальцем до лба дрожащего поклонника, смеется неслышанным смехом, скаля зубы, как пена; то, отпрянув как бы от собственной тени, она кружится над нею, манит к себе, заигрывает с нею, являясь какою-то адскою карикатурой Диноры в ее «вальсе с тенью». Потом, выпрямившись, в один прыжок – она уже опять у курящегося под портиком алтаря, где она простирается пред ним, стучаясь лбом о гранитный помост; другой скачок, и она у остова чудовищного сиватерия и, падая перед ним ниц, снова разбивает камни лбом, с глухим стуком пустого бочонка о мостовую. Последний прыжок, и она стоит, выпрямившись во весь огромный рост, на голове сиватерия между его четырьмя рогами...

С чувством ужаса и отвращения, который мы уже и не стараемся скрывать, мы все быстро пятимся назад, все, кроме Нараяна.

Он остается один возле чудовищной головы; сложив руки на груди, он смотрит в упор в лицо страшной колдуньи...

Но что это? Кто это вдруг заговорил таким глубоким, густым басом? То ее губы шевелятся, то из груди ужасной старухи вылетают эти быстрые отрывистые фразы; а между тем голос звучит глухо, точно он вылетает из-под земли...

– Тсс... тсс... – снова шепчет Шамрао, дрожа всем телом. – Она пророчествует!..

– Горе, горе... вам! – гудит голос. – Горе вам, дети нечестивых «джай» и «виджай», [\[105\]](#) насмешливых, неверующих придверников великого Шивы, проклятых восьмьюдесятью тысячами святых мудрецов! Горе вам, не верующим в богиню Кали и отвергающим нас, ее семь божественных сестер!.. Асуры... плотоядные, желтоногие коршуны!.. Друзья притеснителей нашей страны!.. собаки, не гнушающиеся есть из одного корыта с погаными *беллати*!!

– Ваша пророчица, как видно, пророчествует задним числом... – произносит У***, философически закладывая руки в карманы. – Это в ваш огород камешек, почтенный Шамрао...

– Гм!.. Да, кажется, и в наш с вами, – бурчит немножко сконфуженный полковник.

Злополучный Шамрао обливается потом ужаса и перебегает под черной тенью леска, где мы приютились, подальше от ведьмы, от одного к другому, уверяя нас, что мы ошибаемся, что мы не довольно хорошо понимаем язык...

– Это она не об вас... поверьте, не об вас!.. Это обо мне, потому что я служу... она неумолима!..

– Ракшасы!.. Асуры!.. осмелившиеся явиться пред нами, богинями... в обуви... стоят в сапогах из кожи священной коровы... будьте вы прокля...

Но ее проклятию не суждено было родиться в сей мир. Одно мгновение – и огромная фигура Нараяна, навалившись плечом на сиватерия, перевортывает его вверх дном, вместе с хоботом и беснующейся на нем пифией. Еще секунда – и нам кажется, будто ведьма летит по воздуху, с помелом или без него, – про то лучше знать Шамрао, – по направлению к портику; а какой-то плечистый с бритую головой брамин катится кубарем вниз в провалье... Не проходит и третьей секунды, как мы приходим к грустному заключению, правда, благодаря происшедшему общему смятению, скорее по стуку тяжело захлопнувшейся двери подземелья, нежели чему другому, что представительница на земле «семи богинь» обратилась в постыдное бегство, скрылась навсегда от наших любознательных взоров и своем низменном царстве!..

...

О, Нараян!.. Как неряшливо, неаккуратно вращаются миры вокруг нас! Я начинаю серьезно оспаривать их действительность. С этой минуты я начинаю глубоко верить, что все в мире иллюзия – одна *майя*! Я делаюсь ведантисткой... Я сомневаюсь, наконец, найдется ли в нем что-либо объективнее индусской «ведьмы», вылетающей в *трубу*!..

...

Проснувшаяся мисс Б*** пожелала узнать, что такое случилось. Ее разбудил шум многих голосов и топот ног убегающей толпы голых людей по направлению к ущелью. Все они, казалось, бежали без оглядки, как бы боялись какой погони, и казались очень испуганными...

Затем, облегчив себя рассказом о своих впечатлениях и посушив зубную клавиатуру при свете звезд между благосклонною улыбкой и зевком, она снова безмятежно уснула.

На другое утро, на заре, мы нежно прощались с добродушным Шамрао. Он уже успел придти в себя после такого поражения и успокоиться от ночного потрясения. Позорно-легкая победа Нараяна сильно смущала его. После подобной капитуляции «семи богинь», очистивших поле битвы при первом толчке от простого смертного, его вера была сильно поколеблена и в «сестер», и в святую отшельницу. Вследствие этого он горячо, хотя и немного сконфуженно, пожал нам руки, и, с лучшими пожеланиями его и семейства, наши слоны, с восседавшими на мощных их спинах героями сего правдивого повествования, направили свои тяжелые стопы к большой дороге к Джабалпуру.

Путь нашего самопросветительного паломничества по первоначальному плану лежал на Северо-Западные провинции, эти *status in statu*^[106] Англо-Индии, где о вице-короле знают, но стараются его игнорировать, приказания его принимаются, но мало кто их исполняет, – провинции с правительством деспотическим, подозрительным и неугомонным. Но о них после...

Чтобы снова попасть на Джабалпурскую линию, с которой мы сошли в нескольких милях от Насика, нам приходилось возвращаться на Акбарпур, затем ехать по проселочным дорогам на станцию Саневад, на железную дорогу Холькара, соединяющуюся с Большой Индусской Пенинсулярной дорогой. Древние пещеры Багха (Bagh) находились всего за пятьдесят миль от нас, на восток от Манду, и являлись сильнейшей приманкой. Мы колебались, не сделать ли нам крюк, и снова переехать Нербудду. У нашего бабу за Кандешом, как и везде, оказывалось кумовство, которое здесь зовется «однокастничеством», и мы наперед могли знать, что встретим и в Мальве вездеприсущих, услужливых бенгальских бабу, рассыпавшихся по землям индоостанским, как у нас рассеяны жидаы по России. Кстати же к нашему «полку» прибыл еще один товарищ.

Накануне мы получили через странствующего и богомольствующего *саньяси* письмо от Свамиджа Дайананда. В Хардваре холера усиливалась с каждым днем, и наш еще не знакомый нам союзник снова откладывал наше с ним свидание до конца мая в *Дехрадуне* (Dehra-Dun), у подножия Гималаев, или же в манящем туриста своей прохладной прелестью Сахарампуре, в сорока милях от последнего. Странник вместе с письмом принес нам от *свами* букет самых странных цветов, о которых, полагаю, в Европе не имеют и понятия. Они растут лишь в известной местности, в Гималайских долинах, обладают удивительной способностью изменять к полудню цвет и, засыхая, по наружности не увядают. Это прелестное растение (*Hibiscus mutabilis*) от зари до 10 часов утра распускает цвет, представляющий ночью один клубок сжатых зеленых лепестков, и густо покрывается белоснежными цветами как большие белые розы, но к полудню розы начинают алеть: все более и более краснея, они наконец к четверем часам пополудни делаются темно-пунцового цвета как пионы. Цветы эти посвящены *азурам* (род пери или ангелов в индийской мифологии)^[107] и богу *Сурье* (солнцу). Последнее божество, влюбленное с сотворения вселенной в Азуру постоянно нашептывает цветку, в котором приютилась его возлюбленная, о своей пламенной любви. Но Азура – девственница и посвятила себя с начала времен служению богине чистоты, патронессе всей монашеской братии. Любовь Сурьи напрасна: Азура не слушает его... Но цветок краснеет и теряет наружно свою лилейную чистоту под впивающимися в него огненными стрелами влюбленного бога... Туземцы называют это растение *Lajaloo* (скромницей).

В ту ночь мы ночевали в долине на берегу ручья, разбив палатки под тенистой смоковницей. Нарочно свернув с пути в Бомбей, чтобы повидаться с нами и исполнить поручение Свамиджа, *саньяси* сидел с нами далеко за полночь, рассказывая о своих странствованиях и чудесах своей когда-то великой родины, о старом «льве» Пенджаба Рунджит Синге и его геройских подвигах. Странные, загадочные субъекты встречаются между этими пилигримами. Многие из них чрезвычайно учены, говорят и читают по-санскритски, видимо следят за современной наукой и политическими событиями, и все-таки остаются верными своим древним философским воззрениям. Обыкновенно совершенно нагие, за исключением желто-красного куска опоясывающей им бедра кисеи (да и то по приказанию полиции в городах, где живут европейцы), они странствуют от пятнадцатилетнего возраста по день смерти,

умирая почти всегда в глубокой старости, не заботясь о завтрашнем дне и живя буквально как птицы небесные и лилии в долине. До денег они не дотрагиваются, а живут подаянием и довольствуются горстью риса. Все мирское имущество их состоит из маленькой тыквенной бутылки для воды, четок, медной чашки и посоха. Саньяси и свами большей частью *сикхи* из Пенджаба и монотеисты. Они презирают идолопоклонников и ничего не имеют с ними общего, хотя последние также часто величают себя этими именами.

Но наш новый знакомый был уроженец Амритсара в Пенджабе и воспитан в «Золотом храме», что на *Амрита-Сарас* (озере Бессмертия). Там находится их верховный гуру – учитель сикхов, который никогда не выходит за пределы своего храма, где он сидит целые дни, изучая священное писание этой странной, воинственной секты – книгу *Адигрантха* (*Adigrantha*). Сикхи взируют на него как тибетские ламы взируют на своего далай-ламу. Как последний есть воплощение Будды для лам, так амритсарский маха-гуру – воплощение основателя секты для сикхов, Нанак, хотя по их понятиям Нанак никогда не был божеством, а только пророком, вдохновляемым духом Единого Бога. Таким образом наш саньяси не был одним из вышеописанных нагих пилигримов, но настоящим *акали* – одним из шестисот священников-воинов, приставленных к «Золотому храму» для божественного служения и его охраны от нападения жадных мусульман. Звали его Рам Рунджит Дас, и его наружность вполне соответствовала принадлежащему ему титулу «Божьего воина», как себя величают храбрые акали. Его наружность была чрезвычайно замечательна и типична, и он скорее походил на геркулесоподобного центуриона древних римских легионов, нежели на кроткого служителя алтаря, хотя бы и сикхского.

Рам Рунджит Дас предстал пред нами верхом на прекрасной лошади в сопровождении другого сикха на почтительном расстоянии, по-видимому послушника, либо слуги. Еще издали он был признан нашими индусами за акали по совершенно отличному от других туземцев костюму. На нем была ярко-голубая туника безрукавка – совершенно такого покроя, как мы видим на изображениях римских воинов; на его мускулистых огромных руках были широкие стальные браслеты и щит за спиной. На голове конической формы синий тюрбан, а вокруг стана, вместо пояса, несколько тяжелых стальных обручей, о которых злые языки и враги сикхов говорят, что при случае эти священные пояса становятся в руках опытного «Божьего воина» опаснее, будто бы, всякого холодного оружия.

Кому не известна история сикхов, самой воинственной и храброй секты во всем Пенджабе? Слово «сикх» (*Sikh*) означает «ученик». Основанное в XV столетии богатым и благородным брамином Нанак, новое учение так быстро прививалось к северным воинам, что в 1539 году (год смерти основателя) их насчитывали уже до ста тысяч человек; а теперь эта секта, тесно связанная пламенным религиозным мистицизмом и своими воинственными наклонностями, исповедует свою веру по всему Пенджабу. Она основана на принципах теократического правления, и ее тайные догматы почти неизвестны европейцам, а англичанам так и совершенно незнакомы. Их учение, взгляды, обряды – все содержится и совершается в величайшей тайне. Знают только одно: сикхи строгие монотеисты, не имеют каст и не признают их, едят все то, что и европейцы, и – редкое исключение между индусами – хоронят покойников. Второй том *Адигрантхи* учит: «боготворить Единого Бога, избегать суеверий, помогать смертным вести строгую нравственную жизнь и жить мечом». Один из их великих гуру (Говинда, сын махараджи), дабы сделать их вполне отличными от мусульман и других индусов, ввел между ними обычай никогда не брить ни бороды, ни усов и носить длинные волосы. После многих отчаянных сражений, сикхи, врагами коих являлись теперь индусы столько же, как и магометане, остались победителями. Их вождь, знаменитый Рунджит Синг, установив собственное верховное владычество в верхнем Пенджабе, заключил в начале XIX-го столетия

трактат с лордом Ауклендом, и его владения были признаны независимым государством. Но после смерти «старого льва» снова возникли из-за его престола междоусобия между самими сикхами. Махараджа Дулип Синг (его побочный сын от публичной танцовщицы) оказался до того слабым, что допустил своих сикхов, остававшихся дотоле верными союзниками англичан, попытаться отвоевать от них весь Индостан, как когда-то они завоевывали пограничные деревни и крепости в Афганистане. Попытка окончилась плачевно как для буйных сикхов, так и для слабого Дулип Синга, который, чтобы спастись от своих солдат и заслужить прощение от англичан, принял христианство и был тайно перевезен в Шотландию. Его заменил Гулаб Синг. Верный слову и политической программе Рунджит Синга; он отказался сделаться изменником, за что и получил в награду прелестную Кашмирскую долину от перепуганных сикхами англичан, а сикхи перешли в неволю к ним, как и остальные индусы.

Наш акали подарил нам в тот вечер, только не от свами Дайананда, а от себя, сткляночку из горного хрусталя, наполненную священной водой из озера Бессмертия. В случае глазной боли или другого недуга, он советовал нам помочить ею больное место, уверяя, будто одной капли ее довольно для излечения самой упорной болезни. Вода в стклянке была необычайно чиста и прозрачна, от того ли, что в Амритсарском *тулао* (резервуаре) воды, по причине множества в нем родников, постоянно переменяются, или от чего другого, но озеро Бессмертия славится во всей Индии необычайной прозрачностью и чистотой своей воды, несмотря на то, что сотни людей ежедневно окунаются в нем. Когда мы посетили это прелестное озеро, или скорее бассейн в 150 кв. ярдов, то каждый камешек и малейшее на нем пятнышко на довольно глубоком дне виднелись словно через чистейшее стекло. Амрита Сарас – прелестнейшее из всех мест северной Индии. Отражение «Золотого храма» в водах озера представляет нечто волшебное, восхитительное. Один Айвазовский был бы в состоянии передать эту картину на полотне.

Итак, нам приходилось еще около семи недель колесить с места на место, на выбор: по Бомбейскому ли президентству, по Северо-Западным провинциям, или же по Раджастхану. Что выбрать? Куда ехать? Пред подобным изобилием интереснейших местностей мы колебались, как известное животное между двумя стойлами. Мы так много наслышались о дворцах Хайдарабада и Голконды, прямо переносящих путешественника в волшебную обстановку из «Тысячи и одной ночи», что серьезно стали было собираться повернуть наших слонов к верхнему Синдху и ехать в Хайдарабат, в территорию Низама.

Рассказы о чудесах хайдарабадских разжигали наше любопытство, и мы стремились увидеть воочию эту волшебную страну. И Нараян, и бабу, оба несколько раз побывали там, а у Нараяна находились там даже и родственники. Особенно прельщал он нас своими рассказами и описаниями, так как был знаком с каждым уголком центральной Индии. Грустно отражалось в его красноречивых сказаниях все великое прошлое Индии, великое еще так недавно – в XVIII столетии, в сравнение с ее горьким настоящим положением. Как низко упала эта красавица Востока, к ногам которой стремились некогда все мудрецы Греции и богатствам коей завидовали все цари земные!.. Попранное во прах, забитое, все в ней теперь гложет, постепенно замирает и исчезает, начиная от малейшего национального порыва, тотчас же подавляемого ревнивой подозрительной Англией, и кончая когда-то роскошными девственными лесами... ныне падающими сотнями десятин разом под топором железнодорожных промышленников.

Было нечто необычайно-пленительное в этих простых рассказах бедного индуса. Словно последней песней лебедя звучала в них нота патриотизма, забитого, сдержанного, но столь же пламенного, как и любовь к родине его славных дедов, заставлявшая их когда-то жертвовать не только богатством и собственной жизнью, но даже жизнью всех им близких – жен, детей, во славу отечества под победоносным знаменем Сиваджи.

Чем образованнее, развитее становится индус, тем горше для него делается сравнении

настоящего с тем, что было. Приведем один пример из тысяч: индусы более всего гордятся своей прошлой цивилизацией, величию родины в те дни, когда Европа еще была погружена чуть ли не во мрак каменного периода. По единодушному мнению путешественников и особенно антиквариев, интереснейшим зданием в Хайдарабаде считается «Чахар-Минар», когда-то знаменитая коллегия в Индии, построенная султаном Мухамед Кули-ханом на развалинах еще древнейшей коллегии. Она выстроена на перекрестке четырех главных улиц, на четырех арках; под ними свободно проходят высоко навьюченные верблюды и слоны с башнями. Над этими арками возвышается на несколько ярусов само здание коллегии; каждый ярус был предназначен особенному отделу науки. Увы! прошли те дни, когда Индия изучала философию и астрономию у ног своих туземных мудрецов. Теперь эти ярусы превращены англичанами в складочные магазины. В зале, где изучали астрономию и стояли курьезные инструменты средневековой эпохи, теперь сложен опиум; а залу философии наполняют огромные ящики с ликерами и запрещенными как Кораном, так и браминами ромом и напитком «вдовы Клико».

Мы совсем было собрались в Хайдарабад, когда наши чичероне и товарищи одним словом привели нас в ужас, расстроив разом все наши планы. Дело в том, что в продолжение шести так называемых «жарких» месяцев в году термометр в Хайдарабаде (в Нижнем Синдхе) стоит на 98° в тени (по Фаренгейту), а температура воды в Индии достигает температуры крови; в Верхнем же Синдхе, где чрезвычайная сухость воздуха вместе с бесплодностью песчаного грунта делают из климата этой страны нечто схожее с прелестью температуры африканских пустынь, термометр беззастенчиво доходит до 130° в тени (по Фаренгейту). Недаром несчастные миссионеры испытывают здесь такую постоянную неудачу; понятно, что среди населения спокойно вращающегося при таком пекле, самые красноречивые Дантовские «описания ада» не в состоянии произвести на местного жителя ничего, кроме разве «прохлаждающего» впечатления.

Рассчитав, что отправиться в Багх нам нет препятствия, но что нечего и думать ехать теперь в Синдх, мы успокоились. Затем мы решили, общим советом, покинуть всякую идею о заранее определенном маршруте и путешествовать наудачу, куда глаза глядят. Вследствие такого плана мы отослали на другой же день наших слонов, и незадолго до солнечного заката подъезжали уже в *тонгах* к слиянию Вагрея и Гирны, двух знаменитых в летописях индийской мифологии речонок, блистающих чаще всего своим отсутствием, особенно летом. Пред нами, словно притаившееся у противоположного берега чудовище, зияла своими четырьмя отверстиями гора, будто моргая в сумрачном тумане своими впалыми, черными глазами... То были пресловутые Багхские пещеры...

Мы могли бы тотчас же перебраться к ним на пароме, но на этот раз благоразумие взяло верх над привлекательною перспективой ночи, проводимой, как в Карли, в пещерах древних отшельников. К тому же наши индусы и даже *тангаваллы* с паромщиками отказались наотрез сопутствовать нам. Первые – потому что даже днем опасно посещать пещеры, не послав туда предварительно людей с факелами и вооруженных *шикари* (охотников). Эта часть Амджирского раджа изобилует дикими зверями, особенно тиграми, которых, как видно, наравне с бенгальскими бабу, можно встретить всюду по Индии. Вторые же протестовали потому, что после заката солнца ни один индус не согласится подойти на милую к пещерам. Одни *беллати* со своими «глупыми географическими понятиями» видят в реках Вагрее и Гирне простые речки; в сущности же то боги-супруги, Шива и Парвати; это во-первых. А во-вторых, багхские тигры не простые тигры, как думают *саабы*, а слуги *садху*, святых чудодеев, уже много веков обитающих в этих пещерах; они частенько даже и «оборотни» этих самых вековых старцев, и никто из них – ни боги, ни садху, ни оборотни, ни тигры – не любят, чтоб их тревожили ночью...

Нечего было делать. Грустно взглянув по направлению пещер, мы снова полезли в наши

допотопные экипажи и поплелись далее. Бабу с Нараяном решили, что мы переночуем у некоего «кума» в городке Багх, от которого мы находились всего в трех милях.

Построенный на вершине заросшего лесом холма, Багх пока, как спорная собственность, не принадлежит никому, но зато маленькая крепость его, в толстые ворота которой мы скоро и въехали, составляет *частную* собственность вместе с находящимся в нем базаром некоего «дхани», то есть вождя Бхималахского племени, по словам нашего бабу, «великого вора и разбойника», который вдобавок оказался его «кумом»...

– Да как же вы ведете нас к человеку, на которого указываете, как на вора и разбойника? – робко осведомились мы.

– Он «вор и разбойник» в *политическом* только смысле. Иначе он превосходный человек и самый верный друг. А без него мы и с голоду умрем: ведь базар его собственность, – очень хладнокровно отвечал бенгалец.

Кум оказался, впрочем, в отсутствии; нас принял его родственник и, насколько мы поняли, помощник *бхамия* (начальника). Нам отвели сад, и едва мы успели разбить палатки, как со всех сторон стали приносить нам провизию. Каждый выходящий из палатки бросал на землю через плечо бетель и мелкий сахар – приношение иностранным духам, которые-де непременно должны были нам всюду сопутствовать. Наши индусы просили нас, впрочем, *не смеяться*, говоря, что это здесь, в глуши, очень опасно.

Рассуждать с этим народом оказалось напрасным. Мы были в центральной Индии, гнезде всех суеверий страны, и окруженные *бхиллями* (Bhils). Вдоль всего горного хребта Виндии, от Джама, на западе «Мертвого города» и кругом всей Раджпутаны, страна густо заселена этим племенем, самым храбрым, разбойничьим и суеверным из всех полудиких племен Индии. Несколько слов о них окажутся может быть небезыntenесными.

Ориенталисты уверяют, будто название «бхилль» происходит от санскритского корня *bhil* (отпадать, разлучаться); сэр Дж. Мальколм полагает поэтому, что бхилли суть раскольники, отпавшие от брахманской религии и затем выгнанные из касты. Все это, быть может, и так; но их племенные предания говорят иное. Конечно, здесь, как и везде, к истории примешана мифология, и до их родословного дерева приходится добираться через густую чащу вымысла. Проведший с нами вечер родственник отсутствующего бхамии рассказал нам следующее:

Бхилли или *билли* – потомки одного из сыновей *Махадевы* (бога Шивы) от прекрасной чужеземной женщины с голубыми глазами и белым лицом, которую бог нечаянно встретил за *калапани* (за черною водой, за морями) в лесу. Из нескольких родившихся от этого союза сыновей, один, столь же замечательный своей красотой, как и порочностью, убил любимого быка Махадева и был за это изгнан родителем опять за *моря*, в Джодхпурскую пустыню. Загнанный в самый южный ее угол, он здесь женился, и вскоре его потомки переполнили страну. Они рассыпались по всему протяжению Виндийского хребта и начали селиться на западной границе Мальвы и Кандеша, а позднее на лесистых и диких берегах рек Махи, Нармады и Тапти. И все они, наследовав красоту прародителя, наследовали вместе с голубыми глазами и светлым цветом лица разбойничьи наклонности и всю порочность его. «Мы воры и грабители» (наивно говорил нам родственник честного «кума» бабу), потому что так приказал отец нашего прародителя – могучий Махадева-Шива. Послав его каяться в пустыню, он (то есть бог) сказал ему: «Иди, окаянный, убийца невинного брата твоего, моего сына, быка^[108] Нарди. Иди... и живи изгнанником и разбойником на страх братьям твоим»... Так как же мы осмелились бы послушаться приказами нашего великого бога? Наши малейшие действия совершаются сообразно с распоряжением наших *бхамий*; а так как последние суть потомки Надир Синга, первого *Бхилалы* (плод от супружества раджпута с бхилльской женщиной), то бхамии и считаются нами прямыми посредниками между нашим народом и Махадева-Шивою»...

Такова власть над бхиллями этих «посредников», что самые ужасные преступления совершаются по одному их слову. Само племя нашлось вынужденным, дабы хоть сколько-нибудь обуздать их безусловную власть, назначить род советников в каждой деревне; этих советников они называют *тарви*, иногда сдерживающих этих безумно-разбойничьих *дхани* или лордов. Но их честное слово свято, а гостеприимство безгранично.^[109]

Истории и летописи Раджпутских принцев Джодхпура и Удайпура подтверждают эту легенду о бхильской эмиграции из их первобытной пустыни, но откуда они явились туда, никто не знает. Тод положительно уверяет, что «бхилли» аборигены Индии, как мины, мерасы, гоанды и те племена, что обитают в Нербудских лесах. Только почему же в таком случае, рядом почти с африканскими типами прочих холмовых племен, бхилли являются гораздо светлее прочих и даже часто с голубыми и серыми глазами? Что все эти аборигены довольствуются названиями *бхомапутра* и *венапутра*, то есть «сыны земли» и «дети лесов», в то время как раджпуты, их первые покорители, именуют себя *сурьявансами*, а брамины *индупутрами* – потомками солнца и луны, еще очень немного доказывает. В настоящем случае, как мне кажется, их наружность, подтверждающая их предания, имеет гораздо более веса и значения, нежели филология. Как весьма логично выразился д-р Кларк,^[110] «обратив должное внимание на следы древних суеверий народа, мы гораздо легче и вернее доберемся до их первобытных прадедов, нежели научными наблюдениями над их языком; ибо суеверия их привиты к самому корню, а язык подвержен всевозможным изменениям».

Но до сих пор все то, что мы знаем из истории этого народа, сжато в нескольких словах вышеприведенного предания, да в самых древних песнях их бардов. Поселясь в Раджастхане, эти барды или *бхаты* навещают бхиллей ежегодно, дабы не терять из виду подвигов своих соотчичей. Их песни – та же история, так как бхаты существуют в их племени с незапамятных времен, воспевая эти подвиги для грядущих поколений, что составляет их прямую и наследственную обязанность. Заметим кстати, что нет во всей Индии мало-мальски воинственного племени, у которого бы не было своих народных бардов. А в самых древних песнях бхильских *бхатов* их начало происходит «из-за морей», то есть где-нибудь в Европе. Некоторые ориенталисты, особенно Тод, желают доказать, что раджпуты, покорившие бхиллей – пришельцы скифы, а бхилли – аборигены Индии. В доказательство этого они приводят черты, общие обоим народам, как например: 1) поклонение оружию – мечу, копью, щиту и коню; 2) поклонение и жертвоприношение солнцу (которому скифы, поклонявшиеся мечу, как главному божеству, между прочим вовсе и не поклонялись); 3) страсть к азартным играм (которая у китайцев и японцев развита еще более); 4) обычай пить кровь врага из черепа (что делают и некоторые краснокожие аборигены Америки) и т. д. Конечно, здесь не место входить в научные этнологические диспуты, но все же невозможно не заметить, как странно иногда рассуждают ученые люди, когда им приходится защищать излюбленную ими идею. Довольно вспомнить, до какой степени история *древних скифов* запутана и темна сама по себе, чтоб убедиться, как неосновательно делать подобные выводы, основываясь лишь на слабых исторических данных, которые мы имеем под рукой о тех народах, коих обыкновенно включают в общее название *скифов*. Что между обычаями древних скандинавов, поклонников Одина (страна коих была действительно занята скифами за 500 лет до Р. Х.), и обычаями раджпутов есть много поразительно общего, это неопровержимо. Только такая тождественность дает по крайней мере столько же, если не более, права раджпутам указывать на нас, как на «колонию ушедших на запад сурья-вансов», как и нам уверять, что раджпуты – «перекочевавшие в Индию скифы». Скифы Геродота и скифы Птолемея и римских писателей – две совершенно различные народности. Первый называет Скифией страну от устья Дуная до Азовского моря (по Нибуру), до устья Дона (по Роулинсону); а Скифия Птолемея – страна исключительно азиатская,

включающая всю северную Азию от Волги до Серики (Китая). К тому же, эта Скифия была разделена западную частью Гималаев, называемую римскими историками «Imaus», на Скифию *intra Imaum* и на Скифию *extra Imaum*. При подобной неопределенности, быть может, раджпуты и действительно *азиатские скифы*, а скифы – *европейские раджпуты*. Только нынешние раджпутские воины никак не соответствуют описанию наружности скифов, какое находим у Гиппократу: «Тела у этих людей (говорит отец медицины) толстые, грубые, приземистые; суставы их слабы и вялы, животы отвислые, волос на них почти нет и каждый из них походит на другого». Кто, познакомившись с воинами Раджастхана, с этими стройными, гигантского роста молодцами, с длинными волосами и обросшими бородой лицами, узнает в них портреты скифов по Гиппократу? К тому же, скифы – кто бы они ни были – *хоронили* своих покойников, чего раджпуты, если судить по их древнейшим летописям, никогда не делали. Скифы были кочевым народом, и описаны Гесиодом как «люди, живущие в кибитках и повозках, и питающиеся кобыльим молоком» (кумысом). Раджпуты же народ испокон века оседлый, живущий в городах и имеющий свою историю, по крайней мере за несколько сот лет до Р. Х. (ранее времен Геродота). И если они празднуют *Асвамедду* (жертвоприношение лошадей), то уж до «кобыльего молока» никогда не дотронутся и презирают монголов. Геродот говорит, что скифы, называвшие себя скелотами, ненавидели более всего чужеземцев и выгоняли их из своих мест; а раджпуты один из гостеприимнейших и мире народов... Наконец, история довольно ясно указывает нам скифов в войне с Дарием (516 лет до Р. Х.), а в те времена скифы еще сидят на своих местах, возле Дуная. В те же времена раджпуты уже были известны в Индии и имели свое царство. Что же касается *Асвамедды* (жертвоприношения лошадей солнцу), на котором Тод основывает главное свое доказательство, напоминая, что скифы тоже приносили в жертву лошадей, то этот обряд упоминается как в *Ригведе*, так и в *Айтарее брахмане*. О последнем же сочинении Мартин Хауг говорит, что, по всем вероятностям, оно уже существовало за 2000–2400 лет до Р. Х.

Сознаюсь, от кума бабу до скифов и раджпутов допотопных времен – отступление довольно долгое. Опасаясь усыпить читателя, спешу вернуться к пещерам.

Пока местные *шикари*, под водительством воинственного акали, отправлялись вытравливать могущих находиться в пещерах тигров и оборотней, наш бхиль получил для нас позволение присутствовать при совершавшейся в городе свадебной церемонии. Брамин выдавал замуж дочь, и ее в тот же день венчали. Эти новые для нас церемонии были так занимательны, что день прошел незаметно. Когда мы вернулись домой, то было уже поздно ехать в пещеры, и мы отложили поездку до следующего дня. Между тем опишу виденные нами празднества, тем более занимательные, что обряды сватовства, обручения, свадьбы и т. д. не изменялись в Индии по крайней мере за последние два тысячелетия. Они совершаются по предписанию Ману и без малейшей вариации на древнюю тему. В своих религиозных воззрениях Индия как бы кристаллизовалась, и кто видел брак индусов в 1879 году, знает его наверное и в древней Арьяварте за 1000 лет до настоящей эры.

За несколько дней до отъезда нашего из Бомбея мы прочитали в одной местной газете объявление о двух свадьбах: свадьба богатой наследницы, браминки; другая – в семействе огнепоклонников.

Объявление о первой гласило так:

«В семейства Бимбая Мавланкара, и прочее, готовятся к радостному событию. Наш почетный член, не в пример другим менее счастливым браминам его касты, нашел жениха для своей внучки в богатом семействе однокастников в Гуджерате. Маленькой Рамабае уже исполнилось *пять лет*, а ее жениху *семь*. Свадьба назначена через два месяца и обещает быть блестящей».

Второе объявление касалось совершившегося факта и появилось в одной парсийской газете, весьма сильно напирательной на *реформу* и жестоко бичующей своих соотчицей за их «отвратительные, устарелые обычаи» и, между прочим, за ранний брак. Она справедливо осмеивала какой-то *Гуджератский Листок*, в напыщенных выражениях описывавший брачную церемонию в Пуне... Там счастливый жених (которому уже минул *пятый год*) «прижимал к сердцу вручаемую ему тещей *краснеющую* невесту *двух с половиной лет*»!.. Обычные ответы брачной пары оказались до того неясными, что священнику гебров (мобеду) вместо жениха и невесты пришлось обращаться уже к родителям с обычными при церемонии вопросами: «Берешь ли ты его себе законным мужем, о дочь Заратушты (Зороастра)! и готов ли ты быть ее супругом, о сын Ормазда!..» «Брачные приготовления оказались вполне успешными», говорит сатирическая газета, «жених был выведен за руку во всей молодцеватости своей *togae virilis*^[111] и высокого, в виде сахарной головы, тюрбана, а невеста, вынесенная на руках, угощала присутствующих, вместо улыбок, страшнейшим ревом, среди которого она совершенно забывала о носовом платке и вспоминала, по-видимому, лишь о соске, требуя ее себе среди неистового крика и почти задыхаясь под тяжестью фамильных бриллиантов...» То был парсийский брак, «с барометрической верностью характеризующий ход прогресса нашего быстро развивающегося народа», добавляет газета.

Прочитав это, мы, конечно, много смеялись, хотя не совсем веря, чтобы даже в Индии могли совершаться столь ранние браки. Мы слыхивали о *десятилетних супругах*, но о *двухлетних невестах* приходилось слышать впервые. В Багхе мы убедились, как неизмерима браминская изобретательность: недаром они в древности постановили закон о запрещении кому бы то ни было, за исключением священнодействующих браминов, изучать санскритский язык и особенно читать Веды. *Шудра* и даже высококастный *ваузия* предавался, во времена оны, позорной смерти за таковое преступление. Весь секрет в том, что Веды запрещают вступать в брак женщинам ранее 15–20 лет, а мужчинам до 25 или даже 30-летнего возраста. Распорядившись, чтобы всякая религиозная церемония прежде всего наполняла карманы браминов, эти тунеядцы перековеркали свое древнее писание на собственный лад и, обременив постепенно индусов бесконечным каталогом обрядов, постановлений, несуществующих праздников и глупейших церемоний, дабы при том не быть пойманными в лживом толковании священных книг, хитро придумали вменить в кощунство чтение их всякому, кто только не принадлежал к их лагерю. Между прочими «преступными выдумками» (как их называет свами Дайананд), вот одно из постановлений, извлеченное из браминских книг, идущих диаметрально вразрез с Ведами. По всей центральной Индии празднуется так называемый «брачный сезон»,

Kudwa Kunbis, земледельческой касты, к коей принадлежат все *земиндары*. Сезон этот празднуется лишь один раз в двенадцать лет, но зато он является полем обильнейшей жатвы для господ браминов. Все матери как взрослых (то есть десятилетних) ребят, так и младенцев еще в пеленках и даже еще не родившихся детей, обязаны совещаться с богиней *Матой*, хранительницей новобрачных, – конечно, через ее оракулов, браминов. *Мата* – покровительница всех четырех родов брака между индусами: «брака отроков, брака детей, брака младенцев и брака *во чреве*». Последний самый занимательный, хотя бы в силу своей азартности и полной зависимости от слепой судьбы.

Вместо *будущих* плодов, *венчаются между собою матери*, то есть те, которые находятся в интересном положении. Много поэтому любопытных эпизодов является среди этих матримониальных пародий; но национальный инстинкт индусов не смущается никаким необыкновенным казусом. Они остаются безмятежно и спокойно верующими, выказывая лишь изредка и то при самых исключительных случаях открытый антагонизм против браминских учреждений. Их вера скорее вековой страх пред непогрешимостью «избранников богов», нечто внушающее к ним, среди невольного смеха, и невольное уважение. А брамин, как давно известно, не ударит лицом в грязь ни пред каким афронтом насмешливой и слепой судьбы. Если, например, у *обеих обвенчанных матерей* родятся мальчики, или оба новорожденные окажутся девочками, – на то воля *Маты*: богиня, значить, пожелала, чтобы вместо супругов родились два брата или две сестры, и эти дети, если они вырастут, признаются законными наследниками *обеих матерей*. В таких случаях, по приказанию богини, брамин расторгает брачные узы, ему снова платят, и конец делу. Но если дети родятся двух полов, то уже брака расторгнуть ничто и никто не может: ни уродство, ни хронические болезни, ни даже полное юродство одного из супругов...

Чтобы не возвращаться к этому предмету, заметим здесь кстати, что ни один индус не имеет права оставаться холостым. Религия предписывает ему брак ради сына, на котором лежит обязанность вводить покойного отца, посредством некоторых *необходимых* заклинательных молитв, в *сваргу* (рай). Даже каста *брахмачарий*, – члены коей дают обет безбрачия, хотя и остаются в миру и вращаются в мирских делах, представляя единственный в стране экземпляр *светских* холостяков, – обязана усыновлять себе мальчиков. Все же остальные индусы пребывают во браке до *сорокалетнего* возраста, после чего получают право, с согласия жены и семейства, удалиться в джунгли и, ради спасения души, делаться аскетами. Если в семье родится урод, то и это не препятствует ему жениться; он только должен подобрать себе такую же калеку-жену. Это по части мужчин. Но что за странная, невероятно несправедливая участь выпала во всех жизненных условиях на долю несчастной женщины Индии! Жизнь *честной* и особенно богомольной, верующей женщины не что иное как длинный ряд роковых для нее событий. Чем выше она стоит по рождению и своему общественному положению, тем горше ее судьба. Одни *науци* – танцорки, посвященные богам и служащие при храмах, свободны, счастливы и живут в великом почете. Они *весталки* и *дочери весталок*, как ни странно последнее выражение. Взгляд индусов, особенно в вопросах о нравственности, самобытный и во всяком случае «антизападный», если можно так выразиться. Никто не относится строже этого народа к женской чести и целомудрию; но их брамины перехитрили даже римских верховных жрецов и авгуров. У древних римлян Рея Сильвия, например, мать Ромула и Рема, несмотря на то, что в ее *faux pas*^[112] участвовал бог Марс, была, по обычаю весталок, погребена за этот проступок живой, и Нума с Тиберием, как известно, тщательно позаботились, дабы целомудрие их жриц не сделалось чисто номинальным. Но «весталки» берегов Инда и Ганга понимают дело иначе, нежели его понимали на Тибре. Одно тесное знакомство *научей* с богами (коих брамины заменяют по прокуратуре) очищает *научей* ото всех плотских грехов, содельывая их в одно и тоже

время безукоризненными и беспорочными. *Науца* не может быть «падшей женщиной», как другие смертные, несмотря на кучу «божественных музыкантов», снующих в пагодах в виде маленьких весталок и их братцев. Никакая между тем римская матрона, даже сама целомудренная Лукреция, не была в таком почете за свои добродетели, как осыпанная драгоценностями красавица *науца*. Это уважение к «любимцам богов» особенно проявляется в чисто туземных центральных городах Индии, где народ сохранил всю свою слепую веру в непогрешимость браминов.

Не такова участь бедной *честной* женщины в Индостане. Науци все грамотные и получают самое высокое по туземным понятиям образование. Они читают и пишут на санскрите, изучили лучшую литературу древней Индии и ее шесть главных философий, из коих в особенности музыку, пение и танцы. Но, кроме этих «богорожденных» храмовых жриц, есть еще *публичные науци*, профессиональные танцорки, которые, как египетские «алмеи», доступны и не одним богам; и эти тоже более или менее все грамотные. Поэтому замужние женщины, боясь малейшего приравнения к последним, не желают учиться ничему такому, чему учатся эти презируемые, незнакомые с богами существа. Если браминка богата, она проводит в одуряющем бездействии всю свою жизнь; если бедна – еще хуже: все ее земное существование сосредоточивается в однообразнейшем соблюдении механически совершаемых обрядов. Нет для нее ни прошлого, ни будущего; одно по часам заведенное, веками установленное, монотонное настоящее. И это еще при счастии, пока жизнь ее идет гладко и без семейных утрат. О замужестве же по любви или по свободному выбору не может быть и речи. Выбор для нее жениха, ограниченный собственной кастой, иногда чрезвычайно затруднителен и во всяком случае разорителен, потому что здесь жену не продают, а покупают ей право выйти замуж. Вследствие этого рождение девочки не радость, а горе, особенно в небогатом семействе. Она должна быть выдана замуж не позже семи, восьми лет, потому что девятилетняя девочка считается здесь уже «старой девкой» и, принося лишь бесчестие родным, навлекает на себя насмешки всех своих более счастливых сверстниц.

Если когда-либо англичане сделали что хорошее в Индии, то это без сомнения в те дни, когда они успели подавить, если не совершенно искоренить, ужасный обычай детоубийства. Убиение девочек почти во всеобщем употреблении в этой стране; оно особенно практиковалось в центральной Индии и более всего свирепствовало между племенем джадежда, некогда столь могущественным в Синдхе, а ныне сделавшимся разбойничьим племенем. По всем вероятностям, они первые и ввели его. В древности этот зверский обычай – отделяться от дочерей из-за страха обязательного выдавания их замуж – не был известен арийцам. Даже в старинной браминской литературе мы видим, что во времена преобладания чистокровных арийцев женщина пользовалась одинаковыми с мужчиной правами. Она имела голос в государственных советах, была свободна в выборе супруга, как и властна предпочесть безбрачие замужней жизни. Много знаменитых женских имен играют первенствующие роли в хрониках древней земли арийцев и перешли в потомство, как имена женщин-поэтов, астрономов, философов и даже мудрецов и законников.

Но с набегов персов в VII столетии нашей эры, а затем фанатических, разбойничьих магометан все изменилось: женщина стала рабой, и брамины воспользовались этим, дабы еще более закрепостить ее. В городах доля женщин-индианок еще печальнее, нежели судьба поселянки. Взглянем на одну такую бесконечную канитель церемоний и обрядов.

Церемонии, предшествующие предложению и свадьбе, чрезвычайно многочисленны и сложны. Их разделяют на три главные группы: церемоний до свадьбы, *во время* бракосочетания и *после* брака. В одной первой группе одиннадцать необходимых обрядов: сватовство, сравнение двух гороскопов, жертвоприношение козла, назначение счастливого по звездам дня,

приглашение гостей, постройка алтаря, закупка священных горшков для хозяйства, жертвоприношение семейным богам и, наконец, взаимные подарки. Все это совершается с разными обрядами и религиозными церемониями. Как только дочь достигла четырехлетнего возраста, отец и мать посылают за домашним гуру-брамином, вручают ему только что снятый астрологом касты (должность весьма важная) гороскоп девочки и посылают к такому-то, у кого есть сын в летах. Предупрежденный заранее, отец мальчика берет гороскоп и, положив его пред семейными богами в кумирне, отвечает: «Соглашаюсь на *паниграхан*... Да поможет нам Рудра (Всевышний)!^[113] Затем, спросив: когда же *лагна* (соединение)? – сват откланивается. Через несколько дней отец вручает своему семейному жрецу гороскопы невесты и жениха-сына, которые относятся к главному астрологу. Найдет он оба благоприятными – ладно; скажет, что нет, и сватовству конец; отец жениха отсылает тогда резолюцию астролога к родителям девочки, и дело предается забвению. В благоприятном же случае отец и брамин тут же кончают сделку. Брамин подает отцу кокосовый орех и пригоршню сахару, и после этого уже нельзя изменить обещания, иначе *vendetta* индусов затянется на целые поколения. Приносится в жертву козел, и молодые обручены, а затем астрологом назначается день свадьбы.

Все эти церемонии были уже давно совершены в семействе, к которому мы, в Багхе, отправились на свадьбу. Эти обряды считаются особенно священными, и нас, вероятно, не допустили бы присутствовать при совершении их. Но мы их увидели позднее в Бенерасе, благодаря ходатайству бабу. Принесение в жертву бедного козла чрезвычайно интересно; передаю его в подробности.

Ребенок мужского пола посылается приглашать несколько замужних женщин «старух» (от 20 до 25 лет) пожаловать на поклонение домашним *ларам* (богине-покровительнице того дома) и духам. Каждое семейство выбирает себе свою особую богиню, что при 333 миллионах богов и богинь не составляет особенного затруднения. Вечером приносят юного козла, и все ложатся вокруг него спать. Рано утром приемная зала в нижнем этаже посыпается коровьим навозом, любимейшим индусскими богинями фимиамом, а посредине комнаты начертывается мелом квадрат, в который на высоком алтаре становится идол богини. Затем приводят козла, и старейший в доме мужчина, взяв животное за рога, заставляет его кланяться идолу. После этого, со свадебными гимнами, «старые» и молодые женщины начинают обмывать козлу ноги, осыпают ему затем голову красным порошком (причем будущая жертва сильно бодается), дымят ему зажженную лампой вокруг носа для отогнания от него злых духов и, наконец, отходят в сторону. Тогда старейший старец берет бамбуковую веялку, посыпает в нее рису и предательски ставит ее пред козлом. Взяв между тем в руки обнаженный меч, старец становится по правую его сторону, и в то время как ничего не подозревающая жертва с большим аппетитом принимается за рис, он ловким ударом меча отсекает козлу голову и, держа ее в правой руке, орошает богиню горячею капающею из нее кровью... Все принимаются петь хором, и обручение совершено.

Церемонии с астрологами, обмена подарков и т. д. слишком длинны, чтоб их описывать. Довольно заметить, что астролог играет в них двойную роль авгура и нотариуса. После общего воззвания к *Ганеше* (богу с хоботом) контракты пишутся на изнанке гороскопов; к ним прикладываются печати, записываются счастливые созвездия жениха и невесты и преподается общее благословение. Перехожу прямо к брачной церемонии, которой мы были очевидцами в Багхе.

Невесте было на вид лет десять, жениху не более четырнадцати. Невеста сидела на высоком месте в бархатной шитой золотом юбке, вся в цветах и золотых украшениях. В ее маленьком носу было продето огромное золотое кольцо с каким-то сияющим камнем, который совсем ей оттягивал ноздрю. Физиономия у нее была очень плачевная; по временам она косилась на нас

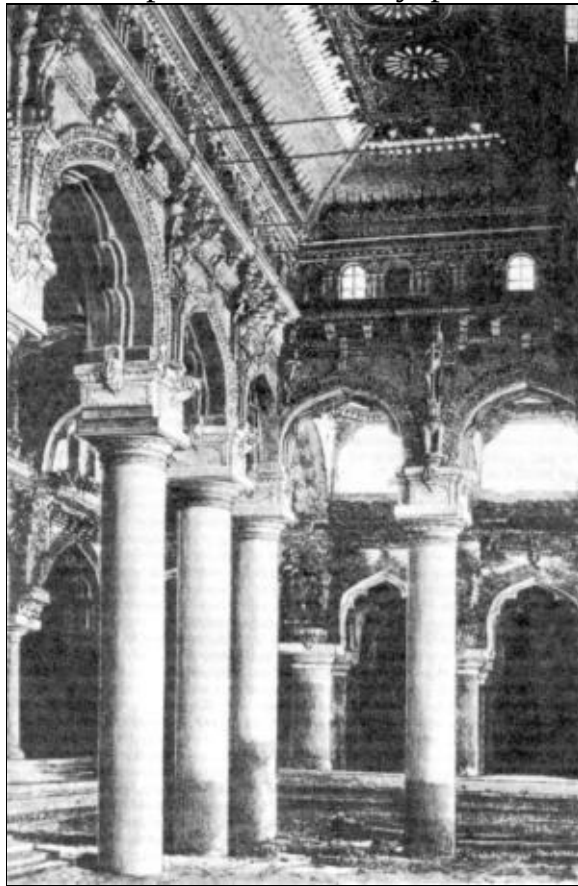
исподлобья. Жених, здоровый, толстый мальчик в парчевом кафтане и шапке Индры (т. е. тюрбане, сделанном наподобие многоярусной пагоды), сидел на коне верхом, окруженный целой кучей родственников. Сооружаемый для этого случая пред ступенями дома алтарь уже был готов. Он строится по размеру и длине руки невесты, считая три раза от плеча до среднего пальца, и сделан из выбеленного глиной кирпича. Сорок шесть глиняных горшков, выбеленных и выкрашенных красными, желтыми и зелеными полосами (цвета Тримурти), возвышались двумя пирамидами по обеим сторонам посаженного на алтарь «бога браков», а целая толпа замужних девочек толкла в семи больших ступках желтый имбирь. Когда он был готов, то вся эта партия амазонок бросилась на жениха, стащила его с лошади и, раздев донага, стала обмазывать его размоченным в воде имбирем; лишь только он обсох на солнце, его снова стали одевать с песнями. Пока одни его одевали, другие девочки, вооружась каждая листом свернутого в трубку лотоса, капали ему на голову воду – приношение водяным богам.

Нам объяснили, что в продолжение всей прошлой ночи совершались в домах жениха и невесты последние обряды церемонии, начатых еще за несколько недель до свадьбы: воззвание к *Ганеше*, к брачному богу, к стихийным божествам – богу огня, воды, воздуха, земли; к богине оспы и других немочей; к духам прадедов и планет; к злым духам, добрым духам и к духам домашним... Но вдруг раздалась музыка... О боги! что это за адская симфония! Раздирающие слух звуки тамтама, тибетские барабаны, сингалезские дудки, китайские трубы, литавры, гонги оглушали нас со всех сторон, пробуждая в душе ненависть к человечеству и его дьявольским изобретениям. «De tous les bruits du monde celui de la musique est le plus désagréable»...^[114] – вспомнилось мне. К счастью, агония длилась недолго, и на выручку нам явилось оригинальное и все-таки более сносное пение браминов и *наушей*. Свадьба была богатая, и «весталки» явились в полной форме. Минута затишья, сдержанного шепота... и вот одна из них, высокая, красивая девушка, с глазами, занимающими половину лба, стала молча перебегать от одного к другому гостю и каждого поочередно мазать рукой по лицу, оставляя на нем следы сандалового и шафранного порошка. Она подскользнула и к нам, бесшумно порхая по пыльной дороге своими босыми, разукрашенными золотыми кольцами ногами. Прежде чем мы успели опомниться, она уже мазнула меня, и полковника, и мисс Б**** по носу, заставив последнюю громко чихнуть и затем целые десять минут обтираться и брюзгливо ворчать...

Бабу и Мульджи, с улыбками великодушия на лицах, любезно подставили свои физиономии к полной шафрана ручке. Один лишь Нараян, в ту самую минуту, как поведившая на него все время своими огненными очами весталка, став на самые кончики своих проворных ног, собиралась совершить над ним *гулал-пекне*, – быстро отшатнулся и, нахмуясь, полуобернулся к ней спиной, получив всю дозу порошка в плечо. Весталка, в свою очередь, грозно нахмурилась, но, затаив досаду, только сверкнула на него глазами и подлетела к Рам Рунджит Дасу. Но с этой стороны ей еще менее посчастливилось: оскорбленный в своем монотеизме и целомудрии, «божий воин» так бесцеремонно оттолкнул весталку, что она отлетела на посуду брачного бога, чуть не перебив ее всю. В толпе послышался сильный ропот, и мы уже приготовлялись было на изгнание за грехи буйного сикха, когда разом грянули опять все барабаны, и процессия тронулась. Впереди всех ехали на позолоченной повозке и на украшенных от рогов до хвоста цветами волах трубачи и барабанщики; за ними следовал другой оркестр пеших дудочников; за этими третий – верховых, дующих во всю мочь в *гонги*. За ними, по две в ряд, шли разукрашенные перьями и цветами, в богатых пополах, лошади с родственниками молодых. Далее отряд *бхиллей* в полном обезоружении, так как англичане только что отняли у них все боевые снаряды, кроме лука и стрел. Все они словно страдали флюсом, подвязанные до самого носа своими белым *пэгери*. За ними шли духовные брамины, с курительными свечами в руках, окруженные своим летучим батальоном весталок, выделявавших во всю дорогу глассады и па; за

этими светские брамины «дважды рожденные» и, наконец, юный жених верхом на красивом коне, по обе стороны которого шли по два воина с хвостами яка (тибетский бык) в руках для отмахивания мух, а за их спинами еще по два человека с серебряными веерами; группа жениха замыкалась голым брамином на осле, державшим над женихом огромный из красного шелка китайский зонтик. За всем этим повозка на волах, нагруженная считанною тысячею кокосов и сотнею бамбуковых нанизанных на красной веревке корзинок. Покровительствующий бракам бог ехал в грустном одиночестве на спине слона, которого *махут* вел за украшенную гирляндами цепь. За хвостом слона скромно шла наша партия, которая и замыкала процессию...

Бесконечно длились обряды по дороге; невыразимо странными казались нам торжественные «мантры», распеваемые пред каждым деревом, возле погод, пред танками, кустами и наконец пред священной коровой. Когда мы вернулись к дому невесты, было уже около четырех часов пополудни, а мы пришли в шесть утра...



Дворец Турумала

Началась последняя брачная церемония, после которой для женщины закрывается весь мир, но перед которою мы открыли глаза и уши и принялись наблюдать внимательнее прежнего. Вот поставили жениха и невесту у алтаря. Соединив им руки длинною травой *кускуса*, брамин обвел их три раза вокруг алтаря. Затем им развязали руки, и жрец снова прогнусил мантру. Когда он кончил, жених-мальчик, схватив свою миниатюрную невесту на руки, снова трижды обошел с нею вокруг алтаря, а потом еще три раза, идя на этот раз впереди невесты, которая следовала за ним, как покорная жена. Когда все совершилось, юного мужа посадили на высокое сидение у дверей дома, а новобрачная, взяв в руки таз с водой, простерлась у ног будущего повелителя, разула его и, обмыв ему обе ноги, *обтерла их распущенными своими волосами*. Обычай, как мы заметили, действительно древний. По правую руку жениха сидела его мать; поклонясь ей низко в ноги, невеста совершила ту же операцию и над свекровью, после чего удалилась в дом; за ней

вышла из толпы ее мать и повторила над зятем и его матерью такое же омовение, но уже без обтирания волосами. Брак свершился. Загремели снова барабаны да тамтамы, и полуоглохшие мы наконец уехали домой. Сам Сатана в свои гениальнейшие минуты не мог бы придумать ничего более несправедливого, более утонченно-жестокого. *Полная, безусловная гражданская смерть* ожидает женщину в случае ее вдовства, овдовой она хотя пятилетней, даже двухлетней девочкой, наконец, и в том случае, если она только прошла через обряд обручения, при котором, как мы видели, она не присутствует, а фигурирует жертвой один козел. Мужчина же не только по праву может иметь несколько жен, хотя – будь сказано к чести индусов – за исключением распутных, приученных резидентами и опекунами-англичанами к пьянству и другим прелестям западной цивилизации принцев и махараджей, – мы еще не слыхивали о таком примере, чтоб у индуса было *более одной* жены. В случае же вдовства мужчина обязан вступить во второй и третий брак. Но для женщины нет такого закона. Для нее вторичный брак считается величайшим грехом, неслыханным позором: тотчас по сожжении трупа мужа, вдове бреют голову навсегда. Ей не дозволено носить ни одного украшения; ее браслеты, перстни, ожерелья, все это ломается в куски и вместе с волосами сожигается с трупом мужа. Всю жизнь она должна ходить с ног до головы в *белом*, если она осталась вдовой до 25-ти-летнего возраста, или же в *красном*, если она старше. Храмы, религиозные церемонии, общество закрываются пред нею навсегда. Она не смеет говорить ни с кем из родных и даже есть с ними. Она спит, ест и работает отдельно; соприкосновение с ней считается нечистым в продолжение семи лет. Если вдова встретится первою на дороге человеку, выходящему утром из дому по делу, то он возвращается домой и откладывает дело до другого дня, так как встреча со вдовой самая дурная примета. Уличенные в лживом истолковании Вед, с преступною целью жечь вдов, дабы завладеть их имуществом, поставленные в невозможность продолжать этот жестокий обычай, брамины возобновили редко приводимое в исполнение – и то касающееся лишь *богатых* вдов, отказывающихся от самосожжения в последнюю роковую минуту, – и применили оное ко всем вдовам поголовно. Бессильные против британского закона, они мстят невинным и постигнутым несчастьем женщинам.

Любопытна история уличения браминов профессором Уилсоном в фальсификации текста Вед и подлоге. В продолжение долгих веков брамины жестоко сожигали злополучных вдов, но Уилсон, лучший санскритолог того времени, рылся в самых древних рукописях, пока не убедился, что нигде в гимнах Вед нет такого постановления, хотя в законе Ману, непогрешимого толкователя «откровения», оно будто бы находилось во всей ясности и так и было переведено Колебруком и другими ориенталистами. Дело становилось затруднительным. Стараться доказать, что истолкование Ману неправильно, – равнялось, ввиду народного фанатизма, толчению воды.

Уилсон стал изучать Ману, сравнивая текст Вед с текстом законодателя. И вот что он нашел наконец: *Ригведа* повелевает брамину класть вдову, до зажжения костра, рядом с трупом мужа, а по совершении некоторых обрядов *свести с костра* и громко пропеть над нею следующий стих из *Грихья-Сутры*:

Вставай, о женщина! вернися в мир живых;
Заснув у трупа, просыпайся снова;
Довольно времени была ты верною женой
Тому, кто сделал тебя матерью его детей.

Затем присутствовавшие при сожжении покойника женщины мазали себе глаза

«коллирием», и брамин обращался опять к ним со следующим стихом:

Приблизьтесь, женщины замужние, не вдовы;
С мужьями добрыми несите ги^[115] и масло.
Пусть *первыми все матери восходят на алтарь*
В одеждах праздничных и ценных украшениях и т. д.

Именно предпоследний стих и был искажен браминами самым тонким, хитрым образом. В оригинале стих читается так:

«А роханту ганайо йоним *агре*»...^[116]

буквально: «первыми – матери ступайте в утробу алтаря» (*yoniṁ agre*, т. е. *внутри* алтаря). Изменив лишь одну букву последнего слова «агре», которое они переделали в «*агне*» (огонь), брамины получили право посылать в продолжение долгих веков несчастных малабарских вдовиц в *yoniṁ agneḥ* – «В утробу огня», на костер. Трудно бы найти на белом свете подобную адскую подделку.

И не только Веды никогда не позволяли сожигания вдов, но есть даже место в *Таитрии-Арнукне* (Яджурведа), где меньший брат покойника, его ученик или даже, за неимением родственников, доверенный друг, в то время, как готовятся зажечь огонь на костре, – обращается ко вдове и говорит ей следующее: «Встань, женщина, не ложись более возле безжизненного трупа; возвратись в мир живых, подальше от умершего супруга, и сделайся женой того, кто держит тебя за руку и желает вступить с тобою в брак». Этот стих доказывает, что во времена ведического периода существовал для вдов *вторичный* брак, тем более, что в нескольких местах древних рукописей, врученных нам свами Дайанандом, мы нашли повеление вдовам «собирать кости и золу мужа в продолжение нескольких месяцев по его смерти, и в заключение исполнять над покойником известные обряды»...

Невзирая, однако, на полную улику, на произведенный открытием Уилсона скандал и на то, что брамины пред двойным авторитетом Вед и Ману принуждены были, в свою очередь, спасовать, вековой обычай оказался столь сильным, что некоторые *супра* (набожные индуски) до сих пор сожигают себя, когда могут. Не далее, как в конце семидесятых годов прошлого столетия, по смерти главного министра в Непале Юнг Бахадура, четыре его жены настояли на самосожжении. Непал – неподвластен Британии, и англо-индийское правительство не имело права вмешаться.

В четыре часа утра мы уже переезжали Вагрей и Гирну, или правильнее (*comme couleur locale*^[117]) Шиву и Парвати. Вероятно, по примеру смертных супругов, «боги» в это утро ссорились, так как очень уж они вдвоем бурлили, и наш паром, зацепившись за что-то на дне реки, чуть не перевернул нас всех в холодные объятия Махадевы и его сварливой половины.

Подобно всем пещерным храмам в Индии, вырытым, как я подозреваю, аскетами с целью искушать человеческое терпение, и эти кельи находятся на вершине почти отвесной горы. Принимая в соображение, что такая неприступность их нисколько не мешает даже простым тиграм, не говоря уже об «оборотнях», залезать туда и даже селиться в них, остается думать, что подобный род архитектуры был действительно избран лишь с целью вводить слабых смертных во грех. Семьдесят две высеченные в скале ступени, заросшие мхом и колючками, с глубокими выбоинами, которые громко свидетельствовали о несметных миллионах ног пилигримов, выбивавших их в продолжение двух тысяч лет, – таков для начала парадный вход в Багхские пещеры. Прибавьте к прелестям подобного подъема множество просачивающихся сквозь ступени горных ручьев, и никто не удивится, что мы в то утро положительно изнемогали под бременем жизни и археологических затруднений. Бабу, который, сняв туфли, скакал по колючкам с такою же легкостью, как если б у него вместо человеческих подошв были копыта, посмеивался над «слабыми европейцами» и только еще более бесил нас...

Но, взобравшись на вершину горы, мы перестали роптать, почувствовав с первого взгляда, что будем вполне вознаграждены за всю нашу усталость. Едва мы взошли на небольшую, расстилавшуюся под далеко нависшею над ней бурю скалой площадку, как пред нами открылась, через прямоугольное отверстие футов в шесть шириной, целая анфилада темных пещер. Мы были поражены мрачным величием этого давно покинутого храма. Не теряя времени на подробный осмотр потолка над площадкой, очевидно, служившею когда-то верандой, над портиком, с его торчащими сверху, как большие черные зубы, отломками того, что некогда было колоннами, и не останавливаясь даже осмотреть две комнаты по обеим сторонам древней веранды, одну с разбитым идолом какой-то плосконосой богини, другую с Ганешей, – мы приказали зажечь факелы и вошли внутрь первой залы... На нас пахло могильной сыростью. При первом слове все понизили голос до едва слышного шепота: глухо завывшее, протяжное и долго замиравшее потом эхо заставило нас всех неприятно вздрогнуть. С робким гортанным восклицанием: «Дэви!.. Дэви!..» наши факельщики мгновенно бросились лицом на землю и, несмотря на сердитый протест Нараяна и особенно «божьего воина», тут же начали творить *пуджу*^[118] голосу невидимой, обитавшей в этих пещерах богини... Единственный проникавший во храм свет входил в отверстие двери, погружая в еще более глубокий мрак почти две трети залы. Эта зала, или средний храм, очень велика – 84 квадр. фута и 16 футов высоты. Двадцать четыре массивные колонны составляют квадрат, по шести возле каждой стены, включая угольные столбы, и четыре средние, которые поддерживают в центре потолок скалы, слишком переслоенный, чтобы, как в Карли и Элефанте, выдержать на таком большом пространстве чрезмерную тяжесть горы. Базы колонн состоят каждая из плинтуса и двух полукруглых фризов. У четырех средних столбов круглые стержни, со спиральными кряжами, которые, суживаясь кверху, постепенно изменяются из 16-ти в 8-угольные полосы, переходя под подставками в квадратные, и представляя таким образом нечто чрезвычайно оригинальное и изящное. Другие колонны – две передние и две задние – почти квадратные до первой трети своей высоты. Затем и эти начинают постепенно округляться, переходя в 8-ми и 12-угольные полосы со спиральными кряжами, а еще выше в 12-ти и 24-угольные, оканчиваясь под карнизом пышными

орнаментациями, напоминающими коринфский стиль. У***, известный архитектор по профессии и опытный художник, уверял нас, что оригинальнее этих колонн он ничего не видел. Какие употреблялись инструменты туземными зодчими на созидание подобных, в цельных скалах, работ, он и ума приложить не мог. Как и все пещерные храмы Индии, история которых теряется во мраке неизвестности, и эти приписаны ориенталистом Эрскином буддистам, хотя и здесь предание относит их к работам мифических братьев Панду.

Но не говоря уже о том, что вся индийская палеография в каждой новооткрываемой древней надписи своей протестует против такого самовольного заключения, есть еще много других причин сомневаться в правильности воззрений на этот счет большей части английских ориенталистов. Мы выскажем пока одну. Положим, что показания браминов неправильны и что буддисты, как то желали доказать Стивенсон и другие, проповедовали свою религию, строили вихары и пользовались одинаковыми правами с другими сектантами в Индии еще в начале VI века нашей эры. Но, с другой стороны, эти же члены Азиатского Общества давно решили, что религия Будды, затеявшего свою реформу именно *против идолопоклонства*, исказилась «не ранее V столетия». До того времени не было и не могло быть ни одного браминского идола в чисто буддистских храмах, как это уже и доказано. Каким же образом, спрашивается, в пещерных храмах Карли, Насика, Кеннери и т. д. (Карли построен, по единодушному мнению антиквариев, между III и I веком до-христианской эры, никак не позже 95 года до Р. X., а пещеры Насика в первом или во втором веке нашей эры) находится такая бездна браминских идолов, вышедших из-под резца зодчих *одновременно* со стенами зданий? Почти все они иссечены в стенах и составляют существенную часть самых пещерных храмов. Разве в первые два века до и после нашей эры буддист осмелился бы изображать столь противных духу учения Будды идолов? «Найденные в Насике надписи (отвечают нам антикварию) доказывают, например, что славный монарх А'ндхры, Готамипутра, покорив царя Цейлонского, выгнав скифов, греков и персов, основал в одно и то же время госпиталь для больных и немощных, школу для стрельбы из лука, коллегия для изучения буддизма и другую коллегия для браминов, представляя таким образом интереснейшую картину человеколюбивого, отличавшегося веротерпимостью и либерального правителя. Эта надпись вместе с тем доказывает: 1) что буддисты жили с браминами в дружбе до своего изгнания из Индии и пользовались одинаковыми с ними правами, и 2) что, постепенно переняв у браминов их политические воззрения, они снова вернулись к бывшей своей вере, только прибавив Будду к идолам и проч.» – Но ведь это же случилось не ранее V столетия? говорите вы. – Никак не ранее. – А пещерные храмы, наполненные сверху донизу браминскими идолами, строились, по вашему же определению, между III веком до Р. X. и II по Р. X.? – Конечно, в этом мы единодушно соглашаемся. – Но как же вы *соглашаете* такое противоречие между двумя фактами? – А мы (говорят они) даже и труда такого на себя не берем: мы авторитеты, определяющие и постановляющие *безапелляционно*, а объяснять какие-либо кажущиеся несообразности предоставляем другим...

Cum grano salis,^[119] однако. Объяснять себе или другим они дают нам право; но если объяснения хоть немного разойдутся с их «непогрешимыми» заключениями, на объясняющего тотчас же кладется клеймо невежества, и критика его выставляется на позор всему свету, как оскорбляющего науку игноранта. *Et c'est ainsi qu'on écrit l'histoire!* (особенно в Индии). Вероятно, так же будет поступлено и с этими скромными замечками. Некоторые русские археологи восстанут против приводимого нами мнения (т. е. мнения туземных археологов), ибо оно диаметрально расходится с мнением Фергюсона и других великих европейских оракулов о циклопических постройках архаических времен. Но чтобы разом доказать, чего стоит мнение хотя Фергюсона, этого блестящего маяка британских архитекторов, приведу еще один пример. Этот великий зодчий, но очень посредственный археолог, объявлял в начале своей ученой

карьеру, как объявляет и теперь, что «пещерные храмы Кеннери выстроены все до одного от V до X столетия». Так и порешили было. Но вдруг д-р Бэрд, во время своих раскопок в этих пещерах, находит в одном из памятников, сооружаемых буддистами в их храмах, известных под названием *топе*, медную доску с надписью. На затертость надписи нельзя было пожаловаться: в ней на санскритском языке говорилось яснее дня, что этот *топ* был приношением, сделанным старому храму в начале 245 года (по астрономической эре индусов). Это летосчисление, говорят Принсепс и д-р Стивенсон, совпадает со 189 годом христианской эры и неопровержимо решает вопрос если не о годе самой постройки, то о годе приношения, когда эта пещера уже считалась старым храмом, по выражению надписи. На это Фергюсон, нисколько не конфузясь, отвечает, что для него древние надписи в вопросах о хронологии ровно ничего не доказывают, ибо могут и врать, и что он, Фергюсон, «основывает свои соображения и определения древности развалин не на надписях, а на известных им самим открытых архитектурных канонах или уставах».

В настоящее время между ним и доктором права, известным бабу Раджендра Лалл Митрой из Калькутты, признанным в Лондоне ученым археологом и антикварием Индии,^[120] идет война. Раджендра Лалл отвечает ему, что «каноны», извлеченные почтенным английским архитектором из глубины его умозрительного знания, никак не могут применяться к таким древним и часто неизвестного стиля архитектуры храмам, как так называемые «пещерные храмы» Индии.

Прямо против входа дверь ведет в другую залу, продолговатую, с двумя шестиугольными колоннами и с нишами по бокам, в которых стоят довольно хорошо сохранившиеся статуи: богини в 10 футов вышины и несколько богов в 9 футов. За этой – вход в комнату с алтарем. Это правильный шестиугольник в три фута между углами, под высеченным из цельной скалы куполом. Сюда не впускался, как и ныне не впускается, никто, кроме посвященных в таинства адитума. Кругом – кельи бывших жрецов; их около двадцати. Осмотрев алтарь, мы было уже собирались идти далее, как полковник, взяв из рук одного из слуг факел, отправился с двумя другими осматривать эти боковые комнаты. Через несколько минут раздался его голос, громко звавший нас из второй кельи налево. Он нашел секретный ход и кричал нам: «Пойдемте далее... надо увериться, куда он ведет!..»

– В берлогу одного из «оборотней»... Смотрите в оба, полковник... берегитесь тигров!.. – прокричал за нас в ответ бабу.

Но по дороге к «открытиям» нашего президента было не легко остановить. Мы пошли на его зов.

– Комната... потайная келья!.. Лезьте все за мною... целый ряд комнат... Мой факел потух!.. несите спички... факелы!..

Но лезть за ним и нести факелы оказывалось легче на словах, нежели на деле. Факельщики наотрез отказались лезть и чуть было не разбежались со страха. Мисс Б*** брезгливо посматривала на закопченную стену и на свой туалет, а У*** поместился на отвалившемся куске колонны и решил, что не пойдет, а закурит сигару и, окруженный отрядом трусливых факельщиков, станет нас ожидать. В стене было несколько выступов, очевидно, высеченных позднее пещеры, а на полу валялся большой, как бы нарочно высеченный в неправильную форму камень, соответствующий своею формой дыре в стене. Бабу на своем живописном языке тотчас же указал нам на него, как на бывшую «затычку» потаенного хода. По тщательном осмотре мы убедились в очевидном намерении каменщика-строителя сделать его похожим и даже ничем не отличающимся от прочих неровностей грубо обтесанной стены. К тому же, мы нашли на нем нечто вроде стержня, на котором его, вероятно, и поворачивали, когда являлась надобность открывать этот вход.

Первым полез в дыру, продолговатую, фута в три вышины, но не более двух в ширину – наш

мускулистый «воин божий», а так как дыра, когда он стал на кусок колонны, приходилась почти на середине груди этого пенджабского Еруслана Лазаревича, то он и влез довольно легко. За ним, с ловкостью обезьяны, прыгнул бабу и, втащив факел, осветил всю комнату. Затем, с помощью акали, который втаскивал меня сверху за руки, и Нараяна, помогавшего снизу, меня благополучно, хотя и с усилием, перегрузили через отверстие, в котором я, впрочем, изрядно застряла, сильно оцарапав при этом о стены руки. Как ни тяжелы археологические расследования при пяти пудах брэнного тела, я однако же чувствовала, что с двумя такими геркулесами, как Рам Рунджит Дас и Нараян, смело могла бы отправиться хоть на самые вершины Гималаев. Последними полезли мисс Б***, которая чуть было не проглотила горсть свалившихся ей в вечно открытый рот пыли и камешков, а за нею Мульджа. Но У***, который предпочел на этот раз чистоту своих белых панталон осмотру святынь незапамятной древности, остался внизу с людьми...

Тайная келья оказалась комнатой в двенадцать квадратных футов; а прямо против зиявшей на полу дыры, на противоположной стене, только тоже под потолком, находилось другое точно такое же отверстие, хотя «затычки» от него мы не нашли. Келья была совершенно пустая, если не считать черных пауков, похожих по величине на крабов. При нашем появлении и особенно при ослепляющем их, вероятно, свете, между ними произошла паника: они забегали сотнями по стенам, висли на воздухе и падали нам на головы. Первым движением мисс Б*** было убивать их, но на этот раз все четыре индуса сильно и единодушно протестовали против такого намерения. Англичанка обиделась и вскипятилась.

– Я думала, что вы реформатор, – презрительно заметила она Мульджи, – а вы выказываете предрассудки не хуже идолопоклонника...

– Я прежде всего индус, – гордо ответил «молчаливый генерал». – А индусы испокон века считают грехом пред природой и собственной совестью лишать жизни инстинктивно убегающее пред силой человека, даже и опасное животное, не только что такое безвредное насекомое, как паук.

– Уж не боитесь ли вы будущего переселения в черного паука? – фыркнула она.

– Нет... но, в случае необходимости, все-таки желал бы лучше трансмигрировать в паука, нежели в англичанина, – обрезал он.

Мы все расхохотались, все, кроме патриотической старой девы. На этот раз она сильно рассердилась и тотчас же, под предлогом головокружения, спустилась назад в дыру. Все наше общество начинало ей тяготиться, и ее никто не удерживал.

Что касается нас, то мы полезли во второе отверстие под водительством на этот раз Нараяна. Он бывал здесь и прежде, и по этому поводу рассказал нам весьма странную историю. Он уверял, и весьма серьезно, будто такие комнаты тянутся одна за другой до самой вершины горы. Затем они повертывают в сторону, спускаясь вниз до огромного подземного жилища – целый пещерный дворец, где по временам живут раджа-йоги. Желая удалиться на время от света и провести несколько дней в уединении, раджа-йоги находят его там, в подземном жилище. Наш президент как-то сбоку странно покосился через очки на Нараяна, но промолчал. Индусы не противоречили.

Вторая келья была во всем подобна первой и имела такое же отверстие. Через него мы пролезли в третью, где и сели отдохнуть. Здесь я почувствовала, что мне становится трудно дышать; но, приняв это просто за одышку, действие усталости, ничего не сказала товарищам, и мы полезли в четвертую келью. Только отверстие в эту было до двух третей завалено мелкими камнями и землей, и нам пришлось минут двадцать откапывать его прежде, чем мы могли пролезть далее. Как нам сказал Нараян, комнаты все шли в гору; пол одной находился на уровне с потолком предыдущей. Четвертая келья была в развалинах, но две повалившиеся колонки

составляли как бы ступени к отверстию пятой кельи и, казалось, представляли менее затруднения. Но тут полковник, остановив занесшего уже было ногу Нараяна, лаконически заметил, что теперь пришло время держать совет. «Выкурить трубку совещания», сказал он, употребляя выражение краснокожих индейцев.

– Если Нараян говорит правду, то ведь этак мы можем путешествовать из одного отверстия в другое до завтрашнего дня?

– Я сказал правду, – как-то торжественно отвечал Нараян, – но с тех пор, как я был здесь, мне говорили, будто несколько отверстий уже завалено, а именно в следующей за этой кельей.

– Ну, стало быть, нечего и думать идти далее. Но кто же завалил их? Или просто они от времени обрушились?...

– Нет... их завалили нарочно... *они*...

– Кто они? Обратни, что ли?...

– Полковник, – промолвил с усилием индус, и даже при постепенно слабеющем свете факелов можно было заметить, как задрожали у него губы, а он сам побледнел, – полковник... Я говорю серьезно, и не шучу!

– Да и я не шучу. Кто же это они?

– *Братья... Раджа-йоги*; некоторые из них живут недалеко отсюда.

Полковник откашлялся, поправил очки и, помолчав немного, с заметным неудовольствием в голосе наконец проговорил:

– Послушайте, мой милый Нараян, не думаю, чтобы вашею целью могло быть желание морочить нас... Но неужели вы хотите нас заставить поверить или сами верите, чтобы кто-либо в мире, даже спасающийся в джунглях аскет, мог жить в местах, куда не залезают даже тигры и откуда сами летучие мыши ретируются, за недостатком воздуха? Посмотрите на огонь факелов... Еще там две комнаты – и мы задохнемся!

Действительно, наши факелы совсем потухали, и мне становилось чрезвычайно трудно дышать. Мужчины тяжело переводили дух, а акали громко сопел.

– И однако же, я говорю святую истину, далее живут *они*... Я сам был там.

Полковник задумался и стоял в видимой нерешимости пред входом.

– Вернемтесь назад! – неожиданно заорал акали. – У меня кровь идет из носу.

В эту самую минуту со мной произошло нечто столь же неожиданное, как и странное для меня тогда: я почувствовала, как вдруг у меня сильно закружилась голова, и я почти в беспмятстве скорее упала, нежели опустилась, на обломок колонны, прямо под отверстием в пятую келью. Еще секунда, и несмотря на тупую, но сильную, как удары молота, боль в висках, мною стало овладевать невыразимое чувство отрадного, чудного спокойствия; я смутно сознавала, что то был уже не грозящий, а действительный обморок; что через несколько секунд, если меня не вынесут на воздух, я должна буду умереть. И однако же, хотя я не могла уже пошевелить ни одним пальцем, ни произнести ни одного звука, я не испытывала ни малейшей агонии, ни искры страха в душе: одно только апатичное, но невыразимо приятное чувство успокоения, полное затишье всех чувств, кроме слуха. На минуту я, должно быть, совсем потеряла сознание, но помню, как пред тем глупо внимательно прислушивалась к мертвенному вокруг меня молчанию. Неужто это смерть? – раз неясно мелькнуло у меня в голове. Затем мне показалось, будто меня стали обвевать сверху чьи-то мощные крылья: «Добрые, добрые крылья, ласковые, добрые крылья»... словно выбиваемые маятником, отчеканивались у меня эти слова в мозгу, и я идиотически внутренне засмеялась им. Потом я стала отделяться от колонны и *знала* скорее, чем *чувствовала*, что падаю в какую-то бездну, все ниже и ниже, среди глухого отдаленного грома. Но вдруг раздался громкий голос: я его не слухом услышала, а словно почувствовала... В нем было что-то осязательное, что-то разом задержавшее меня в моем

беспомощном падении и остановившее его. То был давно известный, хорошо знакомый мне голос, признать который в эту минуту я не имела сил. Среди грома голос этот сердито раздался издалека, как будто из самого поднебесья, и, прокричав на языке хинди: *Диувáна́ Тумере у ане́ка кья кáма тха?* (Безумцы! какая нужда была вам сюда заходить?) замолк...

...

...

Как меня протащили затем через пять узких отверстий, останется для меня навеки тайной... Я пришла в себя уже внизу на веранде, где дул со всех сторон ветер, так же скоро, как и повалилась наверху, в наполненной гнилым воздухом келье. Когда я совсем оправилась, то прежде всего мне бросилась в глаза нагибавшаяся надо мною высокая мощная фигура, вся с головы до ног в белом, и черная, как смоль, раджпутская борода. Но лишь только я узнала обладателя бороды, как разом изъявила свою искреннюю радость, спросив его тут же: «откуда вы взялись?» То был наш друг, такур Гулаб Лалл Синг, который, обещав встретить нас в Северо-Западных провинциях, теперь являлся нам, как будто спадший с неба или выросший из-под земли – в Багхе!

Действительно, можно было любопытствовать и спросить у него, откуда и как это он пожаловал к нам, тем более, что не меня одну поразило его присутствие. Но мой несчастный обморок и плачевное состояние прочих исследователей подземелья делали всякие расспросы на первое время почти невозможными. С одной стороны, мисс Б**** насильно закупоривала моим носом свою стеклянку с нашатырным спиртом; с другой, «божий воин» – весь в крови, как будто и на самом деле только что сражался с афганами; далее Мульджи с сильной головной болью. Один полковник да Нараян отдались легким головокружением. Что же касается бабу, то его никакие углекислые газы, кажется, не в состоянии были доконать, а также как и свирепые солнечные лучи, убивавшие других наповал, безвредно скользили по этой неуязвимой бенгальской оболочке. Ему только очень хотелось есть... Наконец, из запутанных восклицаний, междометий и объяснений, мне удалось узнать следующее:

Когда Нараян, первый заметив, что я в обмороке, бросился ко мне и мигом оттащил назад к отверстию, из верхней кельи раздался вдруг неожиданно голос такура и как громом поразил их на месте. Прежде чем они могли прийти в себя от изумления, Гулаб Синг вышел из верхнего отверстия с фонарем в руках, и соскочил вниз из следующего, кричал им, чтоб они поскорее «подавали» ему «бай»^[121] (сестру). Это «подавань» такого грузного предмета, как моя тучная особа, и представившаяся моему воображению вся эта картина чрезвычайно рассмешили меня тогда. Но мисс Б**** сочла священным долгом своим обидеться за меня, хотя на нее никто и не обратил внимания. Сдав с рук на руки полумертвую поклажу, они поспешно последовали за такуром; но Гулаб Синг, по их рассказам, все как-то умудрялся, несмотря на затруднение, причиняемое ему подобным багажом, действовать и без их помощи. По мере того как они пролезали через верхнее отверстие, он был уже у другого нижнего, и, сходя в одну келью, они только успевали видеть мельком его развевающуюся белую *чадру*, исчезающую из одного хода в следующий нижний. Аккуратный до педантизма, точный во всех своих исследованиях, полковник никак не мог сообразить, каким это образом такур мог препровождать так ловко почти бездыханное тело из одного конца отверстия в другой! «Не мог же он выбрасывать ее пред собою из прохода вниз; иначе она разбилась бы...», рассуждал он. «Еще менее возможно думать, чтобы, сойдя вниз первым, он затем протаскивал ее за собою. Непостижимо!..» Мысль эта долго преследовала полковника, пока не стала чем-то вроде задачи: что появилось первым – птица или яйцо? А такур на все вопросы только пожимал плечами, отвечая, что не помнит; что он просто выносил меня из келий как можно скорее и поступал, как только умел; что ведь они все шли вслед за ним и должны были видеть, и, наконец, что в подобные минуты, когда всякое

мгновение дорого, «люди не думают, а действуют», и тому подобное.

Но все эти соображения и трудность объяснить процедуру загадочного передвижения явились лишь впоследствии, когда нашлось время думать и размышлять о случившемся. Теперь же никто ничего еще не знал о том, как и откуда явился в такую минуту наш Гулаб Синг. Сойдя вниз, они нашли меня лежащую на ковре на веранде, и такура, отдающего приказания двум слугам, подъехавшим из-за горы верхами, а мисс Б*** в «грациозном отчаянии» с открытым ртом, таращившую изо всей мочи глаза на Гулаб Синга, которого она, кажется, серьезно принимала за «материализованного духа».

Между тем, объяснение нашего друга было, на первый взгляд, и просто, и весьма естественно. Он был в Хардваре со свами, когда тот послал нам письмо, чтоб отложить наш приезд к нему на время. Приехав из Джабалпура в Кандву, по Индорской железной дороге, он побывал у Холькара по делам и, узнав, что мы здесь, решил присоединиться к нам ранее, чем предполагал. Достигнув Багха поздно вечером, накануне, и не желая тревожить нас ночью, узнав, наконец, что мы будем в пещерах утром, он заранее приехал встретить нас. Вот и вся тайна...

– Вся?... – воскликнул полковник. – Разве вы знали, что мы залезем в кельи, когда забрались туда ожидать нас?...

Нараян едва дышал и смотрел на такура глазами лунатика. Тот даже и бровью не повел.

– Нет, не знал. А в ожидании вашего приезда зашел посмотреть на кельи, которые давно не видал. А там замешкался и пропустил время...

– Такур-саиб, вероятно, вдыхал в себя свежий воздух в кельях... – ввернул словцо бабу, скаля зубы.

Наш президент ударил себя по лбу и даже привскочил.

– И в самом деле!.. Как же вы могли выдержать так долго?... Да!.. Но откуда же вы прошли в пятую келью, когда ход был завален в четвертую и нам пришлось самим откапывать его?

– Есть и другие ходы. Я прошел внутренним, давно известным мне путем, – спокойно отвечал Гулаб Синг, раскуривая *гэргури*. – Не все следуют по одной и той же дороге, – добавил он медленно и как-то странно, и пристально взглянул в глаза Нараяну, который согнулся и почти припал к земле под этим огненным взглядом. – Но пойдемте завтракать в соседнюю пещеру, где все должно быть готово. Свежий воздух вас всех поставит на ноги...

Выйдя из главной пещеры, в 20 или 30 шагах на юг от веранды, мы наткнулись на другую такую же пещеру, к которой надо идти по узкому карнизу скалы. В эту *вихару* нас такур не пустил, боясь после нашего несчастного опыта с кельями, что у нас сделается головокружение. Мы сошли по раз уже пройденным ступеням на берег реки и, повернув по направлению к югу, обогнули гору, шагов на 200 от лестницы, и оттуда поднялись в «столовую», по выражению бабу. В качестве «интересной больной», меня *понесли* по крутой тропинке в собственном складном стуле, привезенном мною из Америки, никогда меня не покидавшем на дороге, и благополучно высадили у портика третьей пещеры.

Когда мы вошли, пред нами простерлись на землю четыре знакомые нам еще с Карли телохранителя такура. Ковры были разостланы и завтрак готов. Всякий след угара исчез, и мы уселись за стол в самом веселом расположении духа. Разговор, конечно, тотчас же зашел о Хардварской *мелле*, – о которой часто упоминалось в прошлом году, даже в русских газетах, и откуда наш неожиданный приятель только что приехал. Сведения, сообщенные нам Гулаб Лалл Сингом, оказались чрезвычайно интересными, так как он только за пять дней до того уехал с этой гигантской религиозной ярмарки, подробности коей, переданные им же, тотчас были записаны мною. Но через несколько недель мы сами посетили Хардвар.

Одно воспоминание об этой чудной местности (Хардваре) вызывает в моем воображении

картину первобытного земного рая. Пишу о ней как очевидец.

Каждый двенадцатый год, называемый индусами *кумбха* (планета Юпитер входит в то время в созвездие Водолея), приносит с собою особенно благоприятный день, который и назначается главными состоящими при пагодах астрологами днем открытия ярмарки. Сюда собираются богословы всех сект и пилигримы со всей Индии, от принцев и махараджей до последнего факира включительно. Первые ведут диспуты; каждый представитель и оратор старается доказать превосходство своей религии или философа над другими. Последние стекаются, чтоб окунуться в Ганг у самого его источника; для этой операции также назначается благоприятный по звездам час. Говоря о Ганге, следует исправить здесь маленькую ошибку: имя священной реки индийцев немного перековеркано европейскими географами.

Этой реке следовало бы называться или – *Гангеса*, или же *Ганга*, как ее зовут туземцы, а никак уж не «Ганг» (в мужском роде). «Ганга» священна в глазах индуса, ибо она величайшая у них богиня-кормилица всей страны и дочь старого *Гимавата* (Гималаев), из сердца коего она вытекает для спасения народов. Поэтому ее и боготворят; построенный у ее источников город Хардвар считается туземцами не менее священным.

Хардвар (пишется Гери-двара – или ворота бога-солнца или Кришны) часто называется Гангадвара или ворота Ганга и столь же известен под именем *Купелы*, в воспоминание аскета Купелы (скорее Капилы?), который долго жил здесь и спасался, оставив по себе множество чудесных традиций. Город расположен в прелестнейшей, цветущей долине, у южного подножия Севаликского хребта, между двумя почти сталкивающимися горными цепями. В этой долине, возвышающейся на 1024 фута над уровнем моря, северная природа Гималаев борется с тропическою растительностью долины, и в этих усилиях превзойти друг друга они совокупно создали один из самых восхитительных уголков Индии. Сам городок – собрание древних, невозможно-фантастической архитектуры замкообразных башенок, вихар, маленьких, ярко расписанных, похожих на игрушки деревянных крепостей, пагод с бойницами и висячими резными балкончиками, и все это при таком изобилии алое, роз, далий и пышных кактусов в цвету, что с первого взгляда не отличишь окна от двери. Гранитные фундаменты многих домов стоят на самом русле реки и четыре месяца в году находятся до половины под водой, а за эту горстью разбросанных строений, выше, на скате холма, сгучились белоснежные высокие храмы. Некоторые из них приземистые и толстые с широкими боками и раззолоченными куполами; другие с величественными, многоярусными башнями; третьи с высокими стройными острыми крышами, которые скорее походят на шпицы колоколен, чем на купол. Странной, прихотливой, нигде не виданной архитектуры храмы эти, словно нечаянно свалившиеся со снежных вершин ледяной обители горных духов (которыми так полны гималайские предания), пугливо заглядывают, приютившись под родною сенью горы, через голову маленького городка в чистые холодные струи Ганга. Здесь река еще не осквернена грязью и грехами миллионов ее поклонников. Подержав их в своих ледяных объятиях, чистая дева гор уносит свои светлые, прозрачные, как хрусталь, волны через пылающие равнины Индостана, и только за 348 миль оттуда, возле Канпура, ее воды мутятся и темнеют, пока наконец у Бенареса не превращаются в какой-то гороховый с перцем суп...

После завтрака мы простились с «божьим воином», который отправлялся по дороге в Бомбей. Почтенный Сикх крепко пожал нам всем руки и, приподняв правую руку ладонью вперед, с серьезным и важным видом давал нам всем поочередно свое пастырское благословение по обычаю последователей Нанака. Но когда он дошел до полулежавшего на земле такура, облокотившегося на седло вместо подушки, с ним произошла резкая перемена. Она была до того резка и очевидна, что всем нам бросилась в глаза: до того времени он быстро переходил от одного к другому, пожимая каждому руки и затем благословляя; но когда его

взгляд опустил на рассеянно глядевшего на приготовления к отъезду Гулаб Синга, то он внезапно остановился, и важное, немного горделивое выражение его лица мигом перешло во что-то словно униженное и сконфуженное. Затем вместо обычного «намасте» (кланяюсь вам), наш *акали* совершенно неожиданно для нас простерся пред такуром на землю. Благоговейно, словно пред своим амритсарским гуру отчетливо прошептал он: «*Апли аднья, садху сауб, аширват*»...^[122] – и так и замер на земле...

Мы были так поражены этой выходкой, что сами как будто чего-то сконфузились; но ни один мускул не дрогнул на спокойном и бесстрастном лице таинственного раджпута. Он медленно отвел глаза от реки и перевел их на лежащего пред ним акали; а затем просто, не проронив ни одного слова, слегка дотронулся до его головы указательным пальцем и, встав, заметил, что и нам пора ехать...

Во всю дорогу он следовал за нашим тихо ехавшим по глубокому песку экипажем верхом и рассказывал о местных преданиях Хардвара и Раджастхана, сложившихся с незапамятных времен в народе эпических легендах и о великих деяниях *Геру-Кули*,^[123] принцев богатейшей расы *Геру* (Солнца). Это имя «Геру-Кули» заставляет серьезно предполагать многих ориенталистов, что кто-нибудь из этой фамилии эмигрировал в Египет, в темные доисторические времена первых Фараоновских династий, откуда древние греки и переняли вместе с именем и предания, сложив таким образом свои легенды о боге-солнце *Гер-Кулесе*. Древние египтяне боготворили сфинкса под именем «Геру-мукха» – или *Солнца на небосклоне*. На той горной цепи, что обрамляет Кашмир, к северу находится, как известно, громадная, похожая на голову вершина (13000 футов над уровнем моря) и называется *Геру-мукх*. Имя это встречается в древнейших Пуранах. Почему гг. филологи не позаимутся этим странным совпадением имен и легенд? Кажется, почва богатая... На Гималайском «Геримукхе» находится священное озеро «Гангабаль» (место Ганга) и народное поверье указывает на гигантскую голову как на голову «Геру» – бога-солнца на закате. Неужели это простая случайность? Смею думать, что в этом совпадении имен не более найдется игры случая, чем в том факте, что Египет, как и Индия, воздавал божественные почести *корове* и *быку*, что в земле Фараонов древние египтяне выказывали такое же отвращение и религиозный ужас к убиению скота, то есть коров и быков, как и современные индусы.

Вечером нас завезли в какую-то кругом обрамленную лесом глухую лощину, из которой мы выехали на берег огромного озера. Здесь снова приключилось с нами нечто на первый взгляд совсем обыкновенное, но в сущности весьма загадочное. Мы вышли из экипажей; у берега, густо заросшего тростником (не по нашим русским понятиям «тростником», а тростником, скорее соответствующим Гулливеровским описаниям бробдиньягской природы) стоял большой, новый, привязанный к тростнику паром. Около парома не было никого, и берег казался совершенно пустынным. Оставалось еще часа полтора, два до солнечного заката. В то время как наши люди с телохранителями и слугами такура выкладывали из таратайки наши узелки и поклажу и переносили их на паром, мы уселись на какой-то развалине у самой воды, любуясь великолепным озером. У*** собирался срисовать вид, который был действительно прелестен.

– Не торопитесь снимать эту местность, – остановил его Гулаб Синг. – Через полчаса мы будем на островке, где виды гораздо красивее этого. Там мы можем провести ночь и даже все завтрашнее утро.

– Боюсь, темно будет чрез час... А завтра нам придется рано выехать, – говорил У***, открывая ящик с красками.

– Нет... можем оставаться и до трех часов пополудни... До станции железной дороги всего три часа, а поезд в Джабалпур отходит только в восемь часов вечера. К тому же, сегодня вечером вы увидите и услышите на острове странный и чрезвычайно интересный натуральный феномен:

я угощу вас концертом... – добавил он с привычной ему загадочной улыбкой.

Мы все наострили уши.

– Да на какой же это мы едем остров? – любопытствовал полковник. – Разве мы ночуем не здесь у берега, где так прохладно и где...

– Лес так полон игривыми леопардами, а тростник скрывает змей, хотели вы сказать, – перебил его, осклабясь, бабу. – Вон, взгляните направо, возле мисс Б***, под тростником! Полюбуйтесь счастливым семейством в пустыне: отец, мать, дяди, тетки, дети, – начал он громко считать; – я даже подозреваю в этой компании тещу...

Мисс Б*** взглянула по направлению тростника и, заголосив так, что весь лес застонал ей в ответ, опрометью бросилась, как к спасительному ковчегу – к *тонге*. В трех шагах от нее, сверкая блестящею чешуей в лучах заходящего солнца, играло штук сорок змей и змеенышей. Они кувыркались, свивались, развивались, переплетаясь хвостами, представляя картину полного и невинного счастья. Такур присел было на камень возле У***, который уже собирался начинать рисунок, но тут бросил его и стал смотреть на опасную группу змей, хладнокровно покуривая свой неугасимый *гэргэри* (раджпутский кальян).

– Криком вы только заранее привлечете сюда из леса уже собирающихся на ночной водопой зверей, – немного насмешливо заметил он мисс Б***, которая пугливо высовывала из *тонги* свое бледное, искаженное ужасом лицо. – Бояться никому из нас решительно нечего. Не троньте зверя, и он вас оставит в покое и даже убежит от вас скорее, чем вы от него...

С этими словами он слегка махнул чубуком по направлению семейной группы. Как громом пораженная, вся эта живая масса мгновенно осталась недвижимой, а в следующую затем секунду исчезла с громким шипеньем и шуршаньем в тростнике.

– Да это чистый месмеризм!.. – воскликнул полковник, не проронивший ни одного жеста раджпута и сверкая глазами из-под очков. – Как вы это сделали, Гулаб Синг? Как научиться этому искусству?...

– Как сделал? Просто спугнул их движением чубука, как вы видели. Что же касается «искусства», то в этом действии решительно нет никакого «месмеризма», если под этим современным и довольно модным, кажется, словом вы подразумеваете то, что мы, дикие индусы, называем *вашикаран видья*, т. е. наука очаровывать людей и зверей силою воли. Змеи убежали потому, что испугались направленного против них движения...

– Но ведь вы не отвергаете, что изучили это древнее искусство и имеете этот дар?

– Нет, не отвергаю. Всякий индус моей секты обязан изучать вместе с другими тайнами, переданными нам нашими предками, тайны физиологии и психологии. Но что ж в этом? Боюсь, мой дорогой полковник, что вы вообще слишком склонны смотреть на мои малейшие действия сквозь призму мистицизма, – добавил он, улыбаясь. – Это вам Нараян видно наговорил про меня; не так ли?...

И он ласково, хотя с таким же загадочным выражением опустил взор на сидевшего у его ног и редко спускавшего с него глаза деканца. Колосс потупился и молчал.

– Да, – тихо, но весьма иронически ответил за него принявшийся за рисовальный аппарат У***. – Нараян видит в вас нечто более своего бывшего бога Шивы и весьма немногим менее Парабрахма... Поверите ли?... Он нас серьезно уверял в Насике, будто «раджа-йоги», в том числе и вы (хотя, признаюсь, еще до сих пор я не понимаю, что такое именно «раджа-йог»), могут кого и что угодно, и одною силою воли, *заставить*, например, видеть не то, что у тех действительно пред глазами и что видят и все другие, а то, чего совсем нет и не было, и что находится лишь в воображении магнетизера или «раджа-иога»... Ха, ха, ха!.. он называл это, сколько помню, *майя*, иллюзий.

– И что ж?... Вы, конечно, довольно посмеялись над нашим Нараяном? – так же спокойно

осведомился такур, смотря в темнозеленую глубину озера.

– Гм! да... немножко, – рассеянно признался У***, который, очинив карандаш и разложив на коленях папку, внимательно начал всматриваться вдаль, выбирая самое эффектное для рисунка место. – Я, признаюсь, скептик в подобных делах, – добавил он.

– А, зная У***, – вмешался полковник, – я скажу, что, как д-р Карпентер, он не поверил бы такому феномену, даже если б испытал его на самом себе...

– Нет... да, впрочем, правда. Я, действительно, кажется, и тогда не поверил бы, и скажу почему. Если б я увидал пред собою не существующее, или скорее существующее лишь для одного меня, то как бы эти предметы ни были для меня лично объективны, прежде чем принять галлюцинацию за нечто вещественное, кажется, уж в силу одной простой логики, я был бы прежде всего обязан скорее заподозрить самого себя, увериться, что я еще не сошел с ума, чем позволять себе верить, что то, что я один вижу, не только есть действительность, но что эти картины суть рефлексия мысли, управляемой волей другого человека, – человека, который, таким образом, временно управляет и моим оптическим нервом и мозгом... Что за чепуха!.. неужели кто-нибудь в состоянии меня уверить, что есть на свете такой магнетизер или раджа-йог, который бы заставил... ну, хоть бы *меня*, видеть то, что ему заблагорассудится, а не то, что я сам вижу и знаю, что и другие видят?

– И однако же есть люди вполне верующие, ибо они убедились, что такой дар возможен, – небрежно заметил такур.

– Что ж, что есть?... Есть, кроме таких, еще и двадцать миллионов спиритов, верующих в материализацию духов! только не включайте *меня* в их число.

– Но вы верите, однако, в существование животного магнетизма?

– Конечно, верю... до известной степени. Если человек в оспе или другой прилипчивой болезни может заразить здорового человека, то, стало быть, и здоровый может передать больному избыток своего здоровья и вылечить его. Но между чисто физиологическим магнетизмом и влиянием одной особы на другую – бездна; переступать же эту бездну в силу одной слепой веры не считаю нужным...

– Но разве так трудно убедиться в том, что то, что вы видите, или по крайней мере думаете, что видите в минуту галлюцинации, есть только отражение картины, созданной с этой целью в мысли того, кто испытывает над вами свою власть?...

– Позволяю себе думать, что для удостоверения в подобном явлении необходимо, прежде всего, получить дар распознавать чужие мысли и, вследствие этого, получить возможность безошибочной проверки их. Я не обладаю таким даром...

– Могут найтись и другие средства убедиться в возможности явления. Например, если пред вами предстанет картина местности действительно существующей, но отдаленной и вам совершенно незнакомой, хотя не только известной магнетизеру, но даже той самой, о которой он заранее условился со скептиками, – что именно *эту, а не другую* местность вы увидите и опишете. Затем, вы ее действительно и аккуратно описываете... Разве это не доказательство?

– Быть может, во время транса, припадка эпилепсии или сомнамбулизма подобная передача впечатлений и возможна. Не спорю, хотя сам сильно сомневаюсь. Но в одном, по крайней мере, я вполне уверен и всегда поручусь за это: на совершенно здорового человека, вполне в нормальных условиях, магнетизм не способен иметь ни малейшего влияния. Медиумы и ясновидящие провербиально^[124] болезненны. Желал бы я посмотреть, какой магнетизер или «раджа-йог» повлиял бы на *меня*?

– Ну, У***, мой милый, не хвастайте! – вмешался дотоле молчавший полковник.

– Никакого тут нет хвастовства. Я просто ручаюсь за себя потому, что лучшие европейские магнетизеры пробовали свою власть надо *мною*, и каждый раз проваливались. Поэтому,

вызываю всех магнетизеров – живых и мертвых, как и всех индусских раджа-йогов в прибавку, попробовать чары своих токов надо мною... Всё сказки...

У*** начал горячиться, а такур замял разговор, перейдя на другие предметы.

Но тут позволю себе необходимое отступление.

Кроме мисс Б***, никто из нашего общества туристов не был ни спиритом, ни спиритуалистом, менее всех У***. Мы давно перестали верить в проказы духов усопших, хотя и допускали многие из медиумических явлений, только совсем на других основаниях, чем то делают спириты. Отвергая вмешательство и даже всякое присутствие «духов» при известных *столоверчениях* и других явлениях, мы однако – особенно с тех пор, как живем в Индии – веруем в «дух» живого человека, в его могущество и прирожденные ему, хотя до сих пор и *тайные* (за весьма редкими исключениями), *заглохшие* способности; веруем, что во плоти, при известном образе жизни, дух – божественная искра – как бы потухает в человеке, если он ее не раздувает; наоборот, человек может развить в себе силу духа, совершая затем гораздо более удивительные для непосвященного зрителя феномены, нежели разоблаченные кикиморы спиритов. Если гимнастика способна не только удесятерять силу мускулов, придавая им чуть ли не сверхъестественную упругость и гибкость (как это мы видим в знаменитых акробатах), то почему же при известном упражнении не развиваться так и «духу»? Мы верим также, ибо убедились, что эта *тайна* – неизведанная и отвергаемая нашими западными физиологами и даже психологами – хранится в Индии, где она наследственна и доверяется весьма немногим.

У*** был новичок в Обществе и отвергал возможность таких явлений даже в деле месмеризма. Воспитанник Королевского Института Британских Архитекторов, где он и кончил с золотой медалью курс, он вышел оттуда скептиком, отвергающим все *en dehors des mathématiques pures*; ^[125] поэтому и неудивительно, что он озлился за это приставанье к нему со «сказками»... Возвращаюсь к рассказу.

Бабу и Мульджи ушли торопить людей нагружать паром: все приутихли и над нами, как говорится, «тихий ангел пролетел». Нараян, погруженный по обыкновению в созерцание Гулаб Синга, сидел на песке неподвижно, обхватив колена руками, и молчал. У*** прилежно и торопливо рисовал, лишь изредка подымая голову, и как-то странно хмурился, вглядываясь в другой берег, весь погруженный в свою работу... Такур продолжал покуривать, а я, усевшись на своем складном стуле, внимательно наблюдая за всем, не могла теперь оторвать глаз от Гулаб Синга...

«Кто и что такое, наконец, этот загадочный индус?», думалось мне. «Кто такой этот человек, соединяющий в себе как бы две совершенно отличные одна от другой личности: одну – внешнюю, для глаз, света и англичан, другую – внутреннюю, духовную, для близких друзей? Но даже эти самые друзья его, разве они многим более других людей знают что о нем? И что они знают, наконец? Они видят в нем мало отличающегося от других образованных туземцев индуса, разве только наружностью, да тем, что он еще более, чем они, презирает все общественные условия и требования западной цивилизации... Вот и все. За исключением еще разве того, что он хорошо известен всем в центральной Индии; что его знают за довольно богатого человека, за такура, то есть за феодального начальника *раджа* – одного из сотен других подобных ему в Индии *радж*, или уездов. Затем, он вполне преданный нам друг, который сделался нашим покровителем в дороге и посредником между нами и подозрительными, несообщительными индийцами. Но кроме этого мы ровно ничего более о нем не знаем. Правда, нечто более, нежели другим, известно мне. Но я клялась молчать и молчу, да и то, что даже знаю я, до такой степени странно, что все это скорее походит на сон, нежели на действительность...

Давно, очень давно, двадцать семь слишком лет тому назад, мы встретились с ним в чужом доме, в Англии, куда он приезжал с одним туземным, развенчанным принцем, и наше

знакомство ограничилось двумя разговорами, которые хотя тогда и произвели на меня сильное впечатление своею неожиданною странностью, даже суровостью, но, как и многое другое, все это кануло с годами в Лету... Около семи лет тому назад он написал мне письмо в Америку, припоминая разговор и данное обещание; и вот мы опять свиделись на его родине – в Индии! И что ж? Изменился он в эти долгие годы, постарел?... Нисколько. Я была молода тогда, и давно успела сделаться старухой. Он же, явившись мне впервые человеком лет 30, как бы застыл на этих годах... Тогда его поразительная красота, особенно рост и сложение, были до того необычайны, что заставили даже чопорную, сдержанную лондонскую печать заговорить о нем. Журналисты, заразясь отходящею Байроновскою поэзией, наперерыв воспевали «дикого раджпута» даже тогда, когда на него сильно негодовали за то, что он напрямик отказался предстать пред королевины очи, побрезгав великою честью, для которой являлись из Индии все его соотечественники... Его прозвали тогда «Раджи Мизантропом», а салонная болтовня «Принцем Джальмой-Самсоном», сочиняя о нем всевозможные сказки до самого дня его отъезда.

Все это взятое вместе разжигало во мне мучительное любопытство, не давая мне покоя и заставляя забывать все остальное.

Вот почему я теперь сидела пред ним, вперив в него глаза не хуже Нараяна. Я вглядывалась в это замечательное лицо с чувством не то страха, не то необъяснимо благоговейного уважения. Вспоминалось мне и про таинственную смерть тигра в Карли, и про спасенье собственной моей жизни, за несколько часов до того, в Багхе, и про многое другое. Он явился к нам только в утро того самого дня, а сколько дум расшевелило его присутствие во мне, сколько загадочного он уже принес с собой!.. Да что же это такое, наконец? чуть не вскрикнула я. Что это за существо, которое я встретила столько лет тому назад, молодым и полным жизни, и вот опять встречаю таким же молодым и полным жизни, но еще суровее, еще непонятнее? Неужели это брат его, а может и сын? – вдруг мелькнуло в голове. Нет, это он сам: тот же старый шрам на левом виске, то же самое лицо. Но, как и за четверть века назад, ни одной морщинки на этих правильных, прекрасных чертах, ни одного седого волоса в черной, как вороново крыло, густой гриве; то же выражение окаменелого спокойствия в минуты молчания на темном, словно вылитом из желтой меди лице... Что за странное выражение; какое спокойное, сфинксообразное лицо!..

– Сравнение не совсем удачное, мой старый друг! – вдруг как бы в ответ на мою последнюю мысль раздался тихий, добродушно насмешливый голос такура, заставив меня страшно вздрогнуть. – Оно уже потому неправильно, – продолжал он, – что вдвойне грешит против исторической точности. Во-первых, хотя Сфинкс и крылатый лев, но он в то же время и женщина, а раджпутские Синги^[126] хотя и львы, но никогда еще не имели чего-либо женственного в своей природе. К тому же Сфинкс – дочь Химеры, а иногда и Ехидны, и вы могли бы выбрать менее обидное, хотя и неверное сравнение.

Словно пойманная на месте преступления, я ужасно сконфузилась, а он весело расхохотался. Но мне от этого не легче.

– Знаете что? – продолжал Гулаб Синг, уже серьезнее и вставая. – Не ломайте себе головы понапрасну: хотя в тот день, как загадка будет разгадана, раджпутский Сфинкс не бросится в море, но, поверьте, и русскому Эдипу от этого ничего не прибавится. Все то, что вы когда-нибудь можете узнать, вы уже знаете. А остальное – предоставьте судьбе...

– Паром готов! Идите!.. – кричали нам с берега Мульджи и бабу.

– Я кончил, – вздохнул У***, торопливо собирая папку и краски.

– Дайте посмотреть, – лезли к нему проснувшаяся Б*** и подошедший полковник.

Мы взглянули на свежий, еще мокрый рисунок и ошолбенели; вместо озера с его синеющим в бархатистой дали вечернего тумана лесистым берегом, пред нами являлось прелестное

изображение морского вида. Густые оазисы стройных пальм, разбросанные по изжелта-белому взморью, заслоняли приземистый, похожий на крепость туземный бунгало, с каменными балконами и плоскою крышей. У дверей бунгало – слон, а на гребне пенящейся белой волны – привязанная к берегу туземная лодка.

– Да где же вы взяли *этот* вид? – недоумевал полковник. – Для того, чтобы рисовать виды из головы, не стоило и сидеть на солнце...

– Как из головы? – отозвался возившийся с папкой У***. – Разве озеро не похоже?

– Какое тут озеро! Видно, вы рисовали во сне.

В это время вокруг полковника столпились все наши спутники, и рисунок переходил из рук в руки. И вот Нараян, в свою очередь, ахнул и остановился в полном изумлении.

– Да это «Дайри-боль», поместье такур-саиба! – провозгласил он. – Я узнаю его. В прошлом году во время голода я жил там два месяца.

Я первая поняла, в чем дело, но молчала. Уложив вещи, У*** подошел наконец, по своему обыкновению, вяло и не торопясь, как будто сердясь на глупость зрителей, не узнававших в море озера:

– Полноте шутить и выдумывать; пора ехать. Отдайте мне эскиз... – говорил он нам.

Но, получив его, он при первом взгляде страшно побледнел. Жаль было смотреть на его глупо-растерянную физиономию. Он поворачивал злополучный кусок бристоля во все стороны: вверх, вниз, наизнанку, и не мог придти в себя от изумления. Затем он бросился, как угорелый, к уложенной уже папке и, сорвав завязки, разметал в одну секунду сотню эскизов и бумаг, как бы ища чего-то... Не найдя желаемого, он снова принялся за рисунок, и, вдруг, закрыв лицо руками, обессиленный и точно сраженный, опустился на песок.

Мы все молчали, изредка переглядываясь и даже забывая отвечать такуру, стоявшему уже на пароме и звавшему нас ехать.

– Послушайте, У***, – ласково заговорил с ним добродушный полковник, словно обращаясь к больному ребенку. – Скажите, вы помните, что вы рисовали этот вид?...

Англичанин долго молчал; наконец произнес хриплым, дрожащим от волнения голосом:

– Да, помню все. Конечно, я его рисовал, но рисовал с натуры, *рисовал то, что видел все время пред своими глазами*. Вот это-то и есть самое ужасное!^[127]

– Но почему же такое «ужасное»? Просто временное влияние одной могучей воли над другою, менее мощной. Вы просто находились под «биологическим влиянием», как говорят д-ра Карпентер и Крукс.

– Вот это именно и страшит меня. Теперь припоминаю все. Более часа я рисовал этот вид: я его увидал с первой минуты на противоположном берегу озера и, видя его, *все время* не находил в этом ничего странного. Я вполне сознавал или скорее воображал, что рисую то, что все видят пред собою. Я совершенно утратил воспоминание о берегу, как я его видел за минуту до того и как я его снова вижу. Но как объяснить это? Великий Боже! неужели эти проклятые индусы действительно обладают тайной такого могущества? Полковник, я сойду с ума, если бы мне пришлось верить всему этому!..

– Но зато, – шепнул ему Нараян с блеском торжества в пылающих глазах, – вы теперь не в состоянии более отвергать великую, древнюю науку *йога-видьи* моей родины!..

У*** не отвечал. Шатаясь, словно пьяный, он взошел на паром и, избегая взгляда такура, сел спиной ко всем у края и погрузился в созерцание воды.

Островок был маленький, весь поросший высокой травой, и имел издали вид плавающей среди голубого озера пирамидальной корзинки зелени. За исключением нескольких пучков широких, тенистых *манго* и смоковниц, на которых при нашем появлении страшно засуетилась целая колония обезьян, он был, по-видимому, необитаем. В этом девственном лесу густейшей травы нигде не было заметно и следа ноги человеческой. Читая слово «трава», и здесь не следует забывать, что я говорю об *индийской* траве, а не о европейском подстриженном под гребенку газоне и даже не о *русской* траве; трава, под которой мы стояли, как букашки под лопухом, высоко развевала свои перистые, разноцветные вершины не только над нашими головами, но даже и над белыми *пэгери* такура и Нараяна: первый из них стоя, по общеупотребительному английскому выражению, «шесть с половиною футов в чулках», а второй был разве на вершок ниже. Эта трава показалась нам с паром тихо волнующимся морем черных, белых, желтых, голубых, преимущественно же розовых и зеленых цветов. Выйдя на берег, мы нашли, что то был большей частью обыкновенно растущий отдельными группами бамбук, перемешанный с гигантскою травой сирки, потрясающей разноцветными перьями своих верхушек почти в уровень с манговыми и другими высокими деревьями.

Невозможно себе представить что-либо красивее и грациознее *сирки* и бамбука. Изолированные букеты бамбуковой травы, колоссальной, но все же не более, как травы, начинают при малейшем дуновении ветерка развевать в воздухе свои зеленые головы, словно разукрашенные страусовыми перьями. От времени до времени, при каждом порыве ветра, слышался легкий металлический шелест в тростнике; но в хлопотах устраиванья ночевки мы не обратили на это особого внимания.

Пока наши кули и слуги возились, приготавливая нам ужин и палатку, да прочищали кругом дорогу, мы пошли познакомиться с обезьянами. Уморительнее мы еще ничего не встречали. Без преувеличения, их было штук до 200. Собираясь на покой, макашки вели себя очень прилично: каждое семейство выбирало себе ветку и защищало ее от нападения других квартирантов на дереве, но защищало без сражения, довольствуясь лишь угрожающими гримасами. Мы переходили от одного дерева к другому осторожно и тихо, боясь их спугнуть. Но видно, что много лет, проведенных с факирами (которые очистили остров только в прошлом году), приучили обезьян к людям. То были священные обезьяны, как мы узнали, и они не проявляли ни малейшего страха при нашем приближении. Они допускали нас совсем близко и, приняв приветствие, а некоторые так и кусочек сахарного тростника, смотрели на нас с высоты своих древесных тронов спокойно, чопорно скрестив ручки и даже с некоторым важным презрением в умных карих глазках.

Но вот зашло солнце, и все мигом всполошилось на деревьях. Нас стали звать ужинать. Бабу, преобладающею страстью коего было (по понятиям ортодоксальных индусов) «покощунствовать», залез на дерево, откуда, перенимая все позы и жесты своих соседей, к благочестивому ужасу наших кули, отвечал на угрожающие гримасы обезьян еще безобразнейшими; затем он спрыгнул с ветки и заторопил нас «домой».



Индусские типы

С последним исчезающим за горизонтом золотым лучом вся окрестность будто разом подернулась светло-фиолетовой прозрачной дымкой. С каждой минутой сгущались тропические сумерки: постепенно, но быстро утрачивали они свой мягкий, бархатистый колорит, делались все темнее и темнее.словно невидимый живописец накладывал на окружающие нас леса и воды одну тень за другой, тихо, но непрерывно работая гигантской кистью своей по чудным декорациям на фоне нашего островка... Уже слабые фосфорические огоньки зажигались вокруг нас: блистая против черных древесных стволов и величественных бамбуков, они исчезали на ярко перламутровых серебристых просветах вечернего неба... Еще минуты две-три, и тысячи этих волшебных живых искр, предвестники царицы ночи, запыхали, заиграли кругом, то вспыхивая, то потухая, сыплясь огненным дождем на деревья, кружась в воздухе над травой и над темным озером... А вот и сама ночь. Неслышно спустившись на землю, она вступает в свои верховные права. С ее приближением все засыпает, все успокаивается; под ее прохладным дыханием утихает вся деятельность дня. Как нежная мать, она убаюкивает природу, бережно окутывая ее своим легким черным покровом; а усыпив, стоит настороже над усталыми, дремлющими силами до первой зари...

Все спит в природе; не спит в этот торжественный вечерний час один человек. Не спали и мы. Сидя вокруг костра, мы разговаривали почти шепотом, словно боялись пробудить эту уснувшую природу. У*** и мисс Б*** давно улеглись, да их никто и не удерживал. А мы, то есть полковник, четыре индуса, да я, забившись под эту пятисаженную «травку», не могли решиться проспать такую чудную ночь. К тому же мы ожидали обещанного нам такуром «концерта».

– Имейте терпение, – говорил нам Гулаб Лалл Синг, – пред восходом луны явятся и наши музыканты...

Месяц всходил поздно, почти в десять часов ночи. Пред самым его появлением, когда уже воды озера стали бледнеть на другом берегу, а небосклон заметно светлел, постепенно переходя в серебристо-молочный цвет, вдруг засвежело и поднялся ветерок. Забурлили было уснувшие волны, заплескались и зашуршали они у подножия бамбуков и затрепетали кудрявые вершины великанов, зашептали, будто передавая друг другу приказания... Вдруг, среди общего молчания, мы услышали те же самые странные музыкальные звуки, какие подслушали, подъезжая к острову на пароме. Словно со всех сторон вокруг нас и даже над головами настраивались незримые духовые инструменты, звякали струны, пробовались флейты. Минуты чрез две, с новым порывом

пробивающегося сквозь бамбук ветра, раздались по всему острову звуки как бы сотен Эоловых арф... И вот разом началась дикая, странная, неумолкающая симфония!..

Она гудела по окружающим озеро лесам, наполняла воздух невыразимой мелодией, очаровывала даже наш избалованный европейский слух. Грустны, торжественны были ее протяжные ноты: они то плавно звучали похоронным маршем, то вдруг, перейдя в дрожащую дробь, заливались трелью соловья, гудели словно сказочные гусли-самогуды и, наконец, с протяжным вздохом, замирали... Здесь они напоминали протяжный вой: заунывный, грустный, как осиротевшей волчицы, утратившей детенышей; там – они звенели, как турецкие колокольчики, звучали веселой быстрой тарантеллой; далее, раздавалась заунывная песнь будто человеческого голоса, неслись плавные звуки виолончели, заканчиваясь не то рыданием, не то глухим хохотом... А всему этому вторило из лесу со всех четырех сторон насмешливое эхо, будто голос сотни аukaющих леших, внезапно разбуженных в своих зеленых дубравах, откликающихся на призыв этого дикого музыкального шабаша!..

Полковник и я переглядывались, обезумев от удивления. «Что за прелесть!» «Что за чертовщина!..» – раздались, наконец, в унисон наши два восклицания. Индусы посмеивались и молчали; такур покуривал свой *гэргери* так же безмятежно, как если б он внезапно оглох. Но вот после минутного интервала и пока у нас невольно мелькал в голове вопрос: уж не волшебство ли опять какое? – невидимый оркестр разыгрался, расходился пуще прежнего, и на минуту совершенно нас было оглушил. Полились звуки, понеслись словно неудержимой волной в воздухе и снова приковали наше внимание. Ничего и никогда не слышали мы подобного этому непонятному для нас диву... Слышите? Будто буря на море, свист ветра в снастях, гул бешеных, опрокидывающих друг друга волн! Снежная в глухой степи метель и вьюга...

То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя!

А вот загремели величественные ноты органа... Его могучие звуки то сливаются, то расходятся в пространстве, обрываются, перемешиваются, путаются, как фантастическая мелодия во время лихорадочного сна, музыкальное видение, вызванное завыванием и визгом ветра на дворе.

Но чрез несколько минут эти, вначале чарующие слух, звуки начинают будто ножом резать мозг. И вот нам представляется, будто пальцы незримых артистов бряцают уже не по невидимым струнам, дуют не в заколдованные трубы, а скрипят по нашим собственным нервам, вытягивают жилы и затрудняют дыхание...

– Ради Бога перестаньте, такур! довольно, довольно!.. – вопит полковник, затыкая обеими руками уши. – Гулаб Синг... прикажите им перестать!..

При этих словах трое индусов покатываются со смеху и даже сфинксообразное лицо такура озаряется веселою улыбкой...

– Честное слово, вы меня, кажется, не шутя принимаете если не за великого Парабрахму, то, по крайней мере, за какого-то гения, за марута, владыку ветра и стихий, – говорит он нам, весело смеясь. – Да разве в моей власти остановить ветер или мгновенно вырвать с корнем весь этот бамбуковый лес?... Просите чего-нибудь полегче!..

– Как остановить ветер? Какой бамбук?... Разве мы это слышим не под психическим влиянием?...

– Вы скоро помешаетесь на психологии и электробиологии, мой дорогой полковник. Никакой тут нет психологии, а просто естественный закон акустики... Каждый из окружающих

нас бамбуков – а их ведь несколько тысяч на острове – скрывает в себе природный инструмент, на котором наш всемирный артист, ветер, прилетает пробовать свое искусство после солнечного заката, особенно в последнюю четверть луны.

– Гм! ветер?... да... Но ведь это начинает переходить в ужасный шум... Очень неприятно... Как бы этому помочь? – осведомляется наш немного сконфуженный президент.

– Уж, право, не знаю... Ничего, чрез пять минут вы к нему привыкнете, отдыхая в те промежутки, когда ветер минутами затихает.

И вот мы узнаем, что таких природных оркестров много в Индии; что они хорошо известны браминам, которые называют этот тростник *вина-деви* (гитарой богов) и, спекулируя народным суеверием, выдают эти звуки за *божественные оракулы*. К этой особенности тростника^[128] факиры идолопоклоннических сект прибавили и собственное искусство. Вследствие этого остров, на котором мы находились, считается особенно священным.

– Завтра утром, – говорил нам такур, – я вам покажу, с каким глубоким знанием всех правил акустики наши факиры просверлили различных величин дыры в тростниках. Смотря по объему ствола, в каждом колене этих пустых трубок они увеличивают выеденные жучками отверстия, придавая им то круглую, то овальную форму. На эти усовершенствованные ими природные инструменты можно по справедливости смотреть как на превосходнейшие образцы применения механики к акустике. Впрочем, удивляться тут нечему: наши древнейшие санскритские книги о музыке подробно описывают эти законы, упоминая о многих ныне не только забытых, но даже совершенно неизвестных нам инструментах... А теперь, если это слишком близкое соседство распевшегося тростника беспокоит ваши нежные уши, я вас, пожалуй, поведу на поляну у берега – подальше от нашего оркестра. После полуночи ветер стихнет, и вы уснете спокойно... А пока пойдемте посмотреть, как загораются «священные костры». Как только окрестные жители заслышат далекие голоса «богов» в тростниках, они тотчас же начинают сходиться целыми деревнями на берег, зажигают костры и совершают «пуджу» (поклонение острову).

– Но неужели же брамины в состоянии поддерживать такой очевидный обман? Ведь самый глупый человек, и тот должен наконец догадаться, кем и как просверлены тростники и от чего происходят звуки!.. – осведомляется удивленный полковник.

– У вас в Америке – быть может, но никак не у нас в Индии. Покажите даже и полуобразованному туземцу, как это сделано, расскажите и объясните... на это он вам ответит, что он и без вас знает, что эти дыры просверлены жуком и увеличены факиром. Но что же из этого? То не простой жучок сверлил, а *воплотившийся в насекомое с этой целью один из богов*, а факир, святой мученик, действовал по приказанию этого бога. Вот все, чего от нас добьетесь. Веками въевшийся в массы народа фанатизм и суеверие сделались как бы необходимою частью его физиологических потребностей. Искорените в нем это чувство, и у него откроются сами собою глаза, и он узрит истину, – но не прежде. Что же касается браминов, то счастлива была бы Индия, если б это вековые плуты не делали ничего худшего... Пусть себе народ поклоняется музе и духу гармонии, это еще не страшно.

В Дехра-Дене (рассказывал нам *бабу*) такие бамбуки посажены с обеих сторон центральной улицы и тянутся более чем на милю. За зданиями ветер не может свободно действовать, и потому звуки слышатся лишь в вечера, когда он дует с востока, что бывает чрезвычайно редко. Но в прошлом году, когда наш свами Дайананд прибыл на летнюю кочевку и его осаждала каждый вечер толпа последователей, бамбуки, как раз после его проповеди, в которой он громил суеверие, вздумали распеться. В это самое время утомленный продолжительною проповедью и немного нездоровый, свами опустил на ковер и, закрыв глаза, сидел неподвижно. Толпа вообразила тотчас же, что душа свами, покинув тело, вошла в тростники и из них ведет разговор с богами. Многие, желая изъявить тем свое благоговение учителю и, вероятно, доказать, в какой

полноте восприняли они его учение, бросились творить пред напевавшим тростником «пуджу»...

– И что ж свами... что он сказал на это?...

– Ничего не сказал... Вы его, видно, еще не знаете. Не говоря ни слова, он вскочил и, сломав первую бамбуковую трость по дороге, задал ею *пуджникам* такой «европейский бакшиш»^[129] по спинам, что толпа мгновенно разбежалась. А свами, беспощадно колотя по чем ни попало, гнался за ними целую милю, затем плюнул и уехал далее. Он ужасный силач, наш свами, и разговаривать долго не станет, – смеялся бабу.

– Но ведь таким образом вместо того, чтоб обратить их на путь истины, он только разгоняет толпу? – заметил полковник.

– Вот и выходит, что вы наш народ знаете так же мало, как и вашего союзника свами... Не успел он прибыть в Патни (местечко в 35 или 40 милях от Дехра-Дена), как толпа человек в 500 привалила депутацией от города, кланяясь ему в ноги и умоляя вернуться. Между главными просителями были те, у кого вся спина оказалась в синяках. Они привезли свами назад с самыми торжественными церемониями, на слоне, усыпая всю дорогу цветами... Он тотчас же устроил *самаджу* (общество), и в этой «Ария-Самадже» Дехра-Дена теперь двести членов, которые навсегда отказались от идолопоклонства и суеверия.

– А при мне, – рассказывал Мульджи, – он в Бенаресе два года тому назад разбил палкой до ста идолов на базаре и поколотил брамина. Последнего он вытащил из-за просверленной спины огромного идола Шивы, из-за которой тот вел разговор за своего бога, требуя денег на новую одежду для Шивы...

– И не поплатился он за это?

– Брамин потребовал его в суд, но явилось столько заступников за него, что судья был принужден его оправдать, присудив лишь заплатить штраф за разбитых идолов. Одно нехорошо: брамин в ту же ночь умер от холеры, и противники свами громко кричали, что он умер вследствие *джаду* (колдовства) Дайананда Сарасвати.

– А вы, Нараян, знаете что про свамиджи?... Принимаете ли вы его за своего «гуру»? – спросила я.

– У меня один гуру и один бог – на земле, как и на небе, – нехотя ответил Нараян, – и никогда не будет другого...

– Кто же этот гуру и кто ваш бог?... тайна разве?...

– Такур-саиб, конечно!.. – огорошил его бабу. – Оба у него сливаются воедино...

– Ты говоришь глупости, бабу, – холодно заметил Гулаб Синг. – Я не признаю себя достойным быть чьим бы то ни было гуру, тем менее богом. Прошу тебя не кощунствовать. Но вот мы и пришли. Сядем здесь на берегу, – добавил он, указывая на принесенные ковры и явно желая замять разговор.

Мы пришли на небольшую поляну у озера, шагов за двести, триста от бамбукового леса. Теперь звуки волшебного оркестра доносились до нас слабо и урывками. Мы сидели против ветра, и они долетали лишь как полный гармонии шепот, совершенно уже напоминая тихое пение Эоловой арфы и не имея в себе более ничего неприятного или резкого. Напротив, эти звуки придавали еще более поэтический колорит этой сцене.

Мы расселись на разостланных для нас коврах, и от усталости, так как я была на ногах с четырех часов утра, мной сильно овладевал сон. Мужчины продолжали разговаривать о свами и о «пудже», а я крепко задумалась, и мало-помалу, как это всегда случается, разговор стал долетать до меня лишь урывками...

– Проснитесь!.. – расталкивал меня полковник. – Вот такур говорит, что вам не следует засыпать под лунным светом...

Совсем я не засыпала, хотя действительно сон сильно одолевал меня, а просто задумалась.

Но я даже и не отвечала, до такой степени лень овладевает человеком под подобным небом...

– Да ради Бога, проснитесь же! – надоедал мне полковник. – Вы только взгляните на эту луну... на картину вокруг нас. Видали ли вы что-либо великолепнее этой панорамы? Смотрите...

«Вот взошла луна золотая»...

завертелось у меня в голове. Воистину то была «луна золотая». В эту минуту она испускала целые потоки золотистого света, обливала каскадами волнуящееся у наших ног озеро, осыпала на огромное пространство золотую пылью каждую травку, каждую былинку и камешек. Ее желто-серебристый шар быстро скользил вверх по темно-голубому, усеянному мириадами огромных, блестящих звезд небу, сияя над нашими головами. Сколько бы лунных ночей ни пришлось видеть в Индии, каждый раз найдутся новые и неожиданные эффекты... Подобных картин не описывают; их невозможно изобразить ни на полотне, ни словами; их можно только *чувствовать*. Но что за невыразимое величие и красота! В Европе, даже на юге, обыкновенно полная и яркая луна гасит вокруг себя на большое пространство звезды, и наибольшие из них меркнут в ее сиянии. Здесь совершенно напротив: словно громадная жемчужина, осыпанная кругом бриллиантами, катится она по небесному, точно из синего бархата своду. При этом лунном сиянии можно не только читать мелко написанное письмо, но и свободно различать все тени окружающей зелени, что в Европе немыслимо. Взгляните на деревья, на статные пальмы с их раскинутыми веером верхушками во время полной луны! С самой минуты восхода месяца его луч начинает ползти сверкающей серебряной чешуей по обращенной к нему стороне дерева от верхушки все ниже и ниже, пока не зальет всего растения морем света. Безо всяких метафор, вся поверхность листвы кажется всю ночь утопающей под переливающимися дрожащими волнами серебра, в то время как из-под листьев является чернее и мягче черного бархата. Но горе неосторожному новичку, горе заглядевшемуся на луну с непокрытой головой смертному! Опасно не только что уснуть, но даже и слишком долго зазеваться на целомудренную индийскую Диану. Припадки падучей болезни, безумие, часто смерть, – вот наказания, посылаемые ее коварными стрелами современному Актеону, осмелившемуся лицезреть жестокую дочь Латоны в ее полной красе. Оттого здесь ни днем, ни ночью, ни европейцы, ни туземцы не снимают на дворе своих *топи* и *пэгери*. Даже наш бабу, прохлаждавшийся целые дни с непокрытой головой под солнцем, надевал ночью во время луны белую шапочку.

Огни, как нам предсказал такур, зажигались один за другим на материке, и давно уже мелькали вдаль черные силуэты поклонников. Их дикие священные песни и громкие возгласы – *Хари, Хари, Махадева*, ^[130] – доносились до нас с того берега громко и отчетливо. А тростники, под напором ветра, раскачивая свои стройные стволы, отвечали им нежными музыкальными фразами... Становилось жутко на душе, чувствовалось какое-то странное опьянение при этой обстановке, и идолопоклонство в этих погрязших в вековом невежестве, но глубоко поэтических страстных натурах являлось менее отталкивающим, казалось понятнее. Индус – прирожденный мистик, а чарующая природа его страны сделала из него ярого пантеиста.

Где-то далеко в лесу заиграла *альгуджа*, род индийской свирели, с семью отверстиями. При этих звуках миглом взбудоражилось и востепенулось целое обезьянье семейство, спавшее в листве соседнего дерева. Две-три макашки тихо спустились на землю и стали оглядываться, как бы поджидая кого.

– Это у вас что же за Орфей, чарующий и людей? – осведомились мы.

– Факир, вероятно: *альгуджа* обыкновенно призывает священных обезьян к пище. Некогда

жившая на этом острове коммуна факиров теперь переселилась в старую пагоду, неподалеку отсюда в лесу. Там им более поживы от прохожих; оттого они и бросили остров...

– А может от того, что оглохли, – выразила невинное мнение проснувшаяся и подошедшая к нам между тем мисс Б*.

– Кстати об Орфее, – спросил такур, – известно ли вам, что лира этого греческого героя-полубога была далеко не первой, которая обладала способностью очаровывать и людей, и зверей, и даже самые реки? Некий китайский «музыкальный артист» (как их зовут в Англии) Куи, ^[131] живший да тысячу лет до предполагаемой учеными эры Орфея, выражается так: «когда я играю на моем *кинге*, то все дикие звери сбегаются и, очарованные моей мелодией, строятся в ряды предо мной»...

– Это вы где же читали?

– Мог бы вычитать даже в сочинениях ваших западных ориенталистов, так как это сведение находится и там. Но собственно я нашел это в древней санскритской рукописи (перевод с китайского) второго столетия до вашей эры; оригинал же находится в древнем сочинении, известном под именем «Хранитель пяти главных добродетелей» – род хроники или трактата о музыкальном развитии в Китае, написанный по приказанию императора Хоанг-ти за несколько сот лет до вашей эры.

– Да разве китайцы когда что понимали в музыке? – рассмеялся полковник. – Я слышал и в Калифорнии, и в других местах заезжих артистов из Небесной Империи... Их музыкальная какофония способна с ума свести человека на месте...

– То же самое многие из вас, западных музыкантов, говорят и про нашу – как древнеарийскую, так и современную музыку индусов. Но, во-первых, понятие о мелодии – вещь совершенно условная; а во-вторых, есть большая разница между знанием музыкальной техники и применением этого знания к развитию мелодий, доступных всякому, – как образованному, так и необразованному – уху. В техническом отношении музыкальная пьеса может быть превосходна, а сама мелодия являться вполне непонятною и даже неприятною для непривыкшего к ней уха. Ваши самые известные оперы, например, кажутся нам, индусам, каким-то диким хаосом, каскадом неприятно резких, перепутанных звуков, в которых мы ровно ничего не смыслим, а только получаем, слушая их, головную боль. Я бывал не раз и в Лондонской и в Парижской опере, слушал Россини и Мейербера; я желал отдать себе отчет в моих впечатлениях и слушал с величайшим вниманием. Признаюсь, я предпочитаю наши простые туземные мелодии всем произведениям ваших лучших художников в Европе. Первые мне вполне доступны, а вторых я вовсе не понимаю, и они так же мало меня трогают, как и наши национальные напевы вас. Но, оставляя всякие «напевы» в стороне, скажу вам, что не только наши предки, но даже и предки китайцев, конечно, не уступают вам, европейцам, если не в инструментальной технике, то в музыкальной «технологии» и особенно в отвлеченных понятиях о музыке.

– Арийские народы древности, быть может, и не уступают нам, но допустить то же самое в туранской расе китайцев трудно, – спорил наш президент.

– Но музыка природы была везде первой ступенью к музыке искусства. Мы предпочитаем первую, и поэтому держимся ее веками. Наша музыкальная система есть величайшее искусство, если – извините этот кажущийся парадокс – избегать всего искусственного; то есть она отвергает в своих мелодиях все звуки, не входящие в реестр *живых* голосов в природе. Китайцы именно этого-то и не делают. Китайская система, например, содержит в себе восемь главных звуков, служащих как бы камертоном для всех других происходящих от главного звука тонов, которые и классифицированы под именами их родоначальников. Эти восемь звуков суть: *метал*, *камень*, *шелк*, *бамбук*, *тыква*, *глиняная посуда*, *кожа*, *дерево*. Поэтому у них являются металлические, деревянные, глиняные, тыквенные, кожаные, бамбуковые и каменные тоны.

Таким образом и мелодии у них не может быть никакой, а выходит один сумбур: их музыка состоит из перепутанных серий отдельных нот. Их императорский гимн, например, есть ряд одних длинных, бесконечно вытягиваемых звуков в унисон. Но у нас все своеобразно и самобытно; мы, индусы, обязаны нашей музыкой одной живой природе, а не неодушевленным предметам. Мы, в высшем значении этого слова, пантеисты; поэтому и музыка наша, так сказать, пантеистическая. Но вместе с тем она и в высшей степени научная. С самой колыбели человечества арийские народы, вышедшие первыми из младенчества, стали прислушиваться к голосам природы и нашли, что обе, мелодия и гармония, соединяются лишь в одной нашей великой матери. В ней нет ни фальшивых, ни искусственных нот, и вот человек, венец ее создания, пожелал подражать ее звукам. В совокупности все эти звуки (по единодушному показанию ваших же физиков) сливаются в *один тон*, который мы слышим, когда умеем прислушиваться, в неумолкаемом шелесте листвы больших лесов, в журчании вод, в реве океана и бури, и даже в отдаленном гуле больших городов. Этот тон – средний F, основной тон во всей природе. В наших мелодиях он нам служит исходной точкой, которую мы воспроизводим с первой ноты и вокруг которой группируются все прочие. Заметив, что верхние, нижние и средние ноты имеют каждая своего типического представителя в животном царстве; что козел, павлин, бык, попугай, лягушка, тигр, слон и т. д. имеют, каждый из них, свою особенную ноту, наши предки стали прислушиваться и нашли, что всякая из этих нот соответствует одному из *семи главных тонов*. Так была открыта и основана *октава*. На подразделения же и размер их навели сложные звуки тех же животных.

– О вашей древней музыке, – ответил полковник, – и о том, изобрели ли что в музыке ваши предки или нет, я, конечно, ничего не знаю. Но, признаюсь, слушая пение ваших современных индусов, я никак бы не мог заподозрить их в знакомстве с какою бы то ни было музыкой.

– Это потому, что вы еще никогда не слышали настоящего певца. Поезжайте в Пуну и посетите «Гайан-Самадж»,^[132] и только тогда мы возобновим этот разговор. До тех пор напрасно спорить...

– Музыка древних арийцев, – внезапно вмешался бабу за честь своей родины, – растение допотопное и почти исчезнувшее из Индии, но все же достойное полного внимания и изучения. Это вполне доказано теперь моим соотечественником, раджей Сурендронат Тагором,^[133] который, по сознанию лучших музыкальных критиков Англии, твердо установил права древней Индии «считаться матерью музыкальной науки». Каждая школа – итальянская, немецкая и древнеарийская – родилась в свой особенный период, развилась в своем исключительном климате и при совершенно различной обстановке. И как всякая из этих школ имеет свою особенность, а для своих последователей и прелесть, так и наша школа не представляет собою исключения. Только в то время, как вы, европейцы, приучены к мелодиям Запада и хорошо знакомы с вашими школами, наша музыкальная система, как и многое другое в Индии, вам еще совершенно неизвестна. Поэтому, осмеливаюсь заявить, что вы, полковник, и судить о ней не имеете права...

– Не горячись, бабу. Всякий имеет право если не судить, то расспрашивать о незнакомом ему предмете, иначе он никогда и не узнает истины... Если бы, – продолжал такур, – музыка индусов принадлежала (как говорит бабу) к столь же мало отдаленной от нас эпохе, как и европейская, соединяя в себе при том, как последняя, все выработанные в разные эпохи и различными музыкальными системами достоинства, то быть может знатоки и поняли бы и лучше оценили бы ее. Но наша музыка принадлежит к доисторическим временам. За исключением разве древних египтян (которые, если судить по двадцатиструнной арфе, найденной Брюсом в одной из фивских гробниц, были тоже посвящены в музыкальные таинства гармонии), мы, индусы, являемся единственным знакомым с музыкой народом в те еще времена,

когда все другие нации на земном шаре боролись со стихиями за одно право своего существования. Мы обладаем сотнями санскритских рукописей о музыке, никогда еще не переведенных даже и на туземные языки. В глубокую древность этих трактатов (от 4000 до 8000 лет) мы, индусы, несмотря на все отрицательные доводы ваших ориенталистов, вполне верим и будем упорствовать в этой вере, ибо мы их читали и изучали, а европейские ученые их пока и в глаза не видали. Таких трактатов, написанных в разные и самые отдаленные эпохи, у нас много, и все они согласуются в своих показаниях, доказывая нам яснее дня, что *в Индии музыка была уже известна и приведена в систему, когда современные цивилизованные нации жили еще на западе Европы как дикие племена*. Но все это не дает нам однако права требовать, чтобы вам, европейцам, нравилась наша музыка, к которой не приучены ваши уши и духа коей вы неспособны пока еще понять... Мы можем до некоторой степени объяснить вам ее технику, дать вам некоторое понятие о ней как о науке; но создать в вас то, что арийцы называли *ракти*, или способность человеческой души воспринимать и очаровываться совокуплениями различных звуков в природе – альфа и омега нашей музыкальной системы – никто не может, как не могут заставить и нас упиваться мелодиями Беллини.

– Но почему же? – горячился полковник, – и что это за тайная сила такая в вашей музыке, которую способны понять одни вы, азиаты? Если мы с вами разнимся в цвете кожи, то ведь за то наш органический механизм один и тот же. Другими словами, та физиологическая конструкция костей, крови, нерв, жил и мускулов, из которой состоит индус, имеет столько же частей, связанных одна с другою по совершенно такому же плану или модели, как и живой механизм, известный под именем американца, англичанина или всякого другого европейца. Они, являясь на свет из одной и той же мастерской природы, имеют одно начало, как один и тот же конец: физиологически говоря, мы дубликаты друг друга...

– Физиологически – да, и даже психологически, если бы только не вмешивалось между нами воспитание, которое, что ни говори, выворачивает природу человека в ту или другую сторону, изменяя не только умственное, но и душевное направление его: в иных случаях совершенно погашая в нем божественную искру, в других – раздувая и даже превращая ее в неугасимый маяк, служащий путеводною звездой его умственных способностей на всю жизнь.

– Так. Но все же это едва ли может иметь такое сильное влияние на физиологию уха.

– Ошибаетесь опять. Если в физическом или скорее в физиологическом отношении рассматриваемый как человеческая машина индус ничем не разнится от европейца, то вследствие совершенно своеобразного воспитания, в умственном и психическом, особенно в психическом отношении, оба диаметрально отличаются один от другого, представляя как бы два различных вида в природе. Вспомните лишь, насколько цвет лица, сложение, способность к произрождению, жизненность и все наследственные качества чисто физических отправлений изменяются со временем вследствие климатических условий, пищи и обиходной обстановки человека (новейшая научная маска ваших материалистов, если не ошибаюсь, для удобнейшего игнорирования более отвлеченных тайн бытия), и вы получите ответ на ваш вопрос. Примените этот самый закон постепенного перерождения уже не к физическому, а чисто психическому элементу в человеке, и вы узрите те же результаты. Изменяя воспитание души, вы изменяете ее способности. Там, где она прежде наслаждалась, усматривая нечто вполне недоступное иначе воспитанной душе, она уже не чувствует ничего кроме скуки и пред нею является один хаос... Вы, например, верите, – и верите лишь на основании доказанного вековым опытом, – что гимнастика, укрепляя мускулы, не только развивает тело человеческое, но и способна как бы переродить его; мы же, индусы, идем одною ступенью выше: мы верим, вследствие тысячелетних опытов и объективных демонстраций, что существует гимнастика и для души, как для тела. Это наша тайна, тайна униженных, поработанных одной животной силой индусов, и

проникнуть в эту тайну мы не дозволим никому, кроме горсти избранных, но она может быть доказана вам в свое время... Что постепенно одаряет глаз моряка зрением орла, акробата ловкостью и силой обезьяны, бойца – железными мускулами? Упражнение и один навык, скажете вы. Так почему же не предположить такую же способность и в душе человека, как в его теле? Разве только потому, что современная наука или совсем отвергает душу, не допускает и не признает в ней отдельной от тела личности?...

– Полно, такур. Вы-то уж должны бы знать, что я верю как в душу, так и в ее бессмертие...

– Мы верим в бессмертие духа, а не души... Впрочем это нейдет к делу. Итак, вы должны согласиться, что упражнением всякая дремлющая в душе человеческой способность может быть доведена до высшей точки своей силы и деятельности, равно как вследствие неупотребления и отвычки каждая такая способность может и заглохнуть, и даже окончательно исчезнуть. Природа так ревнива к своим дарам, что в нашей власти систематически развивать или убивать в наших потомках – и даже в продолжение весьма немногих поколений – какой угодно физический или умственный дар, просто вследствие одного упражнения или полного пренебрежения...

– Но ведь этим вы все-таки не объясняете мне тайной прелести ваших национальных мелодий...

– К чему входить в подробности, когда вы сами должны видеть, что мое объяснение есть общий ключ к разрешению не только вашего вопроса, но и мириады других задач? Ухо индуса приучено веками схватывать один род комбинаций слуховых волн или атмосферических вибраций, а ухо европейца привыкло к другому роду; поэтому где душа первого наслаждается, там душа последнего не чувствует ничего, а уши страдают. Я мог бы на этом и остановиться, так как объяснение, кажется, столь же просто, как оно и понятно; но желаю пробудить в вас нечто более чувства удовлетворенного любопытства. То, что я вам сказал, разъясняет тайну лишь с ее физиологической стороны. Оно является столь же понятным, как и факт, что мы, индусы, безнаказанно едим, например каждый день целыми горстями пряности, от одной крошки коих у вас могло бы сделаться чуть не воспаление в кишках. Наши слуховые нервы, в начале времен тождественные в своих способностях с вашими, переродились вследствие векового упражнения и сделались столь же отличными от ваших, как и цвет нашей кожи и наши желудки. Прибавьте к этому, что глаз наших кашмирских ткачей, мужчин и женщин, отличается способностью различать ровно 300 тенями более, нежели глаз европейца, – это по показанию ваших ученейших физиков и лионских фабрикантов, – и всякий поймет, как легко разъяснение кажущейся проблемы. Навык, закон наследия, все, что угодно... Но вы, прибыв из Америки изучать индусов и их религию, никогда не поймете последней, если прежде не научитесь знать, как тесно, как почти неразрывно связаны все наши науки не с современным, конечно, ортодоксальным, невежественным брахманизмом, а с философией нашей первобытной религии Вед.

– Но что же, например, музыка имеет общего с Ведами?...

– Многое – почти все. Как то было у древних египтян и китайцев, так и у нас: все звуки в природе, а поэтому и музыка находились в прямой связи с астрономией и математикой, то есть с планетами, знаками зодиака, с солнечным и лунным течением и с числами; а особенно с тем, в самом существовании чего ваши ученые еще не совсем уверены, с *акашей*, или эфиром пространства. Учение о «музыке сфер» родилось здесь, а не в Греции, или Италии, куда его ввез Пифагор лишь по окончании своих занятий с гимнософистами Индии. И, конечно, лучше кого бы то ни было, и до, и после него, знал этот великий философ, – единственный из западных мудрецов, открывший до Коперника и Галилея гелиоцентрическую систему мира, – насколько малейший звук в природе зависит от *акаши* и ее соотношений. Одна из четырех Вед, «Самаведа», вся состоит из пения. Это – собрание гимнов и *мантр*, петых во время

жертвоприношений «богам», то есть стихийным силам. Понятно, что при знакомстве с естествознанием (а наши древние жрецы если и не были знакомы с естественными науками по новейшим методам химии и физики, зато знали много такого, до чего современные ученые еще не добрались), жрецы подчас и заставляли стихийных «богов» или слепые силы природы отвечать их молитвам различными знаменами. В этих *мантрах* каждый звук, малейший переход рассчитан и имеет свое значение; а, имея причинность, должен иметь, конечно, и свое действие. «Учение о звуке, говорит профессор Лесли, есть бесспорно самое неуловимое, тонкое и сложное из всей серии физических наук». А если кто когда уловил в полном совершенстве это учение, то, конечно, это древние «риши», наши философы и святые, оставившие нам в наследство Веды...

– Я теперь начинаю лучше понимать, откуда взялось начало всех мифологических сказок греческой древности, – задумчиво проговорил полковник. – Басни о свирели бога Пана и его «сиринксе», семитростниковой дудке, о фавнах, сатирах и даже о лире самого Орфея... Я знаю, что древние греки имели мало понятия о гармонии, и, конечно, не их ритмические декламации в драмах (вероятно, никогда не доходившие даже до высоты современного, самого простого речитатива), поддерживаемые слабою лирой да свирелью Пана, могли когда-либо внушить им мысль о всечарующей лире Орфея. Я сильно начинаю склоняться к мнению многих из наших известных филологов и ученых. Подозреваю, что Орфей, самое имя коего *орфос* или *орфвонс*, то есть темнокожий, свидетельствует, что даже между смуглыми греками он считался еще смуглее их самих, – выходец из Индии. Таково было мнение Ламприера и нескольких других...

– Ваше подозрение, быть может перейдет и в действительность когда-нибудь. Нет никакого сомнения, что самый высокий и чистый из музыкальных стилей древности принадлежит Индии. У нас все наши легенды приписывают магическое влияние музыке, как дару и науке, прямо ниспосланным на землю богами. И хотя мы вообще приписываем все искусства небесному откровению, но музыка стоит во главе всех прочих. Изобретение вины, инструмента вроде вашей гитары, принадлежит Нараде, сыну Брахмы. Вы будете очень смеяться, если я вам скажу, например, что наши древние *ундгатри* (певчие жрецы), обязанностью коих было служить при *ядаи* (жертвоприношении), знали кое-что из неведомых тайн естества в таком совершенстве, что посредством известных им комбинаций производили, безо всякого фокуса, заметьте, явления, которые во времена невежества принимались за проявление сверхъестественной силы. Явления, производимые «ундгатри» и «раджа-йогами», для посвященных *вполне естественны*, сколько бы ни казались чудесными непосвященным.

– Но разве вы... совсем, так-таки совсем не верите в наших духов? – приставала к нему мисс Б***. Она сильно побаивалась такура.

– Если позволите, совсем не верю.

– А... в медиумов?...

– Еще менее, уважаемая леди. Но в медиумизм, для которого у нас существует испокон века другое название – *бхута-дак*, в буквальном переводе «постоялый двор для чертей», ^[134] верю, как и во всякую другую психическую болезнь. О настоящих медиумах сожалею, стараюсь им помочь, когда могу; а шарлатанов глубоко презираю, редко пропуская случай изобличать таких...

Предо мною промелькнула сцена в притоне ведьмы у «Мертвого города», катящийся с горы пойманный брамин-оракул и бегство старухи. Теперь для меня стало ясно то, чего я прежде не понимала: Нараян действовал по приказанию такура...

– Наши *анга-тиене*, – продолжал последний, – или «одержимые» эту неведомую для непосвященного «силой», в которой спириты видят духов, суеверные видят черта, скептики – фокус и обман, а настоящие ученые – не открытую еще наукой силу природы, всегда почти

слабые женщины или дети. Вы стараетесь еще более развивать в таких их страшную душевную болезнь, мы же ищем спасти их от этой «силы», о которой вы ничего не знаете и о которой поэтому не стоит теперь рассуждать... Мы, сыны Индии, десять веков находимся в неволе у разных и часто не стоящих нас народов... Но покорившие нас нации покорили только наши тела, не нас самих.^[135] С нашими душами им никогда не справиться! *Майяви-рупа*^[136] настоящего ария – свободна как сам Брахма; скажу более: для нас, в нашей религии и философии, он – наш дух – и есть сам Брахма, выше которого стоит один неведомый, вездесущий и всемогущий дух Парабрахма. Нашей *майявирупы* не покорить ни англичанам, ни даже вашим «духам». Ей никогда не быть рабой... А теперь пойдете спать.

Оставив Мальву и «независимую» территорию Холькара в стороне, мы вскоре опять очутились в чисто британских владениях, на железной дороге к Джабалпуру и Аллахабаду. В первом городе мы останавливались – всего на несколько часов взглянуть на знаменитые «мраморные скалы». Не желая потерять целый день, мы отправились на лодке, выехав в два часа ночи, избегнув таким образом жары и совершив великолепную прогулку на реке за десять миль от города.

Джабалпур (на территории Саугора и Нербудды, в 222 милях от Аллахабада), город, находившийся когда-то на махратской, а теперь на британской земле.

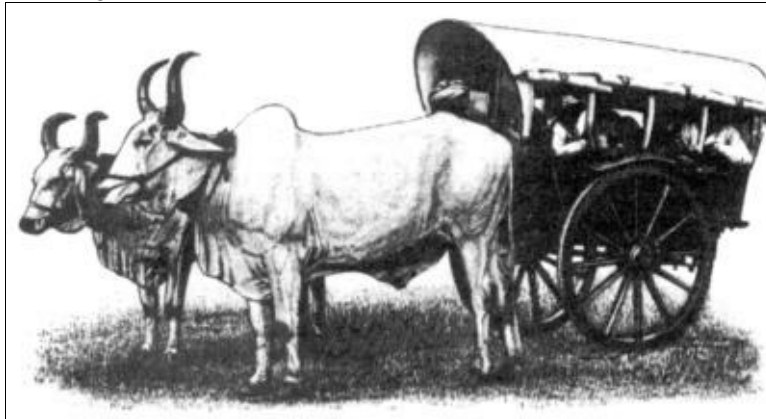
Окрестности Джабалпура прелестны и представляют величайший интерес для любителей естествознания. Пред геологом и минералогом здесь является обильнейшее поле для ученых изысканий в необыкновенном разнообразии формаций гор, доставляющих всевозможные роды гранита, а длинный ряд скалистых гор способен удовлетворить сотню Кювье, задав им работы на целую жизнь. Известняковые пещеры Джабалпура – настоящий костник допотопной Индии: они переполнены остовами чудовищных, ныне вымерших зверей.

Но далеко в стороне от прочих хребтов и совершенно особняком стоят «мраморные скалы» – игра природы, каких в Индии немало. На довольно плоском, поросшем густым кустарником берегу Нербудды, ни с того ни с сего, как бородавка на гладкой щеке матери-природы, вдруг вырастает странной формы длинный ряд белоснежных скал. Но какие это скалы!.. Белые и чистые, словно отшлифованные в капризную форму свою рукой человеческой, они прихотливо громоздятся одна на другой, скорее походя на колоссальный пресс-папье с этажерки Титана, нежели на скалы. Уже с полдороги, при извилистых поворотах реки, они стали минутами являться нам, то выглядывая, то снова скрываясь, дрожа в предрассветном тумане, как далекий обманчивый мираж на небосклоне пустыни, пока наконец совсем не скрылись. Но вот пред самым восходом солнца они снова и совершенно неожиданно явились нашим очарованным глазам, явились вдвойне, на берегу и в реке. Подобно заколдованному замку, вызванному по мановению волшебного жезла кудесника, они вдруг выросли словно из-под земли на зеленом берегу Нербудды, отражаясь, как в зеркале, во всей своей девственной красе на спокойной поверхности ленивых, сонных вод рукава реки, вея на нас и тенью, и прохладой... А как дорого каждое мгновение предрассветной прохлады в Индии – знают лишь те, кто побывал, да пожил в этой огненной стране.

Увы! как ни рано отправились мы в путь, но по приезде к скалам нам недолго пришлось наслаждаться их прохладой. Едва успели мы причалить к волшебному берегу, предполагая среди этой поэтической обстановки прозаически напиток чаю, как взошло солнце и разом стало словно стрелять своими огненными лучами и по лодке, и по нашим злополучным головам; преследуя нас из угла в угол, оно наконец выгнало нас даже из-под нависшей над водой скалы. Из снежно-белых мраморные красавицы превратились в золотисто-пурпуровых, осыпая реку огненными брызгами, раскаляя прибрежный песок и ослепляя нам глаза... Недаром предание указывает, а народ видит в них не то жилище, не то превращение самой *Кали*, самой жестокой из богинь индийского пантеона. В течение уже многих юг злобная супруга Шивы ведет ожесточенную войну со своим благоверным, который под видом «Трикутишвары» (трехголового Линги) предьявляет незаконные права на скалы и реку, патронессой коих состоит его богиня Кали.

Потому-то, вероятно, каждый раз, как дерзновенная рука ни в чем неповинных работающих в правительственных каменоломнях кули (индийцев) отсечет кусок белого бедра богини, тотчас

раздаются откуда-то словно подземные крики. И вот злополучный каменщик дрожит и колеблется между боязнью надсмотрщика и ожиданием мести кровожадного божества. Кали – патронесса не только скал, но и экс-*тагов* – удавителей, которые еще недавно наводили ужас на всех одиноких путников. Много бескровных жертв принесли эти *таги* на мраморном алтаре Кали; страна изобилует леденящими кровь рассказами об их страшных подвигах, совершенных будто бы в честь богини. Эти рассказы, еще слишком свежие в памяти людской, чтобы перейти в разукрашенные легенды, совершенно правдивы, тем более, что они вполне подтверждаются официальными документами судебных и следственных комиссий.



Экипаж путешественников

Если Англия когда-нибудь оставит этот край (а она сделает это не прежде, чем кость будет совершенно обглодана), то между немногими оказанными ею стране услугами на первом плане должно будет поставить полное искоренение *тагизма*. Под этим названием, как все еще, вероятно, помнят, практиковался в продолжение более 200 лет самый хитрый и ужасный род человекоубийства в Индии. Как дознались, наконец, в сороковых годах, то было разбойничество ради грабежа. Извращенные понятия о значении Кали являлись лишь ловким предлогом: в этом случае богиня служила злодеям одной ширмой. Иначе каким же образом объяснить присутствие стольких мусульман в среде ее поклонников-индусов? Большинство между «рыцарями *румалья*» или священного платка, коим удавливали жертвы, явились в день расправы магометане; самыми знаменитыми между их вождями были не индийцы, а сыны пророка, как, например, Ахмед, так что в числе последних тридцати семи переловленных полицией *тагов* находились *двадцать два* мусульманина. Понятно, что религия последних, не имея ничего общего с богами Индии, не играла в этом случае никакой роли: побудительной причиной был попросту грабеж. Правда, окончательный обряд посвящения в тагизм ^[137] был совершаем в лесах пред ужасным, покрытым четками из человеческих черепов идолом Бавани. ^[138] До того времени таг проходил курс учения, состоявший в преподавании особенно трудного приема набрасывать на шею не ведающей своей судьбы и заранее отмеченной жертвы румаль и душить человека так, чтоб он умер мгновенно, не испустив и малейшего стона. В этом обряде посвящения роль, которую приписывали богине, обозначалась известными символами, вроде тех, которые во всеобщем употреблении у франкмасонов: как, например, обнаженный кинжал, череп и даже воскрешаемый «гроссмейстером» ложи труп убитого Хирама Абифа, «сына вдовы». Кали служила не более, как сценической обстановкой для других целей. *Тагизм* был тем же франкмасонством, с особенными знаками взаимного распознавания, паролем и своим непонятным непосвященному жаргоном – только с преступною целью; между тем франкмасонство в наш век есть совершенно безвредное (кроме разве для карманов самих масонов) времяпрепровождение. Как масонские

«ложи» принимают безразлично атеистов и христиан, так и таги принимали воров и разбойников всех наций, и даже говорят, будто между ними бывали англичане и португальцы.

Бедный поэтический Шива, несчастная Бавани! Какую гнусную роль изобрело для них народное невежество, олицетворив эти глубоко философские, полные поэзии и познания природы, типы! Шива, в своем первобытном значении – в одно и то же время всеокрушающая и всевозмещающая сила природы. Триада индусов – аллегорическое представление главных стихий: огня, земли и воды. Все трое: Брахма, Вишну и Шива, в своих различных фазисах, попеременно изображают эти стихии; но Шива бог огня гораздо более, чем Вишну: он сожигает и вместе с тем очищает, возрождая, как феникс из пепла, новые, полные свежей жизни формы. Шива-Сункарен разрушитель и Шива-Ракшака – возродитель. Он представляется с пламенем на левой ладони и с жезлом умерщвления и вместе воскрешения (*Сулайютхам*) в правой руке.

Мы посетили одного древнего старика, бывшего тага. Отбыв свой срок на Андаманской каторге, он вследствие искренних сознаний и каких-то услуг правительству был прощен. Вернувшись в родную деревню, он теперь безмятежно кончает дни, занимаясь веревочным мастерством, – профессия, выбранная им, вероятно, в силу приятных воспоминаний об удалстве юности. Он посвятил нас в искусство «тагизма», сперва в теории, а затем любезно предложил, если мы купим ему барана, показать нам свою ловкость и на практике. Он желал доказать нам, говорил он, как легко, менее чем в три секунды, отправить на тот свет живое существо: вся тайна искусства заключается в ловкой и быстрой игре суставами пальцев правой руки. Чуть, бывало, раздастся условный и роковой крик совы (птица, посвященная Бавани-Кали), будь там хоть двадцать ловко заманенных в западню путников – за каждым из них стоял уже таг. Одна секунда, и румаль уже на шее жертвы, а привычные железные пальцы тага крепко держат оба конца «священного платка»; еще мгновение – суставы пальцев, сдавливая шейную кость, совершали известный артистический поворот – и жертва падала бездыханной! Ни стопа, ни крика... Таги поражали с быстротой молнии. Задушенного тотчас же уносили в заранее приготовленную в лесу, часто под руслом ручьев или временно высыхающих рек, глубокую яму и зарывали ее. След так и простывал. А тридцать лет тому назад, когда еще не было ни настоящих железных дорог, ни системы управления нынешней, кто знал или беспокоился об исчезновении отправившегося в путь мусульманина, либо индуса, кроме разве самых близких к нему людей? К тому же, страна наполнена тиграми, как видно, предназначенными судьбой отвечать за свои и за чужие грехи. Кто бы ни исчез, бывало, все один ответ: «тигры съели!..»

То была удивительно искусно организованная система! Ловкие сообщники, брамины, рыскали по всей Индии, заезжая преимущественно в большие города, расспрашивая и разузнавая на базарах – этих общественных клубах азиатских народов – когда и куда кто отправляется в путь; стращали путников тагами и советовали ехать с такой или другой партией – переодетых тагов, конечно. Успев заманить несчастных, они предупреждали разбойников и получали за эту комиссию смотря по заработку. Долго эти неуловимые, невидимые шайки, рассеянные по всей стране и работающие партиями от 10 до 60 человек, гуляли на воле, но, наконец, попались. Следствие открыло ужасные, отвратительные тайны: к этим шайкам принадлежали богатые банкиры, брамины-жрецы, мелкопоместные раджи и даже несколько английских на государственной службе чиновников. За эту услугу Ост-Индская кампания воистину заслуживает народной благодарности в Индии.

Барана мы старому разбойнику не купили, а денег ему дали. Из благодарности он предложил было полковнику показать, на собственной его американской шее, все прелиминарные ощущения румалья, обещая, конечно, избавить его от последней, знаменитой «подвертки». Но наш президент великодушно отказался...

На обратном пути мы остановились возле «Муддун-Махала» – другого беспричинного

курьеза: это дом, построенный неизвестно кем и для чего, на огромном округленном валуне. Этот камень (должно быть сродни *кромлехам* кельтских друидов) при малейшем к нему прикосновении *качается во все стороны*, вместе с домом и теми, кто в него любопытствует залезть. Мы, конечно, любопытствовали, и только благодаря бдительности ходивших за нами, как нежные няньки, Нараяна, бабу да такура сохранили в целости наши носы...

Удивительный народ эти туземцы! Не думаю, чтобы нашлась в природе такая штука, на которой бы они не могли усидеть с величайшим комфортом, только предварительно и слегка побалансировав. Вспрыгнет индус на колышек, на железную перекладину немногим толще телеграфной проволоки, подогнет под нее все десять пальцев цепких и длинных, как у обезьян, ног, присядет на корточки, да и сидит себе по целым часам...

– Салам, сааб! – говорю я раз сидевшему наподобие вороны на какой-то жердочке, у взморья, почтенному нагому старичку. – Чтò, покойно тебе сидеть, дяденька?... И не боишься свалиться?...

– Затем валиться?... – серьезно отвечал «дяденька», сплюнув в сторону кровавый фонтан разжеванного бетеля. – Ведь я не дышу, мэм сааб...

– Как не дышишь? Да разве может человек не дышать? – вопрошала я, немного ошеломленная таким сведением.

– Нет... не дышу теперь. А вот минут через пять, как стану снова набирать воздух в легкие, так тогда и попридержусь рукой за столб... А затем я снова стану сидеть спокойно и не дыша...

На этом необычайном физиологическом заявлении мы с ним тогда и расстались. Ничего не добились мы более от почтенного старины, а только ушли с внутренним убеждением, что он мог бы зарабатывать большие деньги на любом театре Европы, как акробат. Но этот случай разом перепутал все наши «научные» соображения.

Мы недавно слышали, что йоги и другие практиканты *гупта-видьи* (тайной священной науки) в Индии славятся тем, что открыли секрет не дышать от 21 до 43 минут сряду и – все-таки не умирать! Некоторые из них, годами ежедневной, постоянной практики, приобретают, так сказать, свойство *гибернации*: впадают, как некоторые животные, в спячку и, оставаясь в таком положении без дыхания и даже малейших признаков жизни, позволяют зарывать себя в землю на несколько недель, даже месяцев, а затем – оживают!.. Мы, наконец, сами увидели подобную штуку; но в дни курьезного ответа, полученного мною от старика, мы были знакомы с этим явлением только по книгам и рассказам очевидцев-путешественников, да некоторых из наших туземных знакомых. Правда, по показанию одного английского хирурга Котопа (*Coathope*), долго не верившего этой способности прекращать на время дыхание, но наконец сдавшегося, как он выражается, «пред фактом», один такой, лично ему известный, йог мог оставаться без дыхания от семи до двенадцати минут. А ведь физиология положительно учит, что даже у здоровых арабских и сингалезских водолазов удушье наступает не позднее как через полторы, много две минуты полного пребывания тела под водой. Затем, хотя некоторые из нас верили в существование природных, но затаенных в человеке сил, вызываемых только вследствие особенного «режима», о которых наука, имевшая доселе чрезвычайно поверхностное знакомство с йогами и индийскими «заклинателями», знать еще не могла, другие, как мисс Б***, верили в спиритизм, а третьи, как У***, не верили ни во чтò, – но все мы, как верующие, так и неверующие протестовали против такого странного заявления. Неужели же нам верить в подобные глупости? рассуждали мы. До сих пор мы наивно воображали, что только один осетр с К° догадался, с целью удобнейшего выплывания на поверхность воды, делаться относительно легче, наглатываясь сколько возможно более воздуха и наполняя им не только брюхо, но вздуваясь и плавательный пузырь. Осетру это возможно, но человеку!.. Да если, положим, и для человека существует в исключительных случаях такая возможность делать воздушные запасы, то

все же это редко и трудно приобретаемый дар: употреблять же его для сидения на жердях поптичьи – просто ни с чем несообразная глупость!.. Мы решили, что старец прихвастнул, чтобы посмеяться над «белыми саабами». Но необходимый процесс для такого оригинального сидения, как мы узнали позднее, он описал верно.

В те дни, однако, мы даже немного обижались подобными объяснениями, принимая их за насмешку. Но вот опять, и на этот раз в Джабалпуре, нам пришлось увидеть явление еще «почище». Проходя по берегу реки, вдоль так называемой «факирской аллеи», такур нам предложил завернуть во двор пагоды. Это место священо, и европейцев туда не пускают; как и мусульман. Но Гулаб Синг поговорил с главным брамином, и мы вошли. Двор был полон поклонников и аскетов, и между прочими мы заметили трех совершенно голых и весьма древних факиров. Черные, сморщенные, худые, как скелеты, с седыми, как лунь, шиньонами на головах, они сидели или, скорее, стояли в самых, как нам показалось, *невозможных* позах. Один из них, опираясь буквально одною правою ладонью в землю, стоял, перпендикулярно вытянувшись, головой вниз и ногами вверх: тело его было так же неподвижно, как если бы вместо живого человека он был сухим древесным сучком. Голова не касалась земли, но, приподымаясь немного вверх в самом ненормальном положении, закатывая глаза, таращила их прямо на солнце. Не знаю, правду ли или нет говорили словоохотливые, подошедшие к нашей компании городские обыватели, уверявшие, будто этот аскет проводит в подобной позе все дни жизни своей от полудня до солнечного заката. Но знаю одно: мы провели с факирами ровно *час и двадцать минут*, и во все это время факир не пошевелил ни одним мускулом!..

Другой стоял на одной ноге на круглом, вершка в три в диаметре, камешке, называемом ими «священным камнем Шивы», поджав другую ногу под животом и выгнув все тело назад дугой; он также таращил глаза на полуденное солнце. Обе руки были сложены ладонями вместе и воздевались как бы в молитве... Он казался приклеенным к своему камешку. Почти невозможно было вообразить себе, каким способом человек мог дойти до такой эквилибристики...

Наконец, третий сидел поджав под себя ноги; но как он мог сидеть – было столь же непонятно. Седалищем ему служил каменный *лингам*, вышиной с уличную тумбу, но толщиной не более окружности камешка Шивы, то есть вершка в три, много четыре в диаметре. Руки сидевшего были переплетены пальцами за шей, а ногти глубоко вросли в верхние части рук.

– Этот никогда не изменяет позы, – говорили нам. – Он сидит в этом положении уже лет семь...

– Но как же он ест? – спрашивали мы в недоумении. Ему приносили есть – или, скорее, пить – молока, раз в 48 часов, из пагоды, вливая ему в горло посредством бамбука. Его ученики (всякий такой аскет имеет своих добровольных слуг, кандидатов на святость) снимают его в полночь и полощут в танке; а обмыв, ставят назад на тумбу, как неодушевленную вещь, ибо он более не разгибается.

– Ну, а эти? – спрашивали мы, указывая на двух других. – Ведь они должны постоянно падать? Малейший толчок должен опрокинуть их?...

– Попробуйте... – посоветовал нам такур; – пока человек находится в состоянии *самадхи* (религиозный транс), его можно разбить, разломать на куски, как глиняного идола, но сдвинуть с места его нельзя...

Дотрагиваться до аскета во время транса считается индусами за святотатство; но, видно, такур был хорошо знаком с исключениями «не в пример прочим». Он опять вступил в переговоры с нахмуренным, сопровождавшим нас брамином и, окончив быстрое совещание, объявил, что из нас никому не дозволяется трогать факира, но что он получил позволение, и покажет нам то, что еще более удивит нас. С этими словами, приблизясь к факиру на камешек и осторожно взяв его за костлявые бедра обеими руками, он приподнял его и поставил на землю

немного в стороне. В теле аскета не пошевелился ни один сустав, словно вместо живого человека то была бронзовая или каменная статуя. Затем он поднял камешек и показал нам его, прося однако же не дотрагиваться – дабы не оскорбить присутствующих. Камень был, как уже сказано, круглый, плосковатый и довольно неровный. Лежа на земле, он раскачивался при одном прикосновении пальца...

– Вы видите, насколько не солиден этот избранный факиром пьедестал? И, однако же, под тяжестью аскета камень остается неподвижным, как бы вращаясь в землю.

И, взяв снова факира на руки, он переставил его на прежнее место. Тот, несмотря на закон тяготения, которое по всей очевидности должно было увлечь его далеко перегибающееся назад дугой туловище и голову, как будто мгновенно и вместе с камнем прирос к земле, не изменив положения ни на одну линию. Как это они умудряются достигать такого искусства, про то знают лишь они одни. Я заявляю факт, а объяснять ничего не берусь.

У ворот пагоды мы снова надели нашу обувь, которую нам велели снять у входа, и вышли из этого *святилища* вековых тайн, смущенные более, чем до входа, в него.

Индия страна неожиданностей; даже для обыкновенного наблюдателя все в ней с точки зрения европейца происходит шиворот на выворот: от мотанья головой, которое всюду понимается как жест *отрицания*, а здесь означает полное *утверждение*, до обязанности хозяина выпроваживать самого приятного гостя, который иначе просидит целую неделю на своем месте и, пожалуй, даже умрет с голоду, но не уйдет без приглашения, – все здесь противоречит нашим западным идеям. Спрашивать, например, о здоровье жены, даже если она и знакома с вами, или сколько у человека детей, и есть ли у него сестры, – верх оскорбления. Здесь, когда вы находите, что гостю время уходить, вы кропите его розовою водой и, повесив ему на шею гирлянду цветов, любезно указываете на дверь, приговаривая: «Теперь я прощаюсь с вами... Заходите опять!» Станный, оригинальный народ вообще; но еще страннее и непонятнее их религия... За исключением некоторых отвратительных обрядов известных сект, да злоупотреблений со стороны браминов, религия индусов, должно быть, имеет в себе нечто глубоко и непонятно привлекательное, если она способна совращать с пути истины даже англичан. Вот что, например, случилось здесь несколько лет тому назад.

Появилась одна интересная и чрезвычайно ученая, хотя по содержанию своему переворачивающая вверх дном всю современную науку, брошюра. Она была написана по-английски и напечатана в небольшом издании полковым доктором медицины и хирургии Н. С. Полем в Бенаресе. Слава Поля, как ученого специалиста по физиологии, была велика между его соотечественниками англичанами: он одно время считался авторитетом в медицинском мире. Брошюра трактовала о виденных доктором между аскетами примерах «спячки», продолжавшейся в одном случае восемь месяцев, о *самадхи* и других явлениях, производимых *йогами*. Появившись под заглавием «Трактат о философии *йога-видьи*», эта брошюра разом взбудоражила представителей европейской медицины в Индии и возбудила яростную полемику между англо-индийскими и туземными журналистами. Д-р Поль провел 35 лет в изучении невероятных, но для него совершенно несомненных фактов «йогизма». До *раджа-йогов* он никогда не мог добраться, и с большим прямотушием и видимым сожалением сознается в этом; но он вошел в дружбу с факирами и *светскими* йогами, то есть теми, которые не скрывают своего сана и иной раз соглашаются сделать и европейца свидетелем некоторых феноменов. Д-р Поль не только описал самые странные совершавшиеся на его глазах факты, но даже и объяснил и х. *Левитация*, например, нечто идущее совершенно в разрез с признанными законами тяготения и против чего так восставал астроном Бабине, объясняется им научно. Но главное, что помогло ему проникнуть в некоторые, считавшиеся доселе непроницаемыми, тайны, это его горячая дружба с капитаном Сеймуром. Последний, лет 25 тому назад, произвел в Индии,

особенно в армии, беспримерный скандал: капитан Сеймур, богатый и образованный человек, принял брахманскую веру и пошел в *йоги*! Его, конечно, объявили сумасшедшим и, поймав, насильно отправили в Англию. Сеймур бежал из Англии и снова явился в Индии, в одежде *саньяси*. Его схватили во второй раз, посадили на пароход, привезли в Лондон и заперли в доме умалишенных. Через три дня, несмотря на запоры и часовых, он исчез из заведения. Его потом снова встретили знакомые в Бенаресе, а губернатор получил от него письмо из Гималайских гор. В письме он объявлял, что никогда не был сумасшедшим, невзирая на то, что был посажен в больницу; он советовал генералу не мешаться более в его частные дела и говорил, что никогда уже не вернется в цивилизованное общество. «Я *йог* (писал он) и надеюсь умереть не ранее, как достигнув цели моей жизни: сделаться *раджа-йогом*». Генерал не понял, но махнул рукой. С тех пор никто из европейцев уже не видал его, никто, кроме д-ра Поля, который, говорят, переписывался с ним до самой своей смерти и даже два раза ездил в Гималаи – *ботанизировать*. Главный инспектор медицинского департамента, взирав на сочинение Поля как «на прямую пощечину науке в лице физиологии и патологии», приказал скупить по дорогой цене от частных лиц все вышедшие экземпляры и принести их в жертву этой науке, предав публичному сожжению. Брошюра вследствие этого стала редкостью. Из нескольких спасенных книг одна находится в библиотеке махараджи Бенаресского, а один экземпляр такур подарил мне.

Поезд в Аллахабад отправлялся в 8 часов вечера, и нам приходилось провести всю ночь и до 6 часов утра в дороге. Хотя у нас был свой десятиместный вагон I класса, в котором не было места для посторонних лиц, однако, по разным причинам, я была уверена, что не усну во всю ночь. Поэтому, заранее запасшись свечами для ручного фонаря, я приготавливалась преступить железнодорожный закон и читать всю ночь интересовавшую меня брошюру д-ра Поля. Часа за полтора до отъезда мы отправились все гуртом отобедать за общим столом в *Refreshment Rooms*, то есть в буфет дебаркадера. Наше появление произвело видимое впечатление: мы занимали с четырьмя индусами весь край стола, за которым находилось человек пятьдесят первоклассных пассажиров, таращивших на нас удивленные, полные нескрываемого презрения, глаза. Европейцы, братающиеся с индусами!.. Индусы, обедающие с европейцами!.. Сдержанный шепот стал переходить в громкие восклицания, и одна важная леди даже не вытерпела: встала из-за стола и ушла. Если бы не внушительное присутствие, несомненно, родного типа: англичан У*** да мисс Б***, и полковника, которого все принимали за английского офицера, наверно случился бы скандал. К такуру подошли два англичанина и, пожав ему руку – тоже редкостное происшествие – отвели его в сторону как будто для дела, но в сущности для удовлетворения любопытства: они оказались его старыми знакомыми. На других индусов никто не обратил ни малейшего внимания. Здесь мы узнали в первый раз, что за нами следит полиция. Такур, указав на розового, с длинными белокурыми усами капитана в белом кителе, быстро шепнул мне: «остерегайтесь»... То был агент тайной полиции из политического департамента, посланный вслед за нами из Бомбея. Услыхав это приятное для нас известие, полковник расхохотался на всю залу, что еще более взволновало кушавших альбионцев. Мы узнали позднее, что все слуги отеля *обязаны* шпионить. Но в Индии обычай – водить за собой всюду собственных слуг, даже на званые обеды: поэтому и за нашими стульями торчало по одному индусу, а за такуром находились его четыре щитоносца и двое слуг. Неприятель был таким образом совершенно отрезан этой армией голоногих защитников, и отельным шпионам оставалось мало шансов подслушать наши разговоры; да нам к тому же и нечего было скрывать. Но, признаюсь, на меня это известие подействовало очень скверно. Наконец, этот неприятный обед кончился. Устроившись на ночь в вагоне, я принялась за свою брошюру...

Между прочими интересными вещами, д-р Поль обстоятельно и весьма научно объясняет

тайну периодически прекращаемого *йогами* дыхания и некоторых других, по-видимому, совершенно невозможных феноменов, которые он наблюдал неоднократно собственными глазами. Его теория «дыхания» вкратце следующая:

Йоги открыли тайну и приобрели способность хамелеона присваивать себе поочередно все видимые или кажущиеся условия полноты и худобы. Это животное, как известно, наполнив легкие воздухом, то является весьма толстым, то вдруг, освободясь от наполняющего его воздуха, чрезвычайно тщедушным. Многие из пресмыкающихся получают этим же способом надувания тела возможность, по мере являющейся надобности, переплывать большие реки, а посредством остающегося, по окислению крови, излишка воздуха, приобретают чрезмерную живость вообще как на суше, так и на воде. Способность запасаться большим количеством воздуха, нежели то необходимо, есть характеристическая черта всех животных, подвергающихся *гибернации* или *спячке*. Древние индусы-философы, подметив эту способность, воспользовались ею и усовершенствовали ее. Прием, употребляемый *йогами*, известный под именем *бхаштрика кумбхарка*, состоит в следующем:

Йоги, желающие приобрести этот дар, удаляются в подземные пещеры, где атмосфера однообразнее и влажнее, нежели на земной поверхности, и где поэтому и позыв на пищу гораздо слабее. Аппетит человека пропорционален количеству углекислоты, выдыхаемой в известный промежуток времени. Поэтому *йоги* никогда не употребляют соли, а живут одним молоком, питаясь им раз в сутки по ночам, а дни проводя в полукаталептическом состоянии. Двигаются они весьма медленно, дабы как можно реже дышать: движение увеличивает количество выдыхаемой углекислоты; и вот философия *йогов* предписывает им *избегать движения*.

Количество выдыхаемой углекислоты увеличивается при громком и оживленном разговоре и уменьшается при тихом: *йога* учат говорить медленно и тихо, и часто заставляют давать обет молчания. При *физическом* труде количество углекислого газа также возрастает, а при *умственном* оно убывает: поэтому *йоги* проводят жизнь в созерцании и размышлении. *Йоги* практикуют два рода методов: *падмасанна* и *сиддхасанна*, для возможно более редкого дыхания. Вот что говорит «Шика-Деви»: [\[139\]](#)

«Скрести обе ноги; выпрями крепко спину и шею, положи ладони на колени, зажми рот и начни сильно выдыхать воздух чрез обе ноздри. Затем вдыхай и выдыхай с возможною быстротой, пока не почувствуешь дурноты: тогда начни вдыхать в себя воздух чрез правую ноздрю и, наполнив оным легкие, тотчас же останови дыхание и старайся смотреть на кончик носа. Затем выдыхай воздух чрез левую ноздрю, после этого вдыхай снова чрез правую. Останови опять дыхание; прекратив его, начинай снова весь процесс чрез правую ноздрю», и проч.

«Получив дар практиковать вышеупомянутые созерцательные позиции в продолжение двух часов кряду», говорит Поль, «*йоги* начинают практиковать *пранаяму* – степень самопроизвольного столбняка (*transe*), характеризуемого обильною испариною, дрожанием всех членов и чувством необычайной легкости во всем организме. Затем *йоги* практикуют *пратнахару* – степень самопроизвольного транса, в коем происходит полное бездействие (*suspension*) всех пяти чувств. За этой степенью *йоги* изучают процесс *дхараны* – степень произвольного столбняка, в котором не только их физические чувства, но даже и все умственные способности замирают: человек погружается в полную каталепсию ума и тела. Этот столь обильный физическим страданием и требующий самой твердой решимости прием доводит *йогов* до *дхианы* – состояния «полного невыразимого блаженства». По их словам, они плавают в океане вечного света или электричества *акаши* (*Ананта Джиоти*, на который они и указывают

как на «Душу Вселенной»). В состоянии *дхианы* йог делается ясновидящим. *Дхиана* йогов – то же, что *турия-авастха* ведантистов, к которым принадлежат *раджа-йоги*.

«*Самадхи* – последняя степень (продолжает Поль). В этом состоянии йог, подобно летучей мыши, ежу, сурку приобретает дар переносить отсутствие атмосферического воздуха и лишение пищи и воды. Я лично наблюдал, в продолжение 25 лет, три случая *самадхи*: первый случай в Калькутте, второй в Джессельмире, а третий в Пенджабе. Все три *йога* погрузились в состояние кажущейся смерти, герметически затыкая языком своим горловое отверстие. Каким образом Пенджабский факир (о котором пишет д-р Мак-Грегор, ручаясь за достоверность случая, коего он был сам очевидцем) мог прожить без пищи 40 дней и ночей, зарытый в стеклянном ящике в землю, это удивляло много ученых людей в Европе; но я видел случаи еще страннее. На основании *лагимы* и *гаримы* (запаса воздуха в легких, на манер хамелеона), один мадрасский брамин в моем присутствии держался на воздухе пять раз от 4 ½ до 12 минут... Но все это лишь физические феномены, производимые *хатха-йогами*. Каждый из них подлежит исследованию естественных или физических наук, и всегда интересовал меня гораздо менее феноменов из области психологии. И со всем этим мне в этом отношении не посчастливилось в Индии. Из числа трех встреченных мною в течение 35-летней моей карьеры в Индии *раджа-йогов* ни один не решился открыть мне малейшей из приписываемых им великих тайн природы, невзирая на их ко мне расположение. Один напрямик отказался от приписываемого ему могущества; другой откровенно сознался, что обладает таким могуществом и даже не раз доказывал мне оное на деле, но отказался ото всякого по этому поводу объяснения. Наконец, третий согласился кое-что объяснить мне, если я ему поклянусь никогда и никому не объявлять того, что от него узнаю, даже и на смертном одре. Так как в этом случае моей единственной целью было желание просветить погрязший в невежестве и атеизме мир, то, признаюсь, я отказался. А дар *раджа-йогов* несравненно интереснее и в тысячу раз важнее для мира, нежели феномены *хатха-йогов*. Этот дар чисто психический: *раджа-йоги* к знанию *хатха-йогов* присоединяют всю шкалу умственных феноменов. Приписываемые им дары, по крайней мере в священных книгах, следующие: 1) дар пророчества и предвидения грядущих событий; 2) понимание всех незнакомых им языков; 3) целение недугов; 4) искусство читать чужие мысли; 5) слышать разговоры и все происходящее за несколько тысяч миль; 6) понимание языка зверей и птиц; 7) *прокамия* – способность останавливать руку времени, сохраняя юношескую наружность в продолжение долгого, почти невероятного периода времени; 8) способность оставлять собственное тело и переходить в другое; 9) *вазитва* – дар укрощать и даже убивать самых диких зверей *одним взглядом*; и наконец, самое ужасное – месмерическая сила, вполне подчиняющая себе людей и одним действием воли заставляющая их бессознательно повиноваться невыраженным приказаниям йогов».

Несколько из упомянутых феноменов Поль видел и убедился в их объективной реальности; действительности же других, – «видев так много столь же непонятного», по его словам, если не верит, то и не отрицает. Но за что он вполне ручается, это за то, что *йог* может по желанию прекращать и задерживать дыхание до 43 минут и 12 секунд...

О наука!.. Неужели и ты, как все прочее, одна суета сует? Физиология, в виде д-ра Лефевра и цитирующего его другого доктора медицины, члена Королевского Общества и вдобавок вице-

президента Королевского Общества Медиков, ученого Суэна Тейлора, уверяет нас, что «еще ни один живой водолаз, кто бы он ни был, не выдерживал полного затопления тела более двух минут сряду». А сам автор добавляет, что пока человек не рыба, совершенно немислимо, чтоб он мог выдержать в воде даже *полминутой* длительности. ^[140]

Стало быть, рассуждать нечего: наука решила, и не нам легковерным профанам противоречить ей. Но несомненно, что в Европе ровно ничего еще не знают ни о приемах *йогов*, ни о средствах, употребляемых с самых древних времен философами Индии для постепенного, так сказать, «перерождения» всего человеческого организма. Стало быть, в этом по крайней мере случае, все, что наши ученые физиологи имеют право заявить, ограничивается приблизительно следующим: «Явления жизни, которые мы изучали, исследуя их под известными нам, так называемыми нормальными и ненормальными условиями, мы изучили хорошо и вполне ручаемся за правильность наших выводов...». Однако почему бы, кажется, им тут же не прибавить: «Но, не имея претензии уверять мир в нашем полном знакомстве со всеми неизвестными, как и известными силами природы, существующими или же могущими развиться при неизвестных еще нам условиях, мы не имеем поэтому и права преграждать кому-либо стремления к более смелым исследованиям в области, до которой мы сами по великой нашей осторожности (а подчас и нравственной трусости) еще не дошли, стремления к открытию высших, хотя и редких явлений в человеческой природе. Не осмеливаясь утверждать, будто человеческий организм совершенно неспособен к развитию в нем трансцендентальных способностей, проявляющихся лишь при особенных, часто и неизвестных еще науке условиях, мы не желаем и ограничивать наших исследователей одними нашими научными открытиями...»

Произнося столь благородную и вместе скромную речь, гг. физиологи (не исключая и нашего зубастого д-ра Карпентера) разом заслужили бы благодарность потомства. Их ученые коллеги, не опасаясь более прослыть (невзирая на все предшествующие великие их заслуги в науке) за неменяемых, впавших в детство, легковерных субъектов, принялись бы исследовать все таковые явления серьезно и беспристрастно, а не «под шумок», как это делается теперь иными, из боязни, чтоб их не накрыли на месте преступления. Все феномены «спиритизма» перешли бы тогда из области материализующихся «тещей» и «бабушек», до бабьего гадания, в область чисто психо-физиологических наук, и пресловутые «духи», по всей вероятности, испарились бы. Нетленный же и, уж конечно, «не от мира сего» дух стал бы и более доступным и более понятным человечеству. Оно лишь тогда уяснило бы себе гармонию целого, усмотрев, как тесно, неразрывно связан мир видимый с миром невидимым. Но, как весьма глубоко выразился один из уважаемых русских ученых, профессор Бутлеров, «все это подлежит знанию, увеличение же массы знания может только обогащать, а не упразднить науку. Нужно, чтоб это совершилось в силу строгого наблюдения, изучения, проверки опытом, чтобы пришли к нему руководясь *положительным научным методом*, так же как приходят к признанию каждого явления природы. Мы зовем не к слепому вероятию, по примеру давно прошедших лет, а к знанию; не к отречению от науки, а к расширению ее области...»

Тогда и Геккель с эволюционистами, и Альфред Россель Уоллес со спиритуалистами, оба изъявили бы полное удовольствие. Ибо что же в самом деле мешает человеку иметь два принципа в своем начале: один чисто-духовный, другой чисто-животный принцип? Право, не подобает даже и вам, великие ученые, стараться остановить «влияние Плеяд», предлагая себе в путеводители хотя бы даже «*Актурю* с сыновьями». Неужели никогда не случилось вам применить к вашей собственной умственной гордости вопросы, некогда предлагавшиеся «голосом из вихря» многострадальному Иову? Хотя вы и умудрились поймать *левиафана* в пучине морской, продернув ему крючок в нос, но все же, говоря словами книги Иова, «разве вы присутствовали при построении основ мира сего, и отверзались ли когда пред вами врата

смерти», чтобы так уверенно утверждать, что здесь, а не там... «обитель вечного света»?...

– Аллахабад!.. Алла-ха-бад!.. – раздался крик кондукторов. Было шесть часов утра, когда наш поезд, шипя и раскачиваясь, с грохотом подошел к великолепному дебаркадеру Ост-Индской железной дороги, и разом рассеял мои думы. Все мои спутники проснулись и засуетились, все, кроме такура, который имел обыкновение исчезать на станциях, словно проваливаясь сквозь землю. Но мы уже свыклись с его оригинальными выходками и даже не осведомились о нем. На станции нас ожидал профессор санскритского языка – пандит Сэндер Лалл Баттачарья, в дом коего мы все и были приглашены. Красивый, дородный мужчина, с мускулистыми голыми ногами, гордо драпирующийся в красную расшитую золотом кашемировую шаль и с ярким *пэгери* на длинных черных волосах, – таков был наш хозяин. Здесь тип совершенно изменяется. Не видать более бритых махратских голов, увенчанных шлемообразными тюрбанами. Длинные волосы, черные бороды и дорогие шали, накинутые наподобие римских тог.

В самом центре туземного или «черного»^[141] Аллахабада, среди лабиринта улиц, переулков и садов, находится дом пандита Сандер Лалл Баттачарья, куда он нас всех и пригласил. Было всего восемь часов утра. Дом исчезал в роскошной зелени густых тиковых деревьев, и луч солнца, казалось, никогда не добирался до внутренних обширных и темных комнат. Со всем этим нам разом стало невыносимо жарко. В начале апреля, до полудня, стояла 120-градусная (по Фаренгейту) жара в тени! Тотчас по приезде мы уселись на коврах и, полулежа на мягких подушках из пальмового листа, боялись пошевелиться. Минутами ветерок, прорываясь сквозь мокрую ткань кускуса, веял нам в лицо ароматической прохладой, а панки,^[142] раскачиваясь безостановочно над нашими головами, рассекали душный воздух, позволяя нам хоть минутами вдыхать вместо раскаленной атмосферы глотки искусственного воздуха...

Мы провели три дня в Аллахабаде. Ровно в три часа ночи мы отправились осматривать город и окрестности, и возвращались к семи часам утра завтракать; затем бросались в общей темной зале на ковры, под панки, и спали до четырех часов пополудни. Напившись чаю «со льдом», отправлялись снова рыскать, изучая древности и являясь домой только в десятом часу вечера *обедать*. Ночью мы не спали, а садились *дышать* в саду до зари...

Город расположен на юго-восточной окраине *Дуаба* – «земли двух рек», на песчаном, образовавшемся вследствие слияния Ганга и Джумны мысе.

«Белый город» (местопребывание европейцев) расположен вдали и в стороне от «черного» города туземцев. Он состоит из огромных, широких, пересекающих друг друга аллей, с великолепнейшими деревьями, по которым прыгает множество белок. В больших, совершенно закрытых садовыми стенами дворах расположены бунгало англичан, похожие скорее на богатые загородные виллы, чем на городские жилища. «Белый город», таким образом, вовсе и не город. За исключением нескольких прекрасных площадей, Аллахабад просто гигантский парк, имеющий 32 мили в окружности, симметрически усеянный на расстоянии четверти мили одна от другой загородными дачами. Здесь чопорная колония британцев, вздыхая по своей туманной родине, старается создать вокруг себя искусственный Лондон. Здесь этикет царствует неумолимым деспотом. Дамы, с утра затянутые в корсет, проводят время, делая друг другу церемонные визиты; два раза в неделю назначена великосветская «пуджа» – официальный прием. Церемониальные обеды между коротко знакомыми называются обедами «запросто»; но на эти дружеские трапезы мужчины являются во фраках и белых галстуках, а дамы в бальных платьях и бриллиантах. И все это при 120° F тепла!.. Обедают в 8 часов, разъезжаются около десяти вечера, так как здесь все встают в 5 часов утра. Жизнь интеллектуальная во всех отношениях... Во время нашего первого визита в Аллахабад никто из нас не счел нужным оставить свою карточку у здешней богини-патронессы провинции – леди Купер; поэтому на

нашу партию стали взирать еще с бoльшим подозрением. Кто же кроме «русских шпионов» осмелился бы выказать такое неуважение к представительнице в Северо-Западных провинциях самой императрицы Индийской?...

В первый день мы отправились (получив на то с большим затруднением позволение от начальства) осматривать крепость. Вероятно, опасаясь, чтобы мы не сняли плана крепости, англичане отправили вслед за нами с полдюжины шпионов: за нами как тени следовали полицейские (мусульмане), а вдали выглядывал наш приятель – капитан Ленг. Он мог бы и не беспокоиться: пред этими останками древней, некогда величественной Праяги, столицы Индии брахманской, затем буддистской и, наконец, мусульманской, – мы всецело углубились в прошлое и совершенно забыли о настоящем...

Праяга-Аллахабад одно из самых древних мест Индии, тесно связанное с ее прошлой туманной историей. Здесь риши периода Вед – великие патриархи Индии, вдохновляемые поэзией, – впервые складывали свои брахманские толкования. Одушевляемые ревнивым религиозным усердием, по своим последствиям всегда для потомства опасным, ибо, тщательно оберегая от нескромного ока непонятные невежественным массам философские истины, оно отстраняет от них народ, предоставляя ему довольствоваться собственными умозрениями, – риши эти были первыми сеятелями злокачественных семян язычества в Индии. Скрывая под поэтической оболочкой аллегорий и эмблем абстрактные, ими одними в беспредельном мирозерцании узреваемые качества Божества, они, в своих стараниях сделать эти отвлеченные качества доступными массам, не профанируя их, превратили вскоре каждый атрибут в отдельного бога и богиню. Вследствие этого народ и «сотворил себе кумиров». И стал он с тех пор прозревать истину во лжи, и один обман – в истине; последняя же осталась всецело в ревнивых руках древнего и ученого духовенства. Так было в древности в Египте, так было в Греции, в Халдее, везде. Недаром Сарасвати, богиня тайных наук природы, глубоко скрывается в своем подземном течении от глаз демонов материализма: она является лишь тем, кто неутомимо и неуклонно преследует ее, докапываясь до чистых источников ее живой воды; на земле же и пред очами легковерных масс она разъезжает на чванливом павлине, стоглазый хвост коего распущен на солнце, а глаза слепы к сиянию дня... И только первых, жаждущих ее учения, она голубит и поит, утоляя палящую жажду своих верных поклонников, успокаивая их вечное стремление к неведомому и для всех прочих недостижимому. Но увы! прямых наследников ришей Индии и иерофантов древнего Египта мало; а недостойным, якобы «посвященным», имя – легион.

Когда мы подъезжали к гласису крепости, нам указали на груду камней. На этом месте стояла некогда знаменитая во всей Индии мечеть *Джама-Мастжид*, выстроенная еще при шахе Джагане. Насильно отняв ее у мусульман, безо всякой к тому причины, англичане обратили ее сперва в казармы, потом отдали под лавку маркитанта, а по уходе полка совершенно срыли ее вследствие каких-то таинственных стратегических соображений. «Самым постыдным, незаслуженным образом мы лишили наших магометанских подданных дорогой им святыни, не предложив им за нее даже и одной рупии вознаграждения», пишет полковник Кин в своем сочинении «Могульская империя».

Аллахабадский форт и укрепленный в нем замок построены великим императором Акбаром, около 1575 года нашей эры, на развалинах древнего города буддистских индусов. Как выше сказано, Праяга – древнейшая столица Лунной (или *Самаванси*) династии кшатрий. От архитектурных красот времен Акбара, от высоких башен величественного купола над ажурной работы галерей, от аркад и расписных стен и балкончиков, виденных и описанных еще Гебером, от всего того, чем епископ так восхищался едва шестьдесят лет тому назад – ровно ничего не осталось. Рука истинного вандала – англичанина на службе Ост-Индской компании – снесла

балконы, залепила, замазала и сравняла мавританскую резьбу на стенах внутренних и наружных, и скрыла все это под безобразнейшим слоем простой штукатурки. В крепости остался один лишь все искупающий предмет, простоявшая уже с лишком две тысячи лет колонна Ашоки.



На фасаде храма

Есть колонны величественнее, выше и красивее этой, хотя бы в Египте, но нет ни одной интереснее для археолога и для филолога. Надписи на ней пред терпеливым криптографом и языковедом открывают целую панораму древнего, столь мало еще известного нам мира. По этим надписям мы можем изучать самые душевные мысли царственных зодчих, следить за постепенным изменением идей и понятий и в продолжение с лишком двадцати веков присутствовать при борьбе народов различных исповеданий, от начала истории сражавшихся брат против брата и заливавших земной шар своею кровью – каждый во имя того, что для него самого казалось святой *истиной*, а для его брата – грешным заблуждением.

Привожу несколько извлечений из самых замечательных между этими надписями на колонне:

«...На 27 году моего помазания^[143] (sic) я повелел, дабы сей религиозный указ был издан письменно. Сознаюсь и каюсь пред моими (народами?) в доселе гнездившихся в сердце моем прегрешениях. Мысль о религии и любовь к религии должны (с этого времени) постоянно увеличиваться... и мои народы, как и *грихаста* (духовенство), словом – все смертные, станут от этого неразрывно связанными ею (религией), и, победив в себе земные страсти и грехи, достигнут все они великой мудрости. Ибо в одной религии пребывает истинная мудрость. В религии главное достоинство; а религия вся состоит из достохвальных дел: воздержания от дурных

поступков, милосердия, кротости, любви к ближнему, нравственной чистоты и целомудрия. Для меня все сие составляет помазание посвящения.^[144] К неимущим и скорбящим, к двуногим и четвероногим, к птице небесной и твари движущейся в водах отнесли тогда (со времени посвящения?) обильные деяния мои... Для сего самого и провозглашен сей указ. Да внемлют оному все. Да пребудет он в полной силе в века грядущие, и всякий, кто только последует оному, должен будет, несомненно, достичь вечного блаженства и соединиться с *Сугатой* (Буддой)»...

Далее следует перечень девяти грехов. Эти девять грехов известны под названием *азинаве* и, по учению Гаутамы Будды, их следует избегать: «гнев, жестокосердие, воровство, гордость, зависть, уныние, пьянство, прелюбодеяние, убийство». На западной стороне колонны начертаны разные правила об отношениях аскетов к прихожанам и «всеобщем во имя Будды отпущении наказаний и прощении преступникам в специальные три дня». В какие дни именно, не сказано. На южной стороне находится наименование зверей и птиц, которых грех лишать жизни; затем, самая интересная, как проливающая яркий свет на жизнь этого царственного апостола буддизма, надпись, в которой говорится следующее:

«На двенадцатом году моего помазания был по моему повелению издан ради удовольствия и пользы народов указ. Истребив сей (указ?) и взирая на мою бывшую религию (идолопоклонство), как на великий грех, я ныне, ради блага всего мира, возвещаю о сем событии (т. е. об отмене закона). В то же время я молюсь различными молитвами за тех, кто разнится со мною в моей вере, дабы они все, последовав моему примеру, соделались достойными достичь вечного спасения... Но каким образом действовать, дабы религия истины и света постоянно распространялась среди человечества? Истинно говорю, лишь посредством обращения в оную всех низкорожденных (вне касты), убогих и неимущих может наша религия соделаться всеобщей... А если вследствие обращения таковых (низкорожденных) возрастет она, то насколько быстрее распространится наша религия чрез обращение в нее высокорожденных, тех, между коими пребывает *имя Божие*...^[145] Истинна сия есть религия (т. е. буддизм) и ей одною умножаются добродетели».

В этом случае «имя Божие» есть синоним «нирваны», смысл коей (невзирая на Бюрнуфа, Бартелеми Сент-Илера и К° и даже на профессора Макса Мюллера) постоянно ускользал от санскритологов и толкователей буддизма. Никто еще до сей поры не понял его правильно, а судили и рядили о нем по одной *мертвой букве*.

Против этих разнородных теорий восстают самые ученые буддийские священники Цейлона, Бирмы и Сиамы. В Бога, как личность отдельную от вселенной, как в нечто индивидуальное, буддисты действительно не верят. Но их *summit bopit*,^[146] или *нирвана*, то же, что *мокша* браминов. Это – окончательное соединение бесконечно малой и, в разъединении, ограниченной *частицы* с беспредельным и безграничным *целым*; это вечная сознательная жизнь души в квинтэссенции божественного духа; душа же есть временно отделенная искра, привлекаемая и вновь погружающаяся в безбрежный океан пламени *Мировой Души* – первобытный источник *всего*. Но такое окончательное поглощение индивидуальной, очищенной от всего земного и греховного души «душою вселенной» (*anima mundi*) еще не означает исчезновения или «полного истребления» души человеческой. Объясняя нам эту теорию, молодой сингалезец Даммападжоти, весьма ученый монах, раздавил наполненный ртутью стеклянный шарик и, рассыпав его на блюдечке, стал раскачивать. Капли живого серебра отделялись, рассыпались и,

едва дотронувшись друг до друга, снова сливались вместе.

– Вот нирвана и души, – сказал он нам.

– Так почему же считается столь трудным достичь нирваны? – спросил кто-то из нас. – При существующем взаимном притяжении всякая душа, уже в силу одной своей односторонности с *мировой* душой, должна, раз освободившись от оков земных, слиться с нирваной.

– Конечно; но это взаимное притяжение существует лишь при совершенной чистоте частицы. Взгляните, что случится теперь!..

И, посыпав другое блюдечко пеплом и пылью, он обкатал шарики ртути в этой грязи, замесив ее вдобавок каплей масла... Живые дотоле крупинки, под толстым слоем грязи, лежали теперь на дне блюдечка неподвижно. Напрасно было прикатывать их к главной капле чистой ртути – они не сливались уже с родной каплей...

– Вот последствие земной грязи, – пояснил нам Даммападжоти. – Пока душа не очищена от последнего земного атома – не попасть ей в нирвану, не жить жизнью вечною, среди божественной эссенции...

– Стало быть, вы веруете в загробную жизнь?

Даммападжоти засмеялся и, как казалось, немного презрительно.

– Верим, конечно, но стараемся избежать продолжительности оной, как величайшего, хотя и справедливого несчастья, как наказания за наши грехи. Жить – значить чувствовать и страдать; не жить, но находиться в нирване – есть синоним вечного блаженства...

– Но ведь этак выходит, что вы добиваетесь *уничтожения* души.

– Нисколько; мы только добиваемся уничтожения страдания, нераздельного с частной жизнью; мы ищем достигнуть безусловного блаженства в соединении с верховною *мировой* душой. Одно целое бесконечно и совершенно; в раздроблении своем каждая частица делается и конечной, и полной несовершенств и изъяна...

В *Сутрах* действительность объективного мира называется обманом чувств; действительность формы и всякого вещества выставляется опасной иллюзией; даже действительность самого индивида или я отвергается. Но то именно, против существования чего восстают все наши современные материалисты, то, что они стараются стереть с лица земли, уверяя, что все это одни лишь бредни, ни на чем не основанные умозрения, то *сутры* и признают «единственную действительностью в мире иллюзий», а «метафизика Казиапы» объясняет, почему именно оно так. Эта действительность – *духовное я* человека. Это вполне отдельное и отличное от материи, хотя бы самой сублимированной. Одна *причинность* есть действительность, ибо эта *причинность* без начала, как и без конца, не имеет ни прошлого, ни будущего, но всегда существует в настоящем, а все ее действия суть одни лишь временные и второстепенные явления, «блеск молнии в океане электричества». Все проходит, все изменяется в своей объективной форме и, поддаваясь разделению времени и исчислению, все есть иллюзия; но *причинность* всего безгранична, как и бесконечна, и не может быть исчислена; стало быть *она-то* и *есть* действительность.

Нирвана *ничто*, потому что она все. Парабрахма – без сознания и воли, ибо Парабрахма есть *абсолютное* «мировое сознание» и *безусловная воля*. Бесконечная, безначальная и беспричинная *монада* Пифагора – *первопричинность* всего; по сотворении *триады*, «обитающая во мраке и молчании» *монада* возвращается в свою невидимую и неосязаемую обитель. И однако же, по Проклу, она и есть «вечный Бог», и вся вселенная тяготеет вокруг *монады*. Еврейские каббалисты также указывают на своего *Эн-Софа*, как на нечто бессознательное и не обладающее волей, ибо *Эн* или *Айн-Соф* есть *самопричинность*, а слово *Айн* в буквальном переводе означает отрицание последующего слова – *ничего*. «Дух не имеет образа, и поэтому о нем нельзя говорить, что он существует», учит книга буддистов *Праджня Парамита*

(Совершенство мудрости).

У таких памятников, как колонна Ашоки, обыкновенно находятся старые пипалы (*Ficus religiosa*), прямые потомки *Боддрума* («древо познания») столь излюбленного, по преданиям, основателем буддизма. Находилось такое дерево когда-то и у колонны, но его уж более нет: оно было срублено англичанами, без всякой к тому причины, как и всегда.

Мы спустились в подземные пещеры по скользкой, поросшей мхом каменной лестнице. Гордо потрясая бритую голову, голый брамин шел впереди нас, освещая нам дорогу смрадным факелом, а по обеим сторонам ступеней неподвижно сидели и стояли в разных позах факиры, с нечесаными по годам и закрученными в шиньон длинными волосами, грязные, отвратительные. Настоящие аскеты никогда не сидят в людных местах, но пребывают или в уединении лесов, или же в далеко сокрытых от равнодушных глаз дворах храмов, как например в Джабалпуре. Посреди первой залы, низкой и с колоннами, стоял громадный, украшенный венками великолепных роз *лингам*; по сторонам – ниши с расставленными в них идолами и их живописными изображениями. Каменные идолы были покрыты сыростью, и крупные капли просачивающейся воды, следы подземной реки Сарасвати, орошали почерневшие стены. При слабо мерцающем свете факела невозможно было различить надписи. Так как все уцелевшие отрывки переведены, то мы и не особенно интересовались ими. Есть сильное подозрение, что эти подземные залы находились еще в VII столетии на одном уровне с землей; но частью вследствие сырости, частью по причине веками накопившегося слоя мусора, они осели и теперь находятся под землей. «Бессмертное дерево» *Актай-Бат* упоминается как Хвен Тхсангом, так и историками Рашид-Уддином и Абу-Риханом, которые и указывают на него, как на древнейшее дерево в Индии.

Мы прошли зал двадцать, но кроме «дерева» ничего интересного не видали. За ним в стене зияет большое отверстие, ведущее, по словам брамина, до Бенареса. Все святые, говорил он, отправлялись этим ходом молиться в священный город. По дороге они «беседовали с Сарасвати...»

Тайному ходу мы предпочли мост через Джумну и переехали по нему на другой берег реки. Этот мост один из великих подвигов англо-индийского инженерного искусства. Мост в два яруса, перекинутый через широчайшее место, над самым слиянием двух рек, имеет 3331 футов длины по прямой линии. Экипажи и пешеходы проезжают и переходят по нижнему, а поезд железной дороги проходит по верхнему ярусу. Мы попали как раз под поезд и чуть было не оглохли.

Недалеко от вокзала железной дороги возвышаются старинные ворота со сводом, ведущие в прелестный, отлично содержимый сад. Наружные стены густо покрыты ползучими растениями и великолепными розами. В *Кушру-Баг* (сад Кушру) находятся могила и памятник принца этого имени, его матери Шах-Бегумы и многих других исторических лиц. Кушру был внук великого царя Акбара и сын раджпутки, дочери махараджи Амберского, славившейся на всю Индию своей красотой и колдовством, – последнее, быть может, потому, что она обворожила сына Акбара, Салима, мусульманина, и, прогнав других его жен, была всю жизнь его единственной женой. Как бы то ни было, но к Кушру-Багу, после заката солнечного, не подойдет на полверсты ни мусульманин, ни индус. Все потомство Акбара с самим царем (хотя он похоронен в Агре) собирается по ночам держать загробный *дурбар*...

На другое утро мы отправились осматривать «Ложу Ханумана», на берегу Ганга, и другие курьезы Аллахабада. «Ложу» это оказалось открытою, четырехугольною и вымощенною гранитом комнатой, вырытою футов на двадцать в земле. Над ней возвышается купол на четырех гранитных столбах, на 10 футов над поверхностью земли, и без стен, дабы удобнее было толпе

заглядывать со всех четырех сторон вниз, любясь на спящего бога-обезьяну. Несколько широких, мрачных ступеней ведут вниз, но по ним спускаются лишь одни охраняющие покой идола – брамины. Любопытнее всего, даже самого идола, огромная и многоречивая надпись от муниципалитета на трех языках: английском, хинди и урду (язык магометан). Эта надпись строго запрещает христианам и особенно мусульманам «совершать над этою святыней индусов какие-либо кощунства, как-то: бросать камни в святилище, подходить к нему в сапогах, громко смеяться, делать непристойные, способные огорчить чувства поклонников бога замечания или же изъяслять *гадливость* (squeamishness)». (Я перевожу эту надпись слово в слово.) Невзирая на запрещение, на угрозы штрафом и даже тюрьмой, мы, дав дежурному брамину одну рупию, преспокойно подошли к самым колоннам, не сняв даже обуви. Мы заглянули вниз: идол громадных размеров, футов в 20 величины, ярко-красного цвета и с короной на обезьяньей голове, почивал на спине, растопырив приподнятые колена, свернув хвост калачиком и положив щеку на ладонь левой руки, тогда как другая держала скипетр. Над его носом болталась лампада, и он был весь усеян цветами. Полюбопытствовав узнать, из какого материала сделан идол, и получив ответ от брамина, что он «сделан из *ничего*», но есть притом «живое тело бога», мы не удовольствовались таким загадочным ответом. Как быть? С первого дня как Хануман заснул в своей яме, никто, кроме посвященных браминов, никогда не сходил вниз. Бросить в спящее божество камешком и судить по звуку – преступление, предусмотренное муниципалитетом, могущее повлечь за собою штраф в 100 рупий. Тут-то наш президент, как истый изобретательный янки, явился на высоте дилеммы; вынув горсть медных и мелких серебряных монет и опустив руку за перила, он, в виде эксперимента, но как будто нечаянно выронил *анну* (3 копейки) на живот богу, все время не спуская глаз с зорко следившего за ним брамина, который тотчас же хитро осведомился, не принести ли ее назад «сабу»? – нет, ответил президент, – все, что упадет вниз, пусть останется приношением Хануману. Ободренный этим, полковник бросил другую монету, уже целясь. Попадая прямо в нос божеству, но без ожидаемого звука, он стал затем кидать все сильнее и чаще, пока, наконец, после падения с дюжины монет, одна не звякнула, как бы ударясь о нечто металлическое. Когда он остановился, довольный этим открытием, брамин предложил ему бросить еще несколько монет в рыло Хануману, умиленно повторяя, что подобная игра весьма приятна *дэву*...

От Ханумана мы пошли поклоняться «бабе Сандасси». Во избежание всякого недоразумения, спешу заметить, что *баба* Сандасси не русская «баба», а индусский «дед», и даже, судя по его возрасту, весьма почтенный. Уверяют, будто ему 250 лет, а сам он говорит, что родился так давно, что забыл, когда именно. Как бы то ни было, но «баба» это лицо историческое и весьма уважаемое даже англичанами, которые, к удивлению народов Индии, оказались хоть раз благодарными за оказанные им услуги. Правда, их благодарность ограничилась тем, что они пока не стреляли еще «бабой» из пушки, ни разу не повесили его и даже не засадили в тюрьму; но ведь и это уж чего-нибудь да стоит в Индии. Они даже подарили ему квадратный камень в полтора ярда длины и ширины, на котором он сидит не вставая уже ровно 53 года; и тот же муниципалитет великодушно снабдил его дощечкой с надписью. Дело в том, что память о «бабе»-деде у британцев тесно связана с памятью о мятеже. В те тяжелые для них дни он многим европейцам спас жизнь, пряча их в пустое отверстие под камнем, с которого он не сходит и в котором скрывает свои талисманы и лекарства. Два раза его самого чуть не убили, но он не выдал прячущихся...

Баба – пенджабец и сикх, последователь Нанаки. Неподалеку от стен форта, на палящем берегу Ганга сидит этот ныне совершенно слепой и белый как лунь старец. Гордо драпируя голое тело в кусок белой кисеи, он со своими серебристо-белыми длинными волосами в тихие, безветренные дни походит скорее на мраморное изваяние, чем на живое существо. Вот что слово

в слово написано на великодушно прибитой городским начальством дощечке, шагах в шести от деда:

«Баба Сандасси, родом из Пенджаба. Человек испытанной и строгой честности, неспособный к обману. Оказал много услуг правительству. Сидит на сем камне с 5 июля 1827 года. Ослеп в 1839 году, лишившись зрения вследствие постоянного сидения на солнце и отражения лучей в воде. Проходим запрещается тревожить его. Желаящие с ним беседовать обязаны снимать башмаки и сапоги. По приказанию Аллахабадского муниципалитета, октябрь 1858 года».

Сняв обувь, мы подошли к старику и приветствовали его словами: «да пребудет раджа Нанак с благословением Божиим во *сварге!* (раю)». Такур, которого слепец, к удивлению нашему, узнал еще за десять шагов и громко приветствовал благословением, тотчас же вступил с ним в разговор. Мы узнали, что слепой сикх ест и встает с места лишь раз в сутки, и глухую полночь: при помощи своих учеников, он сначала погружается в священные воды Ганга, а затем, омывшись, съедает горсть рису на молоке и, надев на плечи новый кусок кисеи, снова садится на место до следующей полуночи. Под палящим солнцем, под грозой и дождем мунсуна сидит, таким образом, голый старец день и ночь, с непокрытой головой, не имея даже и куска кисеи между теменем и небом. По уверению учеников его, он никогда не спит; по крайней мере никогда и никто из них не видал его лежащим; а если он и спит (чего ученики его, впрочем, не допускали), то спит с открытыми глазами и сидя, не имея возле себя и жерди, на что бы облокотиться. Куски кисеи, которые он никогда не носит на плечах более одного дня, продаются иногда за большие деньги жителям, крепко верующим в их целебное свойство после того, как они побыли целые сутки на теле сикха. Вырученные деньги поступают в сиротское заведение, которое сикх содержит единственно на собственный счет; в это заведение принимаются безразлично дети всякого вероисповедания; их бывает иногда до 300. Туда же поступают и все другие приношения деньгами и вещами, щедро расточаемые на аскета, потребности коего состоят ежедневно в рисе, молоке, да в пяти аршинах белой кисеи. Часто после продолжительного самосозерцания он обращается к тому или другому из учеников и посылает его иногда за несколько миль в леса за известными предметами, как-то: за корнем какого-либо растения, за цветком или камешком, снабжая его при этом подробнейшими инструкциями. Так один раз, когда жена коллектора, заболев злокачественным вередом на ноге, совсем уже умирала и английские врачи собирались было резать ей ногу, угрожая в противном случае гангреной и смертью, больная в отчаянии прислала мужа посоветоваться с «дедом». Супруг был атеист и скептик, и сикху верил не более, чем своему пастору. Однако пошел, отправясь к нему, как новый Никодим – ночью. Не успел он даже начать объяснения, в чем дело, как «дед» прервал его, посылая назад домой: «Твоей „мэм-сааб“ сделалось хуже, ты должен тотчас же спешить к ней (говорил слепой) и дать ей нюхать целую ночь до утра вот эту траву; а рано утром на другой день ты получишь от меня (сикха) мазь, которая и вылечит ногу твоей жены».

Озадаченный коллектор взял траву, какой-то сухой, вымоченный тут же в Ганге пучок, и, вернувшись, нашел весь дом в смятении: его жена умирала, если уже не умерла. Забыв весь скептицизм, коллектор поднес ей под нос траву, и коллекторша очнулась, а к утру спокойно уснула. Между тем «дед» подозвал старшего ученика (который и рассказывал нам это происшествие), приказал ему перейти вброд рукав Джумны, войти в лес, направо, следуя по третьей тропинке, сосчитать двадцать три манговых дерева и под двадцать четвертым к югу и у самого корня дерева искать. Там, вершка на два под землей, в покинутом муравейнике, он найдет тигровый коготь, который и должен принести. Ученик отправился и, сделав все, как

было приказано, принес коготь учителю. Сикх велел сперва обуглить коготь на огне, затем истолочь в мелкий порошок и, прибавив разных трав, сделал из него мазь и послал к коллектору с инструкциями. Через неделю «мэм-сааб» пришла сама благодарить слепого старика...[\[147\]](#)

Все, с кем мы только ни говорили о сикхе, отзывались о нем с величайшим уважением, а индусы и даже мусульмане – с благоговейным страхом.

Народы Индии не делают ничего вполонину: они или величайшие фанатики, или же безусловные атеисты. Их любовь, как и ненависть, безгранична, и когда индус назвал вас без принуждения «братом» или «другом», то это не пустая фраза. Все наши спутники были «реформаторами» (как их здесь называют) и давно порвали все связи с браминами и сектами, но зато все до одного были мистики, верующие в высшее духовное развитие человека, убежденные, что такое развитие способно поставить последнего почти на уровень с божеством, если только он того достоин. Но вместе с грубыми фанатиками и образованными, в высшей степени экзальтированными (подобно Нараяну) мистиками к толпе «свободных мыслителей» (как они себя величают) с каждым годом из рядов учащейся молодежи прибавляются новобранцы школы Чарлза Брэдло и Луиса. За последнее десятилетие под «благодетельным» влиянием (скорее чисто английского, нежели западного) воспитания происходит нечто феноменальное: все учащееся в городских школах и коллегиях юное поколение выпускается из них безвозвратно атеистическим. Исключения чрезвычайно редки.

Политика Англии – никогда и ни под каким предлогом не мешаться в чисто религиозные вопросы завоеванной страны. Можно, конечно, подозревать, что такое правило является следствием скорее трусливости, чем либерализма правительства.

Следуя золотому правилу, а также, быть может, и для того, чтобы не оскорбить «христианских чувств» своих сановников, все места президентов, директоров и «принципалов» туземных коллегии отдаются тщательно выбираемым с этою целью отъявленным материалистам. Так как по своему серьезному и ответственному значению такие должности всегда и важны, и доходны, то понятно, что их приберегают единственно для англичан; туземцу, будь он в тысячу раз учнее своего принципала, такое положение недоступно.

С другой стороны, миссионерам разных сект, имя коим здесь легион, не дозволяется вход в коллегии. Вследствие вышесказанной политики, они вращаются в самых подонках общества, между париями и не допускаемыми в брахманские секты *мэнгами*. В постоянной борьбе и ссорах между собою, они, дабы насолить друг другу, буквально *покупают* обращенных: парии и мэнги, все до единого или чертопоклонники или безо всякой религии, обратятся за деньги, а часто и из-за куска хлеба во что угодно. Можно наверное сказать, что нет ни одного обращенного в христианство индуса, который бы не был вором, мошенником, горьким пьяницей, а подчас и убийцей. Миссионерство в Индии – величайшая профанация христианства. Ни одно европейское семейство ни за какие блага не наймет в услужение *обращенных*. Миссионеры открывают свои собственные школы, но эти школы, как и результаты их – один только фарс. Падкие на даровое учение, индусы посылают к *падри* своих детей только от пяти до семи, много до восьмилетнего возраста; после этого едва выучившихся читать детей обыкновенно женят или выдают замуж; раз вступивших в брачное состояние юных супругов, конечно, трудно заманить назад в школы. Надежды на добровольное обращение разлетаются в прах...

Еще безотраднее постановка этого дела у католиков. Основанная на собственные средства богатая иезуитская коллегия Св. Ксаверия в Бомбее, вместо того чтобы просвещать народ, рассеивать мрак невежества и поучать юных язычников, окончательно сбивает их только с толку. Воспитанники пресловутой коллегии выходят из нее, правда, с полнейшим презрением к вере и обычаям своих предков – обыкновенная система и хорошо известная уловка сынов Лойолы; но зато они питают еще сильнейшую, если возможно, ненависть к римско-католической, если не к христианской вере вообще. Не находя возможности прибегать в

Английской Индии к столь излюбленным ими насильственным обращениям, отцы иезуиты являются здесь под такую цинической, отвратительной оболочкой, так грубо извращают и без того шаткие понятия туземных мальчиков о правде и чести, что под их якобы *христианским* управлением в итоге получаются еще худшие результаты, чем под вольнодумной дирекцией таких ученых атеистов, как «принципалы», например, Бомбейской и Лагорской коллегии.

Поэтому с психологической точки зрения Индия представляет необычайно интересное зрелище. За исключением горсти «реформаторов», она разделяется на два враждебные друг другу лагеря: *фанатиков* и *ультра-скептиков*. Первые, полные религиозного суеверия, видят божество во всем: в тигре, в корове и ее хвосте, в дереве, вороне и во всякой гадине; вторые, не менее полные того, что позволяю себе назвать *суеверием научным*, отрицают все, кроме материи.

«Чудны творения твои, о Тиндаль!..» – хором восклицают юные индусы, поклоняясь этому светилу науки.

Но со всем этим обе партии, как ортодоксальная, так и атеистическая, глухо враждебны своим правителям. Партия ярых, до безумия экзальтированных браминами *фанатиков*, само собою разумеется, никогда не помирится в душе с правительством, которое дает им в собственной их стране лишь отрицательные преимущества над миссионерами ненавистной им религии. Лагерь *материалистов*, ежегодно подкрепляемый целыми партиями блистательно кончивших курс индусов, выброшенных в океан житейский этими университетами и коллегиями буквально без ладьи и компаса, без надежд в этой жизни, – вследствие устраняющей их ото всякого участия в управлении страной политики и без надежд на жизнь будущую, в которую наши азиатские поклонники европейских «апостолов разума» стыдятся веровать (как то делали их глупые предки). Им остается в жизни – нуль. Поэтому мы их и застаем в последней четверти XIX века перефразирующими на все лады известное изречение эпикурейцев: «Станем есть, пить и веселиться... ибо завтра – все мы превратимся в угольную кислоту, воду и аммиак!»

Позволяя себе это предисловие, я не отступаю от моего рассказа. Я только желаю представить русским читателям Индию такой, какой ее сделала Англия, и приготовить их этим самым к яснейшему пониманию рассуждения, в которое мы не раз вступали с учеными пандитами.^[148] Узнав о нашем приезде, эти пандиты и туземные философы стали приходить к нам целыми партиями; некоторые из них приехали нарочно для свидания с нами из Бенареса.

Вернувшись от баба Сандасси, мы нашли у профессора Батачарьи огромное общество пандитов. Они просидели с нами в саду далеко за полночь. Мы приехали из Америки изучать философию их древних и современных религий, а они пришли тарачить с неподдельным изумлением глаза на «западников», имеющих глупость и безумие предпочитать Капилу и Патанджали – Гёксли и Тиндалю, философию Ману и буддизм – позитивизму Огюста Конта. Отказавшись от всякой веры, они однако же не посмели отказаться от касты и ее требований. Они смеялись надо всем божественным и вместе с тем страшились людей и общественного мнения. Не так ли зачастую бывает и у нас в Европе?

Разговор, конечно, зашел об их древней философии, о риши, йогах и аскетах. Пандиты вполне распоясались и с гордостью, достойной лучшего дела, стали раскрывать перед нами все нравственные язвы, нанесенные, а затем постоянно растравляемые в них одной и той же искусной рукой их английских «принципалов». «Неужели нас могли интересовать бредни древних метафизиков и богословов?» – спрашивали они. «Кто же кроме ханжей, факиров, да полоумных аскетов может еще видеть какое-либо значение, например, в тройном божестве? Баба Сандасси – старый дурак, а факиров, лезущих для очищения от грехов в Гангу и остающихся под водой, рискуя в ней утопиться, пока они трижды не прочтут *мантры*, правительству следовало бы засадить в рабочий дом...»

Наши доводы и противоречия ужасно раздражали некоторых из них. Один статный индус, драпированный в белую с золотом шаль, с золотыми кольцами на всех пальцах ног, огромным знаком Вишну на лбу и в золотом *ринсе-пез*, обратился наконец ко мне уже с прямым вопросом: «Неужели я, прожив так долго в Америке, родине Томаса Пена, верю еще в какое-либо божество?»

– Признаюсь, верю, и вовсе не таюсь в такой невежественной слабости, – последовал мой ответ.

– И в «душу» человека? – переспросил он со сдержанной усмешкой.

– Да, и в душу; и как ни удивительно, даже в *бессмертный дух*...

Юный магистр, нервно заиграв кольцами на ногах, обратился с новым вопросом, довольно на этот раз оригинальным.

– Стало быть, по вашему, Гексли шарлатан и глупец?

В свою очередь мне пришлось вытаращить глаза.

– Это почему же?... – осведомилась я у *ринсе-пез*.

– Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чем он говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает...

– Гексли, – сказала я, – как натуралиста, физиолога и ученого не только признаю, но и преклоняюсь пред его знанием, уважая в нем один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всем касающемся чисто физических наук; но как о философе имею о нем весьма невысокое мнение.

– Но ведь против логических выводов, основанных на *фактах*, трудно идти... Вы читали его статью в «*Fortnightly Review*» об «автоматизме человека»?

– Кажется, читала... и кой-что запомнила из его удивительных софизмов... Но что ж о ней?

– Вот что. Профессор в ней *неоспоримо* доказал, что человек не более как сознательный и сознающий себя *автомат*,^[149] добавляя к этому в своих «*Lay Sermons*», что человек – «хитрейший из часовых приборов природы»,^[150] но не более.

Мне немного начал надоедать этот спор; я взглянула на Гулаб Лалл Синга. Тот сидел, нахмутив брови, не мешаясь до этого времени в разговор. Зная его презрение к современному материализму, мне захотелось втянуть и его в спор. Как бы поняв мою мысль, он тут же поспешил мне на помощь.

– Позвольте мне ответить вам за нашу гостью, пандит саиб. Я прочел упоминаемую вами статью очень недавно, и у меня, может быть, сохранились свежее в памяти ученые софизмы Гексли; я готов привести вам самые резкие из них. Действительно, Гексли называет человека «автоматом» и «часовым прибором природы»... Но дело не в самом выражении, а в том, успел ли он доказать то, что говорит? Я говорю и докажу, что не только не успел, но что он самым ребяческим образом противоречит своим словам...

«*Ринсе-пез*» просто подскочил при таком кощунстве против науки.

– Как? где?... великий Гексли противоречит себе?... Укажите и объясните...

– Если позволите, объясню и укажу, и, право, это не будет стоить большого труда. Вы забываете, что, сокрушив достоинство человека эпитетом «автомата», быть может из сожаления к незрелой до его великих идей публике, к маленьким слабостям меньшей и неученой братии, то есть тех, которые (говоря языком Герберта Спенсера) «не успевают за современным быстрым движением завоевателей на почве естественной истории и поэтому отстают от физических наук», – Гексли тут же снисходительно добавляет нечто весьма странное. Называя человека «автоматом», он между тем великодушно допускает, что эта машина «одарена до известной степени свободной волей, так как во многих случаях человек способен поступать согласно с собственными желаниями...».^[151] Не так ли, если помните?

– Кажется, так... – смущенно заявляет pinse-nez.

– А если так, то мы должны думать, что эта оговорка является лишь ради общего предрассудка и подносится профессором публике в виде сахара на горькой пилюле; потому что ведь иначе выходит, что наш Гексли, величайший из современных ученых, просто противоречит сам себе... И однако даже и вы должны согласиться, что человек одарен свободною волей?...

– Конечно. Но в чем же вы видите тут такое великое противоречие?

– Неужели же вам не совершенно ясно, что этим добавлением, этой, по-видимому, простой оговоркой Гексли, вроде японского самоубийцы, сам накладывает на себя, как и на свою теорию, руки, и что так ловко придуманное им выражение «автомат» является через эту несчастную для него оговорку чистой нелепостью?... Сперва, по его уверению, человек в буквальном смысле, и не менее лягушки и кролика, есть не что иное, как условие, влияющее на течение дел (*Phisycal Basis of Life*). В итоге получается то, что человек остается, после этого ученого объяснения, тем же, чем всегда был, то есть *мыслящим и одаренным свободной волей существом*. Этот одаренный свободной волей «автомат» является интересной и, конечно, неожиданной новостью в области физических наук, как заметил его оппонент д-р Элам. Потому что ведь ни скептику, ни верующему никогда не может придти в голову, что свободная воля есть что-либо иное, кроме простого свойства поступать по собственной воле!.. Таким образом «автомат» рассыпается в прах, и мы видим, что Гексли недурно было бы поучиться логике у нашего Канады и других философов, которых вы так презираете.

– Прекрасно... положим, что в этом вы правы... – бормотал огорошенный магистр. – Но вот возьмем другой пример... Тиндаля, который говорит существенно то же самое: «Материя и только одна материя содержит в себе все обещания, все могущество земного бытия!», объявлял он в 1874 г. перед отборнейшей и учнейшей публикой в мире, на Белфастском собрании. Это счастливое выражение: «In matter I discern the promise and potency of all terrestrial life», вызвав на Тиндаля злобу всех отсталых фантазеров, облетело теперь весь свет... оно сделалось настоящим лозунгом физики!..

– Но совершенно напрасно привело в трепет ужаса весь верующий мир, – можете добавить. Подобно Гексли, Тиндаль в другой лекции сам опровергает свое «счастливое выражение». Не угодно ли вам заглянуть в его *Scientific Materialism*, ответ на критику (д-р Мартино) этого самого, поднявшего мир на дыбы, выражения. Там он совершенно ясно сознается в том, что наше внутреннее «сознание» (*consciousness*) принадлежит «совершенно к другому классу явлений, соотношение коего с физической наукой *немыслимо*», и тут же, разделяя явления природы уже на два, а не на один класс, почтенный материалист начинает рассуждать о той (между обоими классами) бездне, перешагнуть которую невозможно и которая так и «останется навеки *непроходимой* в умственном смысле (*intellectually impossible*)...» Где же оно теперь? Куда девалось это пресловутое всемогущество его материи?...

Пандиты переглядывались. Видно было, что нашла коса на камень. Слышать, как двух таких патриархов науки, каковы Гексли и Тиндаль, обвиняют в том, что они сами еще не знают, чему желают учить других, и не быть в состоянии заступиться за этих пророков положительных наук, и грустно и обидно. Наша партия торжествовала...

– А теперь, – продолжал такур, – позвольте и мне, в свою очередь, цитировать слова другого не менее ученого и столь же известного, как и те два ученые, натуралиста, – в подтверждение шаткости их теорий. Вспомните, что говорит Дюбуа-Реймон о явлении сознания: «Совершенно и навеки остается непостижимым, чтобы данное количество атомов углерода, водорода, азота и кислорода могли являться науке иначе, как безусловно пассивными (*indifferent*) к своему положению и движениям и это – в прошлом, настоящем, как и в будущем». Эти слова, вдобавок, цитируются самим же Тиндалем.^[152] И к ним уже в собственных словах он добавляет

следующее: «Непрерывность (continuity) между молекулярными процессами и явлениями сознания... скала, на которой материализму суждено неминуемо разбиваться при каждой его претензии считаться полной философией человеческого мышления»... И несмотря на такое полное сознание в одной статье, он в другой статье «О научном материализме» (стр. 419), не запинаясь, рассуждает об «отношениях физики к сознанию», как о чем-то «неизменном» и положительном...

– В этом его поддерживают все другие авторитеты науки... – уже робко ввернули слово пандиты, – и Вирхов тоже...

– Далеко не все, – перебил полковник спорщиков, – а только некоторые, да и те в умеренном числе.

– И, право, требуется не более самого поверхностного знакомства с физиологией и патологией, – добавил Гулаб Лалл Синг, – чтобы придти к убеждению, что не только «неизменного», но даже и исключительного отношения очень мало найдется между чистой физикой и даже физиологией, а не только между чисто психическими явлениями... Что же касается Вирхова, то он, отделив «Антропогению» Геккеля, в то же время (хотя и косвенно) отделил и тех, кто так горячо поддерживал это сочинение при его появлении.

– Очень жаль, – буркнул пандит в ринсе-пез, – потому что в таком случае Вирхов идет против авторитета одного из величайших мыслителей своей родины, именно против Бюхнера. А ведь сам же Бюхнер говорит в «Kraft und Stoff» (стр. XXVII. Предисловие): «натуралисты все давно доказали, что за исключением сил физической, химической и механической, нет других сил в природе».

– Не сомневаюсь, что Бюхнер это говорит, как и в том, что у вас отличная память, – насмешливо ответил такур. – Да то ли еще он говорит! Вот, например, он как бы повторяет слова нашего Ману: «Материя – начало всего существующего; все естественные и умственные силы природы присущи ей (стр. 32). Природа всезарождающая и всепожирающая есть собственное начало и конец, рождение и смерть. Она произвела человека собственным могуществом и берет его к себе назад...» (стр. 88). Но Ману, говоря то же самое,^[153] одним простым заявлением, что все *видимое* зарождается от *невидимой*, но *сознательной* силы, стоит в отношении логики, как и философии, стократ выше всех Бюхнеров прошлых и будущих. Что некоторые естественники и так называемые философы *уверяют* нас, будто кроме этой тройной материальной силы нет других сил в природе, то это всякому известно. Но чтоб они когда-либо доказали свои гипотезы прямым подтверждением науки, это я положительно отвергаю...

– Но неужели же нам в XIX столетии предпочитать Бюхнеру и Гексли – Ману?

– Если Ману в сущности учит тому же, что и западные современные ученые, так почему бы и нет? Вы не можете не согласиться, что Ману *предупреждает* в своем учении почти все то, что проповедуют теперь свету гг. эволюционисты – «апостолы разума», выдавая свои теории за нечто совершенно новое. Если же Ману успевает еще и в том, на чем обрываются эти апостолы материи, и поэтому отрицают оное, то есть если он логически доказывает необходимость связи между духом и материей и устами Патанджали^[154] подтверждает эту связь экспериментальными демонстрациями над самой двойкой природой человека – этого высшего тайника духа и материи – то я положительно утверждаю, что Ману стоит несравненно выше современной науки, по крайней мере во всем касающемся как чисто духовной природы, так и физиологии человека.

– Вы нам, кажется, советуете вернуться к идолопоклонству? – последовал иронически вопрос.

– Нисколько. Наши древние философы никогда не учили нас поклоняться идолам. К тому же и советовать вам это было бы напрасно, когда вы и без того воздаете честь Вишну и Шиве и другим богам, до сих пор еще не стерев их знаков с вашего лица... Если раз уж вы решили

откинуть все обычаи старины, то почему же вы не расстаетесь и с этими языческими знаками?

– Это... это обычай касты... и не имеет ничего общего с верой в идолов, – бормотали переконфуженные пандиты.

– Как не имеет? Неужели вы забыли или никогда и не знали, что касты, по учению браминов, основаны самими богами; что боги первые подчиняются касте, и лица идолов украшаются ежедневно каждое знаками своей особенной секты? – неумолимо преследовал их такур.

– Но ведь и наши лучшие философы, – спорили пандиты, – вероятно, носили эти знаки... Если мы верим Дарвину и Геккелю, то, быть может, лишь потому, что эти ученые дополняют и окончательно развивают материалистические воззрения Капилы и Ману. Санкья Капилы, например, не менее атеистическая философия, нежели Геккелевская *Антропогения*.

– Вы, вероятно, забыли учение Капилы... Там, где Геккель видит силу и творчество в одной материи, Капила считает немислимым что-либо приписывать *пракриту*^[155] без содействия *пуруши*.^[156] Он сравнивает их: «пракриту» с человеком со здоровыми ногами, но безглазого и безголового, а «пурушу» – с существом с глазами и мозгом, но без ног и движения. Для того чтобы мир мог развиваться и произвести наконец человека, *пуруша* (дух) должен был сесть на шею безголовой *пракриту* (материи), и только тогда она стала одарена сознанием жизни и помысла, а *пуруша* получил способность двигаться ее ногами и заявить о своем существовании. Если *пуруша* бессилён в своих заявлениях и есть как бы одна не существующая абстракция без помощи объективной формы *пракриту*, то последняя и того хуже. Без содействия духа и его оживотворяющего влияния она лишь куча безжизненного навоза...

Пандиты наконец ушли, унося с собой полное убеждение в том, что мы невежественные ретрограды.

– Ну, хороша же наша ученая «юная Индия»! – говорил полковник. – У меня положительно разболелась голова от их бредней...

– За это благодарите англичан, – отвечал такур, – а с нас несправедливо взыскивать за чужие грехи.

Мы снова в темных, душных вагонах. Через пять минут поезд с оглушающим грохотом промчит нас через длинный мост на Джумне, а через шесть часов мы будем в Канпуре, где Англо-Индия перевернула самую кровавую страницу своей истории. Нас провожают наши голоногие друзья пандиты в шитых золотом шаялях; к ним присоединились несколько бенгальских бабу, в белоснежных кисейных тогах и все до одного простоволосые. Такур уехал с Нараяном накануне приготовить для нас такое место, куда еще «никогда не ступала нога англичанина – и не ступит» (говорил он).

Все окна вагона с темно-зелеными стеклами, иначе пассажиры могли бы ослепнуть. Когда их спускают, то на их место поднимаются подвижные ставни из кускуса на шарнирах. Вделанные по обе стороны оконных рам в стенах вагона гидравлические машины при каждом повороте колес поезда обливают ставни водой, отчего они вертятся как вентиляторы в форточках и якобы пропускают рассекаемый поездом прохладный воздух. Но, увы! не отъехали мы и двух миль, как, пощупав ставень рукой, я чуть было не обожгла себе пальцы: вода на солнце сделалась совершенно горячей.

Накануне отъезда такур принес нам пучок свежих листьев и предложил попробовать их. Вкусом они напоминали щавель, оставляя во рту прохладное, как после мяты, ощущение. Он взял с нас формальное обещание держать по маленькому кусочку этих листьев во рту во все время переезда до Канпура и вообще днем во время жары. «Пока вы их будете жевать, как бетель, жара не будет иметь на вас вредного влияния (сказал он нам), и вам подчас даже будет слишком прохладно». И действительно, мы с тех пор будто не чувствовали зноя. Но нам не удалось уговорить У**** держать эту траву во рту, а мисс Б**** постоянно ее выплевывала, и оба чуть было не заболели. Искренно сожалею, что не имею права ни описать этого растения, ни послать его в Россию для исследования: индусы странный народ, и даже сам такур, лучший и благороднейший из всех нам известных индусов и наш преданнейший друг, не свободен от этих странностей. Он как будто скрывает познания своей родины, особенно такие, на которые современная наука взирает как на нечто сказочное. На наши вопросы: почему бы ему не обогатить и западную науку лишним открытием, столь полезным в этой знойной стране, он как-то загадочно улыбнулся, заметив, что эта трава растет только в Индии, да и то встречается весьма редко, и что всех де не спасешь. «Наука на Западе богата и без наших крох, и вы, которые у нас все взяли, оставьте нам хоть эти крохи», добавил он.

Канпур – место безо всякой истории и, пока англичане не избрали его в 1777 году передовым постом для своих гарнизонов в Индии, оно оставалось в полной неизвестности. Станция железной дороги находится за городом, и мы уже собирались взять две раззолоченные *гари* на волах, когда слуга такура объявил нам, что его *маха сааб* (великий господин) выслал нам европейский экипаж. Это был обитый ярко-пунцовым бархатом четырехместный ландо, с двумя висевшими позади, как две крупные капли крови, *саусами*, в красных с золотом кафтанах и таких же тюрбанах, и с четырьмя такими же саусами в ливреях, долговязыми и быстроногими скороходами, бежавшими впереди ландо. Прибавьте к этому четырех конных раджпутов, телохранителей Гулаб Лалл Синга, и вы поймете, почему народ, встречаясь с нами, чуть не бросался на землю пред таким ярким величием.

Первое бросившееся нам в глаза строение была пустая, из темно-красного кирпича, огромная церковь без окон и дверей, с высокой остроконечной колокольней. Это здание в продолжение с лишком трех недель служило слабой крепостью перерезанному впоследствии гарнизону, засевшему в нем по открытии мятежа 6 июня 1857 года.

Что было первой причиной этого кровавого мятежа? Европа читает репортажи англичан и воображает, что читает историю. Ей даже и в голову не приходит спросить, есть ли между многими историями бунта хоть одна написанная верно и беспристрастно. Индусов никогда и никто не спрашивал, сколько в показаниях их завоевателей истины, которая из двух сторон виновна в больших преступлениях и кто совершил более зверских жестокостей: образованный ли, гуманный европеец, или дикий, доведенный до исступления азиат? По этому поводу мы собирали факты не от одного, а от многих, отнюдь не сговорившихся между собой людей. Их показания в главных чертах согласуются вполне, поэтому мы и верим им более, нежели всем «историям» мятежа 1857 года, взятым вместе. «Смазанные свиным салом патроны», причина бунта мусульман, и «ремни из коровьей кожи», возмутившие индусов, – не что иное как последняя, переполнившая сосуд горечи капля...



Memorial monument над колодезем в Канпуре, где погребены сотни англичан – жертвы восстания 1857 г.

За несколько времени до мятежа, в Битхпуре, большом местечке на правом берегу Ганга, в 12 милях от Канпура, проживал индус из старинного и гордого рода, по имени Дундху Пунт, более известный под прозвищем Нана-Саиба. Он был усыновленным наследником последнего «пейшва» (царственного главы Махратской конфедерации) Баджи Рао и по смерти последнего получил в наследство все его поместья, сокровища и имения. Некоторые англичане, подбросившие, признаются в том, что этот молодой человек, двоюродный брат махараджи Синдхии, имел полное право ненавидеть правительство. Усыновленный в 1832 году, еще ребенком, Нана-Саиб вырос в полной уверенности, что он наследует титул и положение «пейшвы» – честь, в сущности, благодаря англичанам, более номинальная, чем действительная, но все же льстившая самолюбию того, кто имел на нее право. За пять лет до бунта старый Баджи Рао умер, а вслед за его смертью тогдашнее правительство лорда Дальгузи тотчас же и безо всякого повода объявило, что звание «пейшвы» упразднено и что принц Дундху наследует лишь частные поместья и собственность отца. Вследствие этого получаемый старым раджей пенсия был прекращен; армии приказано не отдавать чести наследнику, и даже несколько старых, давно

негодных артиллерийских орудий, великодушно оставленных свергнутому с престола принцу, которыми бедный узник тешился на старости лет, отняты у Нана-Саиба. В продолжение четырех с лишком лет юный принц разорялся в напрасных усилиях заставить директоров Компании отменить несправедливое решение. Вместо того чтобы твердо, но ласково обратить его внимание на тщетность его хлопот, дирекция показала ему на дверь, грозя отнять у него даже его частное наследие. Между тем у Нана-Саиба были две сестры, двенадцати и тринадцати лет, старшая красавица, и обе замужем. Поехав однажды с кормилицей и слугами на богомолье, они подверглись нападению пьяных офицеров, которые ворвались в передний двор пещерного храма, когда те только что сошли, раздетые, в священный танк, и... обесчестили обеих. Единогласное показание уверяет, будто Нана-Саиб убил обеих девочек собственной рукой и *по их же неотступной просьбе*; а убив, выпил по капле крови каждой и поклялся на ней отметить женам и дочерям англичан, или же умереть самому.

Можно наверное сказать, что Нана-Саибом, как и всеми главными заговорщиками, гораздо более руководило чувство мести и ненависти к англичанам, чем надежда на политический переворот. Конечно, если бы планы Нана-Саиба удались, то в Индии снова водворилась бы Могульская и Махратская империя. Но чувство ненасытной мести, страстное желание обесчестить Англию в лице ее знатнейших жен и дочерей, обесчестить так, чтобы (по словам передававшего нам эти подробности) «бесчестие это сделалось историческим, и предание страны воспевало бы справедливую месть Махратского принца до будущей *пралайи*», было главным и первым его побуждением.

Девизом Нана-Саиба сделалось изречение побежденной богини Виргилия. И действительно, он, по выражению его биографов, «выдвинул весь ад», созвав вдобавок всех демонов восточной мести к своим услугам...

Насолив ему со всех сторон, лишив его сначала сестер, а затем звания, почестей, пенсии, англичане с доверчивостью невинности и чистой совести, вследствие нескольких ловко придуманных и заданных им Нана-Саибом пиров, вообразили себе, что наследник «пейшвы» их величайший друг. Ежедневно ожидая, что сипаи его полка последуют примеру своих товарищей и взбунтуются, генерал Уиллер еще 26 мая вызвал Нана-Саиба из Битхпура «помочь ему успокоить сипаев и предупредить мятеж». Нана явился немедленно и привел с собою двести из своих пятисот вооруженных телохранителей и три или четыре оставшиеся у него пушки. Его назначили охранять казначейство, и он поселился в собственном доме в Навабгундже. Ему были известны все переговоры между гражданскими и военными властями, и он вместе с англичанами приготавливал «убежище» женщинам и детям...

Когда 6 июня взбунтовались сипаи и вместо того, чтобы, по обыкновению своему, перерезать офицеров, разграбили полковую кассу, а затем отправились по дороге к Дельхи, желая присоединиться к корпусу главных мятежников, то англичане, укрепившись в церкви и провиантских бараках, великодушно передали в руки клявшегося им в «вечной дружбе» Нана-Саиба арсенал, пороховой магазин, парк и все, что оставалось от казны, поручая своему «верному союзнику» защищать их от народа. Тогда Нана, сбросив наконец маску, вернул сипаев с дороги, и на другой же день, то есть 7 июня, открыл было по своим «друзьям» огонь, но тотчас же опять прекратил его: адская мысль озарила махрата. Смерть мгновенная и не дающая времени страдать – не наказание. Как кошка с мышью, принялся он играть со своими пленниками: он знал, сколько было в бараках провизии, и начал их морить голодом... Чрез две недели из 250 человек, вошедших в укрепление гарнизона, оставалось только 150, а из 380 женщин и детей наполовину менее. Трупы гнили почти на поверхности земли, пред глазами переживших. То была долгая страшная агония...

Вероятно, если бы Нана-Саибу посчастливилось, он не казнил бы женщин, ни детей,

которых, как известно, он оставил в живых до последней минуты своей власти. Но 15 июля, при Андуне, он проиграл сражение и должен был скрыться. В минуту безумного бешенства, в последнюю ночь своей власти и пребывания в Канпуре, он отмстил, говорят, за своих сестер: он впустил толпу опоенных опиумом и *багом* сипаев (мусульман и индусов) в дом, где содержались европейские женщины, за несколько часов до их смертной казни. Рассказывают также, что четверо мужчин, судья Торнгилл, полковник Смит и двое других, были нарочно оставлены в живых, дабы сделать их свидетелями этого национального бесчестия. На заре мужчин вытащили на улицу и зарезали, а также 250 женщин и детей. Тела их бросили в глубокий и знаменитый с тех пор «колодезь».

Продолжать повествование напрасно, ибо вся Европа знает остальное. Добавлю лишь некоторые подробности, о которых она никогда не слыхала. Когда Канпуром снова овладели англичане и в нем водворилась тишина, Нана-Саиба уже там не было: он исчез бесследно. Как известно, англичане долго показывали в железной клетке узника, которого, за неимением оригинала, хотели выдать за принца Дундху, но принуждены были, наконец, выпустить этого человека, так как вся Индия хохотала над этим. Между тем Нана-Саиб, говорят, жив, и до сих пор есть люди, еще не потерявшие надежды увидеть его в Индии. О пленниках же коллектор, полковник Шерер, рассказывает следующее:

«Подъехав к дому убийства и резни, мы нашли в нем на шесть вершков глубины запекшейся крови... Мы заглянули в колодезь, и пред нами мелькнула вся ужасная истина: спасти было уже некого. Пред нашими глазами открылась та ужасающая картина, при одной мысли о которой еще теперь в далекой Англии осиротевшие сердца обливаются кровью... Колодезь был глубок, но узок; заглянув в него, мы нашли его наполненным до краев мертвыми и совершенно нагими телами. Всех трупов насчитали 253».

Вот что рассказывает англичанин и очевидец. Но он умалчивает о том, как на другое утро сгоняли жителей Канпура и расстреливали *каждого десятого* человека; умалчивает о том, что, схватив между ними несколько сотен людей (вероятно, большей частью невинных), их заставляли *слизывать запекшуюся в комнатах кровь*; умалчивает о том, что эту кровь *слизывали*, не вставая, человек до пятисот в продолжение сорока восьми часов, что две трети из них умерли от рвоты, а остальную треть англичане добились прикладами; умалчивает, наконец, о том, что не несколькими десятками мятежников заряжали пушки (как уверяют английские рассказы), а что такую смертью погибло их *несколько тысяч*.

Лорд Каннинг приказал все *белые* трупы, не трогая их, оставить в колодце и засыпать землей и известью. Площадь превратили в сад, а над колодцем построили знаменитый «Memorial monument», памятник 1857 года.

Прямо с железной дороги мы поехали в этот сад. Сад тенист, наполнен кипарисами, плакучими ивами и другими превосходными растениями и цветами; но ни архитектура часовни, ни стены сада, ни самый памятник над колодцем не соответствуют ни великому трагическому событию, ни суммам, пожертвованным на исполнение задуманной Каннингом идеи. Статуя работы барона Марокетти и по его идее представляет «Ангела милосердия». Но почему это поза именно *милосердия*, а не чего-либо другого, определить трудно. По розовому полю, белыми рельефными буквами красуется вокруг всего подножия легенда мятежа. Легенда эта – чистый курьез. Она есть как бы соединение всех отборнейших, *непечатных* ругательств и проклятий язычников... Ограбленный, выгнанный из своих наследственных владений принц Дундху-Пунт (Нана-Саиб) предается в ней «огню вечному», как «раб презренный и мятежный, осмелившийся

взбунтоваться против законных властелинов избранного Богом народа». Англичане – «избранный Богом народ»! Вся симпатия, все глубокое сожаление к столь незаслуженному страданию, к этим погибшим мученической смертью несчастным детям и матерям, – все это исчезает при чтении непристойно ругательной, до приторности высокомерной, напыщенной эпитафии. Мученический прах, покоящийся под нею, забывается; остается пред глазами лишь высокомерная надпись, из которой так и бьет в нос фарисейство гордых и жестоких отцов, братьев, сыновей! Во всем саду между многими десятками надгробных надписей ни одной, положительно ни одной из Нового Завета. Дух древне-израильской нетерпимости, мстительности, дух заповеди: «око за око, зуб за зуб» деспотически царствует в этом саду смерти и пуританства. Но уж если так, то, соболезнуя о неповинных мертвых, нельзя в этой ужасной трагедии не видеть справедливого «закона возмездия»: «что посеешь, то и пожнешь», слышалось мне в шелесте каждой плакучей ивы над каждой могилой, в далеком журчанье ручья. Велики и ужасны прегрешения Нана-Саиба. Но кто осмелится утверждать, что его поступками не руководили кровавые слезы и стоны двухсотмиллионного населения, народа, попираемого ногами завоевателя, народа оплеванного, издыхающего с голоду сотнями тысяч в продолжение последнего долгого века? И поверят ли христиане-читатели, что чья-то рука начертила на множестве надгробных памятников следующее столь подходящее к святыне места размышление: «Оправдана гордость расы, кричащей вослед каждому азиату: *Nic niger est, hunc tu Romane, caveto*».

Милях в четырех от Канпура, на скалистом правом берегу Ганга, в темном и почти дремучем лесу, находятся замечательные руины. То остатки нескольких огромных древних городов, построенных один на развалинах другого. От последнего остались одни лишь колоссальные куски стен, бойниц, храмов, да развалины когда-то величественных дворцов, от которых там и сям уцелело по одной, много по две комнаты, скорее стены бывших покоев. Над этими стенами бедные поселяне начали устраивать крыши из листвы и селиться в них, пока мало-помалу не превратили древний город Джаджмоу в деревню. Но развалины тянутся на много миль, а новое поселение скучилось кое-как, оставив прочие руины в полное владение обезьянам. Об этих городах история (англичан) умалчивает, отвергая предания летописей Индии, что Джаджмоу стоит на месте родной сестры и соперницы своей Асгарты – города солнца. Асгарта, по словам древней летописи в Пуранах, построена сынами солнца, два века спустя по взятию царем Рамою острова Ланки, то есть за 5000 лет до Р. Х. по летосчислению браминов. А прошлое Джаджмоу, несколько раз разоренного набегами из-за Гималайских гор, совершенно неизвестно европейским историкам. Раз только упоминается этот таинственный, ныне «не помнящий родства», город, – это в автобиографии Бабура (Загир Эддин Магомета), могульского императора, жившего в начале XVI века. ^[157] В одной из его многочисленных кампаний против афганцев, последние искали убежища и пожелали укрепиться в древнем городе Джаджмоу, – пишет султан. Но Хумайюн, его сын, разбил их. Таким образом, эти развалины одно из многих мест, совершенно неизвестных англичанам ни в прошлом своем, ни, добавим, в настоящем.

Дорога к Джаджмоу – ужасная. Мы ехали на слонах, и только благодаря твердой поступи этих умных животных не полетели несколько раз в глубокие овраги, как и не повисли новыми Авессаломами за волоса на ветках. Тихо и осторожно ступали слоны по карнизам обрывов, останавливаясь перед каждым низко висящим сучком и раздробив его на щепки хоботом, прежде чем сделать хоть шаг далее. Собственно им, слонам, ветки и не мешали: но они уже так приучены и относятся к ездокам необычайно понятно. Мы ехали мили три по скалам и лесу, прежде чем доехали до первых развалин, и почти все время по узким тропинкам, по которым не проехать на быках даже и туземной скорлупе, называемой «эккой». Наконец, мы стали проходить перед жилыми зданиями, из одного оврага в другой, из ямы в провалы, и окончательно попав на что-то вроде широкой тропы, оглянулись вокруг. И оглянувшись – онемели! Ни одного человеческого существа кругом, но зато не было той развалины, куска стены или повалившейся колонны, на которой бы не восседало несколько десятков обезьян. Их было без преувеличения несколько тысяч. Жители жалуются, что они воруют у них последнюю провизию; что, как далеко ни припрятать просо или кукурузу, или какую-либо зелень, – эти лесные «дакоиты» непременно украдут ее ночью. И однако же ни в одну из них туземец не осмелится бросить камнем: то священные, как и всюду, обезьяны, «дэва-саабы», или в буквальном переводе «господа-боги». Жители умирают с голоду, зато мартышки жиреют.

У самой опушки леса протекает Ганг, и на правом его берегу еще доселе виднеются гигантские остатки мраморных ступеней, ширина коих как бы предназначалась, во времена оны, для великанов. Весь песчаный берег на протяжении многих миль, весь лес покрыты глубоко осевшими в землю обломками колонн, разбитыми резной работы пьедесталами, идолами и барельефами. Рисунок резьбы, архитектурные остатки, самый размер развалин представляют нечто грандиозное, неожиданное даже для тех, кто побывал в Пальмире и в египетском Мемфисе. Непонятно, почему эти развалины никем еще не описаны, тем более что они под

самыми стенами Канпура. В пространном сочинении «О территориях, приобретенных Ост-Индской компанией» сказано о них всего два слова. «Джаджмоу – бывший город, ныне деревня с пустым развалившимся базаром. Как говорят местные летописи, он построен на развалинах двух городов. Расстояние от Калькутты 620 миль, шир. 26° 26, долг. 80° 28». Вот и все! И однако же, под Джаджмоу похоронен древнейший город древней Индии... Для прямого доказательства его древности достаточно следующего примера. Немного лет тому назад, во время сильного урагана, несколько толстых и старых баньянов были сломлены грозой, а некоторые так и совсем вырваны с корнями. На концах последних были найдены куски изваянного мрамора, в которые корни совсем вросли. Стали копать глубже, и ярда на четыре под землей найдены вершины развалин громадных зданий. Но дело теперь не столько в этих зданиях, как в том, сколько веков потребовалось, во-первых, для такого наноса на берегах Ганга, чтоб уровень земли пришелся наконец не только в уровень зданий (некоторые из них в 300 ф. высоты), но даже покрыл их на четыре ярда землей; а во-вторых, сколько промежуточного времени прошло между этим событием и временем, когда ныне 1200-летние баньяны стали пускать корни в эту наносную землю? По концентрическим кругам стволов^[158] было доказано, что этим баньянам не менее двенадцати веков, а есть в лесу деревья старше и этих. Особенно одна группа этих *Ficus indica* поразила нас своим ростом, разве немногим менее знаменитого баньяна на берегу Нербудды, возле Броча и называемого в народе «Капир-Бар». Это последнее дерево – историческое. Ему было 700 лет уже тогда, когда Александр Македонский отдыхал под тенью его со всею своею армией. Теперь оно состоит из 356 толстых стволов и около 3000 меньших.

Мы кочевали в лесу целые три дня. Такуру были известны все закоулки и тропинки, и он сдержал свое слово. Он повел нас туда, куда действительно не заходила еще нога англичанина: в темное подземелье на глубине 110 с лишком футов под землей. Мы отправились туда до зари, когда еще все спали. Такур кроме нас взял с собою лишь одного Нараяна, да доверенного слугу, старого, седого раджпута, который сопровождал нас от самого Бомбея. У*** и мисс Б*** оставались в Джаджмоу с бабу и Мульджи, и даже не знали, когда и куда мы ушли. Это подземное путешествие осталось для меня, как и для полковника, самым интересным событием нашего путешествия – вероятно, вследствие его необычайной таинственности...

Более часу нам пришлось идти лесною чащей. Наконец мы вступили в узкое, заросшее кустарниками ущелье – не то природное, не то искусственное, разбирать было некогда. Впереди шел такур, за ним я, за мною Нараян, потом полковник со слугой раджпутом в замке. Пробираясь гуськом, мы шли в глубоком молчании, так как путь становился труден и было не до разговоров. Наконец мы стали спускаться по крутым извилистым ступенькам, у подошвы коих вышли на маленькую поляну. Направо у одинокой скалы стояла лачуга, в которую мы и вошли. Если не светло было в лесу, так как не совсем еще рассвело, то в этой мазанке, осененной густыми баньянами и прислоненной в упор к скале, которая таким образом служила ей задней стеной, царила полная темнота. Раджпут высек огня и зажег глухой фонарь, который и подал такуру. Тогда, взяв в одну руку фонарь, а другой мою руку, последний прошел со мной, как мне показалось, в этой египетской темноте прямо сквозь стену. Новость ли необычайного положения или просто следствие постоянно возбужденных нервов, но, признаюсь, при вступлении в эту неизвестную остальному миру подземную область меня стало сильно коробить; однако любопытство и стыд превозмогли, и я молча последовала за ним. Фонарь слабо освещал наш путь, бросая резкую полосу света лишь под самые ноги; кругом царила непроницаемая мгла, а меня неудержимо увлекала вперед мощная, одетая вся в белое фигура гиганта, лицо которого мне казалось теперь темнее самой ночи... Он быстро и не колеблясь шел вперед. Все молчали, и даже наши шаги беззвучно падали на ровный, мягкий грунт прохода, словно мы ступали по толстому ковру.

Вдруг такур остановился, крепко сжав мне руку.

– Чтò это?... Неужели вы в самом деле и серьезно... *трусите*? – неожиданно спросил от меня, презрительно подчеркивая последнее слово. – Рука ваша дрожит как в лихорадке!..

Я почувствовала, как вся кровь хлынула мне в лицо при этой *заслуженной* обиде; но сделала то, что всякий другой сделал бы на моем месте: внутренне «поднялась на дыбы» и попробовала оправдаться.

– Я не трушу... да и бояться мне нечего... – пробормотала я, чувствуя в темноте вперенный в меня взгляд Гулаб Синга. – Я просто устала...

– Жен-щи-на... – тихо и как бы про себя прошептал с какой-то снисходительной горечью в голосе такур, но пошел тише.

Не имея в руках достаточно веских доказательств противного и не отрицая этого нового как мне самой, так и моему полу оскорбления, я проглотила его и смолчала. Так шли мы четверть часа, если не долее, по ровной, немного покатою и мягкой дороге и, как мне казалось, необыкновенно высокому проходу; мой старый приятель не выпускал моей руки, полковник уже начинал громко пыхтеть, а я внутренне злилась на собственную слабость и посрамление. Но вот наконец такур снова остановился и, высоко подняв фонарь, разом открыл все его глухие стенки. Пред нами явилась гладкая и ровная стена из скалы. Ни одной трещины не было видно на ней.

– Вот взгляните, – обратился Гулаб Синг к полковнику, – и убедитесь, какие чудеса совершали наши механики-предки, незнакомые, по мнению европейцев, с науками. Держу пари на чтò угодно, что явись сюда все лучшие механики Запада, им никогда не открыть секрета этой... двери! Я вам теперь хочу доказать, что это – дверь, а не скала.

Наш любознательный президент, получивший когда-то медаль за лучшее сочинение о механике в Ранселаровском (Rensselaer) Технологическом Институте Трои (Нью-Йорк), стал зорко исследовать стену. Его старания увенчались полным *фиаско*. Ни постукиванье, ни ощупывание впадин ни к чему не привели. Между тем, пользуясь полным светом открытого фонаря, я разглядела местность. Род полукруглой комнаты, со скалистыми стенами и теряющимся на огромной высоте потолком; грунт словно усыпан черным порошком.

– Если верите мне на слово, – заметил наконец такур, терпеливо следивший за исследованиями полковника, – то я могу вас уверить, что этот ход прорыт и устроен много тысяч лет тому назад. Как видите, – добавил он, дотрагиваясь и напирая плечом на угол скалы, – «сыны Солнца» были хорошо знакомы с законом рычага и подъема, а также и с правилами центра тяжести еще до Архимеда. Иначе как бы они могли придумать вот это?...

И когда он напер сильнее и повернул какой-то незаметный в стене штифт, пред ним неслышно и тихо образовалось отверстие фута в два шириной и во весь его рост в высоту, – точно одна из новомодных дверей в американских домах, вся до замка ускользящая в стену. Но здесь дверной ручки не было; не видно было и продолбленной дверной стены...

Мы все вошли, и такур снова неуловимым движением и давлением на что-то задвинул стену. Невзирая на любопытство полковника и его бесконечные расспросы, он отказался выдать секрет прохода.

– Довольно того, что я доказываю вам, что эти тайные подземные ходы существуют уже много тысяч лет в Индии, – говорил он нам, – и еще более тысяч народа нашли здесь в разные времена спасение через тех, кто посвящен в тайну их существования. Теперь таких уже немного осталось, – добавил он, как мае послышалось, с нотой грусти в голосе. – И не успели они спасти против ее воли одну из храбрейших, благороднейших женщин Индии, последнюю из великих героинь нашей «матери!»... ^[159] Чрез несколько минут мы сядем отдохнуть, и тогда я вам расскажу эпизод из последнего мятежа. В Европе он почти, если не совсем, неизвестен...

Теперь мы шли по широкому, высокому коридору со сводом. По всей вероятности,

последний сообщался, так или иначе, с поверхностью земли, ибо воздух в подземелье, хотя и немного сырой, был однако же чистый, невзирая на его 140 футов глубины под землей. Впрочем, дорога шла все время покато, немного под гору, и только к концу третьего коридора из пещеры, которую тотчас опишу, шла незаметно в гору. Очевидно, часть этих проходов была уже подземельем в то время, когда Асгарта еще находилась в числе других городов, процветая на земной поверхности. По обеим сторонам коридора нам попадались бездверные отверстия, продолговатые квадраты, ведущие в другие боковые ходы; но такур нас туда не водил, заметив только, что они ведут в жилья, т. е. иногда *занимаемые* покои. Что подземелье посещалось еще весьма недавно, в этом мне служила порукой находка старого измятого конверта, с какими-то иероглифическими знаками, но совершенно современного покроя и с клеем под запечатанную сторону. Весь этот проход, то есть коридоры, насколько мы могли судить, длиной верст в пять или шесть. Пройдя мили три, считая от потаенной двери, т. е. почти на середине между двумя ходами, мы очутились в природной и огромной пещере, с небольшим озером в центре и искусственными вырубленными из скал скамьями кругом бассейна. В воде, посреди озера, стоял высокий гранитный столб, с пирамидальной верхушкой и толстой заржавленной цепью, обмотанной вокруг него. Уже идя по коридору, мы замечали, что временами темнота почти рассеивалась и слабый, словно сумеречный свет озарял нас в такие минуты сверху; в пещере же – вероятно самая низкая местность подземелья – было темно, как в Гизехской пирамиде. Но тут такур приготовил нам сюрприз. Он дал старому раджпуту приказание на непонятном для нас диалекте, и тот, словно снабженный глазами кошки, тотчас отправился куда-то в темноте, пошарил в углу и тут же начал зажигать один за другим факелы, вставляя их в приделанные к стенам железные кольца. Скоро вся пещера осветилась ярким блеском. Тогда, уставшие и крепко проголодавшиеся, мы разместились на окраине озера и принялись за корзину с провизией.

А теперь постараюсь вкратце рассказать историю как пещеры, так и обещанный такуром эпизод из мятежа 1857 года. Последний принадлежит прямо к истории, хотя англичане и старались исказить его, как исказили и даже *скрыли* многие из фактов этой позорной для них эпохи. Услыхав о нем впервые от Гулаб Лалл Синга, мы впоследствии узнали касающиеся этого случая интересные подробности от многих старых индусов, из коих некоторые были даже очевидцами в этом деле; а в одном случае и от англичанина, старого англо-индусского офицера.

О древнем городе Асгарте и его печальном конце *Пураны* рассказывают следующую легенду. Судаса-риши был священным главой духовенства «брахматмой», ^[160] а его брат Агасти – махан-кшатрией (великим царем-воином) Асгарты. В отсутствие обоих, царством управляла махарани (великая царица), бывшая некогда *кумарикой* (Девой Солнца) во храме *Сурья-Нари* (Солнца-Природы). Ее красота пленила царя; и вот в самый момент ее приношения себя в жертву на алтаре огня (то есть религиозного самосожжения), он, воспользовавшись древним обычаем, дававшим право царям спасать индийских весталок от смерти, потребовал ее к себе в жены. До него уже раз явился другой претендент на ее руку, царь Гимавата, но она отказалась от предложения, предпочитая смерть в пламенных объятиях супруга-бога, священного огня. Оскорбленный за-гималайский царь поклялся отомстить. Много лет спустя, когда Агасти-царь был на войне в Ланке (Цейлоне), его побежденный соперник, воспользовавшись его отсутствием с войсками, сделал набег на Асгарту. Царица защищала свой город с храбростью отчаяния; но наконец он был взят приступом. Тогда, собрав всех «дев Сурьи» из храмов, жен и дочерей своих подданных и собственных детей, всего 69000 женщин, включая *кумарик*, царица заперлась в громадных подземельях храма Сурьи-Нари и, приказав построить священные костры вдоль всего подземелья, сожглась на них вместе с другими женщинами и всеми сокровищами города, предоставляя в распоряжение победителей лишь пустые здания.

Вернулся царь и, найдя на месте дворца, царицы и детей лишь пепел, бросился догонять

победоносную армию. Настигнув ее, он разбил ее совершенно и, захватив вместе с царем ее 11000 пленных, вернулся к развалинам Асгарты. Здесь он заставил пленных выстроить на пепелище погибшего новый и еще более богатый город, и затем, когда он был окончен, соорудить посреди города, пред храмом Нары, костер, способный вместить в себе 11000 человек. На нем и гимаватский царь, и его воины, среди проклятий и поруганий со стороны всего народа Асгарты, были сожжены живыми в отмщение за погибшую царицу.

По преданию и древним летописям, уже пройденное нами подземелье, как и то, которое нам оставалось пройти, по другую сторону пещер, есть то самое подземелье храма, в котором сожглась царица. Этот мягкий грунт, принятый мною за черный и мельчайший песок, есть пепел 69000 женщин и кумарик, то есть девственниц!

Мы вышли из пещеры другим коридором, и этот узкий проход повел нас в гору. Дорога шла отлого; ноги также утопали, как и в первом, словно в мягком ковре. Наконец, круто повернув вправо, она привела нас к такой же глухой стене, как и первая. Единственная между двумя разница состояла в том, что запиравшая отверстие скала, вместо того чтоб уходить в боковую стену, при открытии опускалась вниз, оставляя низкую, фута в полтора, стенку, которую нам и пришлось перешагнуть. За этой стеной в небольшой пещере находится глубокий колодезь. Здесь кругом нас, на 16 миль в квадрате, погребены развалины давно усопшего города Асгарты.

Чтобы выбраться снова на землю, нам пришлось всходить три раза сряду по бесчисленным ступеням. Еще нечто вроде двери – камень между двумя скалами, поворачивающийся на чем-то неизвестном мне, – и мы снова в какой-то пещере; свет, хотя и слабый, ослепляет нас после восьми часов темноты. Выйдя на чистый воздух, мы почувствовали, как должен чувствовать себя человек, вышедший из прохладного погреба и залезший в духовую печь. Жара стояла невыносимая. Все спало в лесу и, кроме неумолкаемой трескотни кузнечиков, не слышно было ни шороха. Даже обезьяны дремали в листве... Был полдень, и нам приходилось, под страхом апоплексии, выжидать в тени, пока не спадет полуденный зной. Шагах в десяти стоял старый разрушенный храм, от которого остался один *гопарам*, ворота с комнатой или двумя внутри здания. Там мы скрылись от этого ужасного, невыносимого зноя, спугнув по дороге сотни разноцветных попугаев, сверкавших словно подвижная радуга пред нами своими блестящими крыльями на солнце...

Мы вернулись на кочевку к вечернему чаю.

Говорить подробнее о подземном путешествии не приходится по многим причинам, из коих главная та, что эта местность совершенно никому неизвестна; да и многое из виденного и слышанного нами так странно, что, вероятно, у меня не достало бы и слов для более точного описания. Есть и другие подземелья, например в Амбере, возле Джайпура, в которых не был еще, кроме нас, ни один европеец, также подземный, ведущий далеко под море ход из Элефанты, где, забравшись мили на две в его глубину, мы чуть было не задохлись, вместе с сопровождавшими нас парсами. Но про эти ходы известно и англичанам, хотя никто из последних еще не посещал их. Про подземелья же в Джаджмоу, к удивлению своему, сколько я ни расспрашивала англичан, никто ничего не знает. Недаром наш друг такур, взявший с нас честное слово никогда не намекать о дороге, ведущей к ним, так спокоен насчет их открытия англичанами. Индусы – народ скрытный и загадочный вообще; [\[161\]](#) а изо всех индусов такур загадочнее всех их, взятых вместе. Недавно, собираясь описывать эту поездку, спрашиваю его:

– Вы ничего не имеете против моего описания для русской публики вашего подземелья в Джаджмоу?

– Ровно ничего, – говорит, – коли надеетесь на свою память.

– В памяти я уверена. Но вы говорили, что англичанам самое даже существование этого места неизвестно? А если они, которые с жадностью читают все русские газеты, немедленно

переводя все сколько-нибудь касающееся Индии и вообще Азии, прочтут мое описание да примут к сведению?

– Что ж из этого? Пусть принимают.

– А если пойдут искать, да и отыщут его?

Гулаб Синг как-то странно прищурился и посмотрел на меня не то пытливо, не то немного презрительно.

– Что же в моих словах такого странного? Кажется, предположение весьма естественное?

– Весьма... – подчеркнул такур, – только с точки зрения европейцев, а не с нашей. Извиняясь заранее в смелости, осмеливаюсь предположить, что я, быть может, немного более вас изучил не только англичан, но и человеческую природу вообще. А, изучив ее, скажу вам наперед следующее: девять шансов из десяти, что, прочитав это описание, всякий англичанин примет ваш рассказ за сочиненную вами сказку. Они народ слишком гордый и чванный, чтобы допустить, что есть такие места в их владениях, о которых они еще никогда не слышали и куда не ставили еще своих часовых...

– Ну, а если билет вынетя, как нарочно, с *десятым* номером... что тогда?

– Тогда они пойдут на поиски и – ничего не отыщут.

– Да как же вы можете так наверное ручаться?... Ведь подземелье существует... Не исчезло же оно с лица земли?...

– Именно потому, что оно существует в действительности, они и не найдут его. Вот если бы вы выдумали его, то они нашли бы его непременно, если бы даже им пришлось для того прорыть его самим... Они бы сделали это, хоть бы для того, чтобы задать нам, туземцам, острастку и вместе показать дома – вот какие мы в Индии тонкие молодцы: ничто не ускользает от нашего всевидящего ока!.. Ведь сочиняли же они подложные политические корреспонденции и ловили мнимых политических преступников, подкупая для этого воров из острога; и все это только для того, чтоб оправдать ими же сочиненные и посланные самим себе доносы...

– Последнее предположение. Они, то есть все власти и их шпионы, знают, что вы были с нами в Канпуре и Джаджмоу... Ведь я опишу дело, как оно было... Если они пристанут к вам показать им, где это подземелье, – извините меня, – если они вздумают *заставить вас* открыть им эту тайну... что вы тогда станете делать?...

Такур засмеялся тем тихим, неслышным смехом, от которого меня всегда бросало и в жар и в холод.

– Успокойтесь, этого никогда быть не может. Но в случае, если б они вздумали «приставать», то предупреждаю вас наперед, что вы, а не я увидите себя в фальшивом положении. Поверьте, что я даже и слова не вымолвлю в таком случае, а предоставлю защиту коллектору моего округа и всем знающим меня жителям. А коллектор мистер В. донесет, что *с 15 марта по 3 мая 1879 я не выезжал из своего «раджа» и что он посещал меня два раза в неделю*, а жители, между прочим все англичане, подтвердят это...

С этими словами он встал и, сев на свою лошадь, простился и уехал, бросив мне на прощание следующее немного насмешливое замечание.

– Почем вы знаете... быть может, у меня есть брат *близнец*, о котором миру так же мало известно, как и о подземелье?... Вот запишите и это; не то и ваши земляки примут вас, вместе со всем нашим Теософическим Обществом, за дополненное издание барона Мюнхгаузена.

И наверное примут.

Подобное событие уже раз случилось с такуром. Его все видели в Пуне, где он открыто показывался в продолжение целого месяца. Когда же его захотели замешать в одно политическое дело, коллектор, магистрат и два *миссионера* показали, что Гулаб Лалл Синг не выезжал из своего поместья более шести месяцев. Заявляю факт, отказываясь, как и всегда,

объяснить его. Еще не прошло и года, как оно случилось.

И вот мы в Дели – великом граде могулов. Если другие города и места Индии держали нас, словно очарованных, под влиянием волшебного сна с его мимолетными грезами о всем, что когда-либо являлось прелестного в архитектуре, то Дели остался навеки запечатленным в наших воспоминаниях как воплощение на вид несокрушимого и все же побежденного гиганта, уснувшего Самсона, оставившего свои густые пряди в руках предательской Далилы. Нигде во всей разоренной Индии не найдете вы стольких свидетельств о могуществе мусульманской империи, нигде не почувствуете себя столь вынужденными с благоговением преклониться перед памятью великих мастеров, создавших «Надир-Шах Моск», башню Кутаб, дворец Делийский, а главное, *Тадж-Махал* в Агре.

Дели вынырнул перед нами из-за пригорка, за несколько минут до солнечного заката, и мигом вызвал во мне воспоминание о золото-жемчужной столице Магометова рая, по рассказам Пророка. Во время одной из своих духовных экскурсий в эту вновь открытую им небесную область поэт-пророк имел случай видеть и подробно описать нам одного ангела, нижняя половина тела коего состояла из пламени, а верхняя из прозрачного льда: оба враждебные друг другу элемента превосходно уживались, нисколько не вредя друг другу. При первом взгляде на древнюю столицу Шах-Джагана мне припомнился образ этого ангела. Предположив, что Магомет пророчески узрел Дели в далеком будущем и при таком солнечном закате, его «огне-ледяной» ангел является лишь восточной и весьма верной метафорой этого города. Залитая багрово-золотистым пламенем заходящего солнца, вся нижняя часть дворцов, мечетей, минаретов Дели, построенная без исключения из красного песчаника, казалась громадным горящим костром, из недр которого высоко воздымалась, теряясь в прозрачной и уже потухающей синеве вечернего воздуха, верхняя часть строений – глыбы ослепительной белизны мраморных куполов, минаретов, башен... А надо всем этим, словно туловище и голова «ангела», водруженная на скалистом пригорке, столь высоком, что платформа, на которой она построена, стоит на 30 с лишком футов над уровнем самых высоких крыш Дели – возвышалась Джумма-Мусжид, главная мечеть города. С ее лесом башен, стенных зубцов и минаретов, над полосатой из черного и белого мрамора головой о трех куполах, эта мечеть – самая замечательная по своей оригинальности, если не по красоте, в Индии.^[162] Зрелище было величественное и вырвало у всех нас единодушный крик удивления.

Древний город, на развалинах коего Шах-Джаган выстроил в XVII столетии Дели, назывался в истории Индии Индрапрештой, а затем Индерпутом. Основателем его был царь Юдхиштхира, смерть которого по древним летописям браминов последовала в 3101 году до Рождества Христова. До христианской эры история этой столицы покрыта непроницаемым мраком, среди которого изредка являются беглые проблески событий, историческая верность коих подтверждается историей других народов. Летопись Индерпута от самого его основания и до конца существует, конечно; но она в руках браминов и скрывается ими, как и многое другое, под тем предлогом, что пока будет продолжаться *калиюга* (черный период), арийцы не должны открывать своей истории «белым» врагам. А так как до конца этой и до начала будущей сатьяюги остается ждать 42721 год, то до тех пор наши ученые ориенталисты успеют и состариться, и не нашему поколению будут открыты великие тайны древней истории Индии. Европейские ученые мстят за это браминам, отвергая их показания и историческую достоверность даже того немногочисленного, что туземные историографы соглашаются им поведать... А что помимо их известно и принято всеми – может быть рассказано в нескольких словах. Даже это представляет необычайный интерес, благодаря словно сказочным событиям...

Ничто не может сравниться с прелестью не только заветных уголков и исторических памятников полуразрушенного Дели, но и вообще окрестностей и даже городского вала. Эти еще грозные на вид стены, осеняемые густою бахромой акаций и финиковых пальм, красноречиво напоминают туристу о прежнем их величии и о тех славных рыцарских временах, когда на укрепленных валах прохаживались часовые непобедимых султанов – Акбара и Аурангзеба. Теперь, обрамленные траурною тенью темной *сальвадоры*, остались одни разбросанные по гласису минареты могил, гробницы да одинокие памятники навеки уснувших героев... И долго не забыть нам унылой, таинственной долины Кутаба! По этой долине, растягиваясь беспрерывной полосой в семь миль ширины и более чем на тридцать миль в длину, вдоль берега Джумны, разбросаны развалины не одного, а *нескольких* древних и новейших городов. Это целая эпопея из гранита и мрамора, эпическая поэма славного прошлого бесчисленных поколений героев!.. От самого сада Шахлимара, у городских ворот, почти до полдороги к Агре, вся долина усеяна развалинами циклопических построек и разрушающимися зданиями более современной эпохи: когда-то грозных крепостей царей раджпутских; дворцов, мраморные стены коих точно изваяны руками фей; изразцовых башен, гранитных бастионов и странной, невиданной формы зданий. Вот обширные, как целые храмы, гробницы с гигантскими воротами и входными арками, словно пятимиллионная армия Ксеркса хоронила с военными почестями каждого покойника; разваленные обелиски – останки массивной Патанской архитектуры; уцелевшие комнаты от царских дворцов (ныне превращенных в хижины, в даровые квартиры парий), стены коих сооружены из кирпича, покрытого сплошь драгоценной эмалью и прелестнейшей мозаикой; древние золоченые купола, из трещин коих повырастали целые леса кактусов; куски стен – сквозных, как дорогое венецианское кружево, и развалины старинных языческих храмов, посвященных неизвестным богам, с жертвенниками, живопись которых доселе еще представляет ослепительно яркие цвета и свежесть будто вчера намазанных красок!.. Что ни шаг, то новая руина; куда ни взглянешь – опрокинутые стены, упавшие статуи, разбитые колонны... И среди этого чудного, диковинного мира как бы животрепещущих развалин царит и день и ночь мертвенная тишина. Что за дикая сцена запустения! Когда мы очутились в этой местности, нам почудилось, будто мы попали в сказочное царство «спящей красавицы»...

Обитель полного тления недаром зовется в народе Долиной Смерти. Ее избегает как пешеход, так и всадник: одни туристы рискуют еще вступать на проклятую почву. Ее когда-то великолепные чертоги повалились, мозаичные стены потрескались и стонут, задыхаясь в объятиях дикого кактуса. Только благодаря цепким ветвям этого растения они еще не совершенно рухнули, но стоят, словно приговоренные к смерти мученики...

Пять дней мы бродили по ним. Уходя из дома с рассветом, мы и завтракали и обедали среди этой обстановки прошлых веков, возвращаясь только к вечеру. Каким-то грустным, тоскливым чувством сжимается сердце при входе в эту пустынную долину, гробницу стольких поколений! Все кругом тихо, мертвенно, безмолвно... Ни малейшего звука не доносится даже с далеких городских стен, где угрюмо торчат среди памятников и минаретов тяжелые английские бастионы и где, следя за ними, точно вражьи глаза, чернеют на каждом из них по девять пушек, направленных на проходящих. Изредка лишь что-то шарахается под ногами, и встревоженный непривычными людскими шагами дикобраз, взъерошив иглы во все стороны и фыркая, как испуганная кошка, откатывается клубком в сторону; пролетит стая павлинов, затемняя на секунду дорогу и блестя дождем разноцветных искр; лань пугливо выглянет из-за темной зелени алоэ, да проскользнет в траве проворная ящерица, сверкая радужною спиной на солнце. Кругом ни единого отголоска. Разве только от времени до времени, среди этого тяжелого безмолвия, раздастся еле различаемый ухом шорох, а вслед за ним легкой стук как бы оторвавшегося камешка: то рука неумолимого времени непрестанно производит работу разрушения над

«Долиной Смерти», отрывая кирпич за кирпичом, камень за камнем от мозаичных стен древних чертогов: словно крупные мраморные слезы, роняют они на свои красные, как алая кровь, подножия. И падают они век за веком, пока, наконец, и чертоги, и самые стены не превратятся во прах...

По дороге, ведущей к долине Кутаба, на старом памятнике, у древней крепости Фероз-Шаха, я начертила карандашом известный стих Данте, надпись над воротами ада, как нельзя лучше подходящий к унылой долине и ведущему к ней пути...

Per me si va nella cittá dolente,
Per me si va nell' eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente... [\[163\]](#)

Целые города мавзолеев и саркофагов из драгоценнейшего мрамора – вот все, что осталось от некогда богатейшей из мусульманских империй! «Эти белеющие вдали памятники», – говорил мне недавно один более других откровенный англичанин-судья, – «положительно производят на меня какое-то нервное, непонятное чувство страха, когда я сижу один по вечерам на балконе... Точно армия покойников в белых саванах, пришедшая требовать отчета в судьбе своих потомков»...

Проехав мимо красивой мечети с целой рощей минаретов, заглядывающих целый день в прозрачные воды залива реки, мы остановились возле «Джуммы Мусжид», великой мечети. С трех сторон невероятно широкие мраморные ступени ведут к трем главным воротам. Это целое путешествие в гору; крыши всего города находятся под ногами туриста на последней ступени. Что касается центральных, четвертых ворот, обращенных к востоку, то они считаются до того священными, что к ним не дозволено даже и близко подходить. Эти трое ворот ведут во двор – сквер в 450 футов с открытыми аркадами, окруженный с трех сторон колоннадами красных столбцов и с большим мраморным бассейном посередине, наполняемым особенным механизмом из нескольких источников в долине. На западной стороне, обращенной к востоку, т. е. к Мекке, возвышается мечеть – «Красавица Востока». Весь фасад покрыт толстыми плитами из белого мрамора, а вдоль карниза расстилаются надписи – стихи из Корана, буквами из черного мрамора с золотом в четыре фута длины каждая. Три огромные белые купола исполосованы таким же черным мрамором, а высокие минареты – красным и белым. Каждая из башенок является чудом изящества.

Была пятница и к тому же какой-то праздник, и на дворе, способном вместить 12000 народа, толпились правоверные. Наши индусы не пошли с нами, а остались внизу у знакомого, одного из несметных кумовей бабу. Мы же оставались в самой мечети всего несколько минут, так как, к великому афронту [\[164\]](#) У***, его и полковника заставили разуться и, по их уверению, вследствие этой прогулки по холодным мраморным плитам оба схватили насморк.

В несколько сот шагов от городской стены находится обсерватория, громадная, как и все остальное. Как и несколько других обсерваторий и по тому же плану, она была выстроена знаменитым раджей Джайпурским, Джей Сингом, ученым астрономом и астрологом начала XVIII столетия, тем самым астрологом, что, по желанию императора Магомет-шаха, преобразовал местный календарь. Кроме громадных солнечных часов, мы нашли на этом пространном, как целая площадь, дворе «азимутовые круги», как их представил нам Гулаб Синг, какой-то удивительной формы столбы для измерения высот и тому подобные ужасные орудия астрономии. Весь этот двор завален и застроен кривыми стенами, каменными треугольниками со ступенями, ведущими в пустое пространство, странными геометрическими фигурами из

гранита «для местных астрологов», как мы узнали, и все это покрытое непонятными нам знаками, ужас наводящими абракадабрами, цифрами, среди которых один такур был как дома, а мы, бедные профаны, совершенно сконфузились и ушли домой с головною болью...

«Кутаб-Минар», башня в девяти милях от города, считается высочайшей колонной в нашем мире, даже и теперь, когда она глубоко осела и верхнюю часть ее отбило молнией. Эта колонна, в настоящее время 349 футов высоты, по местным преданиям служила придворным магикам для их приятельских совещаний с «планетарными» духами. Действительно, судя по высоте башни, можно с достоверностью предположить, что эти стихийные жители часто спотыкались об онаю и рвали себе крылья на ее острых зубцах. Быть может они для того и направили молнию, чтобы сокрушить последние?... От фундамента башня заостряется до верху, где, когда крышу еще не разгромило, уместались 12 магов, каждый с 12 фолиантами «заклинаний». Ее стены покрыты куфическими надписями и гигантскими буквами, выдолбленными на несколько футов глубины. Красная снизу до верху, высоко паря под облаками, «Кутаб-Минар» кажется издали каким-то чудовищным, кровавым восклицательным знаком, поставленным над «Долиной Смерти»...

Немного в стороне, распластавшись, как гриб, широко раскинутыми террасами, стоит особняком и под куполом пирамидальное, состоящее из четырех ярусов, замечательное строение. То «коллегия Акбара», знаменитая необычайной красотой своей резьбы и построенная им для сходок «мудрецов», нарочно приглашавшихся из всех стран света для «религиозных диспутов».^[165] Совершенно сквозное в нижней террасе, со стенами, покрытыми живописью, мозаикой, барельефами с инкрустациями всякого рода, нишами с выпуклою работой на золотом фоне и бесконечной вереницей геометрических узоров и надписей, это здание как бы служит великолепным преддверием к башне-великану...

Пять дней прошли как один день, и мы уезжали в тот вечер в Агру, древнюю столицу Акбара. Прощаясь, быть может навсегда, с долиной Кутаба, мы отправились отдохнуть в последний раз под тенью гигантской башни. Никто не знает, когда, кем и для чего именно она была построена. Черные мраморные полы четырех опоясывающих ее балкончиков покрыты теми же странными знаками, как и ступени ее внутренней витой лестницы. Ее четыре комнаты – одна в каждом ярусе – ведут чрез низкую дверь на наружную галерею, и находились охотники подниматься по ней. Но мы отказались от подобного путешествия под облака: мы все начинали чувствовать признаки болезни, которую можно было бы назвать «индигестией»^[166] руин». У нас начинали являться по ночам кошмары в виде башен, дворцов и храмов. Но такур отправился с Нараяном-Кришнарао наверх, оставив нас под покровительством тезки последнего, бабу Нараяна Дасс Сена.

Вероятно и наш махратский Геркулес увидал в таинственной башне нечто очень страшное, потому что, когда оба сошли чрез полчаса вниз, такур казался серьезнее и суровее, нежели когда-либо, а смуглые щеки Нараяна совсем сделались земляного цвета и губы его нервно дрожали.

– Смотрите, – шепнул вполголоса мисс Б. неудержимый бенгалец, – смотрите, бьюсь об заклад, что такур-саиб вызывал для Нараяна одного из своих предков... на бедняге лица нет!..

Что-то глубоко-страдальческое и вместе с тем зловещее блеснуло в черных глазах брамина... Но он тотчас же опустил глаза и, сделав видимое над собою усилие, смолчал...

Я хотела вмешаться и разом остановить неуместные поддразнивания бабу, но такур предупредил меня. Не переменяя разговора, он незаметно отвел наши мысли от этого щекотливого предмета, дав им совершенно другое направление...

– Ты прав, бабу, – задумчиво отвечал он, не обратив ни малейшего внимания на очевидную иронию бенгальца, – нет во всей Индии местности более подходящей к вызыванию памяти о событиях великого прошлого моих раджпутских предков, чем эта башня!.. Здесь, – продолжал

он, указывая на Дели, – полководцы и владетельные принцы Раджастхана были в конце XVII столетия в последний раз лишены престола по праву принадлежащего им царства, достоинства их отцов... Здесь фанатические, жестокие могулы, водворясь на троне, завоеванном ими лишь хитростью, перевернули произвольно последнюю, кровавую страницу истории великой независимой Индии!..

По обыкновению своему, такур, проводив нас до железной дороги, простился и обещал встретиться нас, *быть может*, в Агре, во всяком случае в Баратпуре. Мы расстались.

В дороге Нараян был неузнаваем и находился как бы под гнетом невыносимого бремени или печали. Бабу вертелся как бес пред заутреней; Мульджи по обыкновению молчал; а я думала, думала до одурения... Что такое происходит между такуром и Нараяном?... Что это за тайна... Кто знает!..

Как при нашем въезде в Дели, солнце и теперь садилось, утопая в расплавленном золоте облаков, а далеко на горизонте видится величественный «Кутаб-Минар», уже до половины окутанный в темно-фиолетовые ночные тени; верхняя часть башни еще горела как огненный столб в золотисто-оранжевом сиянии заходящего солнца...

Император Акбар, царь Соломон Индии, по великой премудрости своей, величайший как и любимейший из могульских повелителей Индии и единственный из них, память которого дорога наравне как магометанам, так и индусам. Последними он еще более, может быть, любим, так как всегда выказывал пристрастие к ним. Акбар Великолепный, Благословенный, Акбар-любимец богов и «Краса престола мира», вот прилагательные к его имени.

Акбар считался четвертым в поколении пророка Магомета; поэтому ему много и прощалось правоверными, хотя он много грешил против веры. Особенно оскорблял их император своими сомнениями и вечной погоней за *истиной*: «как будто вся божественная истина не сосредоточилась в нашем благословенном Пророке!» рассуждает один из его историков. Он имел страсть к изучению философии и питал глубокое благоговение к древним рукописям, назначая огромные премии за самые старинные летописи «шести великих вер Востока»: христианской, магометанской, иудейской и вер браминов, буддистов и парсов. Он почитал все шесть и не принадлежал ни к одной. Говорят, будто после него осталась кипа автографных рукописей и, чему еще труднее верится, будто они еще уцелели. Родившись в 1542 году, он умер в 1605, процарствовав около полустолетия. Не могу промолчать об одной странной, переданной мне истории – легенде, *быть может*, или просто вымышленной басне. Но так как она находится в тесной связи с историей России, совершенно совпадает с числами ее самых крупных исторических событий и называет одну известную русскую княжескую фамилию, то передаю, как слышала, продавая за то, за что сама купила.

Как и все в Индии, Акбар слепо верил в астрологию и магию. Еще будучи принцем, он пристрастился к одному белолицему юноше, в одно прекрасное утро таинственно приведенному к нему во дворец. Затем юноша исчез, и один принц знал, кто и где он. Но, по воле Акбара на престол, тот снова явился и совершенно завладел императором. Никто не знал его настоящего имени и откуда являлся оба раза таинственный чужеземец, хотя при дворе, где толпились сотни иностранцев, «мудрецы с Востока, Юга и Севера», никто не обратил сперва на юношу особенного внимания; но вскоре завистники стали коситься на него и подкапываться под царскую милость. Рассказывали, будто юноша, презренный раб, пленник с далекого Севера, был подарен Акбару латинским полководцем из Афганистана. Интрига против этого чужеземца достигла наконец того, что жизнь его стала не в безопасности. Император испугался, и юноша в одно прекрасное утро также таинственно и во второй раз исчез, как и появился. Острастки ради и в виде внушения, Акбар притворился, будто не знает, куда его фаворит пропал, приказал его врагам предстать перед свои грозные очи, и в то утро несколько голов свалилось с плеч. Только

через двенадцать лет человек еще молодой и в котором старожилы придворные, невзирая на перемену, скоро узнали пропавшего юношу, снова появился при дворе. Но возмужалый, важный и сосредоточенный, он был представлен самим императором всем придворным как ученый астролог и гуру (учитель), и двор повергся пред чужеземцем во прах на этот раз искренно и с сердечным трепетом, ибо слава молодого астролога предшествовала его появлению в Агре и о нем говорили шепотом и со сдержанным страхом. «Пандит Васишти Аджа́нубаху»^[167] изучал сокровенные науки – «джаду» и «йога-видью» (то есть черную и белую магию) у самих джиннов в недрах Гималаев, возле Бадрината, и сам великий император выбрал его своим гуру. Велик Аллах! Чужеземец обладает перстнем самого Сулимена (Соломона), владыки всех джиннов (духов). Правоверные, берегитесь оскорбить пандита!

Хроника уверяет, будто пандит Васишти Аджа́нубаху оставался при Акбаре до самой смерти последнего, а затем, хотя сам уже был в глубокой старости, неизвестно куда исчез. Уходя, он будто бы собрал своих учеников и сказал им следующие знаменательные слова: «Васишти Аджа́нубаху уходит и скоро исчезнет из этого дряхлого тела; но он не умрет, а появится в теле другого Аджа́нубаху, более великого и славного, который положит конец могульскому владычеству...^[168] Аджанубаху II отомстит за Аджа́нубаху I, отечество коего было унижено и разграблено ненавистными сынами лжепророка». Сказав эту святотатственную в глазах учеников речь – старый колдун исчез – «будь его имя проклято», набожно добавляет мусульманский автор.^[169]

Прошу читателя держать в памяти как подчеркнутую мною фразу, так и хронологию событий. Сделанное нами недавно открытие, быть может, и ничего не значит, но совпадения и имена многозначительны. Во всяком случае оно представляет более чем простой интерес для русских читателей. Легенд насчет пандита Васишти что деревьев в лесу дремучем; но я выбрала лишь ту, прямо относящуюся к делу. Что этот пандит был русский, взятый мальчиком в плен татарами во время победы Иоанна Грозного в 1552 над Золотой Ордой, при Казани, то это не представляет для меня теперь ни малейшего сомнения. А что касается вопроса: кто именно таков был этот легендарный «пандит», что он имел общего с княжескими русскими фамилиями, то предоставляю это на разрешение самих читателей. Наша песня еще впереди, и самое странное из этой странной истории еще не сказано, хотя, конечно, одно имя Аджа́нубаху ничего еще не значит. Это прозвище дается здесь вообще всем адептам «тайных наук». Народная молва уверяет, будто особа, предназначенная судьбой сделаться «владыкой тайных сил природы», рождается с весьма длинными руками... Возвращаюсь к истории.

Во время взятия Дели приступом в 1857-58 году, англичане ворвались наконец в город. Во время свалки и этой ужасной резни сипай хранитель сокровищ исчез, и о нем никогда не слышали более. Что случилось с сокровищами – не берусь сказать. Но ларчик с бумагами оставил по себе следы. По крайней мере, по рассказам, один из свитков пергамента находится у некоего воеводы Северо-Западных провинций. Рукописи написаны частью по-персидски, частью на языке хинди, и каждая бумага носит на себе собственную печать императора. Это заметки, записки, документы, кои в целом составляют как бы записную книжку императора Джеллал-Уддина Акбара. Узнала же я о существовании их и содержании одного из пергаментов следующим курьезным манером. Один из членов нашего Теософического Общества, близкий родственник обладающего таинственным свертком, пожелал узнать от меня, нет ли в числе русских княжеских фамилий имени и фамилии «Васишти Аджа́нубаху».

– Нет, никогда не слыхала, – говорю. – Есть у нас имя Василий, но не Васишти, а про «Аджанубаху» не слыхивала. Это что же за имя такое? Аджа́нубаху в переводе с санскритского, кажется, «длинные руки» (аджа́ну – длинные, баху – руки). Так прозывался Сиваджи, великий вождь махратов и основатель их царства? О нем, что ли, идет дело!..

– Нет, – говорит, – не совсем. Ну, а имя *Лонгиманус* есть в России?

– И того нет; а есть фамилия Долгоруких, если буквально перевести с латинского *Лонгиманус* и санскритского *Аджанубаху*.

– Ну вот и добрались, – замечает мне мой собеседник, – теперь для меня все ясно...

– А для меня так стало еще темнее!..

Тогда я узнала от него легенду о пандите Васиште и Акбаре и только что рассказанный мною эпизод при Дели. Записки Акбара интересовали его уже с давних пор. Хорошо знакомый с языками, он изучил заметки императора и, зная о легенде астролога Васишти в Агре, тотчас же смекнул, что одна из записей в них касается этого таинственного незнакомца. На все мои просьбы показать мне бумаги он должен был отказать мне, так как они хранятся в тайнике, известном одному их обладателю, старшему брату его. Но тут же обещал перевести слово в слово акбаровскую запись, которую он списал для себя. Он сдержал слово. Вот она, как была написана, по летосчислению мусульман, в 938 году хиджры.

Перевожу с английского перевода, сделанного из разбросанных заметок в документах Акбара.

Заметка 1-я. «В начале полнолуния, месяца морана 935 года (1557) приведен был из Гхэзни Патаном Асаф-Ханом, от „уламама“ (?), молодой *москов*. Взят и поработчен в Кипчак-Ханате (Золотая орда) при *деревне* Казани (?), в те дни, когда шейтан в образе московского царя, говорят, разбил ханов... Зовут молодого *москова* в переводе на наш язык *хинди* (то есть санскритский) Коср Васишта *Аджанубаху*,^[170] также – *Лонгиманус* на языке португалов *падри* (миссионеров). Он сын старшего косра (князя), убитого в Кипчак-Ханате... Васишта говорит так: «Язык свой, московский, знаю; также языки Ирана и Патана. Учился астрологии и *мудрости* в Гилане (при Каспийском море). Оттуда повезли меня опять в Иран, где служил царю Тамасту. Падишах рассердился за дурной сон и подарил меня Асаф-Хану. Хочу учиться премудрости *суфиев* и саманов... (вероятно *шраманов* или *шаманов*, буддистов)... и хочу получить *шаст* (цепь, но в этом смысле талисман) с Великим Именем на нем»... «Пусть учится». А далее: «Отослан в Кашмир».

Заметка 2-я... «Вернулся для совещаний, получил *Аллагу-Акбар*.^[171] Васишти отыскал Великое имя Хэ^[172] и посвящает суфиев благословенной Рабии». ^[173]

А в 968 году рукой, по-видимому, самого императора, приписано: «Велик Васишта *Аджанубаху*!.. В его руках и луна, и солнце. Он сбросил *таклид* (ошейник) обманчивых религий и нашел истинную мудрость суфиев, выраженную в следующем стансе:

«Как лампа, так и свет ее – *одно*,
Одни глупцы лишь зрят в кумире и его брамине
Отличные друг от друга два предмета»...^[174]

...

Так кончаются эти выписки. Кто такой был Васишта *Аджанубаху*, останется, вероятно, навеки неразгаданной проблемой. Если то был один из князей Долгоруких, взятый в плен татарами при Иоанне Грозном, то ведь должно же это событие быть упомянутым где-нибудь в летописях этой фамилии, если не в истории? Но что он был русским – это мне доказано тем, что в одной «странной на неизвестном языке строчке», по выражению нашего друга, *срисованной* им с пергамента, я увидела и узнала подпись имени «князя Василия»; она начертана старинными церковными буквами и неумелым почерком, как писали наши прадеды триста лет назад, и

подпись очень неясная; но как слово *кнез*, так и имя *Василий* могут быть сразу прочтены каждым русским.

Изумительны тайны твои, о седая, молчаливая древность! И чем более изучаем мы ее в Индии, тем тверже поселяется во мне непреодолимое убеждение, что как русские в частности, так и доисторическая Россия, Болгария и вообще все славянские народы теснее связаны с Арьявартой, нежели то известно истории или даже подозреваемо современными ориенталистами.

Не раз приходилось мне на этих страницах категорически заявлять, что я не имею ни малейшего притязания соперничать с учеными этнологами и филологами; но, невзирая на их авторитетные заключения, все же не могу удержаться, чтобы не противоречить им на каждом шагу, замечая, как часто и насколько их выводы, столь по-видимому логические и блестящие вне Индии, делаются слабыми и неправдоподобными для того, кто изучает страну на месте и принимает в соображение не только местные предания, но и гармоническое сочетание последних в отдаленнейших друг от друга пунктах страны. Вполне сознаю, что поступаю в этом случае в противность строгим научным принципам и выработанному новейшим языковедением методу; знаю, что, наострая уши при одних фонетических сходствах между языками, помимо всяких других соображений, грешу против основных правил этимологии, установленных строгими языковедами и безропотно принимаемых в Европе последователями их школ. Профессор Макс Мюллер имеет полное право смотреть на меня с презрительной насмешкой и даже называть мой слух «диким», а теории *unwissenschaftlich*,^[175] и все-таки, невзирая на этот жестокий урок (впрочем, счастливо пережитый мною), каждый раз, когда мне приходится в беседах наших с пандитами присутствовать при разговоре на санскритском языке или услышать из уст нашего уважаемого друга и союзника свами Дайананда^[176] его частое воззвание к ученику: «Дехи ме агни», то есть *дай мне огня*, то в неученой простоте духа своего не могу воздержаться, чтобы не воскликнуть: да это совсем по-русски!

Одна русская родственница моя, дама умная, образованная и весьма наблюдательная, хотя по-санскритски и неученая, недавно прислала мне следующее замечание в письме: «Ты, мать моя, пишет она, заступайся за брахманское *Тримурти* и фантазируй над сокровенным смыслом и началом одного сколько тебе угодно; а что твое *Тримурти* в русском переводе выходит просто *три морды*, так это уж несомненно». И она совершенно права, так как слово «мурти» по-санскритски значит *лицо* и *идол*; а «*Тримурти*» в буквальном переводе *три лика*, тройной образ Брахмы, Вишну и Шивы. Поэтому я не могу согласиться даже и с самим великим Максом Мюллером и сразу поверить ему, что «в немецком языке процент чисто санскритских слов гораздо более, нежели в славянском и русском».

Агра, как и разные другие города, построена на могилах многих предшественников. Настоящий ее вид самый плачевный. Грязь, вонь и ужасная, судя по наружному виду жилищ, нищета преобладают в мусульманских кварталах. Агра – преддверие в Раджастан, род лакейской, в которой «господа» не живут, но чрез которую они только случайно проходят. Англичане, как и во всех других городах, отделясь китайской стеной казарм и гордости от туземцев, живут совершенно обособленно.



Тадж-Махал

Но что за драгоценная жемчужина Тадж-Махал! Исчерпав все потоки красноречия в описаниях Дели, мне теперь приходится описывать это восьмое чудо света, и я чувствую себя совершенно неспособной исполнить подобную задачу. Если бы возможно было вызвать из таинственной области промелькнувшие на земле образы, о существовании которой нас учат алхимики и каббалисты, самые поэтические грезы Микеланджело, то, быть может, не выдавший Таджа в действительности успел бы создать себе подходящий к нему образ. Далеко ото всякого другого здания, окруженный прелестнейшим садом, Тадж-Махал стоит один в своей невыразимой красоте на берегу голубой Джумны, отражающей его чистый, горделивый облик... Это здание до такой степени совершенно в своих архитектурных размерах, очаровательно и закончено в исполнении малейших деталей, и вместе с тем величественно в своей простоте, что не знаешь, чему более удивляться – плану ли, работе или же материалу!..

Этот материал – массы самого дорогого белого мрамора, изредка перемешанного с черным и желтым, перламутра, мозаики, яшмы, агата, изумрудов, аквамарина, жемчуга и сотни других камней. Мы еле могли поверить, что Тадж – работа смертных, и были вполне готовы проглотить местную легенду, уверяющую правоверных, будто неутешный халиф был вознесен во время сна неким святым дервишем в райскую обитель Магомета, где сам Аллах повелел архангелу Гавриилу снять для него план одной из своих обителей. По этому плану и был выстроен Тадж-Махал над телом обожаемой супругом Мумтаз.

Взойдя на верхнюю площадку, в сорока шагах от вас, вы видите самый мавзолей, и просто замираете... Чувствуешь себя точно во сне: словно пред вашими глазами внезапно предстало видение из другого, лучшего, более чистого мира, и вы стараетесь опомниться, уверить себя, что вы наяву и что пред вами действительность, а не фантазия вашего воображения, греза из «Тысячи и одной ночи»!.. Корреспондент лондонской газеты «*Illustrated News*», известный в журнальном мире Симсон, живописец, архитектор и археолог, возвращаясь в прошлом году из Кабула в Англию, говорил мне, что он не взялся бы выстроить такого памятника за все бывшие сокровища Голконды. «Таких исполнителей нет более в нашем холодном, все-отрицающем веке», рассуждал современный артист. «Для одной отделки этой мраморной глыбы потребовались бы Фидий и Бенвенуто Челлини с Микеланджело им в подмогу»!.. Мнение это

нисколько не преувеличено.

Пред вами мраморный фасад величественного в своей изящной простоте храма. Стены совершенно белые и гладкие. Только под стрельчатой аркой, над широким портиком, извиваются затейливые, сквозные, словно окаменелое кружево, украшения из того же материала, представляющие цветы, фрукты и арабески; да над карнизом купола и вдоль боковых стен тянутся узким бордюром изречения из Корана огромными золотыми буквами. Из-под портика вход прямо во внутренность огромной залы в мавзолее, окруженной коридорами и приделами. Те же ослепительной белизны стены с панелями, покрытыми мозаикой – гирлянды прелестнейших цветов из драгоценных камней. Некоторые из них так натуральны, артист так верно копировал природу, что рука невольно приближается к ним, как бы желая удостовериться, что то дело одного искусства. Ветки белого жасмина из перламутра перевиваются с красным гранатовым цветком из сердолика и деликатными усиками виноградной лозы и жимолости; а нежные олеандры выглядывают из роскошной зелени листвы. Все это выложено по белому мрамору не микроскопической мозаикой флорентинцев, а восточной мозаикой Индии, т. е. кусками такой величины и формы, что они не портят цельности драгоценного камня. Каждый листик, каждый лепесток – отдельный изумруд, яхонт, жемчужина или топаз; и насчитываешь иногда таких камней до ста штук для одной веточки цветов, а подобных этой ветке – сотни на панелях и решетках! Таинственный полумрак парил в этой обители смерти, и мы с первого взгляда не различили, сколько сокровищ погребено вместе с царской четой. Принесенные факелы, ярко осветив панели, разом зажгли миллионы драгоценных искр, вырывая у нас невольные крики удивления.

Потолок под куполом, освещаемый дневным светом из решетчатых стрельчатых окон, вырезанных в цельном мраморе стен, густо покрыт такими же цветами и фруктами из разноцветных камней; только, вместо гладкой поверхности, мозаика выложена на мраморных украшениях рельефом, так что издали действительно скорее напоминает собой цветущую беседку из живых растений, нежели бездушный камень. Раз увидев Тадж, турист уже готов прочитать без улыбки красноречивый отзыв некоего набожного местного историка, оканчивающего свое описание мавзолея следующим наивным заявлением: «Нет никакого сомнения, что план этого перла^[177] Востока, которым мы, мусульмане Индии, так справедливо гордимся, был с самого своего начала предназначен великим Пророком, дабы внушить правоверным правильное понятие о благословенных райских обителях».

Прямо под сводом купола стоят два кенотафа, окруженные сквозной мраморной, как и все остальные, решеткой в шесть футов вышины, сверху донизу выложенною по узорам такими же драгоценными цветами и с бордюром, напоминающим цветы лилии. Резная работа до того мелка и изящна, что, невзирая на толщину решетки (в несколько дюймов), она представляет совершенное подобие кружева.

Осмотрев весь мавзолей, мы взобрались по витой лестнице на северный минарет и сидели, часа два, отдыхая в нем. Невозможно было оторваться от этой чудной картины. С минаретов окрестности Агры на иного миль кругом открываются, как на ладони. Разбросанные по обоим берегам извивающейся серебристой лентой Джумны виднеются великие памятники династии Тимура – крепости, дворцы, мечети, башни... Город с этой высоты теряет свой грязный вид и тонет в зелени кустов и деревьев.

Поселясь в двух шагах от Тадж-Махала, мы посещали его ежедневно.

Говорят, что после смерти его многолюбимой Мумтаз, идола души его, бедный халиф впал в глубокую меланхолию. Но вот явился святой дервиш и направил его мысли к сооружению умершей такого памятника, который удивил бы весь мир, обещая ему для этого покровительство Пророка. Дервиш сдержал слово. По первоначальному плану, халиф готовился выстроить и для

себя совершенно подобный этому мавзолей на противоположном берегу Джумны, соединив оба памятника мостом из белого мрамора. Но задолго еще до окончания Таджа император заболел и сам очутился у преддверия смерти. Тогда его четыре сына, дети Мумтаз, не дожидаясь его смерти, затеяли войну за престол. Аурангзеб остался победителем в этом почтительном сыновнем турнире и запер как трех братьев, так и собственного отца в Гвальйорскую крепость – род Бастилии Индии.

По смерти узника-отца Аурангзеб, как истый магометанин и почтительный сын, воздал всякую честь переставшему быть опасным родителю. Он похоронил его возле «Венца Серая» и окончил мавзолей на деньги перерезанных для этого случая богатых вельмож. Он даже пошел далее отца в бешеных издержках: соорудил пред настоящими воротами в сад другие ворота из *чистого серебра* с целыми главами Корана, вычеканенными на них и украшенными, как кубок Бенвенуто Челлини.

За последнее десятилетие могулов крепко колотили махраты, и бедные правоверные очень этим огорчались, тем более, что махраты действовали под предводительством непобедимого Сиваджи – декканского Ильи Муромца. Аджанубаху II, по пророчеству пандита Васишти, угрожал захватить в свои «длинные руки» все дотопе покоренные императором государства Индии^[178] и отомстить за *родину* Аджанубаха I. Вдруг Аурангзеб (буквально «краса престола») затрясся, как осиновый лист, и, вскочив, молча и с полными ужаса глазами, указал придворным в угол. Придворные ничего в углу не увидели, но все слышали, как раздался чей-то дряхлый, но громкий голос и слова «горе... горе великому дому Тимура! Пришел конец его величию!..» Император повалился без чувств. Он клялся, что видел тень своего предка Акбара, который и повторил это ужасное пророчество, уже раз произнесенное им, по преданию, на смертном одре...

С той минуты все царство пошло вверх дном и разорилось во прах. Аурангзеб умер в 1707, а с «красою престола» исчезло и все величие его династии.

«Великий храм» Сумната, индийского Озириса, бога, перед судом коего являются души умерших и от которого зависит их будущий образ по закону метемпсихоза, один из крупнейших и богатейших в Индии. Он находится в Гуджарате, на берегу Индийского океана. Во времена Махмуда при этой пагоде состояло 2000 жрецов, 500 танцовщиц (научей), 300 священных свирельщиков и 300 брадобреев. Узнав о его богатстве, султан решил заглянуть в него и поделиться добычей с богом. Войдя в храм, он увидел себя в просторной зале со сводом, поддерживаемым 56 серебряными колоннами и с золотыми богами по стенам. Приказав солдатам уложить божков в обоз, Махмуд подошел к великому идолу Сумната и без разговоров отбил ему нос. Тогда брамины попадали ему в ноги и молили пощадить их великое божество, предлагая ему за милость столь громадную сумму денег, что его визирь советовал ему принять предложение. Но султан был строгий магометанин и отверг предложение, за что и был вознагражден Пророком. Когда Сумната разбили на куски, то внутри его нашли несметное сокровище, состоящее из жемчуга и бриллиантов, на сумму вдесятеро бõльшую той, что предлагали брамины. Таким образом добродетель еще раз восторжествовала на земле.

Самый дворец, где был заключен Шах-Джаган, уже в развалинах, но от него мы прошли в *зенану* (гарем) через двор, где Тавернье видел и свое время ванну в 40 футов длины и 25 ширины из серого мрамора. Все стены бесчисленных комнат покрыты тысячами выпуклых зеркал на персидский манер; и здесь опять все из белого мрамора – крыши, колонны, столбы, стены... Отдельные прелестные павильоны висят, словно кружевные звезды, на своих красных пьедесталах, окруженные сквозными балкончиками, покрытые вьющимися растениями. Все эти чудеса архитектуры, где люди жили, любили и страдали, все это ныне пусто, заброшено и словно заснуло непробудным сном... Одни зеленые попугаи прерывают торжественное молчание этой

нежилой части крепости, пробуждая ленивое эхо; да голубокрылые пташки вьют гнезда в углублении панелей, каждый отдельный кусок коих может служить образцом резчику.

Ночью, при лунном свете, это место представляет нечто волшебное. Словно воевода-мороз пролетел над королевством спящей царевны и покрыл все здания узорчатым инеем... Эта волшебная ажурная работа скорее походит на миниатюрную резьбу из слоновой кости, нежели на что-либо знакомое нам в произведениях европейских мраморщиков.

Тут же, в крепости, через стену от Тадж-Махала, «Моти Мусжид», мечеть, выстроенная Шах-Джаганом во время его семилетнего заключения. Прежде всего другого осмотренный мавзолей помешал нам отдать должную справедливость «жемчужной мечети». Но она, поистине, драгоценнейшая жемчужина меж всеми мечетями. Совершенная по архитектурной форме, в высшей степени поэтическая по обстановке, белая, как вновь выпавший снег, без малейшей примеси другого цвета, она к тому же останавливает внимание и заслуживает симпатию посетителей уже вследствие своей печальной легенды. Говорят, будто идея построить эту прелестную мечеть принадлежит Джеханари, любимой дочери султана-узника. Видя страдания отца и его безутешную печаль, принцесса, которая настояла, чтобы разделять с ним его заключение, придумала и уговорила его заняться этой работой, которая одна могла, по ее мнению, рассеять его меланхолию. Уверяют, будто, соглашаясь, свергнутый султан воскликнул в глубокой сердечной горести своей: «Да будет по-твоему, дочь моя, и да назовется будущая святая мечеть „Жемчужиной“... Ибо, как настоящая жемчужина, обязанная своим зародышем, развитием и красотой внутри раковины страданиям и мукам жилицы оной, так Моти Мусжид да будет обязана своим существованием неисходному горю, испытываемому злосчастным отцом жестокого Аурангзеба!» И вот задуманная мечеть, дитя горьких часов заключения, вдруг появилась, канув у подножия Тадж-Махала, словно застывшая слеза «ангела судеб», обязанного вносить в книгу раскаяния все земное горе и страдание.

Впоследствии мы видели в Дели последнее жилище, могилу преданной дочери султана – Джеханари: по внешнему виду – горделивый белый мраморный саркофаг со скульптурными украшениями и мозаикой, как и все прочее; но внутри мавзолея зеленый свежий садик с незатейливым партером и цветами, которые ежедневно и с величайшим тщанием поливает старый сгорбленный могул, ставший полуидиотом после пережитых им ужасов Дели. Живая развалина среди мертвых руин, этот старик – воплощение неизменной любви и преданности к угасшему дому падишахов – единственный и последний потомок длинного ряда доверенных слуг султанов, избежавший общей участи только вследствие своей дряхлости и ничтожества. Ему лет под сто. Дрожа и шатаясь на костлявых ногах, он повел нас во внутрь, указав на стене погребальной залы эпитафию, сочиненную самою Джеханари перед ранней смертью и вырезанной по ее желанию на ее гробнице. Принцесса просит, чтобы одни цветы и трава указывали место, где будет лежать ее прах... «Пусть одни цветы, сорванные рукой Аллаха, смешиваются с тлеющим остовом смертного пилигрима – Джеханари... Они – лучшее украшение последней обители освобожденного от земных оков духа...» – говорит между прочим надпись. Мы дали несколько монет могульскому Кашею и, верный до гроба, слуга, спрятав их в высокой траве и поглаживая дрожащею рукой мрамор саркофага, тут же стал шептать, как бы обращаясь к самой покойнице: «Я куплю тебе, Бегум-ханум, новые цветочки... я посажу тебе взамен погибших, увядших роз свежие!..» В Тадж-Махале, во время назойливых попрошайничеств жирного и час за часом богатеющего муллы, который не отставал от нас, прося для своего халифа «еще одну, только одну рупию», мне вспомнилась эта сцена. Бедный, дряхлый Кашей, вся догорающая жизнь коего сосредоточилась на могиле умершей за два века до того принцессы, только потому, что она была прабабкой его любимых убитых господ, возник предо мною, как последнее проявление в нашем веке горячей преданности к нам нашей

«меньшей братии»...

В этой пространной крепости, в отделении гарема на каждом шагу натыкаешься на замурованные комнаты, тайники и подземные ходы, заделанные века тому назад и нечаянно найденные англичанами. Сколько кровавых, страшных сцен произошло внутри этой крепостной ограды! Сколько жертв, долгих мук и роковых, навеки погребенных тайн!.. Пройдя длинный ряд коридоров, нам показали место, где английские инженеры, пробив глухую стену, нашли в ней расположенную над рекой келью; в келье три широко ухмыляющиеся скелета – молодого человека и двух женщин, одной старой, другой молодой. Последняя была богато одета и вся покрыта дорогими камнями. Здесь их замуровали, оставив погибнуть голодной смертью; как бы из желания довести их предсмертные муки до *pec plus ultra*^[179] утонченной жестокости, посреди комнаты чернело отверстие глубокого колодца, с журчащею внизу водой, заделанное толстой железной решеткой... В одном из подземных проходов была найдена почти бездонная пропасть, поперек жерла коей было вделано толстое бревно. На этом бревне, словно пучки сухой травы, на веревке висело около дюжины женских скелетов!.. Сколько таких молодых жизней попадало с этого бревна и ужасную, черную пропасть, никто не знает, разве один ангел смерти. Но Азраил не выдает тайн своих, особенно нам, неверным, ибо, по просьбе Магомета, он более не является в видимой оболочке...^[180] Таким образом гаремная жизнь представляется чрезвычайно привлекательной, и нам остается лишь позавидовать счастливым Зюлейкам...

Милях в девяти от городских ворот, на поляне, в саду деревни Секундры, похоронен сам великий Акбар. Его мавзолей – второе издание его крепости, только в уменьшенном виде. Он занимает сорок десятин земли, стоит в саду или скорее в загороженном парке, разбитом на несколько верст в квадрате. Мавзолей находится на четырех постепенно уменьшающихся сверху террасах, с обычными минаретами, увенчанными куполами по углам. Все купола покрыты черепицами из мозаичной работы – зеленой и голубой с золотом. Непостижимо, как ни краски, ни накладная работа не изменились ни на одну полутень в продолжение целых трех веков в климате, где сырость и жара губят в один год самые прочные работы европейских мастеров.

На саркофаге выложены золотом и персидскими буквами девяносто девять качеств Аллаха.

На другое утро мы расстались с Агрой рано; так рано, что *заря не успела* даже еще зарумянить белоснежные купола Тадж-Махала!.. Нам предстояло сделать двадцать четыре мили до завтрака, приготовленного для нас в Футхепуре Сикри – знаменитейших развалинах северо-западных провинций, где нас ожидал наш друг и покровитель – такур. Гулаб Лалл Синг даже и не заглянул в Агру – место, которое он почему-то ненавидел, хотя он полуобещал встретить нас там. Но мы давно уже привыкли к его своеобразным действиям, к его неожиданным появлениям и таким же исчезновениям, и никогда ни о чем его не спрашивали.

В это утро мы оставляли чисто британскую территорию и вступали на классическую землю Раджастанана – родину такура, которой он так гордится и история коей прослежена английскими ориенталистами за 600 лет до Ксеркса, а Тодом за 3000 до Р. Х.; то земля сказочных и исторических героев, бешеной удали и рыцарских чувств к женскому полу, столь мало ценимому, презираемому и даже угнетаемому во всей остальной Индии... Здесь Гулаб Синг был у себя и готовился принимать нас хозяином. Нам словно легче дышалось... Едва дребезжащие, полуразваленные вагоны поезда, идущего до Джайпура, остановились у Футхепурской станции, как у всех нас, за исключением двух англичан, вырвался крик облегчения. В одну секунду, как бы выросшие из-под земли, щитоносцы такура перенесли наш багаж в кареты, присланные деваном (министром) махараджи Баратпурского. «Его высочество в Хардваре, на богомолье, но деван к вашим услугам и приказал простереться пред американскими братьями-саибами», проговорил высокий юный раджпут с длинными волосами и в белом тюрбане: «Кареты к вашим услугам».

А вот и такур-саиб... верхом и с полдюжиной плечистых, бородатых, длинно-кудрявых оруженосцев, которых мы еще не видали... Черный силуэт всадника ярко обрисовывается на безоблачном темно-синем горизонте, и громадная фигура напоминает мне конную статую Петра Великого. Мы все довольны...

Быстро проходили дни и недели и еще быстрее передвигались мы с места на место; но, несмотря на то, что не теряли времени, мы не видали и двадцатой доли тех исторически знаменитых мест, которыми славится Индия. А между тем жара становилась с каждым днем ужаснее. В начале мая она достигает вообще по всему Индостану своей высшей точки; но Раджастхан является в этом смертельном месяце даже в Индии пеклом, в сравнении с которым сам Аллахабад способен обворозить своей прохладой. В то время как в Петербурге и Москве поля еле начинают одеваться молодой зеленью, а кусты сирени еще стоят обнаженные, на палящих равнинах Раджпутаны все уже испеклось, пережарилось, и поверхность земной коры, как сухарь, слишком долго оставленный в духовой печи, пересохнув, начинает рассыпаться прахом. Ее огромные поляны, выгорелые, печальные, желто-бурого цвета, в местах, где они не столь густо заселены, напоминают русские степи: тот же сухой ковыль, то же частое марево на раскаленном горизонте...

Словно высохшая до мозга костей старица, дремлет вокруг нас усталая, угасающая природа Индии, доживая под палящими стрелами свирепого солнца «сезон жары». Весна, лето, зима и осень для туземца лишь звук безо всякого значения. У индуса всего три времени года, и, говоря о них, он различает сезон «жаркий», «холодный» и «сезон дождей». Через три-четыре недели на ярко яхонтовом, девять месяцев в году безоблачном небе, покажутся первые дождевые облака... Загремит гром, подымутся на Бенгальских берегах циклоны и опустошительные бури. Погибнет несколько человек, разрушится несколько зданий; но зато, пролетев с юга, ураган принесет на мощных крыльях своих столь желанный муссон, весь пропитанный ароматами Цейлона и Южной Индии. И вот снова, в два-три дня, под проливным дождем зацветает вся Индия от Гималаев до Кумари. Затопленные равнины Раджастхана превратятся в моря, из глубины коих будут торчать лишь скалы такуров с их полуразрушенными крепостями и замками. Эти скалы, рассеянные теперь, словно безобразные бородавки, по лицу *Сурьявансы* – «Земли Солнца» – обмоются и зацветут, и снова все заликует в природе... Закукует кукушка – певец любви Индостана, птица, посвященная Каме, божку любви. Подымется пар от земли – благоуханнейший изо всех ароматов природы в понятиях индуса – пар от первого дождя, и начнутся свадьбы, пиры и веселье...

Но пока до дождя, «возлюбленного земли», по словам греческого поэта, – Раджпутана могла нам предложить не более того, что сама имела. Кругом все выжжено, и нечему уж более выгорать. Все мертво и безмолвно, и на голых полях не видно даже обычной фигуры земледельца, бедного черного скелета, копающегося на них, словно крот, во все остальные времена года... До первых дождей ему нечего делать в поле. В подобный зной даже выносливый верблюд покорно ложится, где попало: жвачка теряет для него всю прелесть, и по целым дням он либо непробудно спит, либо тут же издыхает. Все словно вымерло, застыло в природе, и деятельность ее проявляется теперь в одной смерти да тлении... В такие дни птицы десятками падают мертвые на сухую землю. Общее безмолвие прерывается лишь длинной, жалобной трелью ястреба, где-то недвижно висящего на воздушных горячих струях, да где-нибудь на бугорке стая коршунов, окружив падаль, стоит не двигаясь, понутив голову и не трогая лакомой пищи, довольствуется одними грезами. Смерть в разнообразнейших видах парит над головой европейца. Она мигает на него из дрожащих световых волн, угрожая солнечным ударом; тихо подкрадывается к нему в вагоне, суля «апоплексию от жары», ^[181] причиняемую на железной дороге рассекаемым быстротой движения раскаленным воздухом, дома – удушливой температурой. Она ждет жертву в каждом затемненном, сравнительно прохладном уголку, куда

сырость поливаемых ставен и дверей привлекает ядовитых тысяченожек, скорпионов, даже змей.

Смерть в Индии не пропустит ни одного случая: она лучший союзник туземца и она часто избавляет его от тирана. Она сторожит англо-индийца из-за каждого угла; все средства для нее хороши. Вечно потеющий англичанин находит ее всюду: в искусственной прохладе; *панки*, осуществляющей в Индии *perpetuum mobile*,^[182] – под колыханием коей он ест, спит, пьет, ругается, дерется и отправляет служебные обязанности, – как и в каждом стакане питья со льдом. Воспаление легких и холера прекращают его карьеру в несколько часов.

Все это нам было известно, и мы были предупреждены о раджпутанском зное. Но до тех пор все нам сходило с рук, и безнаказанность сделала нас дерзкими. В Дели такур нам сказал: «Не бойтесь; за вас двух я *ручаюсь*, и если оба наши англичанина послушают моего совета, то поручусь и за них»... И мы были совершенно спокойны.

Все более и более – я говорю о полковнике и о себе – овладевал такур нашей волей, всеми нашими помыслами. А заручившись всем нашим умом и душой, раздражив наше любопытство до крайних пределов, заставив нас чувствовать, что по одному мановению руки его мы готовы последовать за ним без колебания и метафоры – в огонь и воду, овладев наконец окончательно нашей волей, он видимо не пожелал воспользоваться своими преимуществами... Всегда ровный и приветливый со всеми, он был с нами, быть может, минутами ласковее, но также непроницаемо замкнут насчет своих таинственных несомненных познаний в «тайной науке», как и с прочими. Что он знал о нашем страстном желании поучиться у него, получить объяснение его необычайной, а для нас *абсолютно* доказанной психологической силы – это также для меня несомненно, как и то, что он, находясь в эту минуту в Тибете, знает, если только желает знать, каждое слово из того, что я пишу. Но, зная это, он молчал. Минутами мне казалось, что он будто изучает нас; желает убедиться, насколько он может довериться нам, и я боялась говорить о нем даже с полковником. Принадлежа к нашему «обществу», он оставался простым членом, отказавшись даже от не раз предлагаемого ему звания «почетного члена общего совета». Один из таких главных советников Теософического Общества в Лондоне, лорд и граф и, главное, человек признанный одним из ученейших членов Королевского Общества, зная о нем, писал в прошлом году другому члену совета нашего Общества, редактору главного журнала правительства: «Ради Бога, просите такура ответить мне, есть ли для меня надежда достичь результатов, которых я тщетно ожидаю вот уже пятнадцать лет... Спиритизм изменнически предал меня. Феномены его – факт; объяснения – *чушь*. Как возобновить прежние сношения с тем, с кем я когда-то разговаривал так свободно за три тысячи миль, каждый из нас в своей комнате?... Теперь все исчезло, он не слышит меня более, даже *не чувствует*... Почему?!!» Когда я передала такуру письмо по просьбе редактора, Гулаб Синг просил меня написать под его диктовку следующее: «Милорд, – вы англичанин и ваша вседневная жизнь вся проходит по английскому шаблону. Честолюбие и парламент начали дело разрушения, мясная пища и вино окончили оное. Для ассимиляции духа человека со всемирной душой Парабрахмы существует лишь одна узкая и тернистая тропа, по которой вы не пойдете. Материальный человек убил в вас духовного. Вы один можете воскресить последнего и никто другой на это не способен...»

Конечно, скептики и материалисты, как те, которые приписывают явления спиритизма *нечистой силе*, так и другие, убежденные, что после смерти от нас ничего не останется, а будет, по выражению Базарова, «лопух расти», ничему этому не поверят, а одни станут нас с такурами и лордами подымать на смех, другие отрекаться от нас. Но к этому нам не привыкать стать. Зато люди серьезные, ученые, опытные в медиумических явлениях, как профессора Бутлеров, Вагнер, Цёльнер, Уоллас и другие, которых факты победили и принудили признать за факты,

эти ученые, убедившиеся в существовании силы, способной завязывать узлы на бесконечной веревке, поверят *реальности* странных и необъяснимых феноменов, виденных нами в Индии. В одном мы разойдемся с ними: они верят, что невидимая сила, работающая над превращениями материи на спиритических сеансах, принадлежит *духам*: мы не верим в активное вмешательство усопших и приписываем эту силу лишь *духу живого человека*. Кто из нас прав, кто ошибается, может решить только время. Прежде всего люди должны убедиться в объективности этих спорных явлений, а затем уже приниматься за объяснение их. Спиритизму более всего повредила теория верующих в него.

Все вышесказанное не отступление от моего рассказа, а необходимое объяснение тому, что следует. «Письма из Пещер и Дебрей Индостана» не одно географическое и этнографическое описание Индии со вплетенными в него фиктивными героями и героинями, а скорее дневник главных членов Теософического Общества, с которыми начали уже считаться и спиритизм, и материализм в Европе, а главное – неряшливые ориенталисты.



Дворцовые ворота

Садясь в экипаж махараджи Баратпурского, мы ужаснулись, еле коснувшись до него. То было огромное полуоткрытое ландо времен царя Гороха, довольно удобное, впрочем, и способное легко вмещать шесть и даже восемь человек. Но сиденье его, в ожидании нашего приезда, успело превратиться в кресло, на котором поджаривались когда-то жертвы инквизиции... На подножках и железной обшивке ландо можно было готовить яичницу, а от прикосновения голый руки к его стенке у меня слезла кожа на ладони. В ужасе отдернув руку, я не решалась садиться; и даже бравый полковник остановился в смущении... В такой колеснице разъезжает, вероятно, один Вельзевул, князь ада!

– Вам нельзя будет ехать до вечера в этой коляске, – заметил такур, хмурясь. – Придется провести день здесь поблизости. Войдите в буфет, пока я пошлю за крытой каретой...

Последовало совещание. До волшебных садов Дига, поливаемых 600 фонтанами (исторически известное наследие Баратпурских махараджей) было 18 миль; до столицы штата 5; до места завтрака 15. Поезд опоздал, и было уже десять часов. Ехать в самый полуденный жар, когда и теперь у нас кружилась голова и темнело в глазах, было бы безумием. Все, кроме такура,

даже индусы побледнели, то есть сделались земляного цвета, и обвевались шарфами... Один бабу, казалось, блаженствовал. Простоволосый, как и всегда, и подпрыгивая на переднем сиденье, на котором уже уселся с ногами, он нырял в волнах раскаленного воздуха, как другой ныряет в прохладных струях реки, уверяя, что вовсе еще не так жарко, и что в Бенгалии такой день считался бы многими прохладным.

Пока такур отдавал приказание, и два оруженосца поскакали куда-то за каретой, мисс Б***, совершенно изнемогая от жары и придираясь ко всему и всем, сочла своим долгом оскорбиться словами бабу:

– C'est du persiflage, cela!..^[183] – повторила она, обмахиваясь в волнения. – Ему прохладно, когда мы все умираем от жары!..

– Ну, а вам-то что до этого?... разве вы можете запретить человеку чувствовать себя иначе, нежели себя чувствуете вы? – уговаривала я ее, предчувствуя новую между ними ссору.

– Но ведь это он нарочно!.. Он смеется над нами, – громко ворчала старая дева. – Он, как и все индусы, ненавидит нас, англичан! Он радуется нашим страданиям!..

– Совершенно напрасно так думаете, – поддразнивал ее бабу из коляски. – Я вовсе не ненавижу наших *добрых* повелителей. Только когда им жарко, мне всегда бывает прохладно и – *vice versa*... Садитесь возле меня, и я вас стану обмахивать вашим веером... Вы знаете, как я вас... уважаю!..

– Прошу вас не учить меня, если я даже и ошиблась! – взвизгнула она, бледнея от бешенства. – Не вашей... расе учить нас – англичан!

– Я вам серьезно советую быть осторожнее... при такой жаре, – вмешался такур, слезая с лошади и многозначительно подчеркивая последние слова. – Малейшее волнение может оказаться губительным в нашем климате, которого даже и английская власть не сумела еще поработить.

И снова та же острая молния сверкнула в полузакрытых глазах раджпута, и ноздри слегка дрогнули при тоне презрения, с каким она произнесла слова «ваша раса». Но расвирепевшая островитянка уже закусил удила, и остановить ее не было возможности.

– Мы не можем долее пребывать в гармонии, необходимой для приятного путешествия, – объявила она. – Пусть господин президент выбирает теперь между членами европейцами и *азиатами*!..

– Тут никакого не может быть выбора, – медленно начал он, сильно разгневанный и выколачивая в своем смущении горячую золу из трубки на подушки ландо его светлости. – Все члены вверенного мне в Нью-Йорке общества, *к какой бы они расе или религии ни принадлежали*, равно уважаемы мной и дороги Центральному Обществу. От выбора поэтому я отказываюсь; а о праве своем решать споры и недоразумения между членами – заявляю. Я слышал каждое слово вашего... немного крупного разговора и должен сознаться, что не нахожу в нем ничего похожего на ссору!.. Почтенная мисс Б*** вспыхнула и наговорила дерзостей бабу. Он промолчал и поступил как джентльмен. Надеюсь, что мисс Б*** теперь поймет, что оскорблен *он*, а не *она*, а в его лице и прочие члены-туземцы; надеюсь, что она присоединит к моей и свою просьбу, чтоб они забыли эту пустую вспышку и попросит наших добрых, уважаемых друзей не уезжать от нас...

Мисс Б*** вся затряслась от бешенства.

Стоя в двух шагах от меня и облокотясь на седло, такур не спускал с нее широко открытых зрачков, блестевших в эту минуту каким-то зловещим фосфорическим сиянием. Нараян, опустив глаза и голову, молчал; но на сильно закушенной губе его выступила крупная капля крови...

– Как! мне... *мне* просить у *него* извинения?... – прошипела англичанка. – Мне... когда он...

«Вот тебе и „Братство человечества“, подумалось мне.

Такур вдруг быстро протянул к ней руку... Захлебываясь и бормоча несвязные звуки, она неожиданно грохнулась, как скошенный сноп, хрипя и в судорогах, прямо в объятия У***, на руки которого Гулаб Синг ловко перебросил ее падающее тело...

– Так и есть, как я ее предупреждал, – тихо и спокойно произнес такур, наклоняясь над сильно вздрагивавшим телом. – Солнечный удар; несите ее в дамскую уборную!

Оскорбленный мисс Б*** бабу пошел на отчаянное средство и – явился ее и нашим спасителем. Он побежал с Нараяном в поле и принес целую охапку травы под названием *кузимах*. Эта трава, имеющая свойство крапивы, покрывает тело вследствие одного легкого прикосновения к ней сыпью и ужасными волдырями. Не говоря ни слова, он попросил меня надеть перчатки и растирать ноги больной *кузимахом*. У самого у него лицо и руки мгновенно вздулись как пузырь, но он не обратил на это внимания. Признаюсь, я исполнила возложенное на меня поручение со злым рвением. Я почему-то надеялась... *чувствовала*, что такур не допустит до такого трагического конца, каким явилась бы смерть англичанки во время нашего путешествия, а доставить ей неприятный, но благодетельный зуд в продолжение нескольких дней мне было весьма с руки. Через пять минут втирания ноги англичанки превратились в кровавые волдыри, но зато сама она открыла глаза и имела удовольствие заметить (по крайней мере я надеялась), как за ней ухаживает «сын презренной расы». Но бабу не ограничился этим: тогда как с девяти часов вечера У***, ее соотечественник, под предлогом нездоровья и усталости, залег спать в соседней комнате, маленький бенгалец не оставлял ее ни на минуту. Один он переменил ей головные примочки из льда, который наконец под вечер и вследствие нашей телеграммы был прислан из Агры, и ушел от нее лишь на другое утро, когда с первым поездом приехал вслед за льдом и врач англичанин.

Узнав о странном лекарстве бабу, доктор фыркнул себе что-то под нос, но объявил, что и *кузимах* хорош, как и всякое другое отвлекающее кровь от головы средство. Приказав везти пациентку назад в Агру, а по выздоровлении тотчас же назад в Бомбей, он взял 50 рупий и отправился в ожидании обратного поезда завтракать, попросив У***, *en passant*, ^[184] чтоб эти «негры» ему не мешали. У***, чувствуя, что я гляжу на него, сильно покраснел, но обещал – не сделав ни малейшего замечания. Он ехал с ней, так как нельзя же было отпустить ее в таком состоянии одну, а нам невозможно было уехать, не повидавшись со *свами* Дайанандом.

Но вернемся на несколько часов назад. Накануне, под вечер после катастрофы и когда больная уснула, четверо нас: такур, полковник, Нараян и я, собрались вместе за маленьким садиком станции, у разбитых для нас палаток. Палатки принадлежали такуру, появились в несколько минут, словно вызванные волшебством из-под земли, и были весьма курьезны. В другое время их внутреннее устройство, где находился кругом и коридорчик, и спальная, и гостиная, и даже комнатка для ванны, привлекли бы все внимание нашего любознательного президента, особенно их вполне восточная меблировка. Но в настоящую минуту нашего рассказа он был слишком взволнован. Его занимала лишь одна мысль – об ответственности его положения как президента Общества; мысль, что компания наша расстраивается, и один из членов ее, как бы ни был он виноват, находится в опасности. Незнание будущего и искреннее огорчение ввиду фактической невозможности помирить два столь противоположные элемента в управляемом им и доверенном ему Обществе, как чванные англичане и туземцы, которые, как огонь и вода, лишь шипели при малейшем соприкосновении, все это не давало ему покоя. И он шагал, бедный полковник, в величайшем смущении, прогуливаясь взад и вперед под навесом средней палатки, где такур, спокойный и безмятежный, как и всегда, курил у дверей на ковре.

– Не волнуйтесь, полковник; она не умрет, – равнодушно заметил такур.

– Нет!.. вы даете мне в том слово, мой дорогой такур? – воскликнул обрадованный американец.

– Давать слово в жизни или смерти больной особы, не будучи врачом, было бы слишком дерзким с моей стороны, – возразил раджпут, смеясь. – Но, судя по долголетнему опыту, если она пережила первые полчаса и к солнечному удару не присоединились симптомы другой какой болезни, то, конечно, главная опасность миновала...

Американец поднял на него свои ясные голубые глаза и, задумчиво пощипывая бороду, покорно заметил:

– Мы приехали в Индию за 10000 миль изучать психологию и все касающееся *духовного* человека... и... по вашему зову. Мы вас выбрали нашим гуру,^[185] а теперь, когда мы нашли в вас одном воплощение «тайной науки», неужели теперь вы отвернетесь от нас?

В голосе нашего президента зазвучала очень грустная нотка. Такур быстро взглянуть на него и, помолчав, отвечал уже совершенно спокойно и даже ласково:

– Я действительно посвящен в то, что у вас называют *гупта-видьей* – тайными науками...

– Вам известны эти науки? Вы наконец решаетесь сознаться в этом хоть пред нами – вашими невежественными, но всею душой вам преданными учениками?

– Я никогда этого не скрывал и не мог бы, даже если бы хотел скрыть... Я *брахмачарья*.^[186] Но ведь под названием «брахмачарьи» и словом «тайные науки» понимается иногда очень многое, и смысл их весьма эластичен. Со славных времен риши прошли тысячелетия, Индия пала и выродилась, – печально добавил он. – Теперь вы найдете во всех больших городах «брахмачарий», которые заменяют недозволенную им кастой законную жену тайным гаремом – *зенаной* – и отдадут в рост деньги; часто встретите шарлатанов, составляющих и продающих во имя «тайных наук» любовные зелья! Неужели и за такими вы станете гоняться и отдавать им почести из-за одного имени?...

– Что такое «тайные науки»? – продолжал такур. – Для меня эти науки, как и для всякого, кто им посвятил всю жизнь, содержат в себе ключ ко всем тайникам природы и миров как видимого, так и невидимого. Но этот ключ достается дороже, нежели вы думаете. *Гупта-видья* – обоюдоострое оружие, и к нему нельзя приступать, не пожертвовав заранее жизнью, хуже, разумом, так как она одолевает и убивает каждого, кто не успеет одолеть ее самое. Басни древности основаны не на одной фантазии. И в нашей допотопной Арьяварте найдется сфинкс, как и в Египте, и на одного Эдипа в итоге получают тысячи жертв. Особенно она опасна для вас, европейцев и белых. Вот почему я колеблюсь пред вашим страстным, но... неразумным желанием дозволить вам даже начать первые испытания...

– Такур! ради всего для вас дорогого!.. – воскликнул наш президент умоляющим голосом. – Прошу вас во имя всего нашего общества, во имя науки и человечества!.. Вы знаете, я не трус. Я не дорожу жизнью, и если хотя в конце ее не блеснет для меня луч истины, то чем... скорее этот конец... тем лучше!.. Только наставьте меня раз на путь истины, и клянусь никогда ей не изменить...

Такур отвечал: не сейчас.

– Хорошо, – вдруг обрадовал он полковника. – Теперь, когда вы завтра, вероятно, будете освобождены от ваших двух англичан, я могу вас пригласить к себе, в Д*** поместье. До вашей поездки к свами Дайананду остается еще две недели... Раз у меня, полковник, я вас подвергну одному предварительному и небольшому испытанию. Останетесь вы победителем – хорошо, быть вам моим *челой* на семь лет. А нет, ну, тогда все останется по-прежнему. Согласны?...

– С радостью, с радостью!.. – суетился наш развеселившийся президент. – И вы увидите, такур, что я не ударю лицом в грязь ни перед каким испытанием!..

По окончании разговора такур попросил меня отправиться к мисс Б*** узнать о ее

состоянии. Все трое, т. е. Гулаб Синг, полковник и Нараян, заперлись затем одни в палатке. Когда я вернулась часа через полтора, полковник весь сиял.

– Знаете, – произнес он радостным шепотом, – как скоро ушел Нараян, – такур допускает меня к «первому искусству»...

– Знаю; ведь это он при мне вам обещал, если счастливо пройдет предварительное испытание.

– Нет, это совсем другое... он позволяет мне попробовать *кхумбаки* и *пураки*... когда бы я ни пожелал!

– Господи!.. – в ужасе всплеснула я руками. – Да ведь это вы, значить, будете висеть вниз головой и не дыша по целым часам?... Да с вами будет непременно удар!.. В своем ли вы уме?...

– Почему же непременно удар? Все зависит от силы воли, а в ней у меня недостатка никогда не было, – немного обидясь отвечал О*.

– Ну, как знаете... Только смотрите, не смеется ли он над вами... Он только желает вам доказать, как совершенно неспособен европеец к подвигам индийского аскетизма...

В первый раз со времен нашего знакомства достойный американец чуть не разбранился со мною за это замечание. Он приехал де изучать «тайные науки» и изучить их.

– Да вы на что же решились?... – рассердилась я наконец. – Факиром, разрисованным коровьим навозом желаете быть или раджа-йогом? Так ведь вы или забыли, или не знаете, что первым настоящая *гунта-видья* столько же знакома, как и вам, а настоящие *раджа-йоги*, такие как такур, вниз головой и вверх ногами не висят и мозгов себе вверх дном не перетряхивают.

Последний аргумент видимо поразил его.

– Как?... Разве такур не практиковался в 86 позициях, предписанных «Йогой» Патанджали?
... [\[187\]](#)

– Очень это похоже на него, который всегда говорит с таким презрением о юродствах «хатха-йогов», т. е. тех, которые, следуя мертвой букве учения Патанджали, стоят по целым дням на голове, – отвечала я, окончательно разозлясь.

– Но как же он дозволяет мне?

– Дозволяет, чтобы отвязаться от вас, потому что вы пристаёте к нему слишком, и он желает вас проучить вероятно... Не сердитесь, полковник; но где же вы когда-нибудь встречали факира или даже простого *байрага-госсейна* (странствующего монаха) с таким, как у вас, брюшком?

О* снова обиделся, даже огорчился.

– Но я могу похудеть; я только желаю ему показать *силу воли моей*, доказать, что не одни индусы достойны посвящения в высшие «тайные науки».

– Не этими фокусами докажете вы это ему! Я его лучше вас знаю... Полноте, не морочьте себя напрасными надеждами! Благодарите судьбу и за то, что, принадлежа оба к ненавидимой и презираемой им «белой расе», видя лучше всякого другого нашу безусловную горячую к нему преданность, а быть может еще более за нашу искреннюю симпатию к его народу и уважение к родине его, нежели за первое, он делает такое неслыханное для нас исключение. Не требуйте от него того, чего он не может, не смеет нам дать, и довольствуйтесь крохами, которые он нам бросает по дороге.

– Но почему же, – не отставал от меня полковник, – скажите, почему! Ведь есть же у него ученики?

– Есть, да не такие, как мы с вами, дети гнилой цивилизации, наследники всех пороков Запада. Вот посмотрите на Нараяна: бедный мальчик – мистик и фанатик по природе; он живет и дышит им одним и готов по одному мановению пальца его положить за такура десять тысяч жизней, когда б имел их. А он никогда не будет у него принять *челой*, хотя он и природный индус.

– Но как же вы можете знать! Разве он говорил?...

– Ничего не говорил, а знаю; хотя бы потому, что лучше вас понимаю Патанджали и что я не в первый раз в Индии. Несчастный Нараян *не может сделаться раджа-йогом, потому что он женат.*

– Да ведь он женат еще пока номинально: его жене всего одиннадцать лет. Это только обручение.

– А разве такур имеет право разбить всю жизнь молодого, ни в чем неповинного существа? Разве он такой человек? Вы забываете, что брось теперь Нараян жену, она будет обещена до дня смерти. Не только она, но и все ее родные и родственники до седьмого колена лишаются касты...

– Несчастный молодой человек!.. – с сердечным соболезнованием воскликнул полковник.

– Но... ему, быть может, еще улыбнется счастье... она, быть может, еще... умрет? – наивно добавил он.

– Бедная, маленькая *Авани-бай!*^[188] Как вам не стыдно надеяться на ее смерть!..

– Да я вовсе и не надеюсь на это... но ведь все может случиться... и я ведь только из желания ему добра...

Не успел он еще договорить последнего слова, как произошло нечто необыкновенное. Мы стояли на заднем дворе станции под деревом и говорили почти шепотом, а палатка такура находилась, по крайней мере, за двести шагов оттуда. Вдруг, словно из густой листвы мангового дерева, над нашими головами раздался чистый, звучный голос Гулаб Синга в ответ на эгоистическое замечание нашего президента, который так и замер на месте...

– *Тому, кто строит собственное свое счастье на несчастье другого, – не быть никогда раджа-йогом!*.. – явственно произнес голос.

Начатые почти над нашим ухом, последние слова фразы, как бы постепенно удаляясь, прозвучали где-то далеко и наконец слились с жалобным завыванием и хохотом голодных шакалов в поле.

Полковник побежал во всю прыть своих толстых ножек назад, в палатку такура, где и нашел его за ужином с Нараяном и двумя другими нашими индусами. Такур допивал свою вечернюю порцию молока – единственная его пища (сколько мы успели заметить за все долгие недели его пребывания с нами), и на вопрос, не выходил ли он перед тем из палатки, полковник получил отрицательный ответ ото всех присутствующих.

– Я глядел на него как под влиянием минутного безумия, – рассказывал мне затем полковник, – а он сидел такой же, как и всегда, равнодушный и спокойный, вперив в меня свои удивленные глаза, которыми он словно перебирает и пощипывает вам душу до самого ее дна!.. И знаете, что он отвечал мне на мое невольное восклицание, что я, кажется, слышал его голос на дворе станции? «Очень может быть, мой дорогой полковник. Невидимые коридоры вечности и безграничного пространства *акаши*^[189] наполнены всеми голосами природы – прошлого и настоящего. Весьма естественно, если вы и наткнулись нечаянно на застывшую волну моего голоса и, приведя ее в движение, пробудили в одном из таких коридоров эхо... Помните, ничто не исчезает бесследно в природе; поэтому никогда не произносите, даже *не думайте* того, чего бы вы не желали впоследствии найти запечатленным на таблицах вечности»... Черт меня побери, если я понимаю эту ходячую загадку, которую мы все зовем такуром! Кто и что он такое?!..

На другой день мы уложили мисс Б***, слабую, но уже бранчливую, в вагон и отправили ее на попечении У*** и врача назад в Агру. На прощальный привет бабу, который провозился с ней и ухаживал за ней до утра, она отвечала милостивым, но величавым и довольно холодным наклоном головы. Из индусов она никому не подала руки; но У***, устыдясь нашего

присутствия, торопливо и будто прячась за спины зрителей, пожал им всем руки, кроме такура, который не присутствовал при проводах.

Под вечер того же дня мы отправились в столицу махараджи, где и ночевали впервые во дворце независимого принца Индии. Но об этом и дальнейших наших приключениях сказка впереди.

Маленькое владение, когда-то царство с царьками и царицами, Баратпур знаменит лишь своими Семирамидиными садами, своим Дигом. Раджа его чрезвычайно гордится своей независимостью пред менее счастливыми братьями, раджами других владений Раджпутаны, забывая, что он обязан своею независимостью собственно совершенно замкнутому географическому положению своей территории. В Баратпуре нет ни президента, ни даже какого-либо чиновника британского, по той простой причине, что, сдавленный словно в тисках между Агрой, Джайпуром и Альвуром, этот штатик походит на пленника, окруженного рядом солдат и поэтому освобожденного от лишнего часового, которому оставалось бы поместиться на плечах или голове узника. Невзирая на такое положение, население, т. е. высшие классы (кшатрии, каста воинов), с гордостью, достойною испанских гидальго, презирают махратов и даже раджпутов, которых теперь перестали бояться. Разоренные дотла англичанами, они довольствуются малым и живут в своем «Царстве Павлинов» (названном так потому, что на одной долине Бхаратской насчитывают до 6000 священных павлинов) беззаботно и даже счастливо. Баратпур – гнездо бардов и священного песнопения, в котором прославляются с утра до ночи доблестные подвиги богов и смертных. Поэтому из семисот тысяч жителей, на пространстве каких-нибудь 77 миль в длину и 50 в ширину, четыреста тысяч браминствуют, ровно ничего не делая, а триста тысяч проводит всю жизнь, таская воду из озер Дига и разнося оную на плечах для орошения 1978 квадратных миль. Кроме этих озер, занимающих всего несколько верст, во всем владении не имеется ни капли воды.

Раджа и 99 % общего числа жителей джаты. Это племя, когда-то составлявшее огромное большинство населения Раджастхана – «аборигены палящих равнин», расстилающихся вдоль Инда и его притоков.

Джаты – один из древнейших народов Индии, и хотя «аборигены» для пришедших позднее их раджпутов, но не аборигены, а также пришельцы для настоящих аборигенов, племен, рассеянных по всей Индии, скрывающихся в неприступных горных ущельях, в лесах и джунглях. Их предания, как и сама история, или вернее те истрепанные в клочки страницы, что у нас ходят теперь под именем истории, указывают на джатов как на племя, передовые колонии коего пришли в Индию из-за Гималаев, вероятно из-за Оксуса (ныне Амударья), еще до времен Кира. В IV веке история застаёт Джатское царство в Пенджабе, но не указывает на эпоху его основания и не дает никаких сведений о первом появлении джатов. Из всех племен, живущих ныне в Индии, которым желают навязать в прародители скифов, джаты самое подходящее к гипотезе. Наружность скифов, как мы находим ее описанной Геродотом, резко отпечатлелась на них. Приземистые, плотные, волосатые, с сильно развитыми мускулами, джаты столько же подходят к этому описанию, сколько высокие, стройные раджпуты и бхилли отходят от него. Достаточно взглянуть на чисто греческие профили раджпутов, чтоб убедиться в невозможности производить их от скифов. Эта так же нелепо, как сваливать в общую «скифскую яму» и пенджабских сикхов, колоссов с орлиными носами и чисто европейским типом лица, только потому, что до обращения их в монотеизм они приносили в жертву лошадей. Сикхи и раджпуты, по общему мнению писателей-ориенталистов, один из красивейших типов рода человеческого.

Огромная часть Раджастхана перемешала в себе теперь под «благодетельным правлением Англии» (стереотипное выражение) чистых раджпутов, и их такуры и земиндары пользуются одинаковыми правами, или, что, быть может, будет вернее, одинаково не пользуются никакими правами, кроме прав обыкновенного помещика и хозяина в собственных поместьях. Но между такурами раджпутской и джатской крови мнение народное, редко ошибающееся, вырыло

непроходимую бездну. Такур-джат – феодальный барон, грабящий по ночам. Такур-раджпут – рыцарь, un chevalier sans peur ni reproche^[190] в полном смысле слова. Чтоб успокоить первых и тем доставить себе верных союзников, правительство хотя и воспретило дневные грабежи de jure, но разрешило их de facto, предоставив грабителям, как шейхам бедуинов в Палестине и Сирии, взимать контрибуцию с приезжих караванов и путешественников, якобы гарантируя последним полную безопасность от бхиллей. Но раджпутские такуры не приняли ни одной из предлагаемых им милостей. Владея и управляя почти самовластно горстью своих подданных, они почти не выезжают из пределов своих деревень и даже часто из замка. Гордые и неукротимые, поставленные теперь в невозможность воевать друг с другом, они, по-видимому, покорились своей участи, но знают лишь с раджами, которым, как вассалы, они обязаны платить дань людьми и деньгами. С англичанами они не имеют почти никаких прямых сношений, а ведут дела, в случае надобности, чрез министров своего сюзерена, махараджи.

Суеверие джатов можно сравнить разве только с суеверием дравидов южной Индии; это какой-то волшебный, заколдованный мир. Провести несколько дней с джатами все равно, что день и ночь читать сказки... Что ни шаг, то капище с особенной своей легендой, на первом плане которой выступают рыцари и боги с богинями, всегда играющими в них роли добрых и злых волшебниц, как в сказках Перро, где добродетель всегда торжествует, а порок всегда бывает наказан...

– Видите эти разрушенные стены крепостей, вон там на валу, где растет это огромное дерево с золотистыми цветами? – спрашивает нас посланник девана.

Мы подъезжали к столице Баратпура, и пред нами возвышались горы мусора, развалины когда-то знаменитых укреплений, а за ними в грязной и душной котловине расстилался город, собрание полуразрушенных лачуг. На плоских террасах домов стояли безобразные идолы, и меж ними важно расхаживали павлины, сверкая в лучах заходящего солнца стоглазыми хвостами.

– Вижу... Чтò ж в этом дереве такого удивительного? – прищурился полковник.

– Теперь ничего, – отвечал, вздыхая, посланник. – Но это желтые, как золото, цветы, эти бесчисленные гроздья ароматных чашечек, все это слезы Кришны... Увидев, что англичане перерезали дорогу нашим инженерам к пруду и переходят городской ров, дэв (бог) бросил в отчаянии булаву под ноги первому отряду и на этом месте тотчас же выросло дерево. Затем на дерево закапали священные слезы как частый дождь, и из каждой капли вырос цветок.

– Чем плакать, лучше бы богу было не плошать и тут же свернуть всему отряду шею, – покощунствовал сквозь зубы бабу.

Южный раджпут, ехавший возле кареты верхом, только вскинул глазами на бабу. В его черных, как смоль, глазах выражался немой упрек.

– Вы бенгалец и... вероятно, *настика*?^[191] – срезал он его.

– И да, и нет, – отвечал бабу, немного сконфуженный прямым вопросом, а еще более устремленным на него пристальным взглядом Нараяна, – я из Бенгалии, но принадлежу... или скорее *принадлежал* к секте чарвака, к лакаятикам. Но теперь, – поспешил он прибавить, – я теософ и готов верить во что прикажет нам президент...

Мы рассмеялись, стараясь обратить откровенное признание в шутку. По-видимому, оно произвело тяжелое впечатление на его религиозных товарищей. Они, вероятно, не знали до сих пор о принадлежности нашего ветренного бабу к этой столь презираемой прочими индусами секте. К счастью его, такур отсутствовал. Усадив нас и отправив под охраной своих всадников, он сам по обыкновению куда-то исчез.

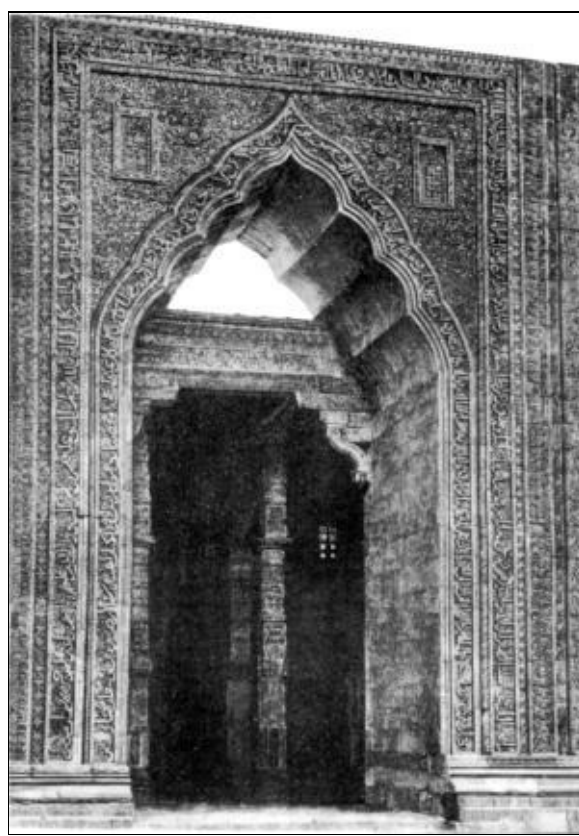
Баратпур построен на развалинах, от которых на земной поверхности не осталось теперь и праха древней столицы, основанной героем Бхаратом. Настоящей столице минул всего один век. Среди развалин древних бастионов и башен, забитых наглухо ползучими растениями, прячется,

будто стыдясь своей современной мизерной наружности, дворец махараджи. Он окружен со всех сторон башнями и уцелевшими куполами на плоских террасах старой крепости со многочисленными пробоинами, и представляет, по замечанию Фергюсона, «страшную смесь всех стилей архитектуры» от сарацинского до джатского.

Миновав несколько старинных ворот со сводами и полуразрушенными стенами, на обломках коих часовые преспокойно спали или курили *челум*, мы подъехали ко дворцу. Махараджи не было, он отправился пилигримом со свитой в Хардвар.^[192] В первый раз по приезде в Индию мы вступали в жилой дворец раджи и, конечно, ожидали увидеть нечто волшебное-прекрасное. Разочарование было полное...

Здание огромное, как и все дворцы раджей, но угрюмое, закопченное, со стенами, покрытыми плесенью, с бесконечным рядом галерей, веранд, башен и башенок, лестниц и коридоров. Внутри бесконечные ряды комнат, неизвестного назначения, но от первой до последней, от дурбарной «тронной» залы до малейшего чулана под крышей, каждая походила на кладовую продавца старой мебели. Всюду полы без ковров, каменные, но весьма неровные, неподметенные, вероятно, со дня отъезда раджи, так как каждый шаг подымал облака пыли, заставляя нас чихать и откашливаться. Комнаты, загроможденные полуизломанным хламом, – вот что нашли мы во дворце независимого раджи.

Заметив, должно, быть отсутствие всякого восторга на наших откровенных лицах, встретивший нас на крыльце бородатый джат, который взялся было показать нам *царские* покои, желая заставить нас, вероятно, изменить мнение о великолепии дворца, повел нас в какую-то *секретную*, угловую комнату, посещаемую, как он нам сообщил весьма конфиденциально, всеми английскими *бар-саабами* (большими господами) и весьма хвалимую ими. Комната эта, которую он приказал своему дядьке отпереть каким-то особенным ключом тоже с секретом и добавок с музыкой, оказалась кругом обвешенною картинами во французском вкусе самого непозволительного содержания. Полковник насилу удержался, чтобы не обругать джата, а Нараян, еле взглянув, опрометью бросился вон из комнаты, облегчив целомудренное сердце целым потоком слов, которых мы не поняли, но которые видимо произвели на бородатого наперсника угнетающее впечатление. Он сильно растерялся и поспешил запереть «секретную» комнату, пробормотав нечто вроде извинения. Мы только поняли одно: все «бар-саабы» *феринги* и даже «мем-сааб», их дамы, посещали этот *европейский* «музей» и всегда очень весело смеялись. Вследствие такого поражения, однако, бородач поспешил ретироваться, оставив нас на попечении старого дядьки или воспитателя раджи.



Знаменитый памятник Аджмира

Всюду та же грязь, пыль, безвкусица, запустение и ветхость. Сам махараджа не живет в своих «царских» покоях. Они предназначены восхищать заезжих белых варваров. Сам же он поселился уже давно в *зенане*, в терему, с полдюжиной жен.

– Old curiosity shop (bric-à-brac), ^[1931] – пробормотал все еще сердитый полковник, оглядываясь. – А где же такур-саиб? – внезапно осведомился он. – Разве мы не увидим его более сегодня? Нараян!.. Мульджи!.. не знаете ли, где такур?

– *Маха-саиб* (великий господин) никогда не входит во дворец Баратпурских владетелей, – шепнул нам на ухо Нараян. – Он уехал вперед в Диг и ожидает нас завтра туда к *чотта-хазри* (к завтраку)...

– Гм! – промычал президент, разглядывая китайского фарфорового мандарина с разбитым носом, – вечер значит пропал... А не знаете вы, любезный Нараян, почему это такур-саиб избегает... жилища здешнего раджи?

Махрат видимо смутился.

– Я не имею права, полковник, вмешиваться в частные дела и... обсуждать их... особенно действия *маха-саиба*, – отвечал он, наконец, запинаясь.

Но любопытство полковника было не из тех, которое можно было остановить замечанием. Он обратился к старому воспитателю раджи, который плелся за нами, окруженный привратниками со связками ключей. Вопрос был повторен старику. Услышав его, древний джат вдруг смутился еще сильнее Нараяна.

В первую минуту он совершенно растерялся. Затем принялся подобострастно кланяться и уверять полковника, что он, американский сааб, – «покровитель бедных» и «благодетель вдов и сирот»; после чего хитро отвел прямой вопрос, будто вдруг спохватясь, что солнце уже село и сейчас же стемнеет. Кончилось тем, что он вместо ответа пригласил нас в назначенное для нас помещение.

Полковник с тем и остался.

Нас поместили в огромном отдельном флигеле, который сообщался с главным зданием крытой террасой прямо с крыши нашего помещения. Комнаты наши, хотя и менее загроможденные мебелью, представляли все-таки невообразимый хаос. Стены были сплошь покрыты портретами раджей, написанными масляными красками и во весь рост; а рядом с ними висели лубочные картины дешевого английского фабричного произведения, с лордами и леди спортсменами, верхом на малиновых лошадях в сопровождении бегущих за ними бледно-розовых и зеленых собак.

Нас видимо старались принимать и угощать по-европейски. Обеденный стол был найден во владении целой колонии красных муравьев; и так как оказалось невозможным спровадить их, не убив нечаянно нескольких – преступление, предусмотренное законами Ману, и на которое дядька джат не решался, – то нам притащили другой стол. Мраморная с великолепной мозаичной работой доска на трех золоченных надломленных ножках тотчас же рухнула под тяжестью целой груды тарелок, к ужасу дядьки-воспитателя, усмотревшего в этом падении явное предзнаменование чьей-нибудь неожиданной смерти. К нескрываемому отвращению наших индусов, нам принесли целую корзину французских вин и ликеров, а к неопisanному изумлению старого джата-дядьки, веселящие душу напитки были тотчас же с позором изгнаны полковником. Воспитатель никак не мог взять в толк, чтобы «саабы-феринги» могли отказаться от вина и водки. Его удивлению не оказалось границ, когда, к довершению эксцентричности, видимо показавшейся ему сумасбродством, мы попросили его дать нам поужинать по-туземному на циновке и с листьями платанов вместо блюд и тарелок.

Было всего восемь часов вечера, когда, окончив нашу трапезу на полу, в сомнительно приятном обществе двух громадных сороконожек, которые скрылись от нашего преследования в приготовленной мне спальне, мы стали перетаскивать со всевозможными предосторожностями несколько расшатанных кресел на веранду, где наконец и уселись, собираясь подышать после знойного дня вечерним воздухом. К нашей компании скоро присоединились два посетителя, помощник или секретарь девана, проводивший нас утром со станции, и толстейший бенгальский бабу, инспектор школ махараджи, единственные в Баратпуре люди, говорившие по-английски. Любопытный полковник засыпал их вопросами. Через час мы знали не хуже их всю подноготную махараджей Баратпурских и Павлиньего царства.

Между прочими историческими сведениями, мы узнали, что нынешний раджа, выдаваемый англичанами за настоящего, законного наследника трона, есть в глазах своих подданных узурпатор, хотя в этом преступлении виновен не он, а правительство. В 1825 году, по смерти Бульдео Синга, *радж* должен был по закону перейти к брату его, Дуржун Салю. Он имел за себя огромную партию и законы Ману. Но у Ост-Индской компании были солдаты с пушками и право хитрейшего, если не сильнейшего. К тому же, как теперь, так и тогда, Джон Буль настаивал на своем праве быть всемирным защитником слабого и невинного и, под предлогом протектората, проглатывать слабого и невинного вместе с его царством. Непрошенные опекуны явились и тут. Их политика состоит в том, чтобы допускать ко владению только тех раджей, которые воспитаны ими самими, по мудрому шаблону Меттерниха в отношении к Наполеону II, злополучному императорскому принцу. Подобно герцогу Рейхштадтскому, все эти индийские раджи гибнут *à la* маркиз де-Сад, благодаря своим английским воспитателям, которые с первого же дня ведут их незаметно на путь ранней гибели от разврата и пьянства. ^[194]

Итак, невзирая на то, что Дуржун Саль уже сидел по выбору народа на престоле, в 1826 году явилась армия в 20000 человек со 122 пушками. Армия была отражена с большим уроном, как рассказывают, «самим богом Кришной и священными павлинами Сарасвати», коих двадцать тысяч спустились на армию, причем павлины, сев на головы солдатам, принялись отчаянно

выклевать им глаза. Англичанам не удалось тогда взять приступом город. Но они вернулись через месяц и (перевожу со слов Баратпурской хроники), «воспользовавшись тем, что Кришна совершал в то время *топас*»,^[195] но вероятнее всего благодаря быстроте действия, армия перерезала, как уже сказано выше, дорогу инженерам раджи к спасительному пруду, а затем перерезала и неповинных жителей, по уверению рассказчиков, до 9000. После этого, поймав удиравшего с женами и двумя сыновьями раджу Дуржун Саля, англичане отправили злополучного принца в Бенарес на вечное житье. Раджа умер в 1851 году, потомки стали помаленьку вымирать, что было весьма с руки правительству.

А теперь позволяю себе маленькое отступление и забегаю на минуту для ясности рассказа вперед.

В 1880 году, во время нашего пребывания в Бенаресе, мы познакомились с единственным оставшимся в живых внуком. Остальные все перемерли с голоду. На присланной нам карточке красовалось:

«Рао Кришна Дева Сурна Синг. Внук махараджи Баратпурского».

Рао Кришна оказался весьма образованным и красивым молодым человеком. Вдобавок к этому мы тотчас же вспомнили тогда, что он был героем очень таинственной, хотя и весьма неправдоподобной истории, рассказанной нам в Баратпуре нашими двумя посетителями, которую я теперь и передаю.

Его отец, сын изгнанного раджи, уже совсем умирая с голоду, выучился фотографии и питался тем, что снимал портреты с пилигримов ко священным берегам Ганга и виды разных храмов и капищ. Религиозный до фанатизма, он отправился в один прекрасный вечер, – в день затмения луны, величайшего у индусов праздника, – во храм своего патрона Кришны. Невзирая на оплошность *аватара* Вишну, касательно столицы бывшего царства отца его, он не переставал приносить ему жертвы когда только мог. В тот вечер у злополучного сына махараджи было пусто в кармане и пусто в желудке. Перебирая четки, сидя на корточках пред идолом, он с горя заснул. Юный бог явился к нему во сне и, указав на густое дерево в саду занимаемой раджей лачуги, сказал ему: «Копай под этим деревом во время каждого полнолуния и, доколе останешься верным мне, будешь находить ежемесячно на южной стороне оною 1000 серебряных рупий». Проснувшись и вспомнив, что в ту ночь было как раз полнолуние, принц-фотограф отправился восвояси и, вооружась заступом, стал копать. Кришна сдержал слово, и тысяча рупий были найдены. Тогда, в порыве благодарности, принц дал обет отправляться каждый год с сыном на поклонение богу в некий известный храм близ Хардвара. На следующий месяц на полнолуние – тот же результат: тысяча рупий под деревом. Единственному его сыну, Рао Кришне (имя, прибавленное к прежним отцом его, в благодарность божественному патрону), было всего тогда восемь или девять лет. Каждый месяц бог Кришна клал мешок с рупиями под дерево, и каждый год отец с сыном отправлялись пешком и босиком к далекому храму, с посохом в руке и в полном костюме индийских аскетов, т. е. в легком и первобытном одеянии Адама.

Когда Рао Кришне минуло четырнадцать лет, отец взял его по обыкновению с собой в ежегодное поклонение. В тот год между пилигримами свирепствовала сильная холера, убивавшая жертву менее чем в час, и они мерли как мухи по дороге. На поляне у Деодорского леса заболел и наш юный Рао; отец его с ужасом и отчаянием заметил, что мальчик умирает. Заметили это и шедшие с ними другие пилигримы и *саньяси*, и тотчас же, дабы не оскверниться прикосновением к трупам при подаваемой помощи, разбежались... Осталась наблюдавшая издали группа богомольцев... Они-то и разнесли по Индии совершившееся на их глазах.

Мальчик умер, и отец оглашал весь лес воплями отчаяния и безысходного горя. Он заклинал товарищей пилигримов помочь ему хотя бы соорудить костер для сожжения трупа; наконец двое из них решились оскверниться и подошли. Мальчик лежал посиневший и совсем мертвый, и над ним совершены все предписанные Ману обряды. Прошло несколько часов, костер был готов и оставалось лишь положить на него мертвое тело, как вдруг пилигримы увидели неизвестно откуда появившуюся новую и совершенно незнакомую им личность... То был старик аскет, лет за сто. Тройной священный шнурок через плечо указывал, что он брамин, а знак на лбу черной и белой краской – что он принадлежит к секте веданты, называемой *адвайти*.^[196] Тихо и едва волоча ноги, он подошел к лежавшему в стороне трупу и, наклонясь над лицом умершего, долго и не трогая тела, вглядывался в него. Отец и другие пилигримы, видя тройной шнурок, не смели подойти ближе и молча глядели издали на немую сцену. Впрочем, старик-отец был, как рассказывают, до того убит горем, что, может быть, и не обратил бы на него внимания, если бы тут не произошло нечто весьма странное. Аскет, стоявший до того неподвижно, стал мало-помалу шататься и склоняться все ниже и ниже к покойному. Еще секунды две-три, и паломники увидели, как задрожало дряхлое тело, как подкосились ноги... Внезапно грохнув на землю, старец, точно подкошенный сноп, вытянулся рядом с мертвым юношей и... и в ту же секунду, высоко вскинув руками, последний сел и, дико озираясь по сторонам, стал, к ужасу пилигримов, манить их к себе потихоньку рукой...

Когда прошла первая минута смятения и ужаса, и отец с воплем радости кинулся к воскресшему сыну, подошли и другие паломники. Осмотрев тело аскета, они его нашли мертвым и окоченевшим. Но страннее всего было то, что он казался как бы умершим уже за несколько до того часов. На теле его виднелись все холерные признаки: черные пятна, опухоль и скорченные ноги, в то время как с тела юноши, еще за несколько минут до того начинавшего, как казалось, разлагаться, все эти признаки исчезли, не оставив за собой и следа. Тело его было чисто и казалось совершенно здоровым. Словно старик и юноша поменялись организмами.

Нравоучение и объяснение: все на свете *майя*, иллюзия, и нам не следует даже и смерти верить. Индусы глубоко убеждены в тайном могуществе *мантр* и *мантриков* (заклинательных молитв и заклинателей), а также и в способности адептов тайных наук бесцеремонно переселяться в случае надобности в тела других людей, пользуясь глубоким сном, болезнью или даже смертью последних. Поэтому они и объясняют случай с Рао Кришной тем, что старику-аскету надоело жить в своем дряхлом и брэнном теле. К тому же он, вероятно, тронулся отчаянием осиротевшего отца. Вследствие этой двойной причины и уверясь в смерти мальчика, почтенный аскет прочел *мантру*, вылез из собственной кожи и влез в тело умершего, которого тем самым и оживил. При этом «все выиграло, обе стороны остались довольны, и никто ничего не потерял».

– Как никто не потерял? – спорили мы с рассказчиками. – Мальчик-то сохранил одно живое тело, или, скорее, дряхлый старик приобрел себе новое... а ведь духовную личность свою, индивидуальность души бессмертной Рао Кришна уж наверное потерял!

– Весьма ошибочное рассуждение, – отвечали нам тогда, как и позднее ведантисты. Вера в индивидуальность духа нашего и его собственную личность есть самое сильное и изо всех заблуждений самое опасное. Это, по нашему, ужасная *ересь*. Бессмертный дух не отличается от Всемирного Духа...

– Так по-вашему и во мне сидит Парабрахма? – спрашиваю я их.

– Не в вас, а, так сказать, вы в нем имеете вечное бытие, и ваш дух (*атман*) ничем не отличается от духа другого человека... А душа, т. е. седалище вашего личного, присущего вам одной разума, конечно, ваша...

– Благодарю вас хоть и за то... Так не все ли равно?

– Конечно, не все равно. Ведь душа (манас, или жизненная душа) не может быть подобно духу бессмертной. Дух есть часть божественного, несотворенного Парабрахмы, без начала, как и без конца, а разум, имея начало, должен иметь и конец. Манас рождается, развивается и умирает. Вследствие этого не может быть бессмертным. Пример: зачерпните рукой несколько капель воды из океана, сожмите их в горсти, и пусть сделает то же ваш сосед. Ваши руки – две совершенно одна от другой отличные руки; одна белая, другая темно-коричневая; но зато они и не бессмертные, а рано ли, поздно ли обратятся обе во прах, а вода в обеих горстях из одного безбрежного океана – олицетворение в нашем случае Парабрахмы, должна вернуться в том или другом виде к первоисточнику своему, к единой Параматме (высшая всемирная душа)... Поняли?

– Ровно ничего не поняла; но это ничего не значит. Вы верьте себе на здоровье, а я еще подожду...

Так учили нас индусы-теософы, подтверждая нам рассказанную историю.

В те дни нашего первого путешествия мы отнеслись к рассказу этому с большим сомнением и очень этим огорчили наших друзей.

– Но ведь это вольнодумство, – упрекали они нас хором. – Ведь такие факты известны по всей Индии, и много, много было таких *исторически* известных случаев. Сам великий Шанкарачарья, истолкователь веданты, переселялся несколько раз при жизни в тела раджей, дабы исправлять их несправедливости и помогать народу. Припомните его полемику с богиней Сарасвати и великого комментатора Упанишад. [\[197\]](#)

«Неразумно и недостойно философа и даже просто честного человека, – говорит полковник Тод, – относиться к народным поверьям такой глубокой древности презрительно». «Чужд должен быть тот человек милосердию, кто смеется над ними; неосторожен тот в политике, кто не употребляет всякого средства для предупреждения таких оскорблений вследствие невежества либо необдуманности».

Невозможно передать и части рассказов школьного учителя и джата о способности индусских духовных эго получать и отдавать взаимно визиты и хозяйничать в чужих телах. На это потребовалась бы особенная книга, с приложением избранных рассказов из *Барона Мюнхгаузена*. Впрочем, будучи упитана в продолжение четырех лет подобными повествованиями, с указанием при каждом на *факты*, т. е. *чужих людей с живыми в них душами* (sic), последнее непочтительное замечание пишу, быть может, совсем не я, а только мои европейские *ножны* или футляр. Иногда у меня голова идет кругом, мутится в мозгу, и я перестаю даже сознавать и перепутываю собственную личность. При таких необычайных рассказах я не решалась заявлять о себе мысленно, что я – точно я *сама*, а не (как в одной из историй Марка Твена) мой собственный брат-близнец, утонувший возле меня в ванне... Мы просидели таким образом от восьми часов вечера далеко за полночь на веранде, слушая один рассказ за другим, один другого необычайнее!..

Наконец, наши гости попросили позволения уйти. Мы лишь тогда вспомнили, что сами виноваты в продолжительности их визита: мы *забыли попросить их убраться!* В Индии, если хозяин не позаботится отправить гостей вовремя (Европеец фразой: «надеюсь, что скоро снова зайдете», а туземец, предложив жвачку бетеля и оросив гостей розовой водой), то посетители из учтивости готовы остаться у вас целую ночь. Это пренеприятная обязанность, и первое время она нас сильно конфузила. Теперь же мы попривыкли и находим этот обычай даже весьма удобным, тем более, что подобная деликатная задача не требует здесь даже и Демьяновой ухи. Напротив, гости сами несут приношение в виде плодов, сладких снадобий и цветов, а от угощения убежали бы без оглядки: строгие законы неумолимой касты не позволяют им дотронуться даже до стакана воды. Когда же подадут воду европейцу в доме индуса, стакан, либо

другая посуда, как навеки оскверненная, разбивается тут же вдребезги. Учтивый европеец всегда сам разобьет ее.

Гости наши уже собирались уходить, как полковник, упрямый и задорный в спорах, как истый янки, смеясь, снова заметил джату и школьному учителю:

– Благодарю вас за посещение и доставленные сведения. Только извините, а мне что-то все-таки не верится, чтобы душа живого человека могла завладеть по одному желанию и капризу чужим телом.

– Да мы и не утверждаем, что может сделать всякая душа, а только *майяви-рупа* (тело иллюзии, *perispit*) посвященного йога.

– В могущество их и тайную силу вполне верю, – перебил он уже серьезнее. – Верю потому, что лично убедился во всем этом по приезде в Индию. Но чтобы душа, даже самого сильного адепта, и будь у него семь пядей во лбу, могла по усмотрению переселяться в другое тело, – не могу поверить. Ведь этак вы делаете из них чистых оборотней!.. Этак, пожалуй, каждый *йог* способен оборачиваться, как и в сказках наших краснокожих, в крокодилов, кошек, лягушек... Это черт знает что уж такое!..

– Не спорьте, полковник, – заметил доселе молчавший Нараян. – Не спорьте; вы не можете знать, до чего может доходить... их могущество и до...

– Да ведь на все есть границы! – перебил наш президент с ноткой досады в голосе. – Ну вот, наш такур, например... Я верю в его науку, глубокие познания и психическую силу, как верю в собственное существование... Неужели же мне поэтому верить и в то, что, воспользовавшись телом дохлой крысы, он способен перелезть и в нее?... Тьфу, какая гадость!

И он даже плюнул, причем я вспомнила почему-то У*** и его спор с такуром на берегу озера.

– Оборачиваются в крыс и тигров одни *джаду*, колдуны, да тибетские дугпы и шамары, – почти гневно воскликнул, сверкая глазами, Нараян. – Великий сааб никогда не снизойдет до этого!.. Но если бы он и захотел так сделать, то... конечно...

Тяжелый шум могучих крыльев в двух шагах от нас внезапно прервал Нараяна на полуслове. Он весь задрожал и устремил пристальный взгляд в угол веранды. Великолепный павлин, разбуженный, вероятно, громкими голосами спорщиков, слетел с крыши и, тяжело опустившись на землю, стоял перед Нараяном, чванливо распустив пышный веер хвоста...

Полковник расхохотался во все горло...

– Уж не думаете ли вы, мой бедный Нараянджи, что в этом павлине сидит наш такур?... Пожалуй, вы готовы уверить себя и нас, что Гулаб Синг нарочно оборотился в павлина, чтобы остановить ваши нескромные раскрытия его могущества!.. Ха, ха, ха...

Наш президент катался со смеху, но Нараян и не улыбнулся. Мы заметили, что даже бабу оставался серьезным. Прочие видимо напускали на себя вид равнодушия и развязности, которой не чувствовали. Один толстый учитель сопел, ослабляясь и стараясь уже несколько минут ввернуть словцо. Наконец ему удалось воспользоваться минутным затишьем, и он многозначительно откашлялся.

– Вот полковник сааб не верит нашим рассказам о переселении душ из одного живого тела в другое... А ведь перед ним находится, если верить всей Индии, живой, так сказать, пример, – громко заговорил он. – Спросите кого хотите, и всякий вам скажет, что в *молодом* такуре Гулаб Лалл Синге сидит душа старого владетельного такура, деда его, и что он...

Полковник и я наострили уши и слушали, стараясь не проронить ни слова.

– Доканчивайте же!.. – нетерпеливо воскликнул наш президент внезапно смолкнувшему и как бы что-то соображавшему учителю.

– Что такур... еще при жизни...

Но нам не суждено было услышать конец этого интересного сведения. На крыше, над нашими головами внезапно раздались резкие звуки пав и что-то свалилось к ногам снова было присевшего учителя, шлепнувшись с глухим стуком о каменный помост. В полутемноте, и прежде нежели мы могли разглядеть образ этого нового явления, тучный педагог, подскочил с упругостью резинового мячика на стуле и тут же развалил его в куски, чуть не развалясь сам вместе с ним. Удержавшись как-то на ногах, он отскочил в сторону и заорал высокой, испуганной фистулой:

– Кобра, кобра!.. берегитесь... кобра!..

Наш маленький бабу, веривший столь же мало в законы Ману, запрещающие убиение какого бы то ни было живого существа, от тигра до клопа включительно, как и в оборотней, бросился тут же с быстротой обезьяны на помощь своему соотечественнику. Вырвав у него из рук тонкую бамбуковую трость, он схватил змею, вероятно более нас испуганную, одной рукой за хвост, а другою, вооруженною гибкою тростью, разом перебил ей спинной хребет, затем наступил ей толстым башмаком на голову и доканал хлыстом. Во рту у неприятной гадины мы нашли павлинье яйцо, которое и объяснило нам как визит павлина-оборотня, так и появление кобры. Забив рот яйцом, которого кобра не могла сразу проглотить и, вероятно, почувствовав себя бессильной пред атаковавшими павлинами, она со страху свалилась с крыши.

Мы посмеялись над суеверием Нараяна и Мульджи и, простясь с гостями, вошли в нашу столовую. Наш почтенный президент машинально подошел к одной из картин и, приподняв очки на лоб, стал рассматривать многочисленные фигуры изображенного дурбара при свете стоявшей на столе большой лампы. В ожидании, пока он окончит обозрение, я села у окна, сильно уставая и позевывая.

Все было тихо кругом. Баратпур спал, наши товарищи ушли, спали и павлины на крышах, успокоясь после произведенной тревоги. Не спали одни мы, да Нараян, все еще сидевший понуря голову на ступеньках веранды. Он никогда не ложился ранее нас и был готов к нашим услугам во всякое время дня и ночи. Поступал ли он так вследствие желания такура или по своей доброй воле, нам не удалось узнать. Но с самого дня нашего выезда из Бомбея, как только в комнате или палатке раздавалось могучее храпение нашего добродушного начальника, Нараян ложился поперек дороги, ведущей в двери моей временной опочивальни, и не трогался оттуда до утра. Счастливый народ в этом отношении индусы! Они находят себе комфорт повсюду, от вершин Гималайских до раскаленной почвы Индостана. Самый богатый раджа ни за что не согласится спать на кровати. Кусок ковра, и постель готова. И климат кажется им нипочем. Кисейная ^[198] доти да рубашка, голые от колен ноги, босиком и такой же полуголый бюст, вот костюм их во все сезоны и во всех климатах. Приехавшие со мною в Дарджелинг индусы-бенгальцы и мадрасцы – в октябре месяце прошлого года, как одевались на палящих берегах Хугли в Калькутте, так и остались, не прибавив и лоскутка к костюму в Сиккиме, где я коченела от холода и сырости, дрожа под шубами и одеялами. Для них 8000 футов над уровнем моря или 3 вершка над его уровнем ^[199] не составляют никакой разницы, и они купались по два раза в день в полузамерзших ледяных струях горных потоков с таким же наслаждением, как и в нагретой воде своих священных танков на равнинах Бенгалии. И никогда ни один из них не заболел даже насморком. На мой вопрос и просьбу разъяснить эту тайну неуязвимости, они смеялись, уверяя, что это очень просто: «Вы, белые саабы, моетесь мылом и натираете тело разными ядовитыми эссенциями; а нас с первого дня рождения наши матери натирают после мытья кокосовым маслом, и мы продолжаем эту операцию каждое утро в продолжение целой нашей жизни. Все поры нашего тела пропитаны и наполнены веществом, которое не допускает ни сырости, ни холода внутрь организма...» Предоставляю физиологам и аллопатам судить о правильности или неправильности этого воззрения. Последние нам, вероятно, ответят, что это вредный обычай,

что масло не пропускает естественных испарений и т. д. Быть может; но наши деликатные grandes dames могли бы позавидовать коже (если не цвету) последнего кули или простой мужички Индии. Эта кожа мягче и нежнее всякого атласа и бархата, а вместе с тем, как видно, и не подвержена, подобно нашей, простудам.

Вдруг загорланили где-то несколько петухов.

– Идите спать, Нараян, – обратилась я к сидевшему на ступенях махрату. – Слышите, джатские петухи уже запели. Полковник, отправляйтесь и вы!.. Вы мешаете Нараяну ложиться, – добавила я, вставая. – Покойной ночи, саабы...

На мое учтивое прощание не последовало никакого ответа, и я с удивлением обернулась к полковнику. Он стоял на том же месте с картиной в руках, полуобернувшись ко мне спиной, и был до такой степени углублен в созерцание дурбара, что, наклоняясь низко над лампой, не замечал даже, как одна лысина спасала его волосы от неминуемого сожжения.

– Что с вами, полковник?... – снова спросила я. – Заснули вы, что ли, над лампой?... Господи! да что же вы не отвечаете?... Что с вами такое?...

И я бросилась к нему с непритворным испугом. В голове моей промелькнула мысль о «ножнах», «оборотнях» и разных других чудесах Индии.

Взглянув ему в лицо, я еще более испугалась. Красный, как вареный рак, с белыми пятнами по лицу, с которого катились крупные капли пота, он стоял похожий на статую ужаса. В его широко раскрытых глазах ясно читался страх, изумление и какая-то беспомощная растерянность... Я заметила, что он держит картину рисунком вниз и что его полный ужаса взгляд устремлен на обратную сторону.

– Да что же вы видите, наконец, такого ужасного на обороте этого пергамента?... – продолжала я, потрясая его изо всей силы за руку. – Да скажите хоть слово!..

Мой почтенный президент испустил нечто вроде слабого мычания и пальцем левой руки ткнул в написанную золотом на языке Урду надпись; незнакомая с закорючками этого диалекта, я ровно ничего не поняла.

– Что же тут написано?... Скажите.

Вместо прямого ответа он прошептал слабым голосом:

– Нараян!.. Нараян!.. идите сюда!..

В одну секунду наш верный спутник стоял возле нас и смотрел на него с таким же удивлением, как и я сама.

– Я не очень хорошо знаю эти буквы... Я, быть может, ошибаюсь... Прочтите, Нараян, мой сын, прочтите, – тихо шептал он слабым голосом.

– «Дурбар шах-Алума. Передача его величеством падишахом Бенгальского Девауни Ост-Индской компании, а также провинции Бехара и Бриссы... Встреча раджпутских послов... примирение... по воле благословенного пророка Магомета... после горького поражения при Патне в 1173 году. Писал Ахмед-Дин 1177 года».

– Что ж в этом такого страшного?... И нам-то что до их несчастья? – спрашиваю я.

– Нам-то что? – почти закричал полковник. – Нам?... нам?... А вот сейчас увидите что!! По хиджре это ведь 1177 г., – не так ли?

– Кажется, что так, – отвечал, глядя на него с изумлением, Нараян.

– Ну, а 1177 год хиджры каким будет годом по нашему европейскому летосчислению?

Нараян, подумав с минутой, отвечал:

– 1765 год, кажется; т. е. около 114 лет назад...

– 1765 год! Сто четырнадцать лет! – прокричал, сильно напирая на каждый слог, побагровевший полковник. – Да? Ну так смотрите же оба, узнавайте... называйте!.. а затем мне остается одно: приказать посадить себя в сумасшедший дом!..

Быстро выхватив картину их рук Нараяна, он перевернул ее рисунком вверх и, указывая на стоящую возле падишаха фигуру, прошептал хриплым голосом:

– Смотрите... вот, вот *он*... несомненно, *он*... Да и разве есть по всем мире другой такой? *Он!*.. – повторял он, указывая пальцем.

Мы взглянули, и признаюсь, от такой неожиданности у меня захватило дух и кровь похолодела... Картина сильно заколыхалась в руках Нараяна.

Перед нашими глазами между 70 или 80 фигурами придворных мусульман и браминов, у трона падишаха стоял, несомненно, образ такура Гулаб Синга!.. Действительно, по выражению полковника, разве есть во всем мире другой, похожий на него – *он!* То был портрет его двойника, если не его самого. Не говоря уже о том, что громадный рост фигуры возвышал ее на целую голову над остальными фигурами, то было единственное в картине изображение, совершенно свободное от раболепной позы всех прочих придворных. Офицер англичанин еле выдвигался из-под локтей великолепных усатых сердарей, и ненависть живописца оттеснила его совсем на задний план. Одна фигура того, в ком мы все разом признали Гулаб Синга, возвышаясь высоко над толпой, бросалась в глаза своей горделивой осанкой. Даже поза была его, ему одному свойственная поза: он стоял, сложив на груди руки и спокойно глядя чрез голову придворных в пространство. Лишь костюм был иной. Раджпутский тюрбан с султанчиком из перьев, стальные до локтей перчатки, род панциря, несколько кинжалов у пояса, да щит из прозрачной носороговой кожи у ног... Длинные, волнистые волосы, борода, лицо не оставляли никакого сомнения, что то был он, наш таинственный и неразъяснимый покровитель...

– Да ведь это же невозможно, это непостижимо!.. – прервал наконец молчание все еще сильно смущенный полковник: – Ну как тут что-нибудь понять?... Человеку на вид нет и сорока лет, а портрет его является на картине, написанной за сто лет тому назад!..

– Вероятно это... портрет деда его!.. – пробормотал, будто извиняясь за такура, Нараян.

– Деда? – презрительно передразнил наш президент, – а почему же не вашего или не моего деда?... Разве бывает такое, даже фамильное, сходство!.. Нет, нет... Не деда и не прадеда, а его самого... Я начинаю однако бредить, – спохватился полковник: – Действительно, если картина не подлог, то ведь это... *невозможно!*.. Скажите, – вдруг обратился он ко мне комически умоляющим голосом, – скажите мне... ведь это невозможно... нет?

– Не знаю, полковник... Вот уже несколько дней, как я начинаю терять способность даже и думать. Кажется, что... Но не спрашивайте меня, спросите лучше его самого... если осмелитесь, – добавила я мысленно и сама не зная почему рассердясь на бедного полковника.

– Нет, нет... Это невозможно, – продолжал он рассуждать как бы про себя: – Невозможно!.. Поэтому прекратим этот разговор.

– А быть может, и действительно это портрет его деда, – заметила я. – Вспомните, что нам начал было рассказывать про него инспектор школ. Только ведь он говорил...

Меня просто покорило от взгляда, брошенного на меня Нараяном. При первых же словах он взглянул на меня с таким жгучим и вместе страдальческим укором, что я почувствовала, как у меня остановились слова в горле. Но и простой намек уже оказал свое действие.

– Праведное небо, а я было забыл!.. – воскликнул, хлопнув себя по лбу, полковник: – Да только ведь этак задача делается еще труднее... Подумайте только, – продолжал он как бы про себя и соображая, – если такур и его дед...

– Довольно! – объявила я решительно. – Если вы действительно уважаете его, не забывайте, что он нам многократно советовал: не слушать разных про него толков и не стараться узнавать что бы то ни было про него. Я по крайней мере настолько чувствую к нему уважение, чтобы нейти против его желания. До завтра, господа!

Я вошла в свою комнату и опустила парду (портьеру). Чрез несколько минут все умолкло в

соседней комнате, а чрез четверть часа уже стало раздаваться знакомое всхрапыванье с присвистом.

...

...

Что это, виденье, действительность или просто фантазия, сон?... Духота страшная, и я не могу уснуть. Огромная *панка*, колыхаемая двумя кули на веранде, вместо прохлады навевает лишь нестерпимую жару. словно пышет в лицо горячий воздух из духовой печки!.. Я не сплю, это верно. Вон моя *айя* (горничная), свернувшись клубочком, как черная кошка, спит на циновке у подножия кровати... Вот мое солнечное топи, свалившись на пол, раскатывается взад и вперед колыханием панки... Нет, я не сплю... Так что же это, почему мне кажется, будто я начинаю видеть сквозь толстую циновку двери и различать в темноте; все предметы, мебель, спящего или по крайней мере лежащего поперек дверей Нараяна и даже оставленную полковником на столе дурбарную картину?... В соседней столовой делается все светлее, словно ее освещала, выплывавшая из-за черных туч, полная луна. Кто это?... Неужели такур?... Но ведь он в Диге! Вот он тихо и неслышно подходит к спящему Нараяну и дотрагивается до его плеча. Нараян вскакивает, и я вижу, как он простирается пред *маха-саибом*, прикасаясь сложенными ладонями к его ногам... Такур простирает руку к картине, и, вся зардевшись миллионами словно электрических искр, она мгновенно исчезает из моих глаз... Все начинает путаться, ступешиваться, и я открываю глаза только утром, на зов моей *айи*, которая тихо и с бесконечными *саламами* будит меня, говоря, что карета готова и *корнель-сааб* (colonel-sahib) ожидает только меня.

Какое странное, но удивительно ясное сновидение!.. – думается мне, пока я сажусь в золоченую, присланную нам деваном карету.

Из Баратпура в Диг дорога, гладкая и ровная, пролегает пыльной лентой среди бесконечных степей и луж. Наша золоченая карета, времен царя Гороха, за которой следовала длинная вереница *джаток*, увлекаемых рысистыми бычками-карликами, летела вперед с гиком и криком кучеров и скороходов. Мирные, встречавшиеся на пути, поселяне простирались пред нами во прах, пугливо сторонились и оказывали всевозможные почести. Так ехали мы часа два по пустыням без малейшего признака растительности, окруженные со всех сторон болотами, канавами да солеными озерами. Наконец, мы подъехали к гигантским воротам Дига, справедливо прозванного «Баратпурским оазисом».

Внезапная перемена декораций. Как бы по мановению волшебного жезла возник пред нами, среди выжженных полей, да покрытых вековой тиной болот, заколдованный замок-крепость с башнями, теремами и висячими садами Семирамиды.

Мы въехали в полуразрушенный городок, если можно так назвать дюжины две каменных башенок, и стали подниматься к крепости. Городок приютился под сенью величественного памятника глубочайшей древности, столь глубокой, что ум современных летописцев, теряясь во мраке недостижимого доисторического прошлого, отказывается определить его начало.

Древние названия Дига: «Дираг» и «Диргпура» упоминаются часто в *Сканде-пуране* и в IV главе *Багват Махатмы*. Диг, то есть старый, доисторический Диг, построен *шестьдесят веков* назад, объяснил нам Нараян, наша ходячая энциклопедия.

Современный Диг «основан джатами, пришлецами *скифами* из далекого севера», говорят англо-индийские историки. Диг, по народному поверью, выстроен пришедшими вместе с джатами колдунами, которые и соорудили бывшее мощное укрепление с его волшебным замком и прелестными садами – *в одну ночь*. Как все, выстроенное на такую скорую руку, Диг, невзирая на его непроходимые, наполненные водой рвы и недоступность его в продолжение девяти месяцев в году своим, как и чужим, впрочем оказался *майей*, иллюзией, пред рыжеволосыми завоевателями. Во время разлива рек и сотен озерков Баратпурских степей целый океан образуется вокруг городка, и в такое время он действительно недоступен неприятелю. Но англичане хотя и посидели у моря, а все же не дождались погоды: в декабре 1804 года генерал Фрезер осадил и взял Диг штурмом, затем, разорив укрепления дотла, великодушно возвратил «оазис» Джатскому радже. Теперь от крепостных стен не осталось и камня на камне. В одном углу к юго-востоку торчит *Шах-Бурдж* новейшего Дирага. Это огромная скала, пространная площадь коей окружена теперь вместо укреплений зеленой изгородью, но все еще сохранила по одному бастиону в каждом из своих четырех углов. Впрочем, внутри высоко воздымающегося воздушного сквера остались от укреплений три стены в 21 фут толщиной, говорящие и поныне о своем славном прошлом. В западном углу «крепости» дворец раджи с его роскошным садом, священными павлинами и фонтанами. Этот дворец с садом и составляют главную приманку для туристов.

Современные путешественники решили в один голос, что за исключением Тадж-Махала, в Агре, Дигский дворец великолепнейшее здание в Индии: те же мраморные громадные залы со стенами, выложенными мозаикой из дорогих камней; тот же стиль архитектуры в башнях; та же изумительная тонкость работы в кружевной резьбе белых мраморных балюстрад, террас и перил лестниц.

Смешно и гадко становится, читая в *якобы ученых* сочинениях разных чиновников об Индии их замечания и выводы по части археологии. Авторы точно ищут унижить туземцев даже периода *Махабхараты*, указывая на них, как на расу, совершенно неспособную к изящным

искусствам. Нет же между несостоящими (забытыми и голодными) браминами такой творческой силы, стало быть не могло ее быть и прежде, гласит логика этих «сочинителей», забывающая так кстати, что мы видим то же самое и в современных греках и даже в выродившихся римлянах. Вследствие этого, между сотнями грандиозных храмов, находимых еще ежегодно и доселе в непроходимых джунглях центральной Индии, нет ни одной исторической руины, на которую англо-индийцы взирали бы как на произведение *чисто туземного* искусства. Там, где строил, очевидно, не могил (как, например, храмы, рассеянные по Раджпутане и Мевару), тотчас же отыскивается ловкая, хотя и ни на чем не основанная гипотеза о греках да итальянцах. В *Пуранах* упоминается о пленных «явани», которые употреблялись на работы победителями. «Они-то и есть создатели этих храмов». При этом забывается, что название «явани» давалось браминами не только грекам, ионийцам, но и другим иностранцам, между прочим скифам. Все это не беда: то грек, видите ли, застрявший в Индии со времен македонян, который де всенепременно строил храм Карли и даже древнейшие *вихары* Элефанты и Эллора. Нет для такого заключения ни малейших данных; ему противоречат *Пураны*, как и прочие летописи и все традиции Индии, даже и *самые законы Ману*. Непреложные и непреступаемые, они запрещают руке *млечха* (нечистого иностранца, не-брамина), точно так же как и руке поганого пария, прикасаться к малейшему камню из заготовленных для священной постройки. Иначе, «в случае такого осквернения», – читаем в *Ману*, – «храм, хотя бы и почти оконченный, следует разрушить в той части, где к нему коснулась такая рука; материал предать очищению, а затем только продолжать постройку» (*Манавадхарма* и *Васту-шастра*).

Рабочие руки, трудившиеся над ними, принадлежали *туземным* артистам, а не пришельцам *могулам*; а если греки что-либо строили в Индии, то все же они строили по планам *индусов*, а не *могулов*, и вот именно почему:

Могулы, как всем известно, всегда были (в Индии, по крайней мере) великими артистами в делах разрушения и кровопролития; а изящными искусствами, хотя некоторые из *калифов* и *покровительствовали* им и знали в них толк, они не занимались. *Испанские мавры* да *сарацины*, построившие *Альгамбру*, им не пример, хотя бы уж потому, что *могулы*, завладевшие Индией, вовсе не *мавры* или *сарацины* вроде просвещенного рыцаря *Саладина*, и даже в громадной пропорции вовсе и не *арабы*, а просто праотцы по большей части нынешних героев-разбойников *Кабулистана* и *Гиндукуша*, то есть варварские, только что к тому времени обращенные в *Ислам* племена *Средней Азии*, да *афганы* и древние *туркмены*. В *могулах* Индии преобладает до сего дня чисто *туранский* и *монгольский* тип и, чтоб убедиться в этом, приглашаем наших противников взглянуть на *мусульманское население* от *Бомбея* до северных провинций. Их *мелкобородые* (если не совсем *безбородые*) лица с выдающимися, как у *калмыков*, скулами указывают на полное в них отсутствие *семитического элемента*.^[2001]

Так неужели же мы можем верить *ориенталистам*, которые стараются убедить нас, будто не *индусы*, а *могулы*, да *беглые греки* трудились над этими чудесами искусства, что не потомки *славных ришей* и *целых поколений математиков, геометров и поэтов* строили эти ни с чем *несравнимые по оригинальности здания*, а *разбойничье племя Средней Азии*, не имеющее и до сей поры ни малейшего понятия об *искусствах*? Там, где установился веками и преобладает чисто *арабский элемент*, ведь не строят же себе, как никогда и не строили, *мусульмане* таких *гробниц, дворцов и мавзолеев*, какие мы теперь находим в одной Индии? Нет ничего подходящего к *Тадж-Махалу*, *гробницам Акбара*, *калифа Хайнумана*, *мечетям* и *дворцам Дели*, *Лакнау* и *Дига* ни в *Персии*, ни в *современном Египте*, ни в *Сирии* или *Багдаде*, ни даже в *полуобъевропеившейся Турции*. Пусть же теперь кто-нибудь взглянет на *памятники и дворцы южной Индии*; на *резьбу и скульптурные украшения храмов Мадур*, *Срирангама* и других в *Мадрасском президентстве*; на *пирамидальную глыбу Танджавурской великой пагоды*,

древнейшей в стране. Покрытая на 200 футов в высоту статуями, в двойной рост человека, богов, богинь и аватаров, с ее гигантским быком из черного гранита пред фасадом и скульптурными украшениями колонн и потолков, эта пагода считается «одним из лучших произведений искусства Браминской Индии» (епископ Гебер). Не мусульмане ли и ее строили? Так пусть отрицатели всякого таланта в индусах проедут, как мы проехали, вдоль и поперек Раджпутаны, Мейвара, Синда и Мальвы. Пусть взглянут они на это громадное пространство, засеянное, буквально как поле горохом, развалинами индусских храмов, крепостей и дворцов, – а затем решат, кто их строил. Здесь, в Раджпутане и Мейваре, могулы долго не засиживались, по той простой причине, что их здесь жестоко колотили не в пример другим народам Индии. Здесь-то уж они ничего не строили, хотя и многое что поразоряли. А здесь именно турист и найдет на полуразрушенных стенах храмов такие изваяния и лепную работу, такое разнообразие художественных произведений, пред которыми, пожалуй, побледнеет и Гомеровское описание Ахиллесова щита...

Кто когда из европейцев слышал о храме Баролли, возле Читтора, столь знаменитого в летописях Раджастхана? Его открыли среди дремучего леса и описали полковник Тод и капитан Вауг. Позволю себе несколько выдержек из описаний этих офицеров. Они лучше всего покажут разницу между мнениями образованных беспристрастных англичан времен Ост-Индской компании и мнением современных «аршинников» в Индии. Присылаемые из Лондона *разорять* и *усмирять*, они судят о всем туземном лишь по усмотрению собственных мелких, завистливых умишек, причиняя тем ущерб как науке, так и истине.

«Среди векового леса, – пишет Тод, – мы вдруг увидели храм Баролли. Подходя к священной руине, мы оставили наших лошадей и поднялись по широкой каменной лестнице на паперть храма. Описать изумительную и разнообразную архитектуру этого древнего памятника я положительно отказываюсь: это дело карандаша, работа коим оказалась бы просто бесконечной. *Здесь человеческое искусство, дойдя до своих крайних пределов, как бы истоцилось*; и только здесь и впервые мы получили вполне сознательное понятие о красоте и оригинальности индийского зодчества и скульптуры. Колонны, стены, потолки, наружные лепные и резные украшения куполов, – где каждый отдельный камень изображает собой миниатюрный храм, словно изваянный под пальцами волшебницы, – все это громоздится одно над другим, до самой увенчанной урнообразным символом Шивы верхушки главного купола, и производит в зрителе положительно головокружение. Одна только резьба на капители каждой колонны потребовала бы целых страниц описания и объяснений. Все здание, невзирая на свою глубокую древность, находится еще в изумительном состоянии целости, и мы приписываем это сохранение двум главным причинам: 1) каждый камень этого здания изваян из мелкозернистого кварца, – быть может, самого крепкого, как и самого прочного в мире камня, но зато и самого трудного для долота; и, затем, 2) ввиду известной мусульманской нетерпимости и страсти к иконоборству, от низу до верху, т. е. от его ступеней до верхушки купола, вся наружная часть храма оставалась в продолжение нескольких веков покрытой тонким мраморным цементом...^[201] Скульптурные окраины украшений так же свежи и прекрасны, как бы вчера только вышли из-под резца художника. Одна из половинок полуразрушенной двери – верх совершенства, красоты и вкуса. Главные фигуры на ней – бог Шива и его богиня Парвати со свитою. Он изображен стоя на лотосе, со змеей, обвивающей его гирляндой. Как бог войны и разрушения, он держит в правой руке *демру* (барабан), звуками коего воодушевляет своих воинов; в левой – *купру* (чашу) из человеческого

череп, из которой он пьет кровь убитых воинов. «Дочь горы» стоит, налево от супруга, на курме (черепях). Она изображена с длинными, мелкозаплетенными косами, в ушах раковины вместо серег. Каждая часть тела в этой грациозной группе дышит той прелестной естественностью, которая настолько замечательна своим присутствием в древней индийской скульптуре, насколько она поражает своим отсутствием в нынешней. Мужественная, полная достоинства поза гордой фигуры Баба Адама (отец Адам), как один раджпут назвал при мне Махадева, может сравниться только с нежным женственным обликом и полною грации фигурой богини. Змеи и цвет лотоса переплетаются над их головами. Ниже представлен химерический зверь Грас, наподобие рогатого льва, возле – пустынный, играющий на гитаре, и два оленя, благоговейно прислушивающиеся к священной мелодии. Каждая группа отделяется от другой гирляндами цветов и листьев. Капитан Вауг срисовывает одну из этих групп, соглашаясь со мной, что пред нами открылись бесподобные, ни с чем не сравнимые образчики высшего искусства. Между ними находятся такие части – особенно головы некоторых фигур, – которым позавидовал бы сам Канова. Группы сделаны горельефом, почти отделяются от плиты...»

«В алтаре Тримурти... одно лицо «Разрушителя» осталось целым.^[202] Тиара, венчающая трехликую главу – образчик превосходной работы. Гений ваятеля не может идти далее... фигуры колоссальные, семи футов каждая»... «Описывать купол над мундуфом (притвор, древний пронаос) почти невозможно: тому, кто желает получить о нем верное понятие и разглядеть мельчайшие подробности это волшебное произведение резца, следует рассматривать эту работу в микроскоп. Мы нашли в этой массе украшений гармонию в целом, не найденную нами нигде еще в других зданиях подобного рода. Даже миниатюрные слоники изваяны анатомически верно и превосходно закончены в деталях»...

Следует за этим двенадцать страниц описания *dii minorum gentium*^[203] и других чудес Баролли. «Потребовалось бы дюжина художников и шесть месяцев непрерывной работы для самого поверхностного описания всех диковин этого чудного храма», заключает Тод.^[204]

Не осталось никакого указания потомству, когда и кем был выстроен этот мало кому известный, даже в Индии, храм. Какой-то раджа Хун (Hoon) – легендарный герой этой местности. Но даже Тоду, написавшему два толстые тома в доказательство тому, что раджпуты – скифы, Махадева-Шива – Адам, а Ману – Ной, даже ему не удалось приобщить гуннов к мифологии индусов. Одно только совершил политический агент Компании в Раджпутане: он нашел в храме Баролли и перевел надпись на барельефе Махадевы, с находящимся в ней числом: 13 карттика (месяц, посвященный Марсу Индии) эры Селивана 981 год или 925 год от Р. Х. В этой надписи упоминается о приношении Махадеве (патрону йогов) «его рабом» (имя стерто рукой времени) необходимой суммы для починки его древнего храма.

Если в 925 году, почти за тысячу лет назад и за полстолетия до вторжения мусульман в Индии, храм Баролли уже считался «древним», то очевидно, что его строили не могулы, а тем менее греки. Во всей громадной массе его не найдется ни архитектуры, ни в его изваяниях какой-либо черты, напоминающей об эллинах. Нет и намека на дорический, еще менее на ионический стиль. Все в нем своеобразно, все в чисто индусском стиле.

Извиняясь за долгое отступление и не обещая не впадать снова в обычную мне ошибку, я желаю объяснить причину его. Во-первых, так как я сама посетила этот храм позднее, мне все равно пришлось бы описывать его, и мой рассказ, после стольких описаний мною других

храмов, мог бы, пожалуй, показаться монотонным; а во-вторых, я хотела в этом случае опереться на свидетельство – в том, что я не пристрастна к Индии, а только отдаю ей справедливость, – всем известного за аккуратного писателя, англо-индийского археолога и сановника. Тод прожил целые годы в Индии, а восторг, пробивающийся в каждой строчке его описания чудес искусства древней Индии, гораздо значительнее моего.

Затем самый вопрос, «кто строил все это в Индии, могулы или индусы», послужил в первые часы нашего приезда в Диг поводом к весьма неприятному знакомству, которое и окончилось столь же неприятной ссорой.



Храм в Мадуре

Едва мы поднялись на террасу и вошли в залу, как нашли там, к великому неудовольствию всей нашей компании, двух незнакомых англичан. Проездом из Джайпура куда-то, они остановились позавтракать в Диге на счет махараджи и угоститься даровыми ликерами и шампанским. С последним они, видно, уже познакомились, так как оно вывело их из обычной сынам Альбиона высокомерной сдержанности. Забыв «этикет», они поклонились нам при нашем появлении и даже заговорили первые с О., косясь все время, впрочем, на наших туземных товарищей и подмигивая полковнику. Быть может то было просто добродушной с их стороны шуткой, но мне их гримасы показались очень дерзкими и особенно оскорбительными для индусов. Я тотчас же ушла с Нараяном осматривать «терема», а О. остался с англичанами в дурбарной зале, где те расположились ранее нас за приготовленным для нас одних столом. Другого стола, ни большего, ни малого, не было во всем дворце, обширные и запыленные залы которого выглядели какой-то мраморной пустыней. Нам пришлось поневоле ждать. Впрочем, англичане уехали часа через два; но и за этот короткий срок они успели оскорбить наших друзей и затеять личную со мной стычку.

Когда, устав ходить по бесчисленным коридорам и лестницам, я вернулась через час, они все еще были за столом и спорили с О., который отстаивал древние искусства Индии и заступался за туземцев вообще. Наши индусы сидели в другой комнате на циновках, мрачно

прислушиваясь к разговору. Нараян, замечательно угрюмый и скучный с самого утра, прошел к товарищам, не заходя в залу, а я села у самого конца стола за кофе, решив не принимать никакого участия в разговоре. Не обладая добродушным хладнокровием нашего почтенного президента, я чувствовала, что вспылю, если бы мне пришлось спорить с ними, и поэтому упорно молчала. Осторожность моя не увенчалась успехом: полковник испортил весь план.

Забыв имя одного известного в древней Индии геометра, он возвысил голос, призывая на помощь Нараяна и бабу, и кончил тем, что вызвал обоих из соседней комнаты. Пока он им объяснял имя, кого он желал вспомнить, один из индо-британцев, бесцеремонно оглядывавший меня, обратился ко мне.

– Ваши слуги... конечно? – спросил он, презрительно кивнув на Нараяна и бабу.

Я вспыхнула от негодования и досады при этой очевидной *умышленной* дерзости.

– Слуги... Вы ошиблись: оба *джентльмена* наши дорогие друзья и братья, – добавила я, сильно напирая на слово «джентльмены».

Наглость и нахальство развиваются в индо-британцах быстро. Мой ответ вызвал у обоих громкий хохот.

– Друзья... это, положим, еще возможно... так как о вкусах не спорят, – язвительно протянул англичанин, медленно допивая стакан шампанского со льдом. – Но как же... «братья»? Ведь вы, вероятно, уроженка Европы?...

– Полагаю, что так. Но, к счастью моему, я не *англичанка*. Поэтому я и горжусь привилегией называть этих двух туземных джентльменов не только друзьями, но даже и братьями, – отвечала я очень сухо и глядя прямо в глаза долговязому грубияну.

В свою очередь, он весь вспыхнул.

Не знаю, что он собирался возразить на мой ответ, но товарищ не дал ему времени собраться с мыслями. Схватив его под руку, он почти насильно увлек его на другой конец комнаты, где тотчас же начал ему внушать что-то вполголоса. Я догадалась, что он объясняет ему о нашем Обществе и рассказывает, кто я такая. Оно так и вышло.

При первых словах нашего крупного разговора темные лица туземцев позеленели, а глаза заискрились недобрым, столь знакомым мне фосфорическим блеском. Они стояли словно две неподвижные статуи... Один полковник засуетился, поспешно вставая из-за стола.

Англичане взяли за шляпы и сумки и, кивнув головой О., приготовились было уходить. Старший из них видимо желал избежать неприятной ссоры, и, пробормотав что-то о том, что с женщинами не спорят, направился к выходу. Но мой противник, разгоряченный как шампанским, так и данным ему мной отпором, не унялся. Остановившись посреди залы и покачиваясь слегка от овладевавшего им опьянения, он сделал в мою сторону полуоборот и, надменно повернув ко мне голову, проговорил сердито через плечо:

– Я только что узнал, что вы та *самая русская леди*, о которой наши газеты, столько говорили, *предостерегая* правительство... Теперь мне становятся понятнее ваши *братские* отношения и чувства к черной сволочи^[205] (sic). Но позвольте вас предупредить, что, – невзирая на только что выраженную вами благодарность Провидению за то, что вы родились не англичанкой, могу вас уверить, что безопаснее принадлежать к *нашей*, нежели к *вашей* нации, по крайней мере *здесь, в Индии*, – добавил он многозначительно.

– Очень вероятно. Но я все-таки радуюсь и горжусь, что я не англичанка... – сказала я, вставая и сдерживаясь сколько могла.

– Напрасно. *Наше правительство не любит допускать русских, даже дам, слишком брататься с покоренными нами азиатами... В наших британских владениях русским не место...* Не забывайте этого.

– Но это вы забываетесь, сэр!.. – свирепо воскликнул потерявший всякое терпение

полковник. – Вы оскорбляете женщину и грозите ей!.. К тому же она гражданка свободной Америки и *вовсе* не русская... т. е. не *такая* русская, за какую вы ее принимаете!.. – поправился он, встретив мой негодующий взгляд.

– Извините меня, полковник, и предоставьте мне самой, прошу вас, право защищать себя... Прежде всего я *русская*; русской родилась и русской умру, я русская *в душе*, если не на паспорте... Стыдитесь! Неужели вы желаете, чтоб эти господа уехали, увозя с собою впечатление, что пред их нелепой выходкой и дерзостями я готова была отречься от родины и даже от своей национальности.

– Оно было бы, пожалуй, и осмотрительнее, – ядовито заметил другой англичанин.

– Осмотрительнее может быть, но никак не честнее. Во всяком случае, – добавила я, обращаясь снова к первому, – весьма сожалею, если ваше замечание о том, что в «британских владениях русским не место» *факт*, а не пустая с вашей стороны дерзость. *В наших*, в русских владениях, как, например, в Грузии и на Кавказе, находится место всякому иностранцу, даже *десяткам* нищих англичан, которые приезжают к нам без сапог, а уезжают с миллионами в карманах...

И, видя, как при этих словах исказилось лицо у заступника британских привилегий, я позвала индусов и, повернувшись к прочим спиной, ушла в сад. У Нараяна глаза налились кровью, а бабу, у которого с лица пот катил градом от сдержанного бешенства, бросился, как был одетый, под высокобьющий водомет и стал прыгать, фыркая под водяной пылью, «чтобы хоть немного освежиться и очистить себя от оскверненной *бара-саабами* атмосферы!» – орал он на весь сад.

Мне было невыразимо горько; не за себя, конечно, а за этих ничем неповинных оскорбляемых индусов, осужденных какою-то фатальной силой на вечное, ничем не заслуженное поругание. Что меня принимали за шпиона, сделалось теперь очевидностью, которая при других обстоятельствах только бы меня смешила. Я и теперь чувствовала одно презрение к «победителю», до того трусливому, что он, очевидно, страшился влияния одинокой женщины на умы миллионов «побежденных». В другое время оно бы, пожалуй, даже очень польстило моему самолюбию и вообще было бы весьма смешно, «когда бы не было так грустно», да вместе с тем и опасно. Меня страшило то, что вместо услуг индусам – членам нашего Общества, я могу сделаться, из-за одного того, что я *русская*, предлогом к их преследованию и разным придиркам со стороны их «начальства». Россия и все русское непрерывный кошмар Англо-Индии. Чем ближе к Гималаям, тем сильнее русский «домовой» душит по ночам всякого британского чиновника. А у страха, говорят, глаза велики, и он из белого, пожалуй, сделает черное...

Еще при первом появлении нашего Общества в Индии до меня уже стали доходить слухи о неудовольствии разных сановников, у которых в канцеляриях служили многие из бомбейских членов-туземцев Теософического Общества. «Великие мира сего», *бара-саабы*, сухо советовали своим робким подчиненным «не очень-то дружить с новоприбывшими *авантюристами* из Америки».

Словом, положение было очень неприятное.

Я села на скамью у водомета, около которого бабу отряхался теперь на солнце, наподобие мокрой собачонки. Нараян молчал, как убитый. Взглянув на него, я вся обомлела: темные круги под его огромными глазами потемнели еще сильнее, зубы оскಾಲились, как у дикого зверя, и он вздрагивал словно в лихорадке...

– Что с вами, Нараян? – испуганно спросила я. С минуту он ничего не отвечал; только белые, крепкие зубы заскрежетали еще сильнее... Вдруг он присел на песок дорожки и как-то разом повалился лицом в клумбы ярко-алых *арали*, – цветок, посвященный богине Кали...

Цветок ли, любимый кровожадной богиней мщениа, воодушевил нашего кроткого, терпеливого Нараяна, или что другое внушило ему страшную мысль, но он приподнял голову и, вперив в меня налитые кровью глаза, спросил изменившимся голосом:

– Хорошо... хотите, я убью его? – прошипел голос.

Я вскочила словно ужаленная.

– Что вы, опомнитесь! Да разве стоит этот пьяный фанфарон, чтоб из-за его дерзостей честные люди рисковали шейей? Вы шутите или бредите, мой милый!..

Но он не слышал меня. Опустив голову на раздавленные растения и словно обращаясь к невидимому собеседнику под землей, он продолжал говорить тем же хриплым изменившимся голосом. Он словно изливал внезапно прорвавшуюся волну страдания, полную накипевшей в нем за это время бессильной любви в недра матери сырой земли... Я никогда не видала его в таком возбужденном состоянии. Он казался мне невыразимо жалким, но вместе с этим положительно страшным.

«Что это такое с ним приключилось?» – подумалось мне. – «Неужели все это из-за этой глупейшей истории?»

– Вас оскорбляют... из-за нас... из-за нас одних, – продолжал он полусшепотом. – Да то ли еще будет!.. вас станут скоро преследовать, гнать... Бросьте нас, отвернитесь... скажите, что вы шутили, смеялись над нами, и вас простят, станут звать к себе, предлагать свою дружбу и общество... Но вы этого не сделаете, иначе *маха-сааб* не относился бы к вам, как он теперь относится... Поэтому много горя ждет вас в вашем будущем... горя и клеветы. ^[206] Нет, опасно быть друзьями бедных индусов! Нет счастья для сынов *калиюги*, и безумец тот, кто подает нам руку, потому что рано ли, поздно ли, а все же горько ему придется поплатиться за свое преступление!..

С удивлением, почти с ужасом прислушивалась я к этой неожиданной бессвязной речи, но не находила, что ему сказать в утешение и молчала. Невольно я стала искать глазами бабу. Он лежал на скамейке, шагах в тридцати от нас, и, обсушиваясь на солнце, должно, быть дремал.

– Не сердитесь на меня, упасика, ^[207] и простите, что я потревожил вас, – раздался снова голос Нараяна, уже более ровный и спокойный.

– Сердиться на вас, мой бедный Нараян? За что же мне сердиться; ведь вы пошутили? – прервала я его, не зная сама, что сказать.

Он привстал и снова сел на дорожке в обычной ему позе. Обхватив оба колена мощными руками и упершись в них подбородком, он сидел теперь, покачиваясь взад и вперед и вперив глаза в погибшие *арали*. Он видимо боролся, чтобы совладать с собой, и наконец преуспел: голос его уже не дрожал и не хрипел; но, когда он снова заговорил, в голосе этом слышалось столько непритворного страдания, что я невольно вздрогнула.

– Нет, я не шутил, – произнес он медленно и твердо. – Одно слово, и я бы убил его... Не все ли равно? Ведь моя жизнь так или иначе пропала...

– Но почему же? Что такое случилось? Не может быть, чтобы вы так волновались из-за одного этого дурака? Скажите, ведь не из-за него?

– Нет, не из-за него *одного*, – прошептал он чуть слышно, – а все же мне было бы легче, если б я мог убить пред смертью *хоть одного из этой нестерпимой для нас расы!*

– Убить... Как вы это легко говорите... Ведь это же ужасное преступление!.. А что сказал бы такур?...

– Ничего не сказал бы. Что ему за дело до меня! – еще тише произнес он.

– Но ведь вы... его *чела*?...

Он весь вздрогнул, и его всего перекосило, точно его кто полоснул ножом по сердцу. Он припал еще ниже к коленам, и вдруг из его груди вырвался такой вопль отчаяния, что я

совершенно растерялась... Я чувствовала, что бледнею и не в состоянии выносить этой сцены долее.

– Нет, я не *чела* его. Он мне отказал... Он прогоняет меня!.. – зарыдал бедный колосс, словно пятилетнее дитя.

«Вот оно что!» – вдруг догадалась я. – «Это значит, англичанин является здесь только переполнившей чашу каплей!» И вдруг мне вспомнилось видение... сон... то, что я видела или что представилось мне, будто я видела накануне ночью в Баратпуре. Нараян обнимал ноги такура. Но ведь то был сон? или взаправду все это происходило в действительности и я видела эту сцену наяву?

– Когда же он вам отказал?

Вдруг послышались поспешные шаги. Нараян вскочил и, быстро наклонясь, сказал мне шепотом...

– Прошу вас, сохраните мою тайну нерушимо!.. Ни слова об этом *никому*... Вам я еще пригожусь!.. Но не говорите мистеру О... Я ухожу.

Но он не успел.

– Что это вы зарылись здесь, словно вызываете подводных *бхутов*? – внезапно раздался возле нас голос полковника, – а где же Нараян и где же бабу?... – продолжал он, подходя к нам с «молчаливым генералом», – а... вот они где... Не прячьтесь: оба фанфарона уехали... Я им объяснил многое, чего они не знали, например, правила и цель нашего Общества... Они заинтересовались и даже признались, что ошибались.

– Нашли, где и с кем миссионерствовать, – заметила я с досадой, перерывая этот поток слов.

– Не все же, однако, англо-индийцы подлецы и предатели! – смущенно бормотал полковник.

– Наверное не все, но и не найдется, бьюсь об заклад, более двух дюжин англо-индийцев, которые бы уважали индусов... Здесь, как я теперь вижу, надо быть очень и очень осторожным... Чему вы смеетесь, Мульджи? – спросила я «молчаливого», улыбавшегося во весь широкий рот.

– Вашей щедрости, мам-сааб, – две дюжины англичан в Индии, уважающих нас, негров-то? ... Не очень ли много?

– Действительно, – подхватил проснувшийся и совсем просохший бабу. – Будь у нас даже «две дюжины» таких, то уверяю вас, что все 250 миллионов индусов, «без различия каст и религий», – привел он цитату из теософических статутов, – молились бы, да совершали бы *пуджу* утром и вечером калькуттским и другим *бара-саабам*!

– Я знал только одного за всю мою жизнь, да и того хотели посадить в сумасшедший дом, но он, к счастью своему, умер, – брякнул Мульджи.

– Кто же он? – любопытствовал полковник.

– Мистер Питерс (Peters), бывший коллектор в Мадрасе, в Мадрасском президентстве. Он умер более двадцати лет тому назад... Когда я был еще мальчиком.

– Расскажите же нам его историю толковее, – приставал уже наостривший уши полковник.

– Пожалуй, господин президент, только ведь я не умею рассказывать.

Но он все-таки рассказал ее нам, и «история» оказалась прекурьезной. Я передам рассказ так, как я записала его со слов рассказчика. В Мадрасе она известна всем и каждому.

Мистер Питерс был коллектором *святого града* Мадур, Мекки южной Индии. Страстный археолог и почитатель древних рукописей, он нуждался в браминах для разыскания и перевода таковых; поэтому, хотя, быть может, он сперва и недолго любил их, но все-таки водился, как говорится, с индусами и не притеснял их по примеру своих собратий. Материалист худшего пошиба, он только смеялся над их суеверием и предрассудками; но он точно так же относился и к своей христианской религии, а потому брамины не обращали на это большого внимания. «Настика» (атеист), говорили они, махая рукой. Но вскоре все это изменилось, и мистер Питерс удивил и народы Индии, и своих компатриотов.

Вот как это случилось.

Раз к нему явился никому неизвестный *йог* и попросил личного свидания. Получив позволение предстать пред светлые очи господина коллектора, тот вручил ему древнюю рукопись, объясняя, что получил ее от самой богини Минакши (одна из благовиднейших форм Кали), которая де повелела передать ее мистеру Питерсу. Рукопись была написана на *олле*,^[208] и вид ее был такой древний, что внушал к себе невольное уважение антиквария. Коллектор, гордившийся своими познаниями по части древних писем, обрадовался и тотчас же пожелал прилично вознаградить отшельника. К величайшему его удивлению, *йог* с достоинством отказался ото всякой платы. Но он удивил начальника еще более. Как почти все чиновники англо-индийцы, мистер Питерс принадлежал к масонской ложе. Отшельник внезапно подал ему самый тайный масонский знак и, проговорив известную формулу шотландского братства: «Не так я *это* получил, не так я должен *это* передать»^[209] (то есть рукопись – не за деньги), быстро исчез.

Призадумался Питерс. Послал *сипая* следить за исчезнувшим гостем, а сам тотчас же занялся, при помощи пандита-брамина, разборкой рукописи и ее переводом. *Йога*, конечно, не нашли, так как, по мнению Мульджи, отголоску в этом случае всего города Мадур, то был оборотень самой богини Минакши. Из прилежного же изучения *оллы* коллектор узнал много кой-чего интересного.

То была, по уверению пандита, собственноручная автобиография богини Минакши, в которой шла речь о проявлениях, могуществе, качествах и вообще ее характер. По собственному заявлению, богиня обладала силой (*шакти*)^[210] самого приятного разнообразия, и мало было чудес, которых она не сулила бы своим любимцам. В ее личное могущество даже и не требовалось слишком слепо верить: *девати* (богиню) было достаточно *любить* искренно и горячо, как любят мать, и она простирала свое покровительство на поклонника, берегла, любила и помогала ему.

– Ишь ты, *рыбоглазая!* – свистнул, услышав вышесказанное из уст пандита, неисправимый материалист Питерс.

Этот эпитет, впрочем, вовсе не был дерзостью с его стороны. В буквальном переводе «рыбоглазая» есть имя богини, от слов: *мина* – «рыба» и *акши* – «глаз».

«Но что такое или кто такая богиня Минакши?» спросят нас европейские профаны.

Минакши есть та же Кали, то есть оплодотворяемая духом Шивы его творческая сила, *шакти*, его женский принцип и *аспект* или один из многочисленных видов его супруги Кали.

Каждое божество громадного пантеона Индии, женского ли оно или мужского пола, в своем первородном виде, то есть при первом отделении от «единого и безличного», чисто отвлеченного принципа, который называется у них Парабрахмой, всегда бывает среднего рода. Но в своем земном проявлении оно двоятся, как первородный Адам с Евой, и женская половина,

отделяясь от мужской, становится богиней, а другая остается божком. Всемирное божество Парабрахма – оно, а его двойная энергия, которая впоследствии зарождает несчетное число богов и богинь – *он* и *она*, то есть двуполая. От главных богов, Брахмы, Вишну и Шивы, и их *шакти*, зарождаются в свою очередь другие боги. Но эти не прямое потомство, как то можно подумать, божественных супругов, потомство, имеющее в пантеоне браминов совершенно отдельное и отличное от других место: то сами эти же первородные боги и богини, играющие в маскарад и представляющие собою бесчисленные «аспекты» или виды.

Поэтому кровожадная богиня Кали, самая могущественная из всех *шакти*, являясь под одним из своих видов, как Минакши, например, меняет совершенно все свои личные атрибуты и делается неузнаваемой. Было бы несвоевременно и слишком скучно объяснять здесь идею такого превращения. Достаточно будет сказать, что Кали, превращаясь в Минакши Мадурскую, становится миролюбивейшей из богинь, обладающей всеми наилучшими качествами: кротостью, долготерпением, великодушием и т. д.

Минакши богиня-патронесса города Мадур; она обладает необычайным могуществом в понятиях, конечно, своих поклонников. Несчастные, в которых засел *писача*, «бес», приводятся на излечение к ней толпами. А таких бесноватых в Индии много, потому что благочестивые брамины причисляют к категории «беснующихся» даже тех, что у нас в Европе называются «медиумами». Феноменальным явлениям дается право гражданства в Индии только в присутствии посвященных в «тайные науки», *йогов*, *садху* и других чудодеев. Все то, что происходит *помимо воли человека* и называется у нас *беснованием*, относится браминами к непристойному поведению *писач*.

Но что такое *писача*?

Писачи – те же «духи», *esprits frappeurs* спиритов, только не в полном составе своей разоблаченной личности. *Бхутом* (земным духом) или *писачей* делается та только часть души человеческой, которая, отделяясь после смерти от бессмертного духа, остается обыкновенно в *невидимом*, но часто ощущаемом живыми образе, среди атмосферы, там, где она при жизни тела вращалась и имела бытие. После смерти человека все *божественное* в нем уходит выше, в более чистый и лучший мир, остаются удерживаемые этой атмосферой *одни подонки души*, ее земные страсти, которые и находят себе временный приют в полуматериальном «двойнике» усопшего, выгнанном из своей обители разложением и полным разрушением физической оболочки; а этим задерживается окончательное исчезновение «двойника», причиняя ему мучения. Такой посмертный казус всегда прискорбен семейству умершего и почитается браминами большим несчастьем. Для предотвращения такого нежеланного события индусы принимают всевозможные меры. Оно является, как они думают, чаще всего следствием *греховной жажды жизни*, или же особенного пристрастия покойника к кому или чему-нибудь, *с кем* или *с чем* он не желал, да и по смерти не желает, расставаться. Поэтому индусы стараются оставаться равнодушными ко всему, не допускать в себе пристрастия ни к чему, боясь больше всего в мире умереть с *неудовлетворенным* желанием и вследствие этого превратиться в *писачу*. Туземец всех каст и сект ненавидит «духов» и, видя в них *писачей*, тех же бесов, старается изгнать такого как можно скорее.

Однако же и почет Минакше! На дворе ее пагоды можно видеть ежедневно толпы индусских кликуш. Есть и такие между ними, которые поют петухами и лают по-собачьи, как и у нас на Руси. Но медиумов между ними еще более: то просто-напросто духовидцы и *прорицатели*, в присутствии коих происходят разнообразные явления и всякая чертовщина. Как только приведут одержимого *писачей* пациента перед рыбки очи богини, бес начинает кричать (устаи одержимого конечно), что он тотчас же упразднит занятую им квартиру, лишь бы только богиня дала ему время... Больного уводят, и верный своему слову *писача*, в знак того, что

сдержал его, бросает пред Минакши клочок волос, вырываемый им всегда на прощанье с головы его жертвы. Такие пучки волос, по рассказам, летят де неизвестно откуда, с утра до вечера, в храме, пред глазами удивленного народа, и из них можно было бы делать превосходные тюфяки, если бы брамины не сжигали их с великими церемониями.^[211]

Стекающиеся тысячами и сотнями тысяч пилигримы приносят громадные доходы этому храму, и его священнодействующие брамины-оракулы считаются богатейшими в Индии. Кроме храма Минакши, во всем мадрасском президентстве только пять других таких доходных *пагод*, а именно: знаменитые храмы Тирупатти, Алагар, Вайдьешваран, Ковиль и Свамималай; первые два посвящены богу Вишну, а три последние Шиве. В обыкновенные, будничные дни в этих пагодах собирают *ежедневно* от 3000 до 10000 рупий, но в праздничное время суммы ежедневных доходов превышают всякое вероятие. Они достигают часто от 25000 и даже до 75000 рупий *в день!* Эти цифры не преувеличены, а хорошо известный англо-индийскому правительству факт. Недаром же мадрасское начальство давно уже точит зубки на колоссальный «пагодский фонд», *the pagoda fund*, южной Индии.

Мистер Питерс, прочитав рукопись о Минакши, умилился в душе пред столь высокой добродетелью и решил узнать богиню поближе. До той поры, хотя он много изучал философию индусов, но их взглядов на «беснование» не разделял, а исцелительницу от онога к области философии не причислял; напротив, постоянно забавлялся и трунил над такими верованиями туземцев. Но со дня получения рукописи он стал посещать храм и старался собирать все существующие о богине легенды.

Одна из таких легенд, собранных ученым коллектором, оказалась чрезвычайно интересной; и хотя британские геолого-этнографы не оказывают ей должного внимания, но мистер Питерс причислил оную к событиям вполне историческим. К тому же она описана самой богиней в ее «автобиографии», которую и похоронили впоследствии по собственному желанию Питерса в том гробу, где покоится его прах.

Река Вайга, на южном берегу которой расположен город Мадурра, принадлежит к числу так называемых *антарваханы нади*, то есть рек, протекающих от своего источника до впадения в море *под землей*, словом, подземных потоков. Даже в сезон муссонов, когда окрестности затоплены проливными дождями и река выходит из своих берегов, ее ложе осушается в три-четыре дня и от реки остается одно каменистое дно. Но стоит только во всякое время года порыть на аршин или два под землей, чтобы получить превосходную воду, не только необходимую для города, но и достаточную на орошения полей всего уезда.

Таких рек-отшельниц очень немного в Индии, и они поэтому считаются весьма священными. Как известно всем, а может быть только немногим, в Индии каждый храм и холм, каждая гора и лес, словом, каждая местность, как и здание, считающиеся почему-либо священными, имеют свою *пурану* (историю или летопись).^[212] Записанная на древних пальмовых листьях, она навсегда тщательно сохраняется священнодействующим брамином той или другой пагоды. Иногда санскритский оригинал переводится на местный язык, и оба текста сохраняются с равным уважением. В годовщину праздников, в честь таких «богинь-рек» и «богов-холмов» (река у них всегда – *богиня*, а холм – *бог*), рукописи выносятся, и эти местные *пураны* читаются брамином народу по ночам, с великим церемониалом и с должными на них комментариями. Во многих храмах, ночью под новый год индусов^[213] также читается *брамином-астрологом* народу календарь на следующий год.

Эти календари аккуратно указывают положение планет и звезд; отличают *счастливые* и *несчастливые* часы каждого из 365 дней наступающего года; предсказывают день, число и даже *час того дня*, когда будут дожди, ветры, ураганы, затмение планет или солнца и разные другие явления природы.^[214] Все это читается пред богом или богиней, патроном или патронессой

храма. Толпа благоговейно внимает прорицаниям идола, говорящего устами своего брамина о голоде, войнах и других народных бедствиях, после чего астролог и брамин благословляют толпу и, разделив между беднейшими рис, плоды и другие съедобные приношения, полученные идолами, отпускают ее домой.

В скором времени погрузившийся в изучение славных деяний могучей дэвы и пораженный ее добродетелями, мистер Питерс, навещая зачастую храм, стал находить нечто привлекательное в выражении рыбьих глаз Минакши. Ее эфиопские уста, казалось, растягивались в кроткую улыбку с приближением коллектора, он стал привыкать к ее безобразию. Холостяк и со скромными вкусами, как и все ученые, Питерс начал изучать религии индусов сперва ради науки, а может быть и со скуки, стал втягиваться мало-помалу в эту головоломную философию и вскоре превратился в настоящего *шастри*.^[215] Он уже не подтрунивал над благочестивыми браминами, а стал брататься с ними и окружать себя ими.

Между последними находился один *мантрика*, брамин из храма Минакши, должность которого состояла в том, чтобы произносить пред богиней *мантры* и другие заклинательные молитвы. В скором времени он сделался *alter ego* коллектора. Наконец, в один прекрасный день он принес ему идола Минакши, и бронзовое изображение было поставлено в спальне хозяина. Зная его за археолога, немногие проживающие в Мадуре англо-индийцы не обратили на это особенного внимания.

Но вот в одну ночь мистер Питерс, спавший всегда очень крепким сном, узрел во сне свою богиню. Рыбоглазое видение поспешно будило его, приказывая «встать и одеться». Но даже я такое приказание не могло подействовать на непробудный сон коллектора. Тогда ему померещилось во сне, будто сама богиня стала поспешно одевать его; священные руки Минакши не брезгали даже натягивать на его ноги сапоги, сделанные из кожи *священной* коровы (поэтому самая осквернительная в глазах браминов часть европейского туалета). Одев своего поклонника, она дотронулась до его лба и со словами: «спасайся в окно, скачи вниз, иначе ты погиб»!.. исчезла, а мистер Питерс проснулся...

Коллекторский дом был весь в огне. Пламя уже лизало жадными языками стены его опочивальни, и единственная выходная из нее дверь пылала. Не задумываясь, он выпрыгнул из окна и тем спас свою жизнь. Дом был выстроен на берегу реки, но в то время Вайга была по обыкновению совершенно суха. Вдруг, к изумлению всех, на ложе ее, перед глазами сбежавшейся толпы, вода стала просачиваться и быстро прибывать перед самую верандой горевшего дома. Благодаря этой неожиданной помощи, пожар был скоро потушен, и многие из вещей драгоценной коллекции мистера Питерса спасены. Сгорели только весьма важные для правительства бумаги и документы.

Факт этот заявлен собственною коллектора рукой и за его подписью, подтвержден свидетельством его помощника, клерков и многих из присутствовавших на пожарище, а затем и внесен в шнуровую книгу городского архива, где этот любопытный документ находится и по сие время.

Страннее всего то, что мистер Питерс, как по свидетельству его камердинера, так и по собственным воспоминаниям, лег накануне в постель раздетый и разутый, а тут, выскочив из окна, нашел себя одетым и в сапогах! Вдобавок ко всему, он выпрыгнул из первого этажа не один, а с *тяжеловесным бронзовым идолом Минакши под рукой*. Загадочный факт, рассказываемый им самим сотни раз, заставлял всех улыбаться и качать головой: «Почтенный Питерс был де просто пьян накануне и вероятно заснул как был, даже обутый». Но брамины и туземная часть населения торжествовали и остались в полной уверенности, что *его одела и спасла сама Махадевати*, «великая богиня».

Очевидно, что и мистер Питерс вполне разделял это мнение, судя по непредвиденным

результатам происшествия: он вдруг сделался чрезвычайно набожным, если только можно употребить это слово в отношении к предмету такого благочестия, и из полного материалиста действительно «превратился в *пуджиста*», по выражению Мульджи. Питерс стал оказывать почести богине Минакши не хуже любого брамина; бросив службу и выйдя в отставку, облачился в наряд *байрагов*, совершал ежедневно все предписанные *шастрами* религиозные обряды и наконец прослыл в народе под именем «белого святого». Он полюбил индусов и сделался таким ярким защитником их, что память его пребывает доселе в сердцах благодарных туземцев, а имя произносится с величайшим уважением всеми проходящими на поклонение пилигримами.

Вследствие такого необычайного «пассажа» правительство объявило его сумасшедшим и назначило комиссию психиатров отправить его в Англию на излечение. Но «богиня» и тут не выдала своего поклонника. Врачи и эксперты, очевидно, подпали под влиянием *тараны* (магнетического влияния) Минакши, так как вместо свидетельства об умственном расстройстве они дали ему чистый лист, объявлявший, что рассудок экс-коллектора находится в полном здравии. Уехав затем обратно в Мадрас, они подтвердили и там свое показание. Питерс имел влиятельных друзей в Англии и независимое состояние: его оставили в покое.

Когда много лет спустя он умер, то пожелал, чтобы его прах был зарыт в таком месте, откуда можно было бы видеть храм его богини. Так и было сделано. Его похоронили, после сожжения, на пригорке, откуда золотая *ступпи* (купол) на восточной башне храма видна как на ладони. До сего дня возвышается гранитный мавзолей, и пилигримы приходят навещать могилу «белого святого». «Peters Tomb» одна из примечательностей Мадур, и турист, желающий полюбоваться видом города и храма, отправляется на всем известный пригорок. Последний находится на земле, принадлежащей храму Минакши, иначе могилу и памятник давно бы уже сняли и сравняли с землей...

От Мадур рукой подать от Мадраса. Когда мы ездили туда года два позднее, а затем и поселились на реке Адьяра, один из старых браминов, знавший Питерса лично, много нам рассказывал про него.

– Богиня открылась ему, – говорил он между прочим, – в своей *настоящей первородной эссенции*; иначе он бы ее никогда не стал так боготворить.

А в ответ на наше замечание, что хотя они, ведантисты, и много говорят про *единство* Парабрахмы, но что их поклонение идолам опровергает и противоречит этому единству в их понятиях, он нам отвечал:

– *Девати* (богиня) идол только в глазах неученого *шудры* (низкая каста); для посвященного *шастри*, Минакши, как и прочие божества, просто *один из кирпичей общего здания*, имя коему *Сат*, «сущий».

Это объяснение и выражение «кирпич» показалось нам тогда весьма неудовлетворительным, а мне так и очень смешным. Позднее, однако, я лучше поняла его значение.

До серьезного изучения мною *Вед* и вообще символизма верований браминов, я часто задавала себе вопрос: в силу чего такие мыслители, какими являются (тому, кто изучал шесть главных философий Индии) авторы этих в высшей степени замечательных своеобразных систем, в силу чего могли такие умные люди сделаться сами или даже допустить в массах, как бы они ни были невежественны, *политеизм* и его внешнее выражение – идиолов? Долго я не могла отдать себе отчета в этом странном пристрастии. Я не могла себе объяснить даже поверхностно, почему, например, Кешуб Чэндер Сен, всем известный высоко образованный бенгальский реформатор, человек когда-то очаровавший своим разговором и взглядами королеву Викторию,^[216] а все лондонское высшее общество своим необычайным, увлекающим

красноречием, – почему даже этот мистик, глава и лидер Брахмо-Самаджи, не мог до конца жизни отбросить свою богиню *Дургу*. Иногда казалось просто омерзительным слышать его и читать в печати, как он, в своем мистическом полубреде, смешивал в одно Магомета, Будду, Чайтанью и *Дургу*! Но я поняла теперь и сожалею искренно о своих громко высказанных порицаниях этому, уже умершему, реформатору. Он был горячий монотеист, но он родился индусом и оставался им до смерти. Быть может, следующее объяснение загадки окажется бесполезным.

В странной мифологии браминов, которая на первый взгляд еще сказочнее греческой, и вообще в их еще более странном мировоззрении, тем не менее скрывается глубокая философия. Внешняя форма идолопоклонства есть лишь завеса, скрывающая истину, как покрывало Изида. Но эта истина дается не всем. Для одних завеса скрывает не лик Изида, а только уходящее в непроницаемую для них тьму, пустое пространство; для других оттуда проливается свет. Неодаренным от природы, тем врожденным у многих, внутренним чувством, которое так метко зовется у индусов «третьим глазом» или «оком Шивы», гораздо полезнее довольствоваться фантастическими разводами на завесе: таким не проникнуть вглубь непроницаемого мрака, не наполнить пустого пространства. Но тот, кто обладает «третьим глазом» или, говоря яснее, способен перенести свое зрение с грубо объективной на почву чисто внутреннюю, тот узрит в этом мраке свет, а в кажущейся пустоте различит *вселенную*... Внутреннее самосознание укажет ему безошибочно, что присутствие Бога тут *чувствуется*, но не может быть передано, и что хотя выражение его в конкретной форме находит свое извинение в самой горячности желания передать это чувство массам. И вот, хотя еще порицая в душе форму поклонения, он не станет более открыто смеяться над идолами и верой в них того, кто, неспособный проникнуть за завесу, довольствуется внешностью только потому, что ему трудно, если не совсем невозможно, получить какое-либо подходящее представление о «неведомом Боге».

Дабы доказать наглядно, что все триста тридцать миллионов богов Индии, взятые вместе, указывают на *одного* неведомого Бога, постараюсь объяснить яснее. Для этого окажется достаточным привести одну из аллегорий-сказок древних браминов из *Пуран*, сказку, не дошедшую, как видно, до наших ориенталистов. Она скоро сказывается.

К самому концу последней *пралайи* (*pralaya*, т. е. промежуточный период между двумя сотворениями нашего мира) Великий Раджа, пребывающий в вечности бесконечного пространства, желая дать средства будущим людям познать Его, выстроил из *присущих Ему качеств* дворец над горой *Меру* и стал проживать там. Но когда люди снова заселили мир, то дворец этот, один конец коего опирался в правую, а другой в левую бесконечность, оказался столь обширным, что маленькие люди даже и не догадывались о его существовании: для них дворец был небесной твердью, за которой в их понятии не было ничего... Тогда Великий Раджа, познав неудобство и жалея маленьких людей, пожелал открыться им *не в целости, а частями*. Он разрушил дворец, созданный из Его качеств и стал бросать один кирпич за другим на землю. Каждый из кирпичей превратился в идола: красный в бога, а серый – в богиню, и каждый из *дэвата* и *дэвати*, воплотившись в идола, *получил одно из неисчислимых качеств Маха-Раджи*. Сперва весь пантеон состоял из одних превосходных качеств. Но люди, пользуясь безнаказанностью, стали делаться все порочнее и злее. Тогда Великий Раджа послал *карму* (закон возмездия) на землю. *Карма*, не щадящая и богов, превратила многие из *качеств* в орудия наказания; и таким образом появились между всепрощающими кроткими божествами боги-разрушители и боги-мстители.

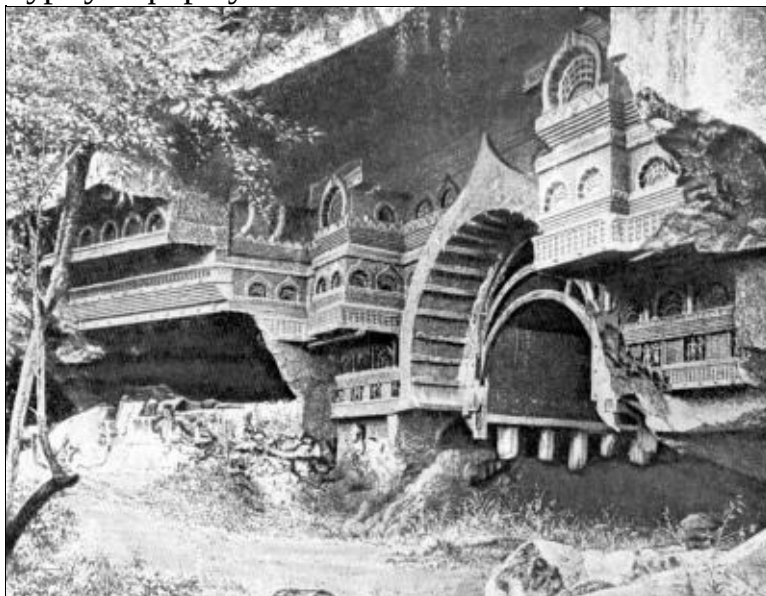
Сказка эта, рассказанная нам мадурским брамином, объясняет, почему он назвал богиню Минакши «кирпичом»; а вместе с этим указывает на единство в глубине всего этого многобожия. Между *dii majores* священной горы Меру, Олимпа Индии, и *dii minores* разница в

их сути невелика. Первые прямые, а вторые раздробленные, преломляющиеся лучи одного и того же светила. Что такое в действительности Брахма, Вишну и Шива? Тройной луч, прямо исходящий из «светила вселенной», *Сваямбхува*, т. е. *силы* или духа оживотворяющего и оплодотворяющего материю, олицетворенную в Сарасвати, Лакшми и Кали: три представления *праkritи* (материи), три богини трех богов. Эти три четы, синтезированные в *Сваямбхуве*, «божестве не проявляющемся», суть символы, олицетворяющие невидимое присутствие его во всех явлениях природы. Словом, Брахма и Сарасвати, Вишну и Лакшми, Шива и Кали представляют в своей совокупности дух и материю с тройственным в них качеством – *созидания, сохранения и разрушения*.

Вишну один, а имен у него 1008. Каждое из этих имен есть название *одного из качеств Единого*. А личные качества Вишну воплощаются, в свою очередь, в других второстепенных богов индийского пантеона. Превратившись таким образом в отдельную от Вишну личность (между тем как сам Вишну есть лишь олицетворение одного из семи главных качеств или атрибутов *Сваямбхувы*), каждое олицетворение называется одним из *аспектов* или «видов» Вишну, Брахмы или Шивы, словом, того или другого из *главных* богов или богинь. У всех по столько же имен, которые священнодействующий брамин той или другой секты повторяет в *наше время* как попугай, но из коих каждое имело во дни древности глубокое значение. *Сваямбхува* первая эманация или луч *Парабрахма*, *бескачественного* божества, первое веяние духа его; он и есть *тримурти*, синтезис трех духовных сил в соединении с тремя силами материальными. А из качеств этих трех пар родятся меньшие боги, *dii minores*, представляющие в свою очередь качества наибольших богов.

Так семь первобытных цветов призмы, на которые разлагается *бесцветный* луч, в дальнейших сочетаниях образуют вторичные сложные цвета и разнообразятся *ad infinitum*. У бога *Сурьи* (солнца), говорят брамины, *семь сыновей*, потомство которых составляет добрую треть пантеона *дэв*. А бог воздуха, *Вайю*, родитель семи первородных слогов и семи музыкальных тонов, в которых зарождаются и из коих исходят всевозможные комбинации звуков в гармонии природы.

В древней Индии религия была тесно связана с созерцанием природы. В Божестве олицетворялись всемирные истины и самая суть *Истины*. Всякая открытая истина, в чем бы она ни заключалась, имеет прямое отношение к божеству или *самобытной* истине. В пантеизме, индусской религии, груб собственно только внешний метод выражений, обыкновенно имеющий отталкивающую и карикатурную форму.



Естественный вывод из всего этого тот, что пантеизм Индии, видимо обоготворивший все грубые силы природы и как бы олицетворяющий одни внешние образы, связан с областью физического ведения, химии, особенно астрономии, и представляет собой как бы опозитизированный материализм, продолжение халдейского сабеизма. Но если, отбросив его внешнюю форму, доведшую темные массы до самого отвратительного поклонения кумирам, мы проникнем до первоначального происхождения мифов пантеизма, то не найдем в них ни богов, ни даже внешнего поклонения разным предметам из царств природы в их обыкновенном образе, а поклонение *духу вездесущему*, поэтому столь же присущему малейшей травке, как и силе, зародившей и вырастившей ее.

Таким является простое и естественное объяснение 33 *крорам*^[217] (330 миллионов) богов Индии. Эти боги зародились и получили бытие вследствие темного стремления олицетворить неолицетворяемое, сотворяя себе тем самым «кумира». Краеугольный камень философского и религиозного мировоззрения их мудрецов очутился с течением времени в руках властолюбивых, холодно расчетливых браминов, и этот камень был разбит ими на осколки, истолчен в мелкий порошок для удобнейшего усвоения массами. Но для мыслителя, как и для всякого *непредубежденного* ориенталиста, эти исковерканные осколки, как и мельчайший щебень от них, все-таки от того же камня, – атрибуты проявленной энергии Парабрахма, единого, безначально и бесконечно сущего.

Брамины-ведантисты постулируют три рода существования: *пáрамáртхика* – *действительное*, истинное; *въявахáрика* – *условное практическое*, и *пратибхáзика* – *кажущееся*. Парабрахма единственное представление первого, поэтому он и зовется *сам*, «воистину сущий» или *единосущий*; ко второму классу принадлежат олицетворенные в различных образах боги, *личные души*^[218] смертных и все явленное, феноменальное, в мире субъективного чувства. Этот класс, получив бытие в представлении темных масс, имеет основание не более твердое, чем все то, что мы видим во сне; но ввиду реальности практических отношений людей к этим богам, существование их допускается *условным* образом. Третий класс включает в себя такие предметы, как марево, перламутр, принимаемый за серебро, свернувшаяся змея, принимаемая за веревку, а в своем подразделении и человека. Люди *думают*, воображают себе, что видят то или другое: стало быть для того, кто это видит и воображает таковым, оно *действительно существует*. Но так как эта действительность только временная и самая суть предметов переходящая, стало быть условная, то и выходит в конце концов, что вся эта действительность есть только *иллюзия*.

Все эти воззрения не только не мешают вере в личность божества и единство его, но даже служат непроходимой преградой атеизму. В Индии нет атеистов в том значении, какое мы, европейцы, придаем этому термину. *Настика* есть атеист в смысле *неверования в богов, идолов*. Это известно в Индии каждому, и мы в этом вполне убедились. Атеистам Запада и даже его *агностикам* далеко до философии *настиков* Востока. Первые грубо отрицают все кроме материи, последние, то есть индийские материалисты, *настики*, отнюдь не отрицают возможности существования того, чего они не понимают. Истинный философ поймет дух, а не букву их отрицания. Он легко убедится в том, что если, указывая на абстракцию, называемую *Парабрахму*, они учат, что этот принцип «без произвола и деятельности, без чувств, как и без сознания», то делают они это именно потому, что, по их понятию, *единое* под этим названием е с т ь безусловный произвол, безначальная и бесконечная деятельность, *самобытные* самосознание, самомышление и самочувствие.

Выходит так, что пантеисты Индии, удерживая своих идолов, грешат только избытком религиозного, хотя и дурно применяемого чувства. Да и то сказать: после всеокрушающего и ровно ничего не созидającego, *животного* материализма Европы, такой пантеизм является нравственным и душевным отдохновением, цветущим оазисом среди мертвой, песчаной пустыни. Лучше верить *хотя бы в одно из качеств божества*, олицетворив его и поклоняясь ему под тем видом, которое по силе разума каждого представляет ему удобопонятнейшее представление и символ *Всего*, – нежели, отвергая это *Все* под предлогом, что оно недоказуемо научными путями, не верить ни во что, как то делают наши ученые материалисты, да и модные агностики.

С точки зрения всего вышесказанного, хотя удивляясь и даже искренно смеясь над оригинальным выбором предмета божественного поклонения мистера Питерса, мы поймем, почему из ярого материалиста школы Милля и Клиффорда он так внезапно и неожиданно для всех превратился в пантеиста и даже в *пуджиста*.^[219]

А теперь вернемся снова в Диг.

Рассказ Мульджи, весьма сокращенный мною, но в его устах переполненный подробностями, довел нас незаметно до обеденного часа, то есть до пяти часов пополудни.

Кругом нас стоял невыносимый зной.

Палящие лучи обливали как растопленным золотом мраморные стены и купола киосков, лежали ослепляющими пятнами на сонных водах прудов, пускали смертоносные стрелы во все живое и мертвое. Они заставили даже кучи попугаев и павлинов, которыми сады Индии изобилуют, как наши русские огороды воробьями, прятаться в самую чащу кустов. Тишина вокруг нас стояла непробудная... Все спало, все млело и горело...

Но мы еще до начала рассказа о мистере Питерсе забрались в центральную беседку из мрамора, высокую и почти спрятанную в самой чаще сада, где, не рискуя выходить из найденного нами благословенного приюта, наслаждались в нем относительной, конечно, прохладой. Окруженная со всех сторон водой небольшого бассейна, среди которого она возвышается, обширная и затемненная водяными ползучими растениями, она давала нам приют, где мы не чувствовали ни большего жара, ни утомления. К нам, на несколько сажен в окружности, манило тенью и прохладой; за чертой зеркального, миниатюрного пруда пылал ад и земля трещала и лопалась от огненных лобзаний страшного весеннего солнца, лучи которого лизали своими пламенными языками все еще роскошную, но уже увядающую растительность сада. Розы сжимались и осыпались; даже лотос и водяная лилия закручивали в трубочку окраины своих толстых, выносливых лепестков, словно брезгливо сторонясь от жгучего прикосновения. Одни орхидеи, «цветы страстей»,^[220] высоко поднимали свои пестрые, насекомообразные чашечки, упиваясь этим огненным потоком, как другие цветы упиваются прохладной росой...

Что за оригинальный, прелестный сад! Разбитый на голой скале, на пространстве каких-нибудь ста двадцати сажен в длину да пятидесяти в ширину, он заключает в себе более двухсот больших и малых водометов и фонтанов. Управляющий, слащавый, похожий на евнуха старик, уверял нас, что «не все водометы пущены»; многие засорились и попортились; но что в день приема в Диге, если не ошибаюсь, принца Уэльского, их было шестьсот. Но мы остались вполне довольны и двумя стами. За несколько рупий садовники доставили нам возможность чувствовать себя среди восхитительной прохлады целый день и гулять лунной ночью в аллее, обсаженной вместо деревьев двумя сплошными рядами высоко бьющих фонтанов. Ничто не могло сравниться с эффектом этих двух стен водяной пыли, искрящейся в лунном свете бриллиантами и переливающейся всеми радужными тенями перламутра. Чудный уголок, а между тем забытый всеми, не посещаемый никем, кроме случайно проезжих англо-индийских чиновников, всегда готовых пользоваться угощениями туземных принцев, а в благодарность поносить их на всех перекрестках.

Махараджа Баратпурский сам и не заглядывает в Диг. Джатский potentat, питомец правительства, предпочитает шипенье шампанского журчанию всех фонтанов своего прелестного дворца, и нет для него мелодии слаще звука откупориваемой бутылки коньяку...

Таким образом, вековой тенистый сад глохнет в своей дикой красоте, брошенный людьми, но зато предоставленный в полное распоряжение целой армии великолепных, хотя тоже одичалых пав. Любимая птица Юноны (которая в Индии зовется *Сарасвати*) наполняет сотнями дорожки, важно прогуливаясь и заматывая длинными хвостами накопившийся годами сор. Она унижает сверху донизу деревья, и благодаря ее присутствию старый сад часто издали принимает вид заколдованной рощи в волшебной сказке: залитые ярким солнечным светом, косматые деревья словно дышат, шевелясь и волнуясь, и из-за их густой листвы выглядывают,

отливая сапфирами и золотом, тысячи сверкающих любопытных глаз... То глазки, рассеянные по хвостам движущихся в ветвях павлинов.

Выйдя на террасу в сад, я долго не могла отдать себе отчета в этой странной фантасмагории и спустилась по ступеням вниз, чтобы ближе рассмотреть чудное явление. Мое любопытство было тотчас же наказано «оскорблением действием». Тяжелый полет сорвавшегося с дерева и испуганного моим внезапным появлением павлина прервал мои размышления о чудесах Индии, сбив у меня с головы топи, а самое меня – с ног. Я утешилась эксплорацией [\[221\]](#) сада, а бабу отомстил за мое падение, вырвав из хвоста другого, ни в чем неповинного павлина полдюжины перьев «на память о Диге!..»

Сад перерезан по всем направлениям узкими дорожками, которые чистятся и освобождаются от накапливающегося на них навоза только пред приездом «именитых гостей», как объяснил нам садовник; из чего, с отличающей нас прозорливостью, мы заключили, что не принадлежим к этой счастливой категории. Во всех углах, и даже в глубине сада, мирно дремлют, в своих мраморных гнездах, неподвижные воды под покрывалом густой тины. Бассейны фонтанов, пруды и миниатюрные озера превратились в зеленую кашу, и только воды ближайших ко дворцу прудов очищены и много способствуют общей красоте этого уголка. Невзирая на очевидное запущение, особенно красив восьмиугольный бассейн посередине сада, с прохладным, уютным нас от жара, киоском. Окруженные меньшими бассейнами с высокими водометами, вылетающими из корзин роскошных тропических цветов, мы блаженствовали в продолжение целого дня, сидя в нем словно в подводном царстве. К пруду ведут четыре перерезающие его накрест аллеи водометов, а к киоску – четыре мраморные, ажурные мостика...

Утомленные разговором, мы теперь сидели в молчании; каждый из нас предавался собственным думам и занятиям. Я читала, подумывая более о такуре, нежели о содержании книги; полковник дремал. Сидя на скамейке у стены и закинув назад голову в чащу ползучей зелени, из-за которой торчала его длинная, седая борода; наш уважаемый глава, полковник О., слегка похрапывал. Нараян и Мульджи сидели на корточках на полу, а бабу поместился наподобие кариатиды на пьедестале какого-то сломанного и отсутствующего идола, и тоже дремал.

Так мы сидели не двигаясь, сонные и молчаливые, довольно долго. Наконец, часам к 5 ½, дремлющий сад стал постепенно просыпаться; жара остывала, павлины вылезали из своих углов, стаи зелено-золотистых попугаев перекликались с верхушек деревьев... Еще несколько минут – и солнце исчезнет за чертой соленых озер; истомленная за день природа отдохнет до следующего утра, остынет до нового огненного искусства.

Я бросила книгу и стала наблюдать, как все вокруг нас начинало дышать и двигаться. Сад превращался из пещи Данииловой в рощу классической идиллии: не доставало в нем только игривых, плещущихся нимф, да веселой свирели Пана. Прозрачная влага пруда отражала теперь только синее небо, да на ночь садившихся по вырезным перилам мостика тщеславных павлинов. Приготовляясь ко сну грядущему, они играли хвостами, как испанки веером: распуская и снова закрывая их и снова любясь их отражением в воде... Наконец, брызнув последними золотыми искрами, солнце исчезло, и на нас потянул легкий ветерок. В беседке было так хорошо, так прохладно, что мы решительно отказались идти обедать в душные залы дворца и решили потребовать *кхану* (обед) в беседку, отправив для этого послом бабу.

Неугомонный бенгалец, под предлогом боязни мщения общипанного им павлина, которого он узнал, по его уверению, в одном из сидящих на перилах, вместо дороги по мостику выбрал кратчайший путь, стремительно нырнув с пьедестала, где восседал, прямо в пруд. Неожиданный всплеск воды перепугал, разбудив дремавшего полковника, который тотчас же заботливо

осведомился, нет ли для бабу опасности утонуть?...

– Лучше утонуть, нежели рисковать мщением *оборотня!* – прокричал, захлебываясь водой и фыркая, насмешливый скептик.

– Какого оборотня? – полюбопытствовал наш президент, успокоенный тем, что вода доходила бабу еле до груди.

– Да проклятого павлина! Ведь это тот самый оборотень, что слетел к нам вчера вечером в Баратпуре на веранду! – горланил бенгалец, с усилием ступая по вязкому дну пруда. – Я же сам видел, как он подмигнул Мульджи на меня.

– Это он все в мой огород кидает камушками, – заметил хмурясь «генерал». – Разве этот *настика* когда-нибудь во что верил? Он вечно смеется надо всем и всеми...

– Ну, теперь можете посмеяться и вы над ним... взгляните только на эту фигуру! – сказала я расхохотавшись.

Действительно, бабу представлял прелюбопытное зрелище. Он насилу вылез из тины и, вскарабкавшись на высокий парапет пруда, оставлял за собою на белом мраморе целые потоки зеленоватой грязи. Покрытый болотными травами и тиной, он утратил всякое человеческое подобие.

– Вы походите на утопленника, мой бедный бабу, – засмеялась я ему. – Ну, можно ли чувствовать такое влечение к воде! Ведь это сегодня вы уже во второй раз. Смотрите, не сделайте после смерти водяным *писачей*, да и не утоните когда-нибудь.

– «Чем был, то есмь и тем буду», – получила я в ответ цитату из афоризмов его всеотрицающей секты. – «Прах есмь и прахом буду», а утонуть, говорят, самая приятная и легкая смерть, *мам-сааб*...

– Что ты *есть*, все видят; чем *будешь*, не ведаю; а вот что ты непременно был в предшедшем своем существовании нью-фаундлендским щенком, так это верно, – отомстил ему Мульджи.

Но бабу не слыхал сделанного сквозь зубы на его счет замечания. Немного сконфуженный своею наружностью, он бросился бежать опрометью к дому.

Владей я, как то воображал Нараян, даром предвидения, я бы скорее проглотила свой язык, прежде нежели решила бы на сделанное мною последнее замечание. Бедный, веселый, беззаботный мальчик!.. Думал ли он тогда, что его ожидает ранняя и столь мучительная смерть в мутно-желтых волнах Ганга?... До самого сего дня я не могу равнодушно вспомнить о бедном бабу и о веселых проведенных нами вместе неделях путешествия, хотя уже прошло пять лет с тех пор и почти два года со дня рокового происшествия. Как часто, слишком часто, грезится мне с того времени в тревожном сне эта полуребяческая, худенькая фигурка, вся покрытая черно-зеленой тиной дигского пруда! Мнится мне тогда, будто ее когда-то блестящие, полные добродушного веселья глаза, теперь стеклянные и потухшие, глядят на меня в упор; и я слышу снова ясно, как наяву, знакомый, смеющийся голос на мое бессознательное пророческое предостережение: «не утоните когда-нибудь», таким же пророческим ответом: «*чем был, то есмь... прах есмь, прахом буду*» – и я просыпаюсь с дрожью ужаса при воспоминании!.. ^[222]

«Неужто так он и остался... *прахом?*» часто задаю я себе вопрос, задумываясь над прошлым. И тотчас же я припоминаю тесно связанный с этою безответной загадкой смерти, неразрешенной еще нашими европейскими мыслителями, спор между Нараяном и бабу и ответы такура на наши вопросы. Этот спор завязался у них всего несколько дней после памятного для меня проведенного в Диге дня.

Передам этот замечательный разговор *in extenso*, ^[223] надеясь, что для серьезного читателя он будет интересен, не потому, конечно, что он решил долго мучившие меня лично вопросы, но потому, что он объясняет своеобразный взгляд ведантистов на загробную жизнь, ее тайны и вообще на душу человека.

Для вашего уяснения позволяю себе сказать несколько предварительных слов и тем сделать последующий разговор более понятным для читателя. Иначе незнакомому с философией ведантистов (*тайной* школы), и особенно с их сложной теорией души и ее значения в вечности, было бы весьма трудно уследить за всеми этими столь разнообразными названиями «духовного человека». Они бесчисленны, как и имена их масок-богов, потому что каждый *аспект* души (или скорее того совокупного духовного *агрегата*, который зовется у ведантистов *настоящим* человеком, или «духовной личностью», тогда как его бренное тело или *земная* личность считается *иллюзией*), каждое качественное видоизменение души имеет свое особенное, характеристическое название. Например, они делят «земную личность» на три главные группы: духа, души и тела, а затем подразделяют эти группы на семь составных сил или принципов, из коих первые две, дух и «божественная душа» (седалище духа), безличные и бескачественные *per se*, а пять остальных именуются *коша*, т. е. «ножами» или оболочкой разных духовных и земных качеств человека, стало быть личные и качественные. Так *маномая коша* в буквальном переводе вышло бы: «призрачного понятия ножны», то есть седалище или вместилище чисто земных, а поэтому самому *призрачных* концепций человека. Эта коша есть оболочка *понятий его земного разума*, в соединении с действиями органов наших пяти чувств, которые, затемняя божественный, чистый разум своими грубыми земными понятиями, превращают таким образом всякую истину в мираж.

Особенно затруднительна эта теория для тех, кто, признавая сотворение отдельной души для каждого человека и отвергая теорию его многочисленных реинкарнаций, тем самым отвергают *эманации*, т. е. самую суть пантеистического учения Индии. Читая, например, о *седмиричной* конституции человека, можно подумать, будто в нас сидят семь отличных одна от другой личностей («семь бесов», по выражению одного русского теософа), которые являются, в своем нумерическом порядке, будто кожицы в луковице, становясь по мере своего удаления от наружной и самой грубой оболочки, т. е. тела, все эфирнее и субъективнее. Но философия веданты ничего подобного не проповедует. Все эти коши придуманы ради уяснения ее догмата о полном единстве Парабрахмы – основания и *субстанции* всей *явленной* вселенной; если же не объяснять эманациями этот догмат зарождения качественной вселенной от бескачественного духа, то догмат этот остался бы совершенно непонятным для самих пантеистов.

Дух един и неразделим; а души человечества представляют несчетное число отдельных единиц. Эти души суть эманации, «духи от духа». Но так как безличная и бескачественная безусловность лично проявляться не может, то представляется обратная сторона Парабрахмы, *Мулапраkritи*, ^[224] его совечная сила или энергия, корень всего существующего. Неотделимая от Парабрахмы, она вместе с ним составляет *невидимую вселенную*. То, что отделяется, не есть *Мулапраkritи*, но только свет или сияние от «света вселенной», который и есть эманация, превращающаяся в *видимую* вселенную. Но здесь снова является затруднение: где место для *видимой* вселенной? Как поместить что-либо там, где все уже занято даже и в *безграничном* пространстве, если фактически это пространство и есть самое Вездесущее, *Сат*? Как, наконец, извлечь качественное вещество из бескачественного духа, т. е. из того, что является в нашем представлении ничем?

Ведантисты решают это затруднение так: *видимая* вселенная есть не что иное как *призрак* наших чувств, временная иллюзия столь же временных, как и обманчивых понятий *земного* человека, который и сам есть иллюзия и одна *коша* или ножны духовной и поэтому единственной *реальной* личности. Ни видимый мир, ни объективный человек, *не существуют* в действительности; ибо все видимое и подлежащее сознанию посредством свидетельства наших пяти чувств есть *самообман*, потому что существует и есть все лишь одно – *Сат*.

Но прежде чем превратиться из *реального* «ничто» хотя бы в *призрачное* «нечто», такая

трансформация должна происходить постепенно. «Сияние от света» есть все-таки Парабрахма бескачественный, стало быть и неспособный к действию. И вот *тьень* – конечно, тоже «призрачная», ибо тени без тела не бывает, а Парабрахма бестелесен, – начинает в постепенной дифференциальности своего бессознательного действия (*nota bene* – бессознательного только в нашем условном понятии о самосознании) превращаться из бескачественного и безличного в качественное и личное, т. е. сперва в видимые миры, а затем и в человека. Но человек, как и миры, не мог быть сотворен *разом*, даже в той грубой оболочке, которую мы *воображаем* видеть в нем. Он был сформирован и образовался следующим порядком:

Группа I

1. *Брахма* или *атман*, луч Парабрахма, или дух.

2. *Будхи* – его *вахана* или вместилище, носитель духа; высшая или божественная душа.

(Эта двойственная единица есть *корень* человека, хотя в нашем понятии эта сама по себе *безличная* и *бескачественная* единица является чистою *абстракцией*. Ее личность начинает слагаться и обрисовываться только по прошествии многих воплощений, так как *будхи*, чтобы приобрести даже духовные качества, должна, унося их после смерти земной личности, брать их от первого принципа II группы – *Манас*).

Группа II

3. *Манас* – седалище ума. В совокупности с *камарупой* (см. ниже) это и есть настоящая земная личность, эго человека или обитаемого ею тела, и зовется *человеческой* или *земной* душой, когда она подразумевается в своей отдельности от *будхи*, или «божественной души». В соединении же с *будхи* она называется *сутратмой* (нить-душа), так как она одна из этой тройной группы следует, изменяя только свои личные качества, за первой группой во всех ее земных воплощениях.

4. *Камарупа* – «седалище желаний». Этот принцип переживает человека, но вместе с

5. *Майявирупой*, «призрачным телом» или *двойником* личности, со временем исчезает. Эти 4-й и 5-й принципы превращаются после смерти человека в *писачи*, или в тех материализованных «духов», в которых спириты видят *души* своих покойников, а брамины – *бесов*.

Группа III

6. *Джива*, или жизнь; «жизненный принцип».

7. *Стхула-шарира*, или тело человека, маска души. Эта группа есть самая кратковременная из всех «иллюзий», которая и исчезает бесследно после ее разрушения.

Таким образом, мы видим, что три группы с их семью разделениями резюмируются все «божественной душой». Безличная и бескачественная единица должна приобретать личность и духовные качества от каждого нового *манаса*, т. е. от разумного эго, и не в одной, а в бесчисленной серии его воплощений. Прежде нежели она может успеть сделаться *богоподобной* личностью, достойной соединиться даже временно с *Сат*^[225] и перестать быть «иллюзией», она

должна пройти все стадии людского страдания, испытать лично все испытываемое беспомощным человечеством, делать самоличные усилия к очищению себя от земной грязи, извлекая из обитаемых ею личностей только высшие, духовные качества, *если такие имеются*, перегорать как золото в огне. Всякое новое воплощение есть новый шаг к очищению и совершенству. Все это для того, чтобы в конце веков и все прошлое человечество могло также жить поистине в Боге, как Бог будет жить в будущем (человечестве), «в седьмом», учат ведантисты *тайной школы*, называя настоящее человечество только *пятым*.

А теперь следующий разговор с такуром сделается понятнее читателю.

– Учитель, – спрашивал Нараян такура, среди горячего спора с бедным бабу, – что это он говорит и возможно ли это слушать!.. Чтоб от человека после смерти его ровно ничего не оставалось? Чтоб его тело, как он уверяет, просто разлагалось на свои составные элементы, а что мы называем душой, а он «временным самосознанием», испарялось, исчезая, как пар из застывшего кипятка?...

– Чтò ж такое в этом странного? Ведь бабу *чарвака*^[226] и поэтому говорит лишь то, чтò тебе скажет всякий другой *чарвака*.

– Но ведь *чарваки* врут! Есть и другие, которые верят, что настоящий человек не есть его физическая оболочка, а заключается в его разуме, в седалище его самосознания... А разве может самосознание покинуть душу даже после нашей смерти?

– В его случае может, – отвечал также хладнокровно такур, – *потому что он искренно и твердо верит в то, чтò теперь проповедует*.

Нараян бросил удивленный, полный смятения взгляд на такура, а бабу, побаивавшийся последнего, окинул нас торжествующей улыбкой.

– Но как же так?... Ведь веданта учит, что «дух Духа» бессмертен и душа человеческая не умирает в Парабрахме... Разве есть исключения?...

– В основных правилах духовного мира исключений не может быть, но есть правила для зрячих и правила для слепых.

– Это я понимаю; но в таком случае, как я ему и сказал, его «полное и окончательное исчезновение самосознания» не более, как абберрация слепого, который, не видя солнца, отрицает его... но узрит его духовными глазами после смерти...

– Ничего он не узрит. Отрицая его при жизни, он не увидит его и за гробом.

Заметив, что Нараян страшно волнуется и что даже мы оба с полковником уставились на него в ожидании более определенного ответа, такур, очевидно, нехотя продолжал:

– Ты говоришь о «духе Духа», об атмане, и смешиваешь дух с душой смертного, то есть с *манасом*. Дух, без сомнения, бессмертен, ибо он без начала и стало быть без конца. Но речь идет теперь не о духе, а о человеческой, сознающей себя душе; ты ее смешиваешь с первым, а бабу отрицает и то, и другое, как дух, так и душу. Вы оба не понимаете друг друга.

– Его-то я понимаю, но...

– Не понимаешь меня?... Постараюсь высказаться яснее. Вся суть твоего вопроса приводится к следующему: ты желаешь узнать, возможна ли, даже в случае закоренелого материалиста, полная утрата его самосознания и самочувствия после его смерти? Так что ли?

– Да, потому что он вполне отрицает все то, что для нас составляет несомненную истину... во что мы все свято веруем...

– Хорошо. На это я, веруя так же свято, как и ты, в наше учение, которое называет посмертный период, то есть промежуточное время между двумя жизнями, лишь *временным* состоянием, отвечаю утвердительно и говорю: один ли год или миллион лет продолжается этот антракт между двумя действиями иллюзии жизни, загробное состояние может безо всякого нарушения правил оказаться совершенно тем состоянием, в каком находится человек во время

глубокого обморока. Бабу, стало быть, в его случае прав.

– Но почему же... и как... коль скоро правило бессмертия не допускает, как вы нам говорите, исключений?... – осведомился полковник.

– Не допускает, конечно: *для всего того, что действительно существует*. Тому, кто изучал *Мундакья упанишаду* и *Веданта-сутру*, не следовало бы и спрашивать...

– Но *Мундакья упанишада* именно и учит, – робко заметил Нараян, – что между будхи^[227] и манасом,^[228] как между *ишварой* и *праджной*,^[229] на самом деле не более разницы, как между лесом и его деревьями, между озером и его водами...

– Совершенно справедливо: потому что одно или даже сотня засохших от потери жизненного сока или вырванных с корнями деревьев не могут помешать лесу оставаться тем же лесом...

– Так... но ведь будхи представляет в этом сравнении лес, а манас-тайджаси^[230] деревья. А если первая бессмертна, то как же, будучи тем же, что и будхи, может манас-тайджаси^[231] потерять совершенно сознание до своего нового воплощения?... Это-то и затрудняет меня...

– Напрасно, если ты только возьмешь на себя труд не смешивать абстрактное представление целого с его случайными видоизменениями. Вспомни, что если мы можем, говоря о будхи, сказать: «она безусловно бессмертна», то нельзя сказать того же ни о манасе, ни о тайджаси. Ни та, ни другая не существуют отдельно от божественной души, потому что первая есть качественная принадлежность земной личности, а вторая – то же, что и первая, только с отражением в себе будхи. В свою очередь, будди оставалась бы только безличным духом без этого в себе элемента, заимствованного ею от человеческой души и который обуславливает и делает из нее нечто как бы *отдельное от Всемирной души* на все время цикла человеческих воплощений. Скажи ты поэтому, что будхи-манас не может ни умереть, ни потерять сознания ни в вечности, ни во время переходных периодов, и тогда, по нашему учению, ты был бы прав. Но применять эту аксиому к ее качествам, все равно как если бы ты настаивал, что так как душа полковника О. бессмертна, то значит и румянец на его щеках тоже должен быть бессмертным. Выходит, что ты, очевидно, смешал в своих понятиях сущность с явлением; забыл, что в соединении с одним манасом или «человеческой» душой – светозарность самой тайджаси делается вопросом времени; так как и бессмертие и загробное сознание становятся для земной личности человека качествами вполне условными, завися от сотворенных ей самой, при жизни ее тела, условий и верований. Карма (закон возмездия) действует непрерывно: и мы пожинаем в мире загробном плоды лишь того, что сами посеяли в этой жизни.

– Но если мое эго может очутиться после разрушения моего тела в состоянии полной бессознательности, то какое же может быть для меня в этом наказание за грехи моей жизни? – спросил полковник, задумчиво поглаживая бороду.

– Наша философия учит, что наказания постигают эго только в будущем воплощении, а непосредственно за гробом ожидают нас только награды за понесенные и незаслуженные страдания в земной жизни. Все наказание, как видите, *состоит в отсутствии награды, в полной потере сознания своего счастья и покоя*. Карма – дитя земного эго, плод действий его всеми видимой личности, даже *помышлений* и *намерений* духовного я; но она также и нежная мать, которая залечивает нанесенные ею в предшедшей жизни раны, прежде чем станет снова бичевать это эго, нанося ему новые. Если нет в жизни смертного такого горя или несчастья, которое не было бы плодом и прямым последствием греха в его предшедшем существовании, то зато, не сохранив о том ни малейшего воспоминания в настоящей жизни и чувствуя себя не заслуживающим такой кары и поэтому страдающим *безвинно*, вследствие уже одного этого человеческая душа достойна утешения и полного отдыха и покоя в жизни загробной. Для вашего духовного «я» смерть является всегда избавительницей и другом: безмятежным сном младенца,

или же сном, полным блаженных грез и сновидений.

– Но, сколько мне помнится, периодические воплощения *сутратмы*^[232] уподобляются в *Упанишаде* земной жизни, проходящей поочередно между сном и бдением... Так ли это? – спросила я, желая возобновить первый вопрос Нараяна.

– Так; это сравнение очень верное.

– Не сомневаюсь; только я его плохо понимаю. После сна для человека начинается другой день, но человек душой, как и телом – все тот же самый, что был и накануне; тогда как при каждом новом воплощении меняются не только его наружная оболочка, пол и самая личность, но, по-видимому, и все его духовные качества... Да и как же это сравнение может быть верным ввиду того, что люди, восстав ото сна, хорошо помнят не только то, что они делали вчера, но и за многие дни, месяцы и даже годы назад, а между тем в своей настоящей жизни они не сохраняют ни малейшего воспоминания о какой-либо прошлой своей жизни... Ведь проснувшийся человек может, пожалуй, забыть то, что он видел во сне, но он все-таки знает, что он спал и что во время сна он жил... о прошлой же жизни мы даже и этого не знаем. Как же так?

– Есть такие, быть может, что и знают, – как-то загадочно произнес такур, не отвечая на прямой вопрос.

– Подозреваю... только *не мы*, грешные. Поэтому как же нам, не достигшим еще до *самма-самбудхи*,^[233] понимать это сравнение?

– Изучая его и поняв правильнее характеристику и три рода того, что мы называем сном.

– Ну, это довольно трудно. Даже наши величайшие физиологи только запутались на этом вопросе, а провалившись в объяснениях сами, запутали нас еще более, – засмеялся полковник.

– Потому что взялись не за свое дело, а за обязанность психологов, которых у вас, в Европе, вовсе нет, по крайней мере между учеными. Западные психиатры те же физиологи, только под другим названием, и действуют на основании принципов еще более материалистичных. Прочтите хоть Моудсли (Maudsley), и вы увидите, что они лечат от душевных болезней, не веря в существование самой души.

– Но мы снова удаляемся от предмета наших расспросов, который вы как будто не желаете нам выяснить, такур-саиб... Вы точно подтверждаете и одобряете теории бабу, а ведь он именно на том основании, что мы ничего не знаем ни о нашей прошлой земной, ни о посмертной жизни, и желает доказать, что за гробом нет и не может оставаться какого-либо сознания...

– Говорю снова: бабу – *чарвака*, который и повторяет то, чему его учили. Я подтверждаю и одобряю не самую систему материалистов, но только правильность воззрений самого бабу в том, что касается его личного загробного состояния.

– Выходит поэтому, что такие, как бабу, должны составлять исключение из общего правила?

– Нисколько. Сон есть общее и неизменное правило как для человека, так и для всякой земной твари. Но есть разные сны и еще более разные сновидения...

– Но он отрицает не одно сознание в посмертной жизни и в ее сновидениях, говоря языком *Веданта-сутры*. Он отвергает бессмертную жизнь вообще, как и бессмертие собственного духа.

– В первом случае он поступает совершенно по канонам европейской современной науки, основанной на свидетельстве наших пяти чувств. В этом он грешен только пред теми, кто не разделяет его мнений. Во втором случае он не менее прав: без предварительного внутреннего сознания и веры в бессмертие души ей не сделаться *будхи-тайджаси*,^[234] она останется *манасом*; а для одного *манаса* бессмертия быть не может. *Дабы жить жизнью сознательной в загробном мире, следует сперва уверовать в тот мир в земной жизни*. На этих двух афоризмах тайной науки построена вся наша философия о посмертном сознании, как и о бессмертии души. *Сутратма* получает всегда по своим заслугам. По разрушении тела для нее начинается либо

период полного бдения, либо сон хаотический, либо непробудный сон без грез и сновидений. Если ваши физиологи нашли причинность снов и грез в бессознательной заготовке их во время бдения, почему то же самое не признать и по отношению к *посмертным* сновидениям? Повторяю то, чему учит *Веданта-сутра*: *смерть есть сон*. После смерти, пред духовными глазами души, начинается представление по заученной нами при жизни, а часто нами же самими сочиненной программе: практическое исполнение наших или *правильных* верований, или же созданных нами самими иллюзий. То посмертные плоды древа жизни. Понятно, что вера или безверие в факт сознательного бессмертия не могут повлиять на безусловную действительность самого факта, коль скоро он существует. Но как вера, так и безверие в него отдельных личностей не могут не обусловить действий этого факта в его применении к каждому в частности. Теперь, надеюсь, вы поняли?

– Начинаю понимать. Материалисты, не веря ни во что, не проверяемое их пятью чувствами и так называемым *научным* разумом, и отвергая всякое духовное проявление, указывают на земную жизнь как на единственное сознательное существование; поэтому, по вере, а в их случае по безверию, и воздается им позднее. Они утратят свое личное «я», заснут бессознательным сном до нового пробуждения. Не так ли?

– Почти так. Можете добавить, что ведантисты, признавая два рода сознательных существований, земное и духовное, указывают только на последнее, как на *неопровержимую* действительность; земная же жизнь, вследствие ее изменчивости и кратковременности, одна иллюзия обманчивых чувств. Жизнь наша в сферах духовных уж по тому одному должна признаваться действительностью, что в них живет никогда не меняющееся наше бесконечное и бессмертное «я», *сутратма*, тогда как при каждом новом его воплощении оно одевается в совершенно отличную от предшедшей личность временную, преходящую, в которой все, кроме ее духовного прототипа, обречено на бесследное разрушение.

– Но позвольте, такур, разве личность, мое земное, сознательное «я», может погибнуть не только временно, как в случае материалистов, но даже *бесследно*?

– По нашему учению, оно даже *должно* так погибнуть и во всей своей полноте, кроме того в ней начала, которое, соединясь с *будхи*, стало чисто духовным, составляя с ней впредь и навеки одно несокрушимое целое. Но в случае завязанного материалиста может случиться что, так как ни сознательно, ни бессознательно ровно ничего из его личного «я» никогда не отражалось в *будхи*, то ей и не приходится уносить в вечность ни одного атома этой земной личности. Ваше духовное «я» бессмертно; но от вашей настоящей личности оно унесет с собой лишь *то, что заслуживает бессмертия*, то есть один аромат скошенного смертью цветка.

– Ну, а сам цветок или земное «я»?

– Сам цветок, как и все прошлые и будущие цветки, которые цвели и будут цвести после них на родной ветке, *сутратме*, дети одного корня *будхи*, обратятся в прах. Ваше настоящее «я» не есть, как вам самой должно быть известно, сидящее предо мной наше тело, [\[235\]](#) ни ваша *манас-сутратма*, а *сутратма-будхи*.

– Но это не разъясняет мне, почему вы называете загробную жизнь бессмертной, бесконечной, действительной, а жизнь земную зовете *призраком*? Ведь, по вашему учению, выходит, что загробная жизнь имеет свои пределы, что и она, хотя продолжительнее земной жизни, но все же должна иметь свой конец.

– Без сомнения. Духовное эго человека двигается в вечности, как маятник, между часами жизни и смерти. Но если эти часы, периоды жизни земной и жизни загробной, ограничены в своем продолжении, и даже самое число таких этапов в вечности, между сном и бдением, иллюзией и действительностью, имеет свое начало, как и свой конец, то сам *духовный* странник вечен. Поэтому и часы его загробной жизни, когда, разоблаченный, он стоит лицом к лицу с

истиной, а не с миражами его преходящих земных существований, во время периода его скитальчества, который у нас зовется «циклом рождений», составляют в наших воззрениях *единственную действительность*. Такие перерывы, невзирая на их конечность, не только не мешают *сутратме*, постоянно совершенствуясь, следовать все время неуклонно, хотя постепенно и медленно по пути к ее последней трансформации, когда она, достигнув цели, становится «божественным» существом; они не только содействуют достижению этой цели, но без таких конечных перерывов *сутратме-будхи* никогда бы и не достигнуть ее. Сутратма – актер, а ее многие и разнохарактерные воплощения – роли его. Не назовете же вы, я полагаю, эти роли, а тем менее их костюмы, личностью самого актера? Как и он, душа принуждена играть во время цикла рождений, и до достижения самого преддверия паранирваны, ^[236] много таких, часто неприятных для ней ролей; но как пчела собирает с каждого цветка его мед, оставляя остальное на пищу земным червям, так и наша духовная личность, *сутратма*, собирая один нектар душевных качеств и самопознания каждой земной личности, в которую карма принуждает ее воплощаться, сливает наконец все эти качества воедино, являясь тогда существом совершенным, *дхиан-коганом*. ^[237] Тем хуже для земных личностей, с которых ей не пришлось что-либо собрать. Такие личности, конечно, не переживают *сознательно* своего земного существования. ^[238]

– Стало быть, бессмертие для земной личности все-таки условный вопрос, и самое бессмертие не безусловно?

– Нисколько; оно только не простирается на *несуществующее*. Для всего того, что существует, как *Сат* или исходит от *Сата*, бессмертие, как и бесконечность, безусловны. *Мулапраkritи* – оборотная сторона Парабрахма, но оба одно и то же. Суть этого всего, т. е. дух, сила, материя, бесконечна, как и безначальна, но форма, приобретаемая этим тройным единством во время воплощений, внешность есть, конечно, только одна иллюзия личных концепций. Поэтому мы и назвали одну загробную жизнь *действительной*, а земную, со включением в ней самой земной личности, называем *призрачной*.

– Но зачем же в таком случае называть реальность сном, а призрак – бдением?

– Сравнение сделано для облегчения нам представления; с точки зрения земных понятий оно весьма верное.

– Зачем, если загробная жизнь основана на справедливости, на заслуженном воздаянии за всю земную скорбь, а *сутратма* пользуется малейшим проблеском духовных качеств в каждом из своих воплощений, то как же можно допустить, чтобы духовная личность в нашем бабу, – он ушел, и мы можем говорить о нем не стесняясь, – чтобы личность в этом мальчике, столь идеально честном, благородном, бесконечно добром, невзирая на все его безверие, чтобы эта личность, говорю я, не перешла в бессмертие, а погибла как «навоз от цветка»!

– Кто же, кроме его самого, когда обрекал его на такую судьбу? Я знаю бабу с малых лет и вполне уверен, что жатва с него *сутратмой* будет обильная; хотя его безверие и материализм далеко не напускные, но все-таки умереть навеки и в полноте своей личности он не может.

– Но вы же, такур, сейчас только подтверждали правильность его воззрений на его личное состояние за гробом?... А его воззрения – то, что у него улетучится после смерти *всякое сознание*...

– Подтверждал и снова подтверждаю. Можно проспать несколько станций на железной дороге и все-таки, не сохранив об *этих* ни малейшего сознания, проснуться на следующей и достичь цели путешествия уже в сознательном состоянии. Вы нападаете на сравнение между сном и смертью? Так вспомните же, что даже человеку известны три рода сна: непробудно-крепкий, без малейшего сновидения; сон с хаотическими, неопределенными сновидениями; наконец со снами, столь живыми и ясными, что для спящего они делаются на время полной

действительностью... Почему же в таком случае вы не можете допустить, что так бывает и с освобожденной от тела душой? По разлуке с ним для нее начинается, смотря по ее заслугам, а главное, *ее вере*, жизнь либо вполне сознательная, либо полусознательная, или же она впадает в тот непробудимый сон без грез, как и без сознания, который равняется состоянию *небытия*. Это есть исполнение «программы», о которой я говорил, сочиненной и заготовленной заранее для себя материалистами. Но материалист материалисту рознь. Человек злой или даже просто большой эгоист, прибавляющий к своему полному безверию равнодушие ко всему миру, должен непременно оставить у преддверия смерти свою личность навеки. Ей нечем зацепиться за ее *сутратму*, и с последним вздохом ее обрывается между ними всякая связь. Но такие, как бабу, проспят только одну «станцию». Придет время, когда и он сознает себя снова в вечности и раскается, что потерял даже *один день*^[239] из жизни вечной.

– Но вернее ли все-таки сказать, что смерть есть рождение к новой жизни или, еще лучше, возвращение в вечность?

– На деле оно так и есть, и я ничего не имею против перефразировки. Но только с нашими условными понятиями о материальной жизни слова «жить» и «существовать» неприменимы к чисто субъективному состоянию посмертного бытия, и если бы они употреблялись в нашей философии без твердого знания всех ее объяснений, то ведантисты весьма скоро пришли бы к странным идеям, которые преобладают в наше время между американскими спиритами, проповедующими о вступающих в брак «духах» как между собой, так и со смертными... Как и у истинных, а не номинальных христиан, загробная жизнь ведантистов есть та страна, где нет ни слез, ни воздыханий, где ни посягают, ни женятся... Поэтому и вследствие того, что жизнь разоблаченной души, обладая всей живостью реальности, как в иных сновидениях, не имеет ни одной из грубо объективных форм земной жизни, пригодных только для телесных чувств, наши философы и сравнили ее с грезами во время сна. А теперь я, кажется, все объяснил...

Мы разошлись, но этот разговор запал мне в душу, и я его никогда не забывала. В тот день я чуть не поссорилась с бабу за его *чарвакские* выходки; но в этом бенгальце, невзирая на все его добрые качества, недоставало какой-то струны... и я решила предоставить его собственной участи. Однако часто, – как часто! – после его ранней смерти я сожалела о своем равнодушии...

Едва мы кончили обед в беседке, как нам доложили, что какой-то молодой человек в одежде йога, присланный «такур-саибом», просит позволения видаться с нами. При имени такура полковник, осведомлявшийся уже несколько раз о своем *гуру* (учителе), но не получивший никакого удовлетворительного ответа от Нараяна, поспешно вскочил из-за стола.

– Пусть, пусть он войдет! – засуетился он в восторге. – Я уверен, что это его *чела*, которого он обещал выслать по приезде домой, собственно для моего специального обучения в *пранаяме*...^[240]

– Что ж вы, тотчас после обеда, думаете взять первый урок?... – осведомилась я.

– Конечно, если только *чела* будет согласен... Зачем терять дорогое время?

– Но ведь с вами еще, чего доброго, сделается удар на полный желудок... Вы просто сходите с ума с вашей страстью к *йогизму*. Помните, что я вам говорила... предостерегая вас, на станции, возле Баратпура...

– Помню, помню, – обиженно проговорил наш президент. – Я хорошо понимаю и давно сознаю, что вам почему-то не хочется, чтобы я изучал таинства древней Индии...

– Да какие же это таинства? Просто фокусы, и для вас они совсем лишние и даже опасные...

– Буду надеяться, что такур не питает каких-либо вредных замыслов против моей жизни, ни даже против... моего здоровья, – получила я сухой ответ.

Я махнула рукой.

– Полковник, – тихо позвал его Мульджи. – Мам-сааб права... *Пранаяме* учатся с самой ранней молодости и...

Но он не успел кончить, а нахмуренное лицо полковника прояснилось улыбкой блаженства: перед ним стоял, неслышно проскользнув босыми ногами по мостику и в темноте, посланный такура...

Он вдруг воспрянул перед нами, словно вырос из-под мраморного пола киоска; весь облитый дрожащим, сильно колеблющимся от ветерка, светом восковых свеч, он стоял у входа, неподвижный, опустив глаза и со сложенными на груди руками. Длинные фантастические тени скользили по его белой одежде и лицу, придавая его маленькой, тонкой, почти прозрачной по худобе фигурке что-то странное и неземное в ее очертаниях.

– *Сарва бхишта ммундаха!*.. (Да исполнятся все ваши желания!) – прозвучал его тихий, нежный, как у девушки, голосок, на тамильском языке.

Мы все отвечали на его приветствие, кто как знал и умел. Мульджи и Нараян, бормоча что-то по-санскритски (должно быть, формулу), закрывая ладонями уши и оба низко кланяясь; бабу, скаля зубы и со сложенными вместе ладонями; я, пробормотав сквозь зубы обыкновенное приветствие по-английски.

Зато полковник отличился, удивив присутствующих вообще, а меня насмешив к тому же несказанно.

Он согнулся в три погибели и, заложив уши ладонями по примеру двух индусов, вдруг распластался перед смиренно стоявшим перед ним юношей и почти уткнулся носом в его голые ноги...

Мы все бросились к нему, думая, что он поскользнулся, слишком низко кланяясь, и упал. Но он вскочил на ноги также проворно и, приветствуя посла еще раз, проговорив «салам» и, прикасаясь правой рукой ко лбу, приглашал его левой к скамье у стола со всевозможными знаками подобострастного уважения, словно у него дело шло о приеме принца крови.

– Что вы такое творите, полковник? – сказала я ему тихо по-французски. – Ведь он подумает, что вы смеетесь над ним.

– Ради Бога, ни слова! я его узнал... хотя такур только намекал мне про него... Он не простой *чела*, не ученик, а адепт «Братства Роци»...^[241] Вы слышали, он приветствовал нас на тамильском наречии?... – прошептал в ответ полковник тоже по-французски.

– Так что же это доказывает? Он...

– Извините меня, *madame et monsieur*... что я вас прерываю... Но я говорю по-французски, я родом из Пондишери, – вдруг огорошил нас на языке Виктора Гюго новоприбывший тем же тихим, нежным голоском, в котором не слышалось ни малейшей нотки насмешки, столь понятной бы в его случае.

Я не выдержала и расхохоталась на весь сад; но полковник почему-то рассердился, хотя и скрыл довольно ловко неприятную конфузию.

– А... вы из Пондишери? Очень, очень рад. Значить, нам будет легче объясняться... А я уже было боялся, что мы не поймем друг друга...

– Я говорю и по-английски, – прозвучал тот же голос.

– Превосходно! – воскликнул полковник, и тут же, и столь же внезапно он видимо утрачивал кое-что из своего благоговения пред таким обширным светским образованием в ущерб, как он полагал, наукам мистическим. – Превосходно! Садитесь же сюда к столу и познакомимся... Вы к нам от такур-саиба?...

– Да, это он послал меня к вам...

– Вы его *чела*?... Ах да, извините меня, между прочим, что я принял вас за одного из Братства Роци... Я полагал...

И, не высказав, что именно он полагал, полковник весело, хотя немного и принужденно, рассмеялся.

– Вы не должны извиняться, потому что вы угадали верно... я действительно принадлежу к этому братству.

Мне сделалось положительно жаль полковника, до такой степени он растерялся при этом новом поражении. Широко раскрыв под очками зрачки, не сводя глаз с лица юноши, бедный президент смотрел на него таким растерянным взглядом, как будто видел пред собою выходца с того света. Смотрела и я на него с величайшим любопытством, а за мной и два индуса: Мульджи и бабу. Один Нараян сидел, грустно поникнув головой и, казалось, смотрел лишь в *самого себя*, не замечая никого и ничего.

– Вы... вы один из этих удивительных адептов... Вы *садху*!. Я так и знал... Я это предчувствовал!..

– *Oh my prophetic soul!* – тихо продекламировал бабу из Гамлета.

– Пока только кандидат в оные: скромный *шишия*^[242] к вашим услугам, полковник-саиб, которому такур-саиб поручил ваше предварительное воспитание, если позволите.

Незнакомец говорил тихо, серьезно и с большим достоинством. Ни малейшей улыбки на его юношеском, почти детском лице, без малейшего следа бороды и с еле заметным пушком на верхней губе. На вид ему казалось не более шестнадцати лет. Только вглядываясь пристальнее в его замечательное лицо, несомненно дравидского типа, можно было заметить на нем признаки возмужалости. Он сидел у стола, и теперь на него падал яркий свет лампы, позволявший мне рассмотреть вернее его черты. Он был еще ниже ростом и вообще еще миниатюрнее нашего маленького бабу. Его крошечные, как у десятилетней девочки, ручки лежали на столе, напоминая мне своею атласистой кожей и цветом красивые бронзовые руки на пресс-папье. Овальное, поражающее своею худобой и нежностью лицо, с маленьким прямым носом, маленьким с тонкими губами ртом и неестественно огромными глазами и бровями, черными, словно он их намазал дегтем, все это осененное львиной гривой, вьющиеся волны которой падали в беспорядке на его уши, лоб и плечи. Костюм его состоял, как и у нашего бабу в знойные дни, из нескольких аршин тончайшей белой кисеи, из-под которой виднелись угловатые очертания его изможденного остова. Две глубокие морщинки между бровей, такие же складки у углов рта и глаз красноречиво опровергали первое впечатление юности. Позднее мы узнали, что ему далеко за тридцать лет.

Он сидел не двигаясь, как бы почтительно ожидая вопросов и вперив спокойный, ничего не выражающий взор в полковника. Если бы не легкое колыхание его ожерелья из *семян рудраки*,^[243] его можно было бы принять за каменное изваяние, так мертвенно и неподвижно было его лицо.

Последовало очень неловкое молчание. Сконфуженный трижды подряд полковник поправлял очки, снимал, протирал и снова седлал ими нос, не произнося ни слова и забывая при этом известии не только изъявить радость, но даже поблагодарить новоприбывшего за принимаемые им на себя обязанности «предварительного воспитания».

«И в чем это *воспитание* будет состоять?», думалось мне, «он только насмешит весь народ!..»

– Я имею к вам письмо от такура-раджи и маленький подарок, – прервал молчание посланный.

Запустив руку под кисею, он извлек из ее широких складок сперва запечатанный конверт, а затем коробочку, и положил оба предмета пред полковником. При виде их наш президент наконец встрепенулся и тут же вошел опять в свою колею.

– А!.. весьма, весьма благодарен вам... мой гуру!.. – отвечал полковник с веселой улыбкой. –

Вы позволяете?... – указывая на письмо.

Гуру (учитель) сделал легкий поклон и жест одобрения, которые принесли бы честь любому маркизу парижской гостиной, до того оба были запечатлены достоинством и грацией.

Письмо было распечатано, и прочтенное сперва про себя, затем сообщено всем нам громко. Оно было коротко, но содержало интересные для всех нас известия.

«Посылаю вам, любезный полковник, – писал такур, – обещанного мной наставника в интересующих вас науках. Субраманья-Мурга-Анандам-Свами – для сокращения называйте его Анандой-Свами – молод, но он уже достиг предпоследней ступени, ведущей во внутренний храм *гупта-видьи*. Он член Братства Роци, стало быть вполне знакомый со всеми приемами различных систем, как они практикуются той или другой сектой. Не быв индусом, вам нельзя, конечно, следовать ни одному из специальных методов, усвоенных сектами, но вам предоставится выбор из учений лучших школ и таким образом вы будете в состоянии выучиться многому... Сожалею искренно, что даже в случае вашей полной победы над *искусами* вы не можете все-таки принадлежать к нашему ашраму: ^[244] вы были женаты, отцом семейства и светским человеком – три непреодолимым препятствия к *раджа-йогизму*»...

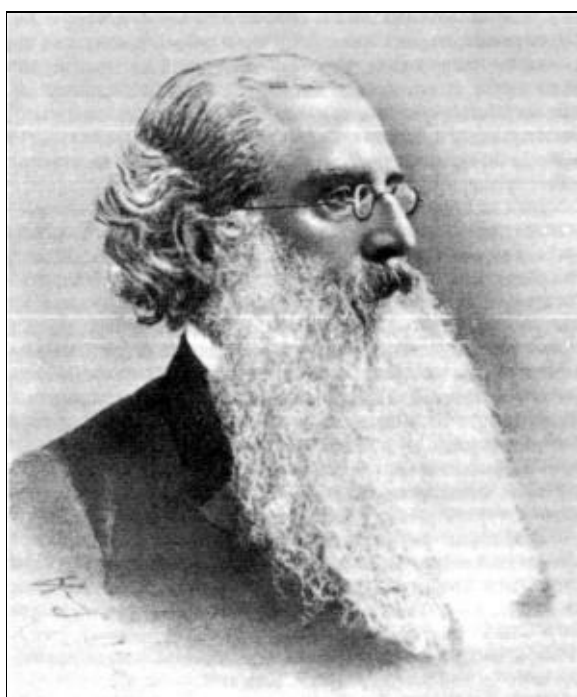
На этой фразе полковник слегка запнулся, и на секунду его голос оборвался и задрожал. Как эхо раздался, в далеком углу, еле слышный, но полный сердечной муки вздох, скорее похожи на стон... Быстро взглянув в ту сторону, я увидела исчезающую в темноте высокую фигуру на мостике...

«Бедный Нараян!» вздохнула я про себя, прося полковника продолжать чтение. Никто не обратил внимания на этот вызванный страданием звук; никто – кроме, как мне показалось, новоприбывшего. Тяжелые веки медленно приподнялись, и из-под густой бахромы ресниц сверкнул устремленный на мостик взгляд. Загадочное выражение этих глубоких, темных, как ночь, глаз поразило меня так сильно, что, мысленно рассуждая о его значении, я не расслышала окончания письма такура и должна была попросить полковника передать мне его для прочтения.

«... Впрочем», прочитала я далее, «в случае если, вы выйдете победителем, это не мешает мне считать вас моим *челой* в некоторых отношениях. Но не надейтесь когда-либо сделаться *раджа-йогом*. Это положительно невозможно.

Завтра, с зарей, вы все последуете за Анандой-Свами, который и проведет вас мало кому известной и кратчайшей дорогой ко мне. Вследствие известных причин, вы отправитесь в ландо махараджи только до ближайшей деревни, откуда оно будет отослано обратно. О поклаже не беспокойтесь: она уже отправлена куда следует из Баратпура. В деревне вас встретит другой экипаж и отвезет в Шри-Матру, место рождения Кришны. Затем вам придется ехать в лодке, верхом и даже идти пешком по лесам. Для *упасики* найдется паланкин, но и ей, конечно, надо будет сделать кэсс ^[245] пятнадцать пешком, передайте ей, чтоб она заранее не отчаивалась: *наши дороги окажутся для нее менее трудными*, чем англо-индийские или европейские пути сообщения; я позабочусь о том. Советую вам всем сохранить в тайне ваш визит в наши раджпутские вертепы; *бара-саабам* нет до него дела».

За сим следовало еще несколько строчек инструкций и говорилось о посылке полковнику *салиграма*.



Постоянный спутник Е.П. Блаватской полковник Олькотт (последний портрет)

Пока наш президент, с жадно бросившимися к коробке индусами, благоговейно рассматривает сокровище, опишу этот талисман и все, что мы узнали про его свойства в тот вечер от Ананды-Свами.

Салиграм пользуется такой же славой в Индии, как и *рудракша*; то круглый, иногда овальной формы камень, черный как смола и столь же блестящий, величиной от персиковой косточки до гусиного яйца, но достигающий, в редких случаях, до размера дыни, когда он делается *буквально бесценным*. Впрочем, его ценность зависит более от обладания различными свойствами, нежели от величины и формы. Есть крошечные *салиграмы*, похожие на зерно перца, стоящие целые состояния. Как и всегда бывает, находятся между ними, подобно египетским *скарабеем*, поддельные камни, бессовестные имитации; но *посвященного* брамина никакая подделка не обманет. Впрочем, этот камень по-настоящему вовсе и не камень, а окаменелая раковина.

Настоящие и самые ценные *салиграмы* находятся только в одном месте, во глубине реки Гандака, в Непале, одной из главных данниц священного Ганга. Это место охраняемо от искателей *салиграма* солдатами Непальского короля, которые живут на берегах круглый год в казармах, и каждый найденный *салиграм* посылается в царскую сокровищницу. Их нельзя купить у махараджи ни за какие деньги, но он дает их изредка тем из ученых браминов, к чьим рукам камень пристанет как пиявка, протянутым к ним на расстоянии нескольких аршин. Этот род искусства удается весьма редко; но английский резидент, Годсон, присутствовал при таком случае и видел, по рассказам, явление собственными глазами.

Бывают такие *салиграмы* – к числу этих принадлежит образчик, подаренный такурком президенту – на коих фигуры представляют Кришну (*аватара* Вишну) под видом *Гопала* (пастуха) со стадом его коров. На нем игра природы достигла своего крайнего искусства: картина казалась словно выдолбленную тончайшим резцом художника, хотя воображению и приходилось играть в созерцании коров некоторую роль. ^[246]

Образование таких камней приписывается натуралистами какому-то роду рыб. Рыба де выбирает камушек, а затем, прижавшись к нему, начинает свивать себе гнездо или раковину,

материалы для которой она выпускает, как паук, из собственного организма. Замуровавшись в раковине на некоторое время и почувствовав всю скуку уединения, рыба разбивает раковину и уплывает далее; а камень с раковиной превращаются в *салиграм*. Это я вычитала, впрочем, в *туземной* естественной истории *дравидов*. Насколько объяснение совместно с истиной и западной наукой, сказать не берусь.

Полковник несказанно обрадовался такому редкому дару. Он осматривал *салиграм* со всех сторон, любовался им, нянчился с ним. Узнав от Ананды-Свами, что он должен носить его, для вящей действительности его скрытых качеств, на теле, он стал приставать ко мне зашить его немедля в кожаный мешочек, с тесемками, для привязыванья вокруг пояса. Он притащил иголку, ниток, ножницы. Лишь изрезав пару новых лайковых перчаток, я успела купить этой ценой спокойствие на весь остальной вечер.

Отправляясь, далеко за полночь, отдохнуть часа два до отъезда, я увидела на ступенях террасы две фигуры. Одна из них сидела, опустив на ладони голову; другая стояла пред ней, скрестив на груди руки. Я узнала Нараяна и Ананду-Свами...

Наутро все было сделано по программе такура. С зарей, т. е. за полчаса до солнечного восхода, так как зари у нас в Индии не полагается, мы отправились к какой-то деревушке при полном свете звезд, и вышли из ландо в ту самую минуту, когда, словно газовые рожки под рукой театрального капельдинера, звезды все разом потухли, а с горизонта на нас блеснуло, дохнув огнем и пламенем, солнце, светило дня и бич туристов в Индии.

Было шесть часов, а до девяти нам оставалось проехать еще миль пятнадцать до Маттры, святой земли индусов всех сект, кроме шаивов. Только твердо решившиеся покончить с жизнью могут путешествовать в Раджпутане весной позже девяти часов утра. Вследствие этого мы выгрузились из нашего раззолоченного ландо только для того, чтобы перейти в крытый шарабан времен господства португальцев, а может и самого Александра Македонского, в который, как на слона, пришлось нам влезать по лестнице. Я поместилась с Нараяном и бабу на одной скамье, а полковник сел между Анандой-Свами и Мульджи на другой.

Вероятно, полуночный разговор Нараяна с юным «Братом Роци» повлиял на него и успокоил его. Бедный отверженный кандидат казался если не совсем утешенным, то по крайней мере покорившимся своей участи. Пока *trio* мистиков торжественно рассуждали о чудотворной силе золы из священного коровьего навоза, мы с бабу искали средств позавтракать из корзинки с провизией, не выкалывая себе глаз и не причиняя другим ущерба. Нас подбрасывало и швыряло с одного конца шарабана на другой самым недостойным образом, и я чуть было не возроптала на такура за такой экипаж.

Ради исторической верности, впрочем, спешу оговориться: употребляя слово *trio*, я выражаюсь неверно. Рассуждали о чудодейной силе золы, которою пачкаются сектанты Шивы, только «генерал» с полковником, а поправлял их многочисленные ошибки и неправильные воззрения Ананда-Свами. Нараян слушал и поучался.

Дорога скоро пошла песчаная. Попадая, наконец, яствами вместо носа и глаз в рот, куда им и следовало сразу попасть, если бы не ухабы, мы, наконец, с бабу насытились и успокоились. Полковник тоже прояснился, и разговор скоро сделался общим и весьма назидательным.

Что у кого болит, тот о том и говорит.

– Это уж не наша с вами вина, полковник, что мы оба были женаты, – рассуждал огорченный Мульджи. – Вы еще, может быть, женились по собственному желанию, а меня закалили, когда мне было всего шесть лет... Что ж мне было делать? не убивать же своей жены для того, чтобы поступить в *раджа-йоги*; да оно и не помогло бы, а только послужило бы еще бóльшим препятствием. Вот и выбирай... В *раджа-йоги* не пускают, а от *хатха-йогов* отстраняют. Конечно, это система весьма на практике опасная; но что же нам делать, Свами, когда другого нам нет выбора? Лучше *хатха*, чем ничего. Достигнув известного возраста, нельзя обойтись без религии... никак нельзя!..

– Можно изучать философии и не вдаваясь в крайности, – спокойно заметил Ананда-Свами.

– Вам это легко говорить. Вас не женили насильно и не спрашиваясь, и пред вами все дороги к тайным наукам открыты, – разозлился Мульджи.

– Меня, впрочем, интересует в этой науке не столько религия, сколько достижение трансцендентальных тайн *йогизма*, и я должен достичь своей цели так или иначе. Я должен научиться не только *пранаяме*, но и всему, что способствует развитию психических сил, – кипятился О***.

Аскет тихо наклонил голову, но ничего не сказал. Наступило молчание.

С минуты его появления между нами этот юноша сильно возбуждал мое любопытство. Я

положительно не могла прийти к какому-либо определенному о нем заключению и только наблюдала за ним издали. Рекомендация такура была так веска в моих глазах, что я, конечно, не доискивалась, хороший ли он человек, не шарлатан ли, каких много бывает из величающих себя *аскетами* и *йогами* в Индии. С этой стороны Ананда-Свами был вполне застрахован против подозрения. Но я страстно желала узнать, насколько в нем развиты те изумительные психические дары, пред которыми мы все склонялись в лице такура. Обладает ли он в равной степени способностью читать в мыслях других как в открытой перед ним книге? Может ли он не только читать, но и *управлять* мыслями других, производить хоть некоторые из тех удивительных явлений, которые по-видимому так легко даются такуру? «Зачем он его прислал? к чему?» – думалось мне. Я знала, что полковник напрасно надеется достичь, хотя в малых размерах, не только высоты *раджа-йогизма*, но даже тех странных, необъяснимых психофизиологических способностей производить так называемые «чудеса», которыми справедливо славятся некоторые *хатха-йоги*.^[247] Для *раджа-йогов* требуется, как показано, дрессировка и чисто психические неуклонные усилия в этом направлении с самых юных лет; полное изучение, а главное понимание *тайного* смысла учения Патанджали, а не мертвой буквы его системы, и посвящение в мистерии, которых не выдадут посвященные брамины никому и ни за какую цену. А дабы сделаться *хатха-йогом*, необходимы годы нечеловеческих, сверхъестественных усилий и физических истязаний. Да и надо родиться с такими физиологическими *идиопатиями*, иначе ничего из этого и не выйдет, а останется лишь факирская отвратительная внешность, да чистое шарлатанство. Против последнего такур громит во всеуслышание, а первого он не в состоянии представить полковнику. Так для чего же эта напрасная комедия? Зачем допускать нашего честного, доверчивого президента одурачиваться в глазах индусов, как и в собственных глазах? Расспросить разве Ананду? Следить за ним, пока он чем-либо выдаст свою миссию? Только не похоже, чтобы он был способен проговориться!.. Не сводила я с него глаз целый вечер накануне, не сводила их и теперь с пяти часов утра, и все же не пришлось мне уловить на этом юношеском лице ни тени улыбки, ни даже какого-либо определенного выражения. Оно неподвижно, положительно непроницаемо под маской мертвенного, полного спокойствия. Голос его мягкий и нежный, напоминает монотонное чтение вполголоса; ни малейшей интонации, хотя цветы восточного красноречия подчас так и сыплются; мысли сильно и верно выражены, в глазах тоже отсутствие выражения, даже иногда мысли. Огромные зрачки то сжимаются, то расширяются, блестят, потухают, словно в них происходит периодическое движение часового прибора.

У меня даже побежали мурашки по телу, когда его лучистые, спокойные глаза встретились с моим любопытным взглядом. Но и тут глаза эти мне ничего не сказали. Нет сомнения, он владеет собой еще лучше такура.

Между тем полковник не переставал волноваться.

– Но ведь я же не знаком с обрядностями! – жаловался он. – Как же мне быть? И что же мне делать с *салиграмом*?

– Этот *салиграм* обладает сильными свойствами и без лишних *джапам* (церемоний), и я даже обязан вас предупредить... – отвечал Ананда.

– Что такое? расскажите, умоляю вас...

– Этот камень представляет Гопала-Кришну.^[248] Тот, кто носит его при себе, должен избегать встречаться с коровами. Иначе коровы, целое стадо их, бросятся бежать с радостным мычанием за обладателем такого *салиграма*. Он привлекает их неудержимой магнетической силой...

Я посмотрела на Ананду-Свами в удивлении. Смеется он, что ли, над нами? Но его лицо было, как и всегда, серьезно и бесстрастно.

Полковника чуть-чуть не передернуло.

– Это так, – вставил словечко Мульджи. – У моего деда был такой *салиграм*, и коровы такура Видванского, у которого он служил *деваном* (министром), чуть было раз не забодали его, ласкаясь к нему.

– А ведь Маттра полнехонька коров, полковник, да вдобавок еще *священных!* – пригрозила я, еле удерживаясь от смеха.

– А «священных макашек» там еще больше! – ввернул словцо бабу.

– Ну, это для того, чтобы не снимать с тебя лишних фотографий, бабу, – язвительно заметил благочестивый Мульджи. – Тебе-то уж нечего помогать мам-саиб. Она не обязана уважать наших верований, а ты – индус.

– Мы обязаны, как теософы, уважать все верования, – сентенциозно произнес президент. – Но не в том дело, а в вопросе, как мне употребить с пользой *салиграм*? Впрочем, я посоветуюсь об этом с такуром, – добавил он, как-то разом успокаиваясь. – Что это у вас за бамбук, Ананда-Свами? – внезапно спросил он, занявшись новым предметом и с любопытством разглядывая висевшую на руке аскета палку.

– Это *хануманта-бера*... магический жезл всех мадрасских аскетов, – предупредил бабу ответ.

– Так ли это? – переспросил полковник с сомнительным доверием к познаниям бабу. – Могу ли я просить вас, Ананда-Свами, дать мне на этот счет несколько подробностей?... Я читал про такой жезл в сочинениях Жаколио. Правильно ли он его описывает?

– Нет; потому что он собирал свои сведения от тех, которые сами ничего не знали о *дэнде* (название жезла) и греховно обманывали его.

– Ну, а нам вы можете дать историю этого вашего бамбука и сказать, почему он считается *магическим* и называется «ханумановским»?

– Вам могу. Вы теософы и имеете право на наше доверие. Я к вашим услугам. Спрашивайте.

– Так почему, например, отвергая богов, как сказки, вы между тем носите посвященные Шиве и Хануману предметы? Что это за тайна?

– В этом нет ни малейшей тайны. Все дело в том, что в нашей мифологии нет той басни, которая не была бы основана на истине. Я ношу *рудракши* и *дэндане* не потому, что брамины вздумали окружать эту истину туманом той или другой басни, а потому, что дерево и плод, из которого они сделаны, имеют сами по себе свойства, полезные для некоторой предвзятой мною цели.

– Однако, это довольно рискованное для вас дело. Те, кому вы не объясните сущность дела и причину такого действия, не увидят между вами и *хатха-йогами* никакой разницы.

– Отрешившись от света, мы не видим причины озабочиваться тем или другим его мнением о нас. Люди могут думать о нас что им угодно.

– Вы сейчас говорили о полезных для вашей цели свойствах дерева и плода *дэнды* и *рудракши*. Не можете ли вы нам сообщить кой-чего об этих свойствах?...

– Я могу вам сообщить лишь мертвую букву легенды и основанной на ней обрядности. Настоящий смысл открывается нам только после третьего посвящения.

Два глубокие вдоха раздались одновременно в шарабане. Но лицо Ананды осталось бесстрастным, хотя он и взглянул мельком на Нараяна.

– *Хануманта-бера* (дерево Ханумана) растет лишь на Удаягирских холмах, ^[249] в Мадрасском президентстве, – начал Ананда своим тихим, однообразным голосом. – *Хануманта-бера* – любимое дерево обезьян породы Ханумана, и поэтому оно сделалось священным и названо в его честь. Одни невежды-материалисты способны видеть в Ханумане настоящую обезьяну, а в ней – бога. Хануман называется у нас в мифологии *ваханом* Рамы, то есть

седалищем или физическим прототипом того, кто сам представляет олицетворение качеств солнца. [250] Хануман – прародитель дравидов, расы во всем отличной от браминов севера, и назван *ваханом* Рамы потому, что наши предки были вполне детьми солнца, *сурьявансами*, союзниками солнца юга и тропиков, как и союзниками великого «царя-солнца» в смысле метафорическом. Хануман, короче сказать, если взирать на него в смысле символическом, есть коллективно взятое представление южных народов, даже на Западе, исторически он Бхимасена, сын Кунти, тетки Кришны, с отцовской стороны, а мифологически – сын Вайю, бога воздуха, хранитель и перевозчик при реке *Вираджайя*, индусского Стикса, которую каждому смертному приходится переезжать в мире теней и которой *никому не переехать без помощи Ханумана*. Смысл этого тот, что прежде чем человек достигнет, в других и более совершенных мирах, той точки прогресса, когда он не станет более нуждаться в грубо-объективном образе, он должен начать с исходной точки человечества, под видом обезьянообразного человека, со всеми его животными страстями и инстинктами. Дабы сделаться дэвом, следует сперва родиться человеком. Надо завоевать каждый шаг, каждую ступень, ведущие к высшему прогрессу *личными усилиями и заслугами*. Не трудно понять, почему брамины учат, что эта река *Вираджайя*, имеющая, по их учению, такое огромное символическое значение в нашей духовной эволюции, охраняется Хануманом, и затем почему и сам бог-обезьяна находится в таком почете. [251] Купаясь, каждый брамин обязан, при восходе солнца, закрывая пальцами обеих рук ноздри, уши, глаза и рот и сосредоточивая все свое внимание на священном четверосложии «Вираджайя», произнести его трижды и громким голосом. Особенно обязателен этот ежедневный обряд для браминов-брахмачарьев...

– В день *Хануманта джайянти* [252] поклонники обезьяны-воина постятся целый день и совершают *пуджу*. Затем, ровно в назначенный посвященными астрологами «счастливый» час, они отправляются на Удаягирские холмы, где, совершив все предписанные церемонии, срезают палки со священных деревьев *Хануманта-бера* и несут к себе домой.

– Такие же, как ваша палка?

– На вид точно такие. Но так как весьма мало ученых браминов, которые успевают довести до конца *приготовление* палки, потому что требуется более года ежедневных о ней забот, пока палка превратится в «магический жезл», то в итоге они чрезвычайно редки.

– А какие же свойства «жезла», когда он приготовлен по всем правилам?...

– Это зависит от его обладателя, так же как и в вопросах о *рудракиши*, о *тульси* и других подобных этому предметах. Сообщаемые ей свойства разнообразны. Если вы спросите о них брамина-сектанта, то он вам ответит, что посредством своего *дэнда* он может вызывать подвластных ему «духов» и заставлять *писачей* выходить из завладеваемых ими человеческих тел; что *дэнда* помогает приобретать и развивать в себе ясновидение; предохраняет обладателя от *джиннов* (злых духов), болезней и дурного глаза; вылечивает ото всяких недугов; словом, что ее свойства те же, какими обладал великий «обезьяна-бог», и так далее.

– Но вы нам повторяете лишь то что, вероятно, ответил бы на наш вопрос *сектант*. А вы ведь не принадлежите к этому классу? Так вот мы желали бы знать, что вы нам ответите.

– Я отвечаю, что *палка без руки*, сообщающей ей силу совершать тот или другой подвиг, бесполезна; что в руке *раджа-йога*, *ум и воля коего действуют вполне сознательно*, палка делается проводником этой воли, как телеграфная проволока, проводящая мысли того, кто посылает депешу, но остающаяся в отсутствии такого агента куском простого металла. В руке *хатха-йога* ее действия часто бывают изумительны, но так как ум двигательной силы действует *бессознательно*, то и свойства *дэнда* переменчивы и не всегда согласны с разумом и строгой нравственностью.

– Но разве *хатха-йог* действует бессознательно, как наши *медиумы*?

– Нет, не совсем. В принципе действуют его собственные желания и даже мышление; стало быть, он действует не бессознательно. Но, веря в своих несуществующих богов и их помощь, он не *сознает своего полного сознания*, не признает своего личного контроля. Обособляя действие от причинности, т. е. от своей сознательной воли, потому что большая часть таких чудодейных *саньяси* не философы, а просто фанатики, он и сам считает производимые им явления работой Ханумана и вводит других в заблуждение, сея вместо знания и добра одно суеверие, а часто и великое зло.

– Так, стало быть, и мой *салиграм* без моей воли не станет действовать? Но как же мне приобщить его к ней?... Научите, ради истины и во имя человечества. Могу ли я, например, лечить им, производя месмерические *пассы*?...

– Если воля в вас сильна, желание помочь и любовь к человечеству непоколебимы, то, вероятно, вы на него, со временем, сильно подействуете. Но, повторяю, ваш *салиграм* обладает еще собственными, специально ему присущими качествами. Это тоже своего рода магнит, с которым вы можете делать разные опыты, разнообразя их до бесконечности, но специфические свойства которого всегда останутся при нем.

– *Gare aux vaches, mon colonel*,^[253] – засмеялась я.

– Ах, оставьте, прошу вас! Не мешайте! – замахал руками глубоко заинтересованный президент. – Ну, а вот ваши *рудракиши*, на шее, *тульси* и эти *tutti quanti*^[254] аскетов? Что ж о них-то?... Такие же, как и *дэнда*, – а?... Ведь все-то это святыни, Шивы да Вишну, разных *рудр* да *дэват*, в которых вы не верите, но эмблемы коих вы все-таки носите, как будто на свете и нет других предметов с такими же полезными вам свойствами? – подмигнул полковник аскету, который и бровью не повел.

– Вы ошибаетесь. Я только не верю в сущность и личность таких богов. Я отвергаю тень, а не самое бытие. Я верю в эти мировые силы, облеченные народной фантазией в формы хранителя и разрушителя; и зная кое-что из сокровенных соотношений таких сил с силами природы и ее вещественными произведениями, я не могу не верить в них. Иначе такие личности, как такур и даже я сам, не отдавались бы вполне и всецело служению им.

– Но зачем же в таком случае, – спросила я, впервые обращаясь к нему прямо, – именно «такие», как такур, позволяют жертвовать истиной и духом – форме?... Вот наш Мульджи замазал себе в честь Маттры, без сомнения, весь лоб белой золой. Для чего это пачкание?

– Это не «пачкание», мам-саиб, – отвечал немного обиженный «генерал», – а уважение к вековым обычаям...

– Но ведь вы не шаива,^[255] для чего же вы следуете обычаю этих сектантов?...

– Потому что он общепринятый.

– Но в чем же заключается философия этого общепринятого обычая? На чем она основана?

– На сказке, – вмешался опять бабу. – Шива, видите ли, был тоже *брахмачарьей*, «девственным аскетом», как и Хануман; *Смазанám*^[256] было его любимым местопребыванием; там, весь выпачканный в золе умерших, с человеческим черепом вместо чаши для воды и весь обвешанный, вместо гирлянд из цветов, тысячью восемью змеями, с Кодисемой^[257] на голове, он имел такую ужасную наружность, что заслужил название *Угры*.^[258] Но зато, когда его коллеги, другие боги, ради усмирения его слишком свирепого нрава, женили его на Парвати (Кали), то *Угра* сделался *Сантой* – святым.^[259] Так вот, в память его аскетических подвигов шаивы и натирают себе тело и всю рожу белой золой. Двойное нравоучение басни: не делайся *брахмачарьей* и аскетом, пока не уверен в своем темпераменте; а затем, *женись*, если желаешь превратиться в святого мученика...

– Ну, будет тебе болтать... ты ведь во всем найдешь что осмеять...

– Нисколько, мой дорогой Мульджи. Я помогаю мам-саиб собирать сведения; доказываю ей всю логичность и пользу втирания золы в тело...

– Такое втирание основано на гигиене, – пояснил Ананда. – Шаивы аскеты избегают многих эпидемических болезней таким способом. Это ведь зола не тел сожженных, а одного лекарственного корня, перемешанного с коровьим навозом.

– Но почему же *раджа-йоги* не натирают себе тел... этим приятным... средством?

– У них есть другие и еще лучшие.

«Оттого они и не стареют должно быть; по крайней мере наружно», подумала я, глядя на Ананду.

О*** продолжал коситься на *дэнду* и ожерелье своего *гуру* и снова повел атаку.

– Все это так, и вы нам превосходно объясняете, почему вы не делаете того, либо другого. Но до сих пор я не могу добиться, почему *раджа-йоги*, как посвященные, так и кандидаты на посвящение, все-таки делают кое-что из практикуемого *хатха-йогами*? Какая разница, например, в употреблении *дэнда* и *рудракши* *раджа-йогом* и *хатха-йогом*?...

– Это может быть объяснено лишь тому, кто обладает правильным воззрением на разницу между этими двумя родами *йогизма* и на природные свойства названных предметов. *Хатха-йога* – позднейший и в сравнении с *раджа-йогой* современный компромисс мистицизма; это результат веков неряшливого обращения с философией, победа внешней формы и обрядности над духом учения; а затем и постепенное вырождение *брахма-видьи*, божественной премудрости. Утратив, вследствие личного честолюбия и земных страстей, способность к объединению с Брахмой, то есть, с абсолютной природой, большая часть браминов, отчужденная от окончательного верховного посвящения, трудностей коего она не могла преодолеть, заменила *раджа-йогу хатха-йогой*. Верующие в действительность последней убеждены, что сам *Шива-Махатмиам* сидит в каждом зерне *рудракши*, почему и относят всякое явление, происходящее с помощью, например, *рудракши*, как ясновидение или исцеление болезни, – не к своей силе и воле, а к непосредственному действию и участию Шивы. *Раджа-йог*, напротив, отвергает как такое вмешательство, так и личность Шивы в принципе. Для него нет антропоморфных богов, есть только абсолютная, обоюдоострая сила созидания и разрушения, первоматерия, всемирная и единая, неотъемлемая частичка коей – он сам, хотя в обманчивом сознании земных ощущений он и является преходящим индивидуумом. Проверив ее свойства годами методических опытов и сознавая эту силу в себе, он одаряет ею данный предмет, т. е. концентрирует ее в нем, будь тот предмет *рудракша*, *салиграм* или *дэнда*; а затем, при случае, дает то либо другое направление этой силе, двойственное качество коей есть притяжение и отталкивание, делая это по собственной воле и усмотрению. Шива тут ни при чем. Таким же способом он превращает и жезл «*дэнду*» в *вахану*, наполняя его своей силой и духом и передавая ему на время собственные свойства. На Западе у вас магнетизер, пропитывая своим жизненным током бумагу или какой-либо другой предмет для употребления больным, делает то же самое, только в несравненно меньших размерах.

– Позвольте, однако... Вы говорите о силе, духе, свойствах и могуществе, как будто это все сводится к жизненной силе, к «магнетическому» току. Я понимаю, что магнетизер может пропитать избытком своей жизненности неодушевленный предмет в видах исцеления, я и сам это делал; но как же мне понимать ваше заявление о такой же передаче этому предмету воли, мышления, сознательных действий и т. д., т. е. невещественных, чисто психических качеств и свойств?... Разве это возможно?

– Для того, кто о *раджа-йогах* и настоящей *брахма-видьи* ровно ничего не знает или знает очень мало, для того, кто не знаком с психологией Востока, вещество есть плод его собственных воззрений, выводов западной науки и ее гипотез, т. е. плод понятий безусловно относительных.

Для него всякое вещество, от тока жизненной силы до минерала, есть материя. Ему неизвестны переходные степени от вещества условного и ограниченного до вещества первобытного и безусловного, т. е. до первоматерии – *Мулапракрити*: поэтому и объяснить ему суть действий *раджа-йога* и передачи им неодушевленному предмету эссенции его творческой силы чрезвычайно затруднительно, если не невозможно. Для западного ученого, у которого понятия о веществе основаны на соотношениях его организма со внешним миром и ограничены одной этой рамкой, все, что не есть материя, есть либо «ничто», либо чисто бестелесное качество. Он или не верит в дух, или же если и верит, то неспособен получить ясного представления о «духе-сат» и «духе-силе». По его мнению, дух нечто не вещественное, поэтому неотделяемое и не передаваемое. А свойств и всех условий силы он не знает. Теургия древних западников, однако же, приводит нам в своих летописях бесчисленные примеры неодушевленных предметов, одаренных временным движением и как бы сознанием и даже произволом. То же свидетельствуют и религиозные верования современных западников. Но что известно в итоге ученому западнику о мировой субстанции, о ее сущности и видоизменениях? Все, что вы знаете о веществе и его свойствах, о чувствах физических и духовных, все ведь это лишь относительное знание, обусловленное свойствами вашего же земного организма, ваших же личных опытов и выводов науки, и основано на внешних чувствах, а не на действительных качествах вещества. Поэтому, если я вам скажу, что недалеко то время, когда, начав консервами и экстрактом из говядины, молока и других животных продуктов, ваши химики дойдут наконец до экстрактов жизненного принципа, что уже отчасти и производится с давних времен гомеопатами и такими бессознательными алхимиками, как некий профессор Йегер, то вы станете смеяться... Несмотря на такое неверие, я позволю себе предложить вам это сведение в виде пророчества.

– Но какое же тут сравнение?... Разве можно закупорить дух в бутылку! Ведь это мы только читаем в сказке *О Рыбаке и Джинне*, о духе, засаженном в сосуд под печатью царя Соломона... в «Тысяче и одной ночи»...

– Так зачем же вы выбрали именно эту печать для девиза вашего общества?

– Потому что это фигура *Шри-антары*... *чакры* или «колеса Вишну», самый древний символ Индии...

– «Печать Соломона», находящаяся у нас, как и у халдеев, у первобытных народов Европы, как и у туземцев обеих Америк, в Африке, как и в Азии, доказывает лишь одно: сказка *о Рыбаке и Джинне* основана на факте. *Джинн*, то есть злой и вместе добрый, услужливый дух, есть олицетворенный символ той силы в природе, о которой я вам говорил: силы *созидающей и разрушающей, притягивающей и отталкивающей*. Соломон в народных легендах тот же «магик» и адепт. Он – патрон иудейских, как и европейских каббалистов, как Гермес – патрон магов египетских. Эта сила, сосредоточенная на каком-либо предмете, Соломоном ли, Гермесом ли, или *раджа-йогом* Индии, то есть посвященным в тайные науки адептом, есть не что иное, как бескачественный дух и качественная материя. Эта-то сила и создала человека, *вахана* Парабрахмы и *Мулапракрити*. В свою очередь, человек, сознающий в себе эту двойную силу, может передать избыток ее другим *ваханам*. Но для того, чтобы породить и развивать в себе такой избыток, он должен, прежде всего, отрешиться от собственной личности, отдаться вполне служению человечества, забыть свое личное я, сделаться сперва достойным того, чтобы быть сотрудником природы, а затем уже – *адептом*.

– Но как и в чем именно помогает он человечеству или даже его прогрессу *дэндами* да *рудракшами*? Я понимаю желание сделаться адептом, изучить таинства природы из *личной*, так сказать, эгоистической цели, прежде всего, а затем уж помогать своими познаниями другим; но я не вижу никакого отношения между *рудракшами* и адептами с точки зрения благодетелей человечества!..

– Сожалею; но объяснить вам этого при вашей настоящей, духовной слепоте не берусь. Повторяю: чтобы сделаться *раджа-йогом*, следует прежде всего отречься *безусловно* от собственной личности, не иметь *эгоистической* цели, потому что такую целью задаются одни *хатха-йоги*, которые вследствие этого и уронили значение тайных наук в глазах непосвященных.

– Но не можете ли вы, – настаивал несколько сконфуженный прямым уроком полковник, – дать мне понять простым примером, для чего именно *раджа-йоги*, как и презираемые ими *хатха-йоги*, носят, например, жезлы, вот эти *дэнды*?...

– Для того чтоб эссенция двукачественной силы не развивалась под напором внешних случайностей повседневной жизни, а находилась бы, так сказать, в резервуаре, была бы всегда готовой к употреблению, ввиду возможных событий...

– Каких... например?

– Вообразите себе, что вы идете по улице с *раджа-йогом* и ведете разговор о предметах совершенно обыкновенных, но почему-либо интересующих его. В руке он держит никогда не покидающую его *дэнду* – вот как эта, – показал Ананда на свою семиколленную трость. – На вас бросается из-за угла бешеная собака. Опасность близкая, пред которой вопрос о вашем спасении зависит от быстроты действия, измеряемой не минутами, а секундами, мгновениями. Хотя мысль действует с быстротой электричества, однако же для приведения в порядок ума, только что занятого посторонними предметами, для извлечения из познавательного аппарата импульсов воли, необходимых для отражения собаки, может потребоваться полсекунды более того времени, которое понадобилось бы собаке, чтобы вас укусить. Без своего *дэнды раджа-йог*, быть может, не успел бы вам помочь. Но *дэнда*, пропитанная эссенцией силы *раджа-йога*, действует с быстротой молнии: направленная против животного, она мгновенно парализует его импульс броситься на нас; а повторением движения *раджа-йог* мог бы даже убить зверя налету и не дотрагиваясь до него, если б это оказалось *нужным*. Вот что может сделать *дэнда* в *обыкновенных случаях*. Но называть ее поэтому *магическим жезлом* неправильно, так как ни «жизнь», ни *рудракша* не могут быть обособленными от нашей сознательной воли и мышления или действовать независимо от нас. Одарять их таким свойством значит признавать в них присутствие познавательного аппарата как у человека, и равняется произвольному распространению суеверия и грубого поклонения веществу.

– Вы сейчас сказали, что *дэнда* никогда не покидает руки *раджа-йога*? Я никогда не видал, однако, такого жезла в руках у такура?

– Действующая сила заключается не во внешней форме *вахана*, и не одна *дэнда* выбирается носителем или седалищем «силы», – получили мы уклончивый ответ.

В эту минуту шарабан стуча, гремя, подпрыгивая низом и отдуваясь полотняным верхом, скрипя колесами и вообще издавая самые невероятные звуки, загрохотал на мостовой Маттры, обетованной земли благочестивых *вайшнав* (поклонников Вишны).

«Шри-Маттра!» – воскликнул Мульджи, бросаясь ничком на пол шарабана. «Шри-Маттра!» повторил за ним Нараян, вдумчиво взглядываясь вдаль, как бы поджидая кого. Один Ананда даже не повернул головы, въезжая. Пока мы все толпились, толкая и падая друг на друга, чтобы взглянуть из-за полотна на ряд розовых, униженных обезьянами храмов, он и глазом не мигнул, даже когда я почти отдала его голую ножку. На мои извинения он только посмотрел *в меня* (не на меня) своими глазами кроткой лани, как бы желая вычитать во мне, в чем именно я извинялась...

Мне стало жутко от этого взгляда. Я забыла Маттру и предалась воспоминаниям о потерявшем душу «человеке-автомате» в сказке какого-то американского Гофмана. [\[260\]](#)

Мои соображения и думы об отсутствии «личной» души в Ананде были внезапно прерваны самым для нас неожиданным образом. Мы проезжали между двумя рядами зданий, с выступавшими почти на середину переулка террасами, когда над нашими головами на полотняный верх фургона что-то вдруг тяжело упало, забегало, засуетилось, застрекотало, и с визгом, который покрыл разом даже разнохарактерные звуки, издаваемые нашим шарабаном, нас атаковала, а, быть может, по своему и приветствовала целая стая больших и маленьких обезьян. Они цеплялись за бока экипажа, заглядывали в боковые отверстия, лезли одна через другую и через наши головы и плечи. Их появление было так внезапно, что я с трудом могла сообразить, что такое случилось. Все они разом накиннулись на стоявшую на скамье, к несчастью, незакрытую корзинку с провизией. В одно мгновение ока бутылка с холодным кофе была разбита, Мульджи выкупан в черной жидкости, коробка с чаем разорвана на лоскутки, а чай рассыпан по фургону и мостовой; и мы увидели полковника, увенчанного рисовой лепешкой, а мое платье все испачканное вареньем...

Их было десять или пятнадцать штук, и в первую же минуту их появления в шарабане распространился такой острый, специфический запах, что я чуть было не задохлась. Обезьяны не тронули никого, явно производя лишь простую разведку насчет съестного; наш кучер не успел еще, повертывая за угол, остановить лошадей, а вся стая уже исчезла так же быстро, как и появилась... Два брамина с бритыми головами, подскочившие было на помощь к шарабану, увидав своих «богов» ретирующимися, спокойно вернулись на свои места у ступеней пагоды...

Чтобы добраться до приготовленного нам места отдыха, нам пришлось проехать почти вдоль всего города. Маттра, освещенная ярким утренним солнцем, лучи которого скрывали вековую копоть и грязь древних домов, показалась нам очень живописной. Город расположен веером на западном, крутом берегу Джумны, и весь разостлался на высоких, убегающих вдаль зелеными волнами, пригорках.

Мы переехали реку по мосту из плоскодонных лодок, конструкцию которого почему-то восхваляют сравнительно с прочими. Священная река, соперница *Ганга*, по утреннему обычаю была переполнена очищающимися от грехов индусами обою пола. Вдоль крутого берега ведут к воде ряды мраморных ступеней, платформы которых все до одной украшены миниатюрными храмиками, каждый в честь одной из пастушек.

Весь город искрещен переулками, восходящими и нисходящими, наподобие переулков Мальты, с кривыми каменными ступеньками, по которым не проехать и на лошаке, а слоны, тоже *священные*, свободно ступают по ним своими колодообразными, тяжелыми ногами, отправляясь друг к другу в гости, от одной пагоды к другой. Случается так, что, встретясь хобот к хоботу и видя невозможность, не сворачивая одному из них назад, разойтись, одному в гору, а другому под гору, слоны пускаются на следующую штуку. Обменявшись несколькими фразами с похлопыванием ушей и обниманий хоботами и убедаясь в обоюдной дружбе, слон поменьше становится к стенке, а слон побольше ложится наземь, стараясь по возможности стусеваться. Затем первый поднимает ногу и осторожно, не торопясь, лезет через товарища с легкостью и грацией; но иногда слон спотыкается и падает, хотя хобот лежащего, поднятый в виде вопросительного знака на все время опасной переправы, всегда наготове и помогает изо всех сил меньшему, слабейшему брату. Уважение и услуги, оказываемые слонами один другому, вошли в поговорку, служа живым упреком людям. [\[261\]](#)

Маттра настоящий зверинец. В нем более животных, чем людей, хотя цифра его народонаселения доходит до трехсот тысяч в месяцы паломничества. Все улицы буквально

запружены «священными» быками и слонами; крыши домов и храмов покрыты «священными» обезьянами, а над головами носятся тучами, затемняя Божий свет, «священные» павлины и попугаи. И все это живет на свободе, не принадлежит никому, а, напротив, распоряжается хозяйски как городским добром, так и самими людьми. Злополучные торговцы и торговки на базарах принуждены приносить провизию в герметически закрытых корзинах, полуоткрывая их для покупателей с величайшими предосторожностями; иначе обезьяны, вечно торчащие настороже у базарных ворот и привыкшие взимать контрибуцию с каждой повозки – чем и объясняется их атака на нас – тотчас же все разнесут, да вдобавок и за волосы оттреплют того, кто станет защищать слишком энергично свой товар. Одни слоны ведут себя с величайшим достоинством и честью. Они никогда не возьмут ничего сами, но будут скромно стоять у лавки с лакомствами и ждать терпеливо, пока их попотчуют. Запах в Маттре был такой, что в продолжение целого дня моей побывки в священном городе я не отрывала платка с одеколоном от лица.

Маттра один из интереснейших и древнейших городов Индии. Но теперь от этого когда-то сильно укрепленного города уцелели всего трое полуразрушенных ворот, да остатки когда-то грандиозной крепости. Обезьяны довершили начатое афганцами разрушение, и самая мечеть Арангзеба, с ее четырьмя изразцовыми голубыми башнями, покривилась от запущения. Теперь мусульманам нет больше в Маттре места. Даже нелегко выживаемые из гнезд идолопоклонства американские миссионеры спасовали пред обезьянами да быками и давно уже обратились в бегство. Остались полновластными хозяевами темно-лазуревые Кришны, да их зверинец с прислуживающими ему браминами.

А было время, когда место рождения Кришны, божественного Дон Жуана Индии, славилось своею роскошью и богатством; слава эта и привлекла первых афганских завоевателей.

Рассказывают, что между находками в храмах Маттры оказались «пять идолов из чистого золота, глаза коих были каждый из цельного рубина, стоимостью в 50000 динариев. На одном идоле был найден сапфир, весом в 400 мискалей;^[262] «самое изображение, по сплавке, принесло 98300 мискалей чистого золота». Кроме этих идолов, «найдено и увезено 100 идолов из серебра, навьюченных на такое же число верблюдов».

Вместо нескольких часов мы пробыли в Маттре и ее окрестностях два с половиной дня. Такур прислал сказать, чтобы мы оставались на «празднества весны», *гок'ла аштами*.^[263] День рождения Кришны в августе, но имеет свой пролог весной, вместе с торжеством Гури, раджпутской Цереры.

Описание всех праздников, даже только главных, у индусов потребовало бы напечатания целой библиотеки. *Сат б́ара, аур нотахвара*, «семь дней (недели) девять праздников», раджпутская пословица, на которую не требуется комментариев. Я опишу только виденную нами мистерию в окрестностях Маттры.

Гопи, пастушки, начинают, конечно, пасторальным праздником *Гури*, местной Цереры. *Гури*, одна из форм *Парвати*, или *Дурга-мата*, «мощная мать», богиня жатвы и изобилия у индусов. *Дурга-мата*, – та же *mater montana*,^[264] эпитет, принадлежащий, по Диодору, Кибеле или Весте, в ее роли «богини хранительницы детей»; а *mater montana* называется в Раджастхане *Амба мата* (мать горы), и здесь она является патронессой и хранительницей мальчиков, будущих воинов. Алтарь *Гури-Парвати-мата*, «мощной матери горы», венчает почти все возвышенные местности в Меваре, сердце Раджастхана, и ей посвящены все «Храмы-Крепости» страны. Ее деятельность разнообразнее, а обязанности труднее и многостороннее, чем у ее *рефлексий* в Риме, Греции и даже Египте, так как все заставляет предполагать, что она первообраз Изиды. Как Эфесская Диана, «Гури-Дурга» увенчана полумесяцем и, как Цибела, она имеет на голове зубчатую башню^[265] и считается под названием *Дэви-Дурги* (сила, мощь) патронессой всех укрепленных мест. Она тоже Мата Джавани – «мать рождений», то есть исполняет обязанность Юноны, *Juno Lucina*; как *Падма*, «престол которой водружен на лотосе» – она Изида Нила; как *Гури Трипура* (буквально – трех городов, *Tripolis*?) – «управляющая тремя городами», и как *Атта-дэви*, богиня душ, она, конечно, Геката, – *Hecata Triformis* греков. Словом, *Гури* синтезирует в себе одной всех богинь Греции и Египта, от Дианы и Прозерпины до Изиды и Астарты. Но главным образом она «земля», индийская Церера, которая и является в мистерии сидящей на снопах на колеснице, влекомой коровой,^[266] с *камакумной* в руках, вазой, похожей на рог изобилия, из которого падают плоды и зерна.

После этой процессии является *Камадева* – бог любви, купидон Индии, у которого лук и стрелы заменяются здесь гирляндами цветов и заостренной бамбуковой тростью. Он попадает ею в одну из *гопи*, дочь *Наяды*, которая и сгорает любовью к Кришне. Раздается хор. То гимн Каме, из *Бхавишьи пураны*: «Приветствие богу цветочного лука!.. Слава дэву, заставляющему мудреца позабыть всю свою твердость! Слава *Мадане*, слава Каме, богу богов; ему, который *Брахму*, *Вишну* и *Шиву* и самого *Индру* наполняет волнениями любви!»

Является *Гот-нат* (*Кришна*, под видом «владыки пещеры» (*гота*), которого не следует смешивать с *Гопи-натом* – «владыкой пастухов»). Он покрыт звериной кожей, увенчан травой *кузи* и играет на бамбуковой свирели, и пред ним начинают собираться *гопи*, привлекаемые звуками музыки. Но в этом действии (в первом) *гопи* не пастушки, да и сам *Готинат* превращается из «бога пещеры» в «бога горы», в *Гордан-Ната*, или *Нат-джи* (владыку всех владык). Он увенчан блестящим венцом из лучей, как *Феб*, потому что здесь он является самим солнцем, как *Вишну*, *Аполлон*, *Озирис*. Скромная свирель тоже уступает место *ситаре*, *шестиструнной* лире,^[267] на которой голубой бог начинает играть не мелодию, а, как мне показалось, *гаммы*, и очень монотонные. Но так как меня стали уверять, что это музыка древняя, как сама «музыка сфер», то я и успокоилась.

Пред богом «оборотнем» начинают рисоваться *гопи*, тоже к этому времени превратившиеся

в звуки.

Говорю в «звуки», потому что другого подходящего слова нет. То девять *но-рагини*, а *рага* есть музыкальная *шкала*, гамма, *рагини* же (множественное число женского рода) – супруги *рагов*. В этом не я виновата, а мудрецы, изобретшие санскритскую музыку, в которой, вдобавок ко всей ее ученой прелести, нисколько не отвергаемой, но положительно не вкушаемой мною, заключается целая мифология.

Вот доказательство:

Санскритские изобретатели музыки выдумали шесть *рага*, то есть шкал, коих названия: Шрирага (*рага* значит господин), Вазанта, Панчама, Байрава, Мегха и Нат-Нараян.

У каждого из этих *рагов* по пяти жен, а у каждой из этих жен по восьми детей. Каждый *раг*, каждая *рагиня* и каждый *рагиненок* имеет имя, атрибуты, собственную биографию, генеалогическое древо, и если бы родился в России, то имел бы, вероятно, и свой формулярный список. Родившись в Индии, каждый из них за то получил титул бога, богини и боженка. Философия вышесказанного есть та, что певец и музыкант в Индии поет и играет, имея в своем распоряжении 276 разных *шкар*, по семи нот в каждой; каждая нота выражает какой-либо звук в животном царстве, а звук этот должен изображать какое-либо чувство.

Звуки животных и выражаемые ими чувства выписываю для любопытных из оригинального сочинения Санскритского Музыкального Общества, потому что оно разъяснит лучше всего, *что такое* представляли Кришна Нат-джи и его *рагини*.

Ноты шкалы.		Имена санскритские	Типы звуков животного царства.	Выражающие оттенки.
<i>Са</i>	До	Шаджа	Павлин	Героизма, изумления и ужаса,
<i>Ри</i>	Ре	Ришабха	Бык	
<i>Га</i>	Ми	Гандара	Козел	Жалости, сердоболия, Насмешку и любви,
<i>Ма</i>	Фа	Мадьяма	Журавль	
<i>Па</i>	Соль	Панчама	Дрозд	Беззаботность,
<i>Дха</i>	Ля	Дхайвата	Лягушка	Отвращения и тревоги,
<i>Ни</i>	Си	Нишаджа	Слон	Милосердия и сознания силы.

Вот эти-то «звуки», выражающие оттенки чувств, и олицетворялись плясавшими пред Кришной *но-рагинями*.^[268] То были девять олицетворений «девяти страстей», *но-раза*, зарожденные мелодией бога музыки,^[269] его создания, воспрянувшие к бытию под волшебной силой *Ваха*,^[270] и исполнение было, как и сама идея, прелестно. Взявшись за руки, *но-рагини* сперва пляшут пред своим творцом, а затем следует еще превращение. Пред зрителями является пылающий бог солнца, без *incognito* на этот раз, и *но-рагини* обращаются в знаки зодиака; начинается астрономическая мистерия, где богини-созвездия составляют вокруг бога солнца круг и выплясывают знаменитый *Рас-Мандал*, танец звезд. *Но-рагини* и *но-раза* опять исчезли, остались одни олицетворенные знаки зодиака. А *рас-мандал* все продолжается. Медленные движения, полная грации мимика оживляются и делаются все быстрее и быстрее...^[271] Мистическая пляска на берегах Джумны напоминает танец альмей в Египте и переносит нас на песчаные берега Нила...

В третьем действии снова все изменяется. Кришна опять является пастушком с посохом и своею свирелью, и вокруг него играют и поют вновь воплотившиеся из богинь пастушки, *гопи*. *Но-рагини* еще раз превратились в *но-рази*, то есть «девяте страстей», и стараются свести пастушка, *брахмачарья*, с пути истины. Но им это не удастся. Кришна торжествует в своей добродетели, а пастушки – *en sont pour leurs frais*.^[272]

Кришна, не обращая внимания на заигрыванье пастушек, продолжает играть на своей свирели, заменившей ему теперь шестиструнный *ситар*. Но зато коровы его священного стада, устыдясь, должно полагать, за пастушек, разбегаются... Солнце зашло и на сцене совсем темно. Тут являются свирепые катчи (другое племя раджпутов) и угоняют коров к себе; а в погоню за ними бросаются гоклы (гокуладесы) или *куклопесы*^[273] и стараются отбить скот у хищников. Когда они появляются, то перед зрителем восстают свирепые циклопы-пастухи Гомера, не знавшие ни закона, ни удержа, мохнатые гиганты... Они вылезают из пещер, спускаются с деревьев, и на груди у каждого сверкает, как огненный глаз, огромный жук светляк, приколотый к звериной шкуре.

Такие светящиеся жуки, единственное освещение в пещере пастуха или в круглой башне бедняка Гоклы, и до сего дня в употреблении у племени нанды, воспитателя Кришны. Часто ночью, отправляясь отыскивать пропавшую корову или быка, гокла прикрепляет несколько таких жуков к тюрбану, чтобы светлее было. Не в этом ли племени *гокуладесов* следует искать начала и объяснения *куклопесам* греков? Светляки превосходно объясняют «фонарь на лбу» у циклопов-рудокопов, а также и то, что Гомер знал их за племя пастухов, *гокула*, главным и единственным представителем коих был «одноглазый» Полифем.^[274]

Мистерия кончилась поздно. Брамины *чоби* (так названные от *чоби*, палицы, которою они вооружаются на это представление) давно уже, осадив тирана Канзу во дворце, разнесли в мелкие щепки его крепость^[275] и самого его загнали в кусты, когда мы оставили пагоду. После спектакля «бог-Кришна» присоединился к нам и оказался очень молодым, рослым раджпутом, который, к удивлению нашему, даже говорил по-английски. Я обязана ему главными из полученных нами в Маттре сведений. Он нам объяснил смысл многого, чего мы тогда не понимали из представления, в котором ему выпала главная роль.

Он вполне верил в Кришну-героя, и отвергал Кришну-бога не менее нас самих. От него мы узнали, что служение седьмому по числу из семи главных видов Кришны, под которыми он обоготворяется в Раджастхане, то есть *Мудхун-Мохуны*, «божеству, опьяняющему любовью», находится исключительно в руках *брамини*, женщины. «Мудхун-Мохуна» есть пастушок, чарующий пастушок, *гопи*. В настоящее время великая жрица голубого бога очень стара и очень строга к храмовым *науцам*, обязанность коих состоит в разыгрывании ролей *гопи* и в уходе за лазоревым божеством. Эта строгость отзывается на самом ее храме, который-де страдает недостатком в «небесных музыкантах».^[276] Маленьких певцов *неба* им приходится занимать из других пагод, вне Раджастхана.

Статуй или идолов Кришны, как сказано, семь главных в стране, и они были описаны только Тодом, единственным, кажется, из всех англичан, которому позволили, как и нам, пятьдесят лет позднее, приблизиться к святыне.

Эти семь «чудотворных» статуй были принесены столетия тому назад таинственным лицом, Бальбой, который потом и сделался верховным жрецом Раджастхана. Умирая, он их разделил между своими семью «внуками» от духовного сына (усыновленного), и теперь они составляют источник величайших доходов для их потомков, священнодействующих браминов семи главных пагод в стране.

Представлявший Кришну, собственное имя которого я забыла, доставил нам вход к Ноните,^[277] «младенцу Кришне». *Нонита* сидит на лотосе, попожем, впрочем, на кочан капусты, задумчиво держа в руке пирожок (*пару*): такие пирожки делаются из теста, замешанного на воде из реки Джумны, отнюдь не другой. Со времен афганцев, которые со свойственным им иконоборством бросили Нониту в Джумну, он покоился до 1803 года на дне реки. Когда его случайно выудили оттуда, он пирожка своего все еще не съел и все еще также внимательно

всматривается в него, как бы не доверяя ему. В этой воздержности я ему вполне сочувствую. Принесенный мне, в виде необычайной милости, «священный» пирожок до сей поры мне памятен. Съев его, я тотчас почувствовала припадок морской болезни и оставалась под влиянием мрачной меланхолии целый день.

Осматривая храмы и их разнородные божества, я совершенно забыла о *салиграме* нашего председателя полковника О***, не оставлявшем его ни на минуту. Мои мысли были так заняты мифологическими сравнениями, что если бы кто заговорил о нем, я, вероятно, не обратила бы и внимания. Но талисман напомнил нам о себе, и при таких обстоятельствах, что трудно было забыть.

Выходя, под вечер последнего дня, из полуразрушенного дворца, куда нас поместил Ананда по нашем приезде, чтобы посетить храм Гопала-Кришны, мы решили отправиться туда пешком. Пагода была так близко от нашего дома, что следовавшая за вами по пятам дребезжащая карета казалась нам излишней. Мы ее отослали, так как для того, чтобы перейти площадь не стоило и садиться в экипаж. Я пошла вперед с Нараяном, бабу и Анандой-Свами, а за нами шел полковник, в сопровождении целой свиты браминов, пандитов и шастри. Мульджи служил им переводчиком.

В пять минут, несмотря на постоянные остановки и препятствия, в виде шмыгавших между ногами обезьян, да целых процессий ослов и транспортов, мы были уже у преддверия пагоды, и я села на ступеньки широкой лестницы, поджидая главу нашей компании. Ананда-Свами стоял шагах в двух от меня и тихо разговаривал с Нараяном, с которым он видимо подружился, а бабу я отправила купить лакомств для «священных» четвероногих.

Храм Гопала-Кришны построен в глубине глухого переулка, из коего нельзя было видеть ничего, кроме одного угла площади, которую мы только что прошли. Ожидая каждую минуту полковника и бабу с орехами, я спокойно сидела, довольно удачно сдерживая до той поры нахальное и неприятное заигрыванье обезьян, которые чуть не лезли к нам в карманы. Эти животные до того привыкли жить между людьми, что даже и наши, столь отличные от туземцев платьем и наружностью, фигуры не возбуждали в них ничего, кроме ожидания обычной подачи. Их собралась около меня целая колония, и было бы трудно не заинтересоваться, глядя на их хитрые, светящиеся глазки, на взгляды их, упорно не покидающие моих рук и следящие за малейшим движением. Одна из них, престарелая на вид макашка, потерявшая уже несколько зубов, незаметно для меня стащила снятую перчатку и, прежде чем я даже догадалась о пропаже, принялась с наслаждением жевать ее в углу.

Но вот показался бабу с орехами и изюмом и стал бросать их пригоршнями в обезьян: тут у нас с ними началась потеха. Обезьяны стрекотали и дрались, мы глядели на них и смеялись, как вдруг, совершенно для нас неожиданно, со стороны площади поднялся такой ужасный необъяснимый вой, что мне показалось, будто там сорвался с цепи целый десяток тигров... Возгласы толпы, мычание быков, рев слонов, все это сливалось в один глухой, протяжный гул. Он приближался к нам, с каждою секундой становясь яснее и громче, и я было уже собиралась последовать примеру макашек, которые со страху мигом улетучились, когда Ананда-Свами разом отвлек мое внимание от неизвестной мне опасности и приковал его к себе... Глядя на него широко раскрытыми глазами, я, должно быть, представляла картину такого испуганного удивления, что бабу, сам не понимая еще причины его, бросился вперед загораживать меня своею тонкой фигуркой, а Нараян, схватив какое-то полено, стал возле меня в позе гладиатора. Так мы стояли все трое в течение нескольких секунд, не произнося ни слова, окаменелые от изумления.

Что же случилось? Для всякого, не наблюдавшего за аскетом, как то делала я с утра до поздней ночи в течение трех суток, ничего такого, что бы показалось уж из рук вон странным.

Услыхав рев, Ананда-Свами, обыкновенно так медленно и плавно двигавшийся словно на заведенных пружинах, вдруг преобразился. Во мгновение ока, одним, сделавшим бы честь любому акробату, прыжком, он очутился на конце переулка.

Раздалось еще несколько слабых мычаний, а затем целая толпа браминов наводнила переулок и среди них полковник... но в каком виде, силы небесные!

Он потерял шляпу и, по-видимому, очки. Белоснежное пальто и панталоны превратились от покрывавшего их навоза и пыли в нечто невообразимое, в тряпки, покрытые пятнами и прилипшими к ним кусками столь излюбленного лондонскими эстетами цвета гнилой зелени, с коричневыми тенями нюхательного табака. Лицо его было краснее спелой вишни, волосы растрепались, а в бороде торчали куски соломы и сена... Он казался очень сконфуженным.

– Я советовал полковнику не подходить к священным коровам, но он не послушался, – кричал, объясняя, Мульджи.

– Черт их побери, ваших священных коров! – огрызнулся наш президент. – Я хотел их покормить хлебом и пряниками, а они стали ко мне лезть... голов десять. Я от них, а они ко мне... мотнет головой, подбросит хвостом вверх, да и норовит мордой в карман... Мотнет, да и лезет с ужаснейшим мычанием... оглушили меня... Ну, я и упал... поскользнулся и... упал!..

– Еще бы, когда у вас *салиграм* под рубашкой; ведь говорил же вам Ананда-джи, [\[278\]](#) предупреждал: берегитесь, не подходите к коровам!..

– Навалились на меня, приперли в угол, – продолжал объяснять, как бы извиняясь предо мной, бедный полковник, – ну, я и упал... брамины машут руками, просят коров по-санскритски оставить меня, и хоть бы один из них хватил их палкой!.. Ну, а коровы еще хуже!..

На лице Мульджи, при этих словах, изобразился священный ужас.

– Ударить корову Гопала-Кришны!..

– Не ушибли ли они вас? – осведомилась я, слишком еще пораженная неожиданностью и испуганная, чтобы вкушать всю комичность его положения.

– Нет... кажется, ничего, – отвечал он, ощупываясь. – Только вот перепачкался... проклятые коровы! Жаль, что со мной не было трости!..

– Прошу вас, не говорите так, полковник, – испуганно озираясь на браминов, прошептал встревоженный за нас Нараян. – Хорошо, что они не понимают вас. Они способны убить всех нас из-за священной коровы...

– А ведь вам пришлось бы еще хуже, сааб, – молвил бабу, – если бы не Ананда-Свами... Это он вас выручил... *дэндой*...

– Просто смотрел! – перебила я. – Все кончилось до его *дэнды*...

– Вы знаете, *упасика*, что это не так, – с упреком заступился Нараян и отошел прочь к стоявшему в стороне «брату Рощи».

Ананда в ту самую минуту, когда первые брамины показались у входа в переулок, пропустив людей, видимо воспрепятствовал нескольким коровам ворваться за ними в узкий проход. Стадо гналось за несчастным президентом рысью, пока он не исчез от них в переулке.

– Что ж именно он делал и как он им «воспрепятствовал»? – спрашивала я «Кришну», который присоединился к нам несколько минут позднее.

– Стоял у входа и *махал в них дэндой*.

– Как в них?... то есть на них, на коров?... Ну, конечно, тем и испугал их.

– Нет, именно *в них*. Простого маханья палкой мои коровы не испугались бы.

Он говорил «мои» коровы, как будто серьезно воображал себя богом Кришной.

Мы отправились домой, так и не видав храма Гопала; солнце зашло, и под покровом тотчас же окруживших нас, как темным флером сумерек, скрывших очень кстати плачевный вид нашего президента, мы вернулись домой и стали приготовляться к отъезду. К несчастью полковника,

вся наша поклажа была отправлена из Баратпура прямо вглубь Раджастан, и президент не мог даже переменить платья. Но наш хладнокровный глава и тут не растерялся. Он купил белую одежду туземца и предстал пред нами в костюме, представлявшем странную смесь раджпутских одеяний с европейскими.

Но он видимо сознал в душе, что получил урок. *Салиграм* исчез с его особы, и ничто не напоминало нам более о его «магическом» присутствии. Впрочем, обладание оным оказало нам и пользу. Брамины, приняв этот факт к сведению, хотя и чувствовали к нашему президенту большую зависть и диву давались, что священный их предмет не утрачивает своих свойств даже на особе нечистого *млеччи*, но все-таки почувствовали к нам еще сильнейшее уважение и как бы даже суеверный страх.

Мы выехали из Маттры ночью по реке в большой примитивной лодке, напоминающей венецианскую гондолу, в которой у нас стоял стол и скамейки кругом и даже было место для кухни. Последнее, впрочем, оказалось для нас бесполезным, так как мы оставили нашу гондолу в два часа ночи, и нас увезли в лес к какому-то «вассалу», по выражению Ананды, ночевать.

На другой день мы поехали к деревушке *бардов*. *Бхаты* или *бхарты* и *чаруни* или *чараны*, то есть барды и летописцы,^[279] издревле занимаются переноской вещей. Такая «переноска» началась одолжением и постепенно перешла в ремесло. В этой стране, заселенной вечно враждующими племенами, разбойничьими шайками *бхиллей* и *меров*, во дни былые невозможно было пересылать ни денег, ни вещей большой дорогой. Барды были единственным классом, который уважали и проклятий коего боялись разбойники. Взвзявшись доставить сумму денег или ценную вещь, *бхарт* ручался своею жизнью за доставку; если разбойники, невзирая на его сан, отнимали у него доверенное, он в ту же минуту вонзал себе нож в сердце и, обрызгав кровью грабителей, умирал с проклятием на их головы. *Это проклятие всегда исполнялось*, говорят раджпуты. Прошли века, и теперь *бхарта*, везущего миллионы, не тронут разбойники, будь их сотня против одного. *Бхарты* служат посыльными по всему Раджастану, и их сан делает их священными в глазах самого свирепого разбойника. «Даже полудикой коли и сахрай страшатся проклятий *этого странного существа*, которое ведет караваны с полной безопасностью чрез самые безлюдные пустыни и непроходимые леса этой местности. Путник, желающий достигнуть беспрепятственно портов Джалора или Радханпура, ведущего в Сурат или Мускат-Мандави, присоединяется к каравану, во главе которого едет *бхарт*: он в полной безопасности»...

На другое утро, восстав от спокойного сна в лесу, Ананда нас повез именно к одному такому *чарану*, в семействе коего мы и провели время до самого вечера. В белом, длинном и широком одеянии, старик походил на Оссиана, сошедшего с холста картины. Сидя с *ситаром* в руках на полу, он пел нам легенды о древней удали сынов его страны, о падении Читтура, о героях коганах (племя такура) и о *блаженстве смерти за долг чести*, за данное слово, за родину... Его два сына, рослые, красивые раджпуты, пели в свою очередь, и их легенды были все основаны на подвигах Кришны, Бальрамы, Арджуны и племен *Гарикула*. А их жены и старуха-мать прислуживали нам, кормили нас и не знали, что и делать для «саабов», отправляющихся к «великому такуру».

Костюм женщин у *бхартов* чрезвычайно живописен: темные шерстяные юбки и сверху белые как снег *сари*, а в черных, как смоль, волосах цветы, кораллы и золотые украшения. Здесь женщины скорее напоминают красивых неаполитанок прежнего времени, чем индусок. В этом благословенном уголке Индии нет ни каст, ни фанатизма бомбейских браминов. *Бхарты* и *чараны* составляют, так сказать, *imperium in imperio*.^[280] Они не зависят ни от кого, и правительство умно воздерживается от вмешательства в их дела: весь Раджастан поднялся бы как один человек в защиту своих священных *бхартов*. Они – последнее звено, соединяющее их

горькое настоящее с величием их незабвенного и незабываемого прошлого.

Эти неизвестные в Европе, да и мало кому известные в Индии певцы хранят, быть может (для нас это несомненно), первые страницы *истории всего человечества*, а не одной только Арьяварты. Героические песни Индии – это все, что у них осталось от прошлого. Но эти песни дают право *бхартам* требовать, чтобы на них взирали как на первобытных историков всего человечества. Они жили задолго до тех времен, когда греческие басни впервые обратили на себя внимание поэтов и даже Геродота, отца истории, тысячелетия тому назад; *бхарты* воспевали *настоящие* события и *живых* людей, а не мифы. Каллиопу боготворили в Индии со времен Вьясы, современника Иова, по мнению первых ориенталистов, таких как сэр Уильям Джонс, Уилсон и другие. А эти санскритологи, если и грешили иногда неправильностью выводов, зато никогда не жертвовали истиной и фактами ради доходного места. Уцелели еще тысячами свитки одних исторических генеалогий и летописей в стихах; и их поэтические преувеличения не помешали б историку извлечь из них события и факты, изложение коих на одном из европейских языков перевернуло бы, весьма вероятно, заключения не только Маколеев и Грогов, но даже и наших *русских историков*.

Нам говорили «посвященные» барды (между ними есть и такие), что огромная коллекция их летописей, начальные свитки коих написаны с устных преданий, пополняет все пробелы и даже исправляет все ошибки всемирной истории; что в них найдутся все доказательства тому, что племена одного Раджастхана заселили в доисторические периоды берега северных морей, Балтики, Черного, Каспийского и других; что все германские и *особенно славянские* народности в Европе суть потомки ушедших из Раджастхана племен (в древности *Раэттана*). И действительно, если финны и мадьяры Венгрии должны искать начало своего рода и племени в Средней Азии и Тибете, шведы – в Кашгаре, а немцы (только Макса Мюллера, впрочем) на Оксусе, так почему бы и нам не поискать родоначальников варяго-руссос в лесах и «великой пустыне» Джайсалмера? Кто знает, быть может, славянские праотцы «братушек» – древнейших^[281] болгар и сербов, чехов и нас, русских, – и в самом деле спят под семью этажами доисторических городов Саураштры, Амбера и Удайпура? Аларих и Чингиз-хан отнюдь не сами изобрели странный способ своего похоронного церемониала. Когда величественный курган над телами этих двух героев был возведен, говорит Гиббон, огромное вокруг него пространство было засажено лесом, «дабы помешать навеки ноге человека ступить по священному праху».

Так хоронили в древние времена и героев Раджастхана, и этот способ описан в песнях барда Чанда. Там, где теперь «долина смерти», пустыня Индии, ведущая к долине Инда, были прежде непроходимые леса. Тысячелетия превратили их в прах, а местность, где находятся еще такие курганы – в пустыню. В степях России таких «курганов» много; и то, что у нас зовется «бабой», называется в Индии тоже «баба», только слово это означает «отец», и я видела несколько таких каменных баб в Меваре.

Далее, другое кладбище простых воинов, и опять памятники «бабы», сооруженные над могилами тоже павших в битвах раджпутов. Пепел сожженных тел привозился на родину, и над «вождями» ставилась не «баба», а более законченный монумент. На некоторых памятниках был вылеплен рельефом сам всадник в полном вооружении, со щитом, мечом и пикой; а подле него его жена – верный признак, что она сожгла себя на могиле супруга, т. е. совершила сати.

В Раджастхане всякое освященное преданием *маха-сати*, т. е. великого самопожертвования (самосожжения), место тотчас же делается ареной подвигов духов, «нечистым местом». Это, впрочем, не у одних раджпутов. «Духи» самоубийц, должно полагать, каются в своем поступке и на Западе, и приходят доживать свой насильно прерванный век в менее удобных, но зато и более склонных к пороку телах. И у нас в России самоубийцам не лежит спокойно на избранном ими ложе, если верить народной молве. Как бы то ни было, но в Индии их «духи» достигают

апогея надоедливости. Спириты могли бы здесь ликовать зело, но не-спириты очень на них жалуются. Меж страшных алтарей самоубийства, среди костров, где так часто, так безжалостно сожигались юность, красота, земное счастье, где мать, рыдая, в то же время благословляла дочь на *подвиг святости*, а отец, обязанный присутствовать при *маха-сати* от начала до конца, пел хвалебные гимны часто единственной дочери, юное, трепещущее тело коей трещало и корчилось в пожирающем пламени, – тотчас же заводились «демоны», зарождаясь с *ночи девятого дня*. Там, на даровых квартирах, немедленно появлялась *Джигер-Кхор* – страшная *гарпия* древности и *Дхакуна* – ее поводырь.^[282] Оба эти демона, как это хорошо всем известно, рыскают по ночам, нападая на живых, у которых Джигер-Кхор пожирает сердца, вырывая их из животрепещущего тела. Некоторые мавзолеи, как гробницы в Помпеях, сделаны с комнатой внутри, где совершаются ежегодно обряды поминок по покойнику или покойникам. Для раджпута это самый страшный, тяжелый день в году, но которого, по общепринятому обычаю, ему невозможно избежать. Он обязан отправляться в эту похоронную комнату один и там совершать обряд над прахом, окропляя комнату водой, делая приношения цветами и рисом, а затем лежать ничком на полу часа два, бормоча *мантры*.

– Мой родной брат, – говорил старый бард, – один из храбрейших воинов Мевара, вернувшись домой после *питри-ишварес* (поминок), узнал, что за эти два часа он посидел, как восьмидесятилетний старик... А ему не было и тридцати.

– Что ж, он разве видел что-нибудь?

– Нет, но... чувствовал; все время чувствовал на себе ледяные руки Джигер-Кхоры, которая доискивалась его сердца... Он спасся *мантрами*. Так, так, день *питри-ишвара*^[283] великий... но ужасный день! На кладбище, откуда мы пришли, они возятся каждую ночь...

– Кто они?

– *Бхуты* (духи). Выйдя из задней двери на внутреннюю веранду, можно видеть даже отсюда по вечерам, как *они* мелькают разноцветными огоньками над могилами...

– Синеватыми, – поправил Ананда, – это вы видите просто *шахаба*, блуждающие огоньки, которые вы найдете на всех кладбищах и особенно на полях сражений, – внушительно добавил он.

– Так, так... на полях сражений... конечно. А где же легло костями более храбрых воинов, как не здесь? Но эти огоньки – их души!

– Не души, а фосфорическое сияние от тления стольких животных тел.

– Это нам говорил и наш *махарадж*, такур-саиб... Но ни он, ни вы не верите в *Дхакун* и *Джигер-Кхор*, потому что они не посмеют *вас* тронуть, а нас они не боятся.

Такое противоречие и скептицизм со стороны Ананды как будто не нравилось ему. Старик нахмурился и вдруг, ударив по струнам ситара, затянуть песнь *Джохура*. *Джохур*, – это тот ужасный обряд, когда обессиленные воины, убежденные, что им не одолеть врага, собирают своих жен, матерей, сестер и невест, и убивают их собственноручно, сожигая затем их тела на костре. 1275 год навеки памятен в Раджастхане, и барды поют до сей поры «о падении города Читтура» и о смерти «Рани *Падмани*», невинной причины битвы и падения города, который со времен исторического периода три раза подвергался страшнейшему «сакка»,^[284] т. е. штурму и истреблению целого племени. Читтур погиб окончательно в 1676 году, но его защищали уже не законные владельцы, а его победители и разрушители. Легенда относится к событиям 1275 года и полна интереса и прелести. Вот эпизод в нескольких словах.

Бхимза, дядя малолетнего раджи и его опекун, влюбляется и женится на дочери царя цейлонского, когана Гамир Санка, красавице *Падмани*, – эпитет, даваемый только «прекраснейшим из прекрасных». Ее красота, таланты, благородство души и самоотвержение, доведшее ее до костра, а Читтур до окончательного падения, составляют любимый сюжет

народных преданий Раджвара (Раджастхан).

Теперь передам, как могу, чудную балладу бардов, пропетую нам нашим старым хозяином. Я даю буквальный перевод, но, конечно, с большими сокращениями главных событий исторического и навеки памятного в стране сражения.

Не грозного Читтур-града жаждет сердце Ала-ад-дина,
Лотосоокой Падмани, супруги храбрейшего Бхимзы,
Жаждет патан.^[285] Посылает гонца на дурбар махараджи,
«Отдай за Дели мне рани...^[286] Возьми ты все царство, богатства,
Все, чем владею, за рани, за перл драгоценный Востока!
Иначе погиб ты! Читтур, твой град, разгромлю я навеки,
Сгублю Агни Кулла^[287] и сердце твое с ним я вырву!»
Разгневался Бхимза, наш царь, и страшно сверкнул он очами.
«Не надо мне царства, калиф, не боюсь я могулов!..
Не владеть тебе рани-царицей, мне верной Падмани.
Плюю тебе в бороду, враг! Приди!.. тебя ждут агни-куллы!..»

Град осажден. Голодает Падмани, могул торжествует,
Шлет снова посла:
«Хоть взглянуть позволь мне на рани Падмани!..
Без стражи приду я один... тебе доверяюсь, раджа,
Слову раджпут не изменит!..»
Жалея красавицу рани, во избежанье *Джи-гура*,
Дал Бхимза согласие, впустил он калифа в ворота Читтура.
Одного и без стражи...

...Узрел злой патан отраженья^[288]
Рани прелестной в стене залы зеркальной дурбара.
Возгорел Алла страстью: за доверие злую измену
Радже патанец готовит...

...«За доверье доверьем плачу»,
Ала-ад-дину рек Бхимза, «иду за тобой, провожая
Тебя за ворота Читтура»... Вдруг крикнул тот, стражу сзывая,
Пленником сделал он Бхимзу, и в лагерь патанский коварно
Увлек, говоря: «О раджпут! ты заложник Ала-ад-дина,
Отдай мне Падмани, купи свое царство, свободу»!..^[289]

Отчаяние овладело жителями Читтура, осажденного 80 000 войском предателя патанца. Старшины стали держать совет: отдавать ли Падмани за раджу или же то будет бесчестно. Но рани сама нашла, что она обязана пожертвовать собой за любимого мужа, решив в то же время не отдаваться Ала-ад-дину живой. Посоветовавшись с его дядей Горрой и его сыном Бадулем,^[290] пришли к заключению, что следует попробовать освободить Бхимзу, не отдавая на поругание чести рани и не рискуя ее жизнью. Послали сказать императору, что пришлют ему Падмани, если только он снимет лагерь и отойдет далее. Ее доставят к нему и отдадут на руки; только она не может быть отослана без приличного ее сану торжества и проводов. Она должна

отправиться к нему приготовившись, с большой свитой ее придворных, с принадлежащими ей вещами и приданым, и всеми желающими в Читтуре проститься с ней, женщинами и девами, не считая тех, которые пожелают сопутствовать *рани* в Дели. Калиф согласился и приготовился, дав сперва требуемую читтурцами клятву, что святость женских привилегий, т. е. наглухо запертых носилок не будет нарушена.

Тогда вышла из города толпа женщин, «матерей и престарелых родственниц раджпутских воинов», а среди их несли до 700 носилок; каждый паланкин несли шесть воинов, переряженных носильщиками. Царские палатки были окружены, по обещанию калифа, *кханатами* — полотняными, стегаными стенами, и носилки со свитой были пропущены внутрь. Полчаса было даровано Бхимзе на прощание с его рани; но тотчас по его появлении он был посажен в пустые носилки и бегом унесен из лагеря. В прочих носилках было скрыто оружие и в них сидело до 700 вооруженных воинов, цвет молодежи Читтура. Не прошло еще дарованного получаса, Ала-ад-дин, ревнуя к такому долгому прощанию и подозревая засаду, несмотря на данную клятву, внезапно ворвался за *кханаты*: события, все до одного подтвержденные историком Фериштой. Вместо прелестной Падмани и свиты юных дев калиф нашел около пяти тысяч воинов и несколько сот почтенных, но весьма безобразных старух, которые «вцепились в могулов, как дикие кошки». Раджпуты, пожертвовав заранее жизнью, только хотели прикрыть бегство Бхимзы, и под напором 80 000 человек, окруженные со всех сторон, погибли все до *единого человека*. Увидев своих сыновей и родственников мертвыми, brave старые раджпутки вонзили себе кинжалы в сердца, и, как гласит баллада:

«Не гора то выросла на долине Читтура,
То тела храбрых воинов, *да не будет им стыдно*,^[291]
Все легли за царя... Над горою, другая гора, —
То тела матерей и женщин Раджвара»...

Радже Бхимзе дали быстрого коня, и он успел уйти от преследовавших его могулов. Подвиг товарищей и их старых матерей так воодушевил читтурцев, что в течение следующих за сим дней они совершали чудеса храбрости. Осажденные отразили наконец осаждающих, и Ала-ад-дин принужден был отступить, потеряв половину войска.

Но, увы! лучший цвет молодежи Читтура погиб в патанском лагере! Чрез несколько месяцев влюбленный патанец вернулся снова к приступу и на этот раз остался победителем. Предводимый Бхимзой, весь город, кроме детей и женщин, вышел сражаться за городские ворота. Герои без минуты колебания бросились на неприятеля «один против десяти», по свидетельству истории, и легли «скошенные на поле битвы», говорит баллада, «как колосья под дыханием циклона». Девизом раджпутов, как и у древних, да и настоящих русских, было всегда: *Ляжем костями, мертвые срама не имут*.

Спасся, хотя и очень раненый, один только юный Бадуль, двоюродный брат Падмани, в то время двенадцатилетний мальчик, но в понятиях раджпутов обязанный уже с таких юных лет защищать родину и умирать за нее.

Герои Читтура невольны напоминают героев Черной Горы. В характере черногорца есть много сродного характеру раджпута: те же баснословные удаль и храбрость, то же презрение к физическому страданию, та же бесконечная любовь к родине. Юные двенадцати и тринадцатилетние храбрецы, о которых мы столько читали в семидесятых и восьмидесятых годах, словно воскрешают в себе Бадуля Читтурского.

Этот эпизод описан чрезвычайно эффектно в Коман Разе, а в воинственной эпосе старика-

барда он являлся еще рельефнее. Маститый старец весь преобразился: его черные глаза горели, сияя воинственным пылом при звуках собственного пения; покрытое морщинами лицо то искажалось неукротимой ненавистью к врагу при воспоминании о «сакка Читтура», то принимало выражение горя и страдания при рассказе о страдании запертых в осажденном городе жен и матерей, о их приготовлениях к джохуру (самосожжению), дабы не попасться живыми в руки моголов, не отдать себя врагу на поругание. Майн бхука хо!.. «Я голодна... голодна!..» кричит, витающая над полем битвы богиня смерти и разрушения, покровительница осажденного города, оскорбленная поступком раджи. Наклонится неумолимая Кали над одним воином, и он падает в ледяные объятия Ямуни (дэва смерти); направит свой *чераг* (фонарь) над другим и меч падает из его руки, а собственный щит опускается, закрывая его лицо «как тень могилы, бросающая свой черный покров на прах погребенного воина»...

Бадуль, покрытый кровью, возвращается один в стены Читтура. Происходит диалог между ним и женой его дяди, виновницей падения города, злополучной Падмани. Она желает, прежде чем присоединиться к супругу, то есть совершить *сати* и *джохур*, услышать из уст юноши о последних подвигах ее «властелина», *son doux seigneur et maître*... [\[292\]](#)

Бадуль отвечает:

Он был косцом поля битвы, я – подбирал одни лишь колосья,
Шаг за шагом я следовал, как жнец за острой косою...
Я видел, как он, наш отец, ложе чести себе приготовил;
Кровавым ковром его крыл, подушкой выбрал он князя
Моголов... и лег на него. Он спит теперь сладко и крепко,
Хранимый телами врагов, усыпленных его же рукою...

Падмани-вдова опять вопрошает своего племянника:

Скажи мне, Бадуль, как мой царь,
как мой милый владыка сражался?...
А Бадуль ей в ответ: «О мать!.. как еще описать его храбрость,
Когда не осталось врага, пред ним трепетать или им любоваться?...»
Улыбнулась *рани*, прощается с отроком храбрым,
Говоря: «Владыка мой ждет... Костер уж пылает»,
Бросается в пламя; за ней – жены, юные девы Читтура...

Официальная история Удайпура, как и его летописи, добавляет, что за Падмани последовало 22 000 этих дев и жен Читтура в «огонь, спасающий их честь и имя». Они принесли свою жизнь в жертву долгу, сожглись на ужасном костре.

Феришта (историк) упоминает только о тех *сакка*, которые были успешны, о *сакка* Ала-ад-дина и Акбара, и тем грешит против истории. Но и он рассказывает об ужасах этого повального самосожжения и о пещере Маха Сати.

Читтур [\[293\]](#) – один из древнейших городов Удайпура или Мевара и был всегда знаменит своими героями. Вот в нескольких словах его история с 1275 года до 1803, не говоря уже о доисторических и даже домусульманских на него нашествиях.

В 1303 году Ала-ад-дин снова явился под стенами Читтура и, заняв его, окончательно разорил все, что мог, пощадив – странное дело – только места, освященные когда-то

присутствием страстно любимой им женщины. Дворец Бхимзы и «прекрасной Падмани» остался не тронут; огромная колонна, обелиск *джайнов* и принадлежащий к нему храм буддистов, сооруженные в 896 году, так как Падмани принадлежал к вере, исповедуемой в Цейлоне – тоже каким-то чудом уцелели... *Où la poésie de l'amour va-t-elle se nicher!*...^[294] Ала-ад-дин, – жестокий тиран и фанатик, являющийся нежным рыцарем!

Собственно Читтур, то есть старый город с крепостью, выстроен на огромной скале, а более современный, строившийся с 1350 года, расположен у подошвы ее. Внизу протекает река Бирух, и на ней выстроен замечательный мост на девяти арках, из коих средняя, полукруглая, имеет к тому же по четыре готические арки по обеим сторонам. Но нижний город неинтересен. Надо карабкаться на старый, осмотреть все эти древние здания, чтобы получить верное понятие о его археологических достопримечательностях. Там, внутри крепости, существующей, по преданиям, со времен Кришны (у которого, мимоходом будь сказано, своих два храма здесь, громаднейшие по величине в стране), стоит еще Ноллака-биндар, внутренняя цитадель, выстроенная руками, конечно, сказочных циклопов, – до того массивны ее стены и башни. Возле нее – дворец Падмани до зубчатых стен коего самое время-разрушитель еле еще коснулось. Там ее терем; пространные, высокие его комнаты остались с тех пор пустыми, а бедная, злополучная красавица, как и ее сестры по судьбе, получила незавидную, посмертную репутацию *бхута*, полночного домового. В *дурбарной* зале (тронной) сохранились *зеркальные* стены. Они получили название от мозаикообразной на них чешуи; из мелких кусочков блестящей, полированной стали, как в персидских дворцах.^[295] Одно чудо любви могло помочь Алл-ад-дину узреть в этих «зеркальных» стенах чудный образ Падмани и воспламениться им. Поглядевшись в них и приложив все свое старание увидеть в этих кусочках отражение собственной, хорошо мне известной физиономии, я открыла, долго проискав, мой правый глаз у себя на макушке, а нос у левого уха. С таким *anamorphosis*'ом любимого предмета пред глазами не стоило калифу брать на душу греха!..

У храмов Кришны находятся еще два резервуара (*танки*), каждый сто двадцать пять футов в длину, пятьдесят в ширину и пятьдесят футов глубины, из огромных плит черного мрамора. Верхушку скалы венчает храм, посвященный «разрушающим силам» с трезубцем Шивы у входа. Стены храма невообразимо массивны, и божеству, патрону пагоды, потребовалось бы много времени и усилий доказать свою разрушительную силу на этих стенах. Разбросанные по крепости, уцелели еще восемьдесят четыре цистерны, многие из них полные водой. Но самое замечательное здание, хотя и не столь древнее, это *Кхерут Кхумб*, «обелиск победы», воздвигнутый *рани* Кхумбом^[296] вследствие блестящей победы, одержанной этим раджпутским государем над союзными армиями Мальвы и Гуджарата. Обелиск воздвигнут на террасе сорока двух футов в квадрате; сам он высотой в 122 фута и стоит на четырехугольнике, каждая стена коего имеет 35 футов длины. В этом обелиске-башне 9 этажей, по одной комнате с боковым внутренним коридором и витой лестницей в каждом. Башня увенчана куполом. Все здание из белого мрамора и покрыто сверху донизу резной работой. На стенах этого обелиска-башни целая мифология. Кроме того, в городе есть два-три древнейших частных замка и несколько столь же древних башен.

За Ала-ад-дином Читтур был взят Бахадур-шахом, царем гуджаратским, в 1533 году. Бахадур прогнал, в свою очередь, Хумаюн, делийский падишах, который и возвратил город его раджпутским владетелям. Затем Читтур был взят императором Акбаром в 1567 г. В этот год за *саккой* опять последовал *джохур*. Снова зажглись страшные огни в пещере *Маха Сати*; снова полилась кровь дев и женщин рекой, и целое племя раджпутов, превратив их тела в пепел, ринулось из крепостных ворот на могулов и легло все на месте – «ибо мертвые срама не имут».

Что за ужасная кровавая драма разыгрывается акт за актом в истории этого Читтура! По

основании его доисторическим, сказочным героем «раджей Хунном», богиня «силы и разрушения», патронесса всех укрепленных мест, *Дурга*, обещает первым царям Читтура никогда не оставлять без помощи свою любимую скалу, Читтур. Пока *Еклинг-ка-дэван*^[297] останутся ей верными, она, Еклинга, «рожденная от львицы» богиня, не покинет их.^[298] Первый раджа Читтура, «посвященный» *Банна*, был духовным супругом богини. Он принес клятву при посвящении его *Чирндживой*,^[299] и доколе раджи будут соблюдать эту клятву, богиня не даст пасть Читтуру. Пока его раджи не перестанут называться именами *Раджа-Гуру* – «учителями раджей», *Хиндуа Сураджд* – «солнцем индусов» и *Чуква* – «всемирными владыками» – Читтур не может бедствовать.

Но вот несколько раджей, загордившись, – так говорит легенда, – начинают часто забывать обет и даже перестают оказывать должное почтение богине. Они вводят в ее сообщество других богов (ненавистного Шиве Кришну), и ярко-алый цвет знамени темнеет. *Дурга Еклинга* обещала свое покровительство потомкам *Банна*, доколе они ей не изменят. При первом *сакка* Ала-аддина двенадцать раджей, венценосных глав Раджвара, защищали это знамя, но оно померкло, и они все остались на поле битвы. Во время второго *сакка*, начатого Бахадур-шахом, такур Деольский, из царственного дома Мевара, принес себя в жертву богине (убил себя на ее алтаре) и она спасла его город. Но на третий раз, в страшные дни осады юным Акбаром, *Дурга Амба*, приняв свой первородный образ Кали, осталась глухой к их возваниям. Она отвернулась от своего зубчатого венца, и ее появление Самарси (радже Читтура в 1412 г.) было ее последним.^[300] Удай-Синг, раджа меварский, закончил ряд царей, грешивших против богини, бежав при первом известии о появлении Акбара и его армии. Тогда лик богини отвернулся навеки от Читтура. Славный город пал, несмотря на его отчаянную защиту. Не *Дурга Еклинга*, а Кали явилась пред конем Удай-Синга с ее обычным воинственным кликом: *Майн бхука хо!* (Я голодна); она исчезла и насытилась лишь кровью последнего из славного племени *агни-куллов*.

Тридцать тысяч человек погибли в те дни, когда Акбар стоял под стенами Читтура. Страшный *джохур* был приготовлен, и оставшиеся в живых 8000 раджпутов, съев вместе последнюю *бира*^[301] и облачившись в шафрановые рубашки – эмблема пылающего костра, – отправились исполнять свою ужасную обязанность. Девять *рани* (королев) и 15 принцесс (их дочери), два малолетних сына раджи и все женщины разных классов погибли от руки мужей, сыновей, братьев и родственников, и тела их были преданы сожжению в пещере *Маха Сати*. Затем эта восьмьтысячная армия отворила настежь ворота крепости и устремилась неудержимым потоком на армию Акбара. Ни один из восьми тысяч не пережил этого дня, и ни одна *желтая* рубашка не была запятнана постыдной сдачей в руки врага.

Да, божество раджпутов их покинуло в тот ужасный, страшный последний день Читтура. Скала их мощи и независимости была предана *сакка*; а ее храмы и дворцы были разрушены дотла, и Акбар захватил даже все символы царственного дома: *накара*,^[302] которых звук возвещал на мили кругом об отъезде и приезде ее раджей и князей; канделябры с алтаря «великой матери» *Амба мати*, которая опоясала мечом *Банну*, и даже этот самый меч.^[303] С тех пор *Читтур сакка ка нан*, «клянусь грехом сакка Читтура», сделалось священной и ненарушимой клятвой у раджпутов.

– *Тийджо сакка Читтур ра* (третье сакка Читтура) довело Раджастхан до того, что вы теперь видите у нас! – проговорил бард, мрачно окончив свои песни. – «Великая мать» отвернулась от нас, и вот почти три века, как Раджастхан умирает... Солнце его покинуло... Сурьявансы вырождаются!..

Увы! то была лишь метафора. Солнце жгло и палило даже в этом дремучем лесу. Я изнывала в этой душной атмосфере и, расположившись на коврах, разостланных на затемненной

веранде, еле могла шевелить языком. Но любопытство и интерес взяли верх над ленью и зноем, и я пожелала узнать, в каком теперь виде Читтур: что с ним сделалось после *сакка* Акбара.

За барда отвечал Ананда.

– Один из раджей меварских овладел развалинами вскоре после последнего разгрома, но в 1676 году отворил его ворота и передал Аурангзебу по его первому требованию, без боя на этот раз. Читтур был снова возвращен его раджпутским владетелям лишь в конце прошлого века.

– Были вы там?... Видели его развалины?...

– Был и видел все, что осталось от него. Некогда непобедимый Читтур давно оставлен жителями, как и правительством *рани*. По мнению первых, на городе лежит проклятие богини; в глазах второго он сделался совсем негодным. «Резиденция царей, которая в продолжение 3000 лет воздымала свою венценосную главу высоко надо всеми прочими городами Индии», говорит летопись, «сделалась теперь убежищем диких зверей, выбравших своим логовищем ее храмы»... Священная столица охраняется теперь одними *госсейнами* и *йогами*, и вход в нее запрещен *ране*^[304] и принцам крови особенным указом Махнута, главы монахов-воинов; ни проклятые богини, ни дикие звери, ни *джигер-кхоры* (демоны гарпии) не трогают йогов, оттого вы их и не боитесь! – пожаловался бард.

Пондишерский аскет не отвечал на это замечание, и правильность воззрений суеверного певца так и осталась неподтвержденной и неразъясненной потомству. Но Нараян обратился к Ананде, спрашивая его, можно ли рассказать нам, какую роль играли предки такура в последнем действии кровавой драмы Читтура?

Аскет молча склонил голову в знак согласия, а Нараян, заметив, что это эпизод, который он намерен рассказать нам, внесен официально в летописи домов (царских) Салумбры и Майтреи^[305] и воспевается всеми бардами, приступил к рассказу.

– Имена Джеймуля и Путты остались навек бессмертными и неразделимыми в истории Читтура, – начал Нараян, у которого загорелись глаза при рассказе о предках даже отвергавшего его такура, так сильно бедный юноша боготворил нашего героя. – Эти имена останутся символом всего беспримерно героического, будут жить в сердцах раджпутов и всех индусов, считаться ими святыней, доколе сохранится в стране хотя одна искра воспоминания о нашем великом прошлом... Когда защищавший «Ворота Солнца» вождь Салумбры погиб, выбор нового вождя пал на Путту из Каильвы. В то время ему было всего шестнадцать лет; его отец, доблестный воин, пал в одном из предшедших сражений семь лет до того, а мать отказалась от славы *sati* по просьбе умиравшего от ран мужа и пожертвовала доблестной смертью ради этого единственного сына, которого и воспитала, как наследника славного имени. На Западе у вас восхищаются матерью Гракхов, спартанскими и римскими матронами; но все это лишь слабые отражения прабабки отца такур-сайба по женской линии. Опясывая сына мечом, она повелела ему надеть заранее «желтую рубашку» и умереть за Читтур. Только, как справедливо заметил полковник Тод, она превзошла древнюю римлянку-мать тем, что подкрепила сына собственным примером. Она сделала более. Юный Путта был обручен: страшась, как бы любовь к нареченной и ее образ не повлияли на сына во время битвы, она вручила своей невестке^[306] копье и кинжал и, взяв ее за руку, повела молодую девушку со скалы вниз к городским воротам, где защитники Читтура были свидетелями доблести двух женщин, одной престарелой, другой чуть не ребенка. «Защищаясь, как львица, нападая, как тигрица», гласит летопись, возле матери, которая совершила в этот день чудеса храбрости, молодая амазонка упала, наконец, убитой к ногам старой героини. Мудрено ли, что, видя такой пример неустрашимого патриотизма в своих матерях и дочерях, Раджпуты-воины превращались в настоящих львов, заслуживая вполне имя *синга* (льва)! Защита длилась с восхода солнца до поздней ночи. Увидав, как невеста его упала мертвой, Патту подал знак матери. Приказав громким голосом приготовить *джохур*, зажечь

костры в пещере самим женщинам, а затем воинам в задних рядах убивать их, когда все будет готово, Путта со старой матерью во главе передового отряда бросился на могулов. Прочтите, что говорит сам император об этом последнем, отчаянном нападении, в котором *старуха-воин*, как ее называет Акбар, «сбрила собственноручно головы с плеч его храбрейших сердарей». Сам *шайтан* вселился в эту *раджпутни*, – пишет он. – Джеймуль, двоюродный брат Путта, оказывал такие же чудеса храбрости у других ворот и соединился в общем нападении на врага к вечеру. Когда, наконец, пал и Путта, простреленный насквозь пулями, его мать, «похожая на кровавую Кали», смело взяла сына на руки, снесла его под тучей стрел и пуль в городские ворота и, передав труп для сожжения, вернулась на поле битвы. Джеймуля Беднорского убила пуля самого императора, который очень гордился всю остальную жизнь этой честью. Этот факт заявлен историком Абул-Фузилом и императором Джехангиром, который называет и ружье, [\[307\]](#) из которого Акбар застрелил Джеймуля – *сиграм*. Да, великих героев произвела наша Индия!..

Еще баллады, еще несколько героических песен, и Ананда зовет нас, говоря, что солнце село и нам пора в путь...

Индусы садятся на слона, а мы с бабу и полковником залезаем в крытую повозку на быках. Мы едем к развалинам древнего храма, в уцелевшей части которого живут отшельник йог и его ученики. К утру мы будем там, а целую ночь придется тащиться по лесу... Но мы не боимся ни его тигров, ни разбойников бхиллей: у полковника его *салиграм*, и он теперь страшится гораздо более коров, нежели всех королевских тигров дикого Раджастхана; а у меня необъяснимое чувство безопасности при мысли о такуре и даже об Ананде. К тому же, с нами едет старый бард и его два сына... [\[308\]](#)

notes

Пароход (англ.) – Прим. ред.

В это время Блаватская уже была гражданином Соединенных Штатов Северной Америки. –
Прим. ред.

Rock-cut Temples of India.

Так в английском переводе называются сказки «Тысяча и одной ночи». – *Прим. ред.*

В 30 милях от Бомбея. Чаул был при португальцах цветущим и богатым городом.

За неимением в руках подлинника, с английского перевода графа Виельгорского, в « *India in the XV century* », by R. F. Major, London, 1869, part. III, p. 8 & 9.

Свами (Swami) называются здесь ученые анахореты, посвященные в таинства своей религии, недоступные остальным смертным; это безбрачные монахи, отличные от «нищенствующей» братии, от так называемых *саньяси* и *госсейнов*.

Между индусами укоренилось древнее поверье, что на Бхадринатских высотах (22 000 футов над уровнем моря) существуют пространные подземные жилища, обитаемые этими анахоретами уже несколько тысяч лет. *Бхадринат* (в северном Индостане на правом берегу реки Бишегунги) знаменит своим храмом Вишну, построенным в самом центре города; внутри храма бьют несколько горячих минеральных источников. Около 50 000 пилигримов ежегодно посещают это место: воды источника очищают их от грехов.

Васуки – змея, обвивающая на идолах шею бога Шивы и обоготворенная мифологией браминов, так же как и змей *Ананда*, на котором изображен лежа бог Вишну. В конце июля, когда совершается празднество *Наг*, или змий, на всех площадях в улицах приготовлены сосуды с молоком, и змеи сотнями приносятся профессиональными «заклинателями» во все города и деревни. В этот день Индия откармливает своих пресмыкающихся «богов», а европейцы боятся выйти из дому.

В настоящее время этот последний совершенно сошел с ума, сделался каким-то пляшущим дервишем и, сидя в грязном бассейне, прославляет Чайтанию, Коран и Будду, а себя называет пророком.

Патанджали, основатель одной из шести главных философских систем древней Индии, учредил мистическую школу под названием «школа *йогов*». Думают, что и неоплатоники Александрийской второй и третьей школы были последователями индийских *йогов*, особенно их теургии, вывезенной, по преданию, из Индии, Пифагором. Есть еще и в настоящее время сотни *йогов* в Индии, усердно следующих системе Патанджали и – если верить им – имеющих общение с *Брахмой*. Однако большая часть их тунеядцы, и хотя «нищие» по призванию, но плуты вследствие ненасытной жажды индусов к чудесному. *Настоящие же йоги* не являются публично, но живут в полном уединении и проводят всю жизнь в учении, кроме особых случаев необходимости, какому покорился Дайананд, явившийся «спасти свою страну».

Йоги и дикшаты («посвященные») носят волосы длинные, не обрезают ни бороды, ни усов.

По преданию, четыре книги «Вед» были переданы людям этими четырьмя патриархами.

Издается и выходит ежемесячно в Бомбее; подписная плата идет на устройство школ и библиотек для *Арии-Самадж*, Бомбея. *Ария-Самадж* – буквально «общество» или скорее, «братство ариев». Этим школ и библиотек учреждено теперь пандитом Дайанандом более 60 во всей Индии. Все они содержатся на собственные средства; санскритский язык в них обязателен.

В продолжение двухлетнего своего пребывания в Индии Уильямс усиленно искал себе помощника для переводов с санскритского. Ему наконец удалось привлечь лучшего из учеников Дайананда, молодого пандита Шамджи Кришнаварму. Юный индус недавно уже отправился в Оксфорд пожинать лавры для ученого английского санскритолога. В настоящее время он сделался оксфордскою знаменитостью. В два года изучил превосходно латинский и греческий языки и сдал блистательно трудный экзамен, оставив далеко позади себя всех юных лордов. О нем говорят постоянно английские журналы.

Побочные (англ.). – Прим. ред.

В Теософических обществах Лондона насчитывают не менее семи членов Королевского общества меж сотен других известных в области науки и литературы людей. К *F. R. S.* (Fellow Royal Society) прибавляют *F. T. S.* (Fellow Theosophical Society). Сын одного известного члена парламента – президент Лондонского общества, а президент «Eclectic Theosophical Society» Симлы бывший министр (Secretary for India) А. О. Юм.

В 1882 году в Индии было 36, а в Цейлоне 8 теософических обществ, основанных Американским обществом.

Эти религиозные сборища (*мелла*) назначаются по очереди в разных пунктах Индии и всегда в городах, история коих связана с каким-либо особенно священным преданием. В Хардваре подобная «мелла» назначается каждые 12 лет. На эту религиозную ярмарку стекаются представители всевозможных сект и держат диспуты, после ученых диссертаций, каждый в защиту своей особенной секты. Одних *саньяси* – «монашествующих нищих» – было там в 1879 году до 35000. Холера действительно появилась.

Положение этих несчастных людей гораздо хуже положения наших палачей. Живя совершенно отдельно от света, в глазах которого они верх всего осквернительного, они никогда не сообщаются с остальным миром. Не смея ничего покупать на базаре, они обязаны доставать себе пищу как знают. Они рождаются, женятся и умирают в отчуждении от прочих, проходя через улицы города лишь за покойником или с ним на пути в башню.

Вследствие нескольких таких несчастных случаев, парсы хлопчут о новом законе, который бы, во-первых, признал за оживающими право вернуться в мир живых и, во-вторых, обязал *нассесаларов* оставлять единственную дверцу башни незапертою на ключ, дабы дать средство несчастному экс-мертвецу спастись бегством. Странно, что коршуны, пожирающие немедленно покойника, никогда не тронут мнимого мертвеца и с криком отлетают в сторону.

Гот – место, отведенное на берегу моря или реки для сожигания тел индусов.

Армаити – буквально «Корова-Кормилица». Зороастр учит, что земледелие самое благородное и Богом любимое занятие. – *Ясна* (гимны).

Канада (*поедающий атомы*) – основатель системы вайшешика. – *Прим. ред.*

Брахм – без понимания, ума и воли, «ибо Браhm само есть абсолютное понимание, ум и воля...» – учит веданта.

Несколько лет тому назад подати взимались с крестьян натурой, но теперь крестьяне должны вносить их наличными, не взирая ни на что.

Мантра – молитва в стихах и вместе с тем заговор против всякой немочи. В Индии все глубоко верят в силу мантры.

И где наука всё это берет? (фр.). – Прим. ред.

Впрочем (фр.). – *Прим. ред.*

Рама – одно из воплощений Вишну.

По единодушному соглашению философских систем всех сект Индии (кроме мусульман), вселенная существовала всегда. Индусы разделяют эти периодические проявления и исчезновения мира на *дни* и *ночи* Брахмы. Ночи или отсутствие объективного мира – называются *пралайа*, а эпохи нового пробуждения к жизни и свету – зовутся *манвантарами* и *югами* или «веками богов». Эти периоды также называются «вдыханиями» и «выдыханиями Брахмы».

Небесные музыканты и певцы – херувимы.

Свят, Свят, Свят!

Вишну – одно из трех лиц *Тримурти* (буквально: три лика; *мурти* означает священный лик или идол), троицы индусов, *сохранитель* всего живущего, как Брахма – *творец*, а Шива – *разрушитель* его.

В Индии всегда легко различить как исповедуемую веру, так и секту и даже касту, к которой кто-либо принадлежит, по знакам, расписанным на лбах сектантов обоего пола, а также девушку от замужней и вдовы.

По истреблении Александром Македонским священных книг гебров, их секта была постоянно притесняема идолопоклонниками. Царь Ардшир-Бабéхан восстановил огнепоклонничество в 229–243 годах по Р. Х. После этого их опять преследовали до царствования одного из трех царев Шахпуров, II, IX и XI из Сассанидов, но до которого именно – не известно, хотя один из них сильно покровительствовал учению Заратушты. Вследствие поражения Йездегерда, огнепоклонники эмигрировали на остров Оромазд, а 16 лет позднее, отыскав древнюю книгу пророчеств Зороастра, много столетий было затерянную, вследствие одного из пророчеств они бежали массой в Индостан. После долгих странствований, от 1000 до 1200 лет тому назад, они появились на территории Махарани Джаядевы, принца, подвластного раджпутскому царю Чампанира, который и позволил им поселиться на его землях с условием, чтоб они сложили оружие, заменили персидский язык языком *хинди*, а их женщины свой национальный костюм – костюмом женщин Индии и привяли бы все обычаи страны, дозволив им, впрочем, ходить обутыми, так как это строго приказано Зороастром. С тех пор произошли изменения, но весьма незначительные.

Слоны в Бомбее, под предлогом, что они пугают лошадей англичан, теперь запрещены, но во всех других городах провинции их очень много.

Гайквар – общее имя или титул владетельных принцев Бароды.

Смесь пряных листьев перца бетель с кусочками семян пальмы арека и небольшим количеством извести. – *Прим. ред.*

Это имя означает буквально «обитель или земля царей», от двух слов: *раджа* – царь или принц, и *стхан* – земля, обитель и владение.

Замечая о невежестве Европы в отношении Индии, полковник Тод, между прочим, говорит следующее: «Великолепие и роскошь при дворах раджпутских владений в ранние периоды истории несомненно были изумительны, невзирая на поэтические вольности и преувеличения их бардов. Северная Индия была с самых ранних времен богата и в ней-то находились богатейшие сатрапии Дария. Во всяком случае, страна эта изобиловала самыми поразительными событиями, могущими служить богатым материалом для истории. Нет того незначительного в Раджастхане княжества, которое не имело бы своих Фермопил, или городка, не породившего своего Леонида. Но покров веков завесил от потомства то, что перо историка могло бы завещать бесконечному удивлению народов: Сомнаут явился бы тогда соперником Дельф, сокровища Хинда поспорили бы с богатствами ливийского царя, и в сравнении с армией братьев Панду армия Ксеркса стала бы незначительной горстью людей и отодвинулась бы на задний план».

Тадж-Махал – громадный памятник-мавзолей, построенный императором Акбаром над могилой любимой жены. Его тело лежит рядом с ней, в Агре, на правом берегу реки Юмны. Это здание, которое будет описано мною далее, знаменито своею красотой и нет ему нигде соперников во всем свете.

Имя Бога в Ведах.

От испанского *guerillas* – воинство, ополчение. – Прим. ред.

Вид (фр.). – Прим. ред.

Оригинал был переведен на все диалекты Индостана (которых 273!!).

Магха – 11-й месяц, по летосчислению эры Шаливагана.

Ашвини Накшатра – первое из 27 созвездий на пути луны.

То есть придет конец Махаяги – великого цикла, обнимающего все четыре юги.

Патал – в одно и то же время преисподняя (ад) и антиподы.

Мрэта – наша земля; «Мрэтин-лока» – место нашей земли.

Шраван – пятый месяц индусского года.

Такуры играют в Индии ту же роль, какую играли в Европе средневековые бароны феодальных времен. Номинально они подвластны или своим владетельным принцам, или же британскому правительству; но *de facto* они ни от кого не зависят. Построенные на неприступных скалах, их замки, кроме явного затруднения добраться до них иначе как по одному человеку, гуськом, представляют еще ту выгоду, что каждый из них сообщается с подземными ходами, тайна которых переходит лишь наследственно, от отца к сыну. Мы посетили два из таких подземных покоев; один из них способен поместить в своих обширных залах целую деревню. Одни йоги (кроме владельцев) и посвященные адепты имеют свободный к ним доступ. Хорошо известно, что никакая пытка, – тем более, что они саморучно и ежедневно прибегают к пытке сами, – не в состоянии заставить их выдать тайну.

«The Annals and Antiquities of Rajast'han». By Colonel James Tod.

Умер в 222 до Р. Х.

Вот в чем вопрос (англ.). – Прим. ред.

По правую сторону храма конический камень, называемый *линг* или *лингам* (эмблема Шивы в его роли оплодотворяющей силы природы), стоит посреди небольшой четырехугольной капеллы с четырьмя дверями. Вокруг этой капеллы расположено много огромных человеческих фигур; то, по словам браминов, портреты-статуи самих ваятелей, изображающее придверников святыни, индусов самой высокой касты.

Выражение, общепринятое на всех языках, «ужаление» *змей*, чрезвычайно неверно передает факт *укушения*. Жало змеи (или ее язык) совершенно безвредно. Для того, чтоб яд перешел в кровь человека или животного, змее надо «прокусить» тело зубами, а не уколоть жалом, чего никакая змея не делает. Тонкие, как иглы, глазные зубы ее сообщаются с мешочком (железкой, наполненной ядом и находящеюся под нёбом); если у кобры вырезать этот мешочек, то она после того живет не более двух, трех дней. Поэтому заявление некоторых скептиков, что *бундисты* «вырезают» эти мешочки или железки у своих змей, несправедливо.

«Шипеть» также неправильное выражение. Змея (кобра по крайней мере) не шипит, а скорее «хрипит»; тяжелое и громкое дыхание раздувает все тело ее, как грудь у человека.

Шудры – низшая из четырех главных каст: 1) брамины, 2) кшатрии (воины), 3) вайшья (купеческое сословие) и 4) шудры (земледельцы, слуги) Эти четыре касты подразделяются на бесчисленное множество других.

Заклинатели змей (англ.). – Прим. ред.

Читта – костер, на котором сжигают покойников.

«Садху-Нанака» не следует смешивать с сектой сикхов последователей «Гуру-Нанака»: первые – ведантисты «Адвайты»; последние – монотеисты. *Адвайты* признают лишь «Парабрахму», *безличное* божество.

И так пишется история (фр.). – Прим. ред.

Перевод Вед на язык хинди с комментариями и объяснениями. Это первый полный перевод.

Веды разделяются на две части: на *Чанды* (стопы, стихи и пр.), и на *Мантры* (молитвы, ритмические гимны и вместе с тем заклинания в их применении белой магией).

Это периодическое ежемесячное издание, вероятно получается в России, в С.-Петербургской Академии Наук.

Нана Фарнавиза был первым министром пешвы, молодого Махадева Рао, которого он так строго держал в руках, что тот, после публично полученного от него выговора, утром 26 октября 1796 г., бросился вниз с террасы своего замка, в Пуне, и умер.

Ныне Нашик. – Прим. ред.

Поверхностный взгляд (фр.). – Прим. ред.

Благодаря частным капиталам и усердию некоторых образованных патриотов-индусов, два *даровые* класса языков санскритского и *пали* уже были открыты: один в Бомбее – Теософическим обществом, другой в Бенаресе – под председательством ученого Рамы Мисры Шастри, а в 1882 году первое имело уже 14 школ на Цейлоне и в Индии.

Передвижение (англ.). – Прим. ред.

Т. е. Madame Sahib. Слово *сахиб*, произносимое *сааб*, приклеивается здесь к каждому титулу, чину, имени. Так, например, говорят Captain-Saab, Colonel-Saab, Мам-Сааб и т. д.

Дотти – длинный кусок материи, которым обвивают себе индусы верхнюю часть ног и поясницу. У простого народа это единственная одежда, за исключением такой же тряпки на голове.

Аскеты Индии и в наши времена покрываются à la Геркулес шкурой диких зверей, обыкновенно тигра.

Раху и *Кехетти* – две неподвижные звезды, составляющие голову и хвост созвездия Дракона; Раху также одна из девяти планет.

То есть созвездия – Девы, Водолея и Тельца, который подвластны и посвящены этим трем из двенадцати высших богов.

На небесном пути.

Ария – Иран (Персия); *Бария* – древнее имя Аравии; а *Маср* или *Масра* – имя чисто египетское. «Масром» мусульмане еще зовут Каир, коверкая имя и *Мисро*, *Муср* и т. д.

Пент – от Па-нутер, «священная земля», или египетская – «страна богов».

С памятника 11-й династии (См. *История Египта во времена фараонов, написанная единственно с десяти ее памятников*. Г. Брюгш-бея. Том I, стр. 114).

Поживем – увидим (фр.). – *Прим. ред.*

И все, что за этим следует (фр.). – Прим. ред.

Называется *панч-гайя*, дословно «пять коровьих» (принадлежностей): смесь из молока, масла, сыворотки, мочи и экскрементов...

Европейцы весьма часто впадают в ошибку, смешивая индийских мусульман с *индусами*. Первые даже оскорбляются этим названием, и зовут себя индийскими *могулами*. Те – семиты, а индусы арийского племени и разнятся от них во всем.

Высший свет (фр.). – Прим. ред.

То есть по летосчислению индусов в *последней* до настоящей *калиюги* и в *предшествующей* той *юге*, так как они делят *махаяугу* или «большой период» на четыре меньшие периода (*юги*), или по чисто-арифметическому исчислению около двух миллионов лет тому назад!!

Прислуга в бассейнах (фр.). – Прим. ред.

Одни *бенгалийцы* носят короткие волосы, не сбривая на голове ничего; *пенджабы* также не бреют волос, но носят их во всю вырастаемую длину и никогда не стригут их, пряча их только днем под белую чалму. *Раджпуты* тоже сохраняют длинные волосы, подбирая их на затылки. Но *махраты* и *декканцы* носят волосы наподобие ирокезов, оставляя один длинный чуб, как то бывало делали запорожские казаки.

Первое – имя обоготворенного ими героя; второе, в буквальном переводе с санскритского, – «преклоняюсь перед вами».

Стремлениям (англ.). – Прим. ред.

По их понятиям, дух, «атма», частица целого, или Парабрахма, не может быть наказуем за грехи, к коим он никогда не причастен. То *манас*, животный разум (*animal intelligence*), и животная душа – *душа*, «джива», полуматериальная иллюзия или *майя*, грешит и страдает и переходит из одного тела в другое, пока не очистится. Дух только осеняет ее земные странствования. Когда *эго* совсем очистилось, то это *эго* или душа окончательно соединяется со своим *атмой*, духом, и мало-помалу оба погружаются в Парабрахму и исчезают в нем.

На английский манер (фр.). – Прим. ред.

Таких лок в религии индусов семь *главных* и множество *менее значительных!*.. «Лока» значит – страна, место. Локи вообще – очистительные миры, и некоторые секты видят их в звездах. Души не очень грешные и освобожденные от земных переселений отправляются в эти миры, постепенно переходя от одного в другой, но всегда в образе человека, хотя этот образ растет и совершенствуется с каждой новой «локой». Такие освобожденные от земной материи духи делаются, по понятиям индусов, *питри* и *дэвами*, которым поклоняются и приносят жертвы под названием «душ предков» (*pitris*). Последние соответствуют описанным средневековыми каббалистами *планетарным духам*. (См. *Heinrich Kunrath «Amphitheatrum»* etc., соч. Парацельса и пр.).

У каждого божества и богини свой любимый, привилегированный цветок.

Эти четки, называемые *мала*, имеют сто восемь зерен; их делают или из черных ягод вроде шиповника – *рудракша*, или же из светлого дерева *тульси*.

Царский *Basilicum*, попросту базилик.

Увеселительная прогулка (фр.). – Прим. ред.

В Раджастхане из такой кожи делают щиты. Они очень дорого стоят и носятся только богатым классом раджпутов.

Вымершие гигантские буйволообразные жирафы. – *Прим. ред.*

Род балалайки с тремя толстыми струнами из человеческих – как говорят – жил, по которым водят смычком из бамбука.

Буквально «входит в человека». Само же выражение означает, что дух, бес или какая другая невидимая сила начинает входить в избранное им тело.

История этих *ракшасов*, падших духов, найдется далее. Она весьма интересна.

Государство в государстве (*лат.*). – *Прим. ред.*

Этих *азур* не следует смешивать с *асурами* или «дьяволами», которых мифологическая история Индии называет первым вторгшимся в страну неприятелем и которые, по всей вероятности, были древние ассирияне.

Странно, что бык *Апис*, священное животное у египтян, в такой же почести и у последователей Зороастра, как и у индусов. Бык *Нарди*, создание Шивы, эмблема жизни в природе – сын творчества отца или оживотворяющий дух его. Ормазд сотворяет быка, а Ариман убивает его. Аммиан Марцеллин в одном из своих сочинений упоминает о книге, в которой рассчитан *точный возраст* быка Аписа – ключ в тайне мироздания и исчислениям по циклам. Брамины тоже объясняют аллегорию о быке Нарди – аллегорией о продолжении *жизни* на земном шаре.

Совершенно как у кавказских татар.

Travels in Scandinavia. Vol. I, p. 33.

Одеяния мужа (*лат.*), одежда римлянина по достижении им совершеннолетия. – *Прим. ред.*

Опрометчивый поступок (фр.). – *Прим. ред.*

Паниграхан – санскритское слово, означающее: «рука в руку».

Всех звуков мира та музыка значительно приятней (фр.). – Прим. ред.

Ги – растопленное масло.

См. профессора Уилсона «Burning of the Hindu Widows» и Макса Мюллера «Comparative Mythology», 1866.

В соответствии с местным колоритом (фр.). – Прим. ред.

Церемония поклонения.

С некоторой осмотрительностью (*лат.*). – *Прим. ред.*

Член-корреспондент Азиатского общества; член Теософического общества восточной секции и пр., и пр.

Все наши друзья – индусы, как и буддисты, называют вас здесь «братьями» и «сестрами».

«Повелевай слугою... святой саиб... благослови раба».

«Гери-Кули» буквально: из фамилии или семейства Солнца. *Кула* по-санкритски: фамилия, прозвище. Раджпутские принцы, особенно Махарани Уйдепурские, чрезвычайно гордятся своим астрономическим происхождением.

Как хорошо известно (*англ.*) – *Прим. ред.*

За исключением чистой математики (фр.). – Прим. ред.

Синг – лев, на языке Пенджаба.

У*** сохранил этот рисунок, но никогда не намекает на его происхождение.

На этот род бамбука постоянно нападает маленький жучок, который пробуравливает в очень скором времени большие дыры в совершенно пустом стволе тростника, где и задерживается ветер.

Удар тростью здесь зовется народом «европейский бакшиш» или «бамбуковый бакшиш»; последнее слово в повсеместном употреблении в Азии.

Хари – одно из имен Шивы, а *Махадева* – великий бог.

Какая случайность! *Кюи* – имя известного петербургского музыканта; только ни звери, ни люди не пляшут под его музыку.

По всей Индии устраиваются теперь музыкальные общества для возрождения национальной древней музыки. Одно из них Гайан-Самадж (Gaijan-Samaj) в Пуне.

Раджа Сурендронат Тагор – доктор музыки, кавалер великого множества почетных орденов, между прочим, от короля португальского и императора австрийского, за свое сочинение «О музыке арийцев».

Слово *дак* – трактир, постоялый двор, а *бхута* – злая душа умершего человека, которой вследствие ее грехов преграждена дорога в *мокшу* – небесную обитель – и которая присуждена скитаться на земле. В философии индусов нет «чертей» или падших ангелов.

Ведантисты или последователи философской системы *Шанкарачарьи*, говоря о себе, редко употребляют слово «я», а говорит, например: «это тело пошло», «эта рука взяла» и т. д., во всем касающейся физических или автоматических действий человека. «Я», «он» употребляется ими лишь касательно умственных отправлений. «Я думал», «я желаю идти» и пр. Тело в их глазах – одна шелуха, наружная оболочка внутреннего, невидимого человека, который и есть настоящий «я».

Майявирупа буквально – тело иллюзии или майи, настоящее эго; *камарупа* – тело желания или *воли*, произвольно созданное нашим сильным желанием (обладающим творческой силой, по понятиям индусов) – двойник наш, который и является там, куда желание посылает его. При жизни таких внутренних тел у человека де столько же, сколько в луковице кожиц – каждое нежнее и тоньше, и каждое носит свое особое название, как обладающее полной независимостью от тела. После де смерти, когда земной жизненный принцип умирает вместе с телом, все эти внутренние тела соединяются во единое тело и, смотря по заслугам, либо поставлены на столбовую дорогу к *мокше*, на которой до окончательного освобождения от оков материи бесчисленное множество «станций», и тогда такая душа зовется *дэва* (божественной); или же она делается *бхута* – злою душой, и мучится на земле между скитанием в невидимом мире и трансмиграцией в разных нечистых животных. В первом случае, – *дэва* не станет общаться с живыми. Единственная нить, связывающая ее с землей, – загробная привязанность к тем, кого она любила и над кем она простирает свое влияние и покровительство и после смерти. *Любовь* переживает все другие земные чувства, и *дэва* может являться любимым людям во сне, или иллюзией (*майя*) на секунду, и не иначе, так как тело *дэвы* начинает постепенно, с минуты освобождения из земных оков, изменяться: с каждым переходом из одной сферы в другую она теряет кое-что из своей объективности, делаясь все неуловимее. Она де родится, живет и умирает в каждой новой сфере или *локе*, которая становится все субъективнее и чище; а в переходных состояниях она «дремлет в акаше» – в эфире. Наконец, освобождаясь от последнего земного помышления и греха – она становится *ничем* в вещественном смысле. Она потухает, как пламя, и, слившись в одно с Парабрахмой, живет в вечности жизнью духа, о которой ни наши материальные концепции, ни язык не в состоянии создать себе представления. Но «вечность» Парабрахмы не есть «вечность» души. Последняя, по выражению *веданты*, есть *вечность в вечности*. Насколько ни была бы жизнь души святою, но так как она имела свое начало и свой конец, то и заслуги, как и грехи ее, не могут награждаться или наказываться «вечностью Парабрахмы». Это было бы противно справедливости, «несоразмерно», – говорит философия *веданты*. «Один дух живет в вечности, не имеет ни начала ни конца, ни окраин, ни границ, ни центральной точки». *Дэва* живет в Парабрахме, как капля воды в океане, до будущего возрождения мира из *пралайи* (периодически наступающий хаос, разрушение, или, скорее, исчезновение всех миров из области объективности). С новым великим циклом, *махаяогой*, она отделяется от «вечного», притягиваемая жизнью в объективных мирах, как капля воды притягивается солнцем и конкретируется по обратной дороге на землю, из сферы в сферу, пока снова не опустится в грязь нашей планеты, и, пройдя малый цикл, снова не начнет подыматься на противоположной стороне круга. Так она вращается в *вечности* Парабрахмы переходя от одной концепциальной меньшей вечности в другую. Каждая из этих «человеческих», то есть доступных уму, вечностей состоит де из 4 320 000 000 лет объективной и стольких же субъективной жизни в Парабрахме (где индивидуальность души, по учению *веданты*, вовсе не исчезает, как то полагают некоторые европейские ученые), то есть всего 8 640 000 000 лет. Эта цифра достаточна, по их понятиям, как для искупления самых ужасных грехов, так и для пожинания плодов добрых дел такого скоропреходяще го периода, как жизнь человеческая. Одни души *бхутов*, когда в них угасает последняя искра раскаяния и желания изгладить грехи, *испаряются* под конец. Тогда их божественный, неумирающий дух, отделясь от души навсегда, возвращается к своему первобытному источнику, душа рассеивается на свои примордиальные атомы и эго погружается во мрак вечного бессознания. Ее личность пропадает. Такова

философия веданты касательно духовного человека. Поэтому индусы и не верят в возврата духов на землю, кроме случаев *бхутов*.

Слово «таг» (thug) означает просто вор или разбойник.

Другое имя той же богини: таги звали ее *Бавани*.

Известный йог и чудодей II столетия до Р. Х.

The Principles and Practices of medical jurisprudence by A. Suaine Taylor, M. D. F. R. S. etc. Vol II, 1873, p. 5.

Все города Индии, где только живут англичане, делятся на *черный* и на *белый* город. В последнем индусам жить не дозволяется.

Панка – общий веер. Их устраивают в каждой комнате, особенно в спальнях, иначе можно задохнуться. Это толстые, стеганые на вате полотнища, растянутые во всю ширину комнаты под потолком, иногда в несколько рядов; они приводятся в движение веревками, продеваемыми сквозь стену на веранду. За стеной сидят день и ночь *панкавалли* (кули), которые сменяются каждые два часа и неустанно раскачивают эти *панки*. Писать невозможно во время их движения: все летает по комнате, панки производят постоянный ураган в миниатюре и иногда во время испарины сильно простужают.

Для проверки прошу сравнить мой перевод с переводом в журнале *Asiatic Society*. (Vol. 6, part 2. 1837 года). Разница небольшая.

Журнал Азиатского Общества тоже переводит: «anointment of consecration». Буддистский первосвященник в Цейлоне, Сумангала, объясняет мне в письме эту фразу тем, что Пиадази первый приказал снова помазать себя при принятии буддизма во имя этих главных семи добродетелей.

Присутствие имени *Бога* в буддистской надписи послужило санскритологам обильным материалом для диспутов. «Буддисты – атеисты; они не веруют ни в Бога, ни в бессмертие души человеческой», говорят многие. «Это выражение Пиадази: *воспоминание прежней религии* – неправильное выражение». Позволяю себе высказать полную уверенность в том, что это мнение совершенно ошибочно. Буддист, если он только образован и знаком с *Сутрами*, чистою философией Будды, верует как в божество – правда, безличное, – так и в загробную жизнь. Мое убеждение основано не на собственном умозрении, а на пятилетней постоянной переписке с учеными буддистами Цейлона и Бирмы, членами Теософического Общества. Вина не буддизма, если до сей поры наши ученые не могли понять ни его тонкой метафизики, ни отвлеченностей последней.

Высшее благо (*лат.*). – *Прим. ред.*

Это происшествие нам было подтверждено сестрой коллекторши. Через три дня рана, не поддававшаяся никаким известным науке лекарствам, зажила совершенно.

Пандит – ученая степень в Индии, соответствующая степени доктора философии.

«*Fortnightly Review*», November 1874, p. 577.

«Lay Sermons», p. 164.

Fortnightly Review, ibid., стр. 577.

«*Fortnightly Review*», November 1875, p. 585.

«Из собственной его (Брахмы) эссенции сгущается мировой эфир – материализация его воли, видимая и невидимая, осязаемая и неосязаемая материи, разлагающаяся по его дуновению на *огонь, воду, землю и воздух*. Из паров земных (дыхание Брахмы) зарождаются все твари и вещества органические и неорганические, из семени, брошенного в землю, оплодотворенного божественным духом и зародившегося из его собственного бесконечного и безначального вещества – всемирного семени» (*Шлока, XV*)... «Дав миру время развиться по законам перерождения (эволюции), верховный властелин, оплодотворяющий после каждой *пралайи* (периодического мирового разрушения, или, правильнее, исчезновения мира из объективного в субъективный) лучезарное яйцо природы, по окончании своих перерождений (трансформаций) снова погружается в душу вселенной – Парабрахму» (*Ману, книга I*).

Брахма – мировое воплощение Парабрахмы, бог в образе природы. Невидимый и безо всякого образа дух оживотворяет лишь лучезарное чрево (яйцо), из которого и появляется двупольный Браhma, или творческая сила Парабрахмы, при начале каждого нового цикла.

Патанджали – основатель системы *йогизма* и психологического развития человека посредством постепенного изменения его физической природы.

Пракрити – пластическая материя, природа в своем хаотическом и неявном состоянии.

Пуруша – дух неосязаемый и не проявляющийся и природе иначе, как чрез пракрити или материю, которую он оживляет.

Император Бабур, литературная знаменитость в Индии, племянник, Самаркандского султана и прямой потомок Тамерлана; он завоевал Кабул в 1504; затем в 1519 завоевал Пенджаб, а в 1526 – Дели. Он первый устроил сообщение и почту между Агрой и Кабулом и записал свою биографию или *мемуары*, знаменитые в Индии изобилием исторических сведений.

Как известно, лесные деревья увеличиваются в объеме слоями, нарастающими снаружи, и каждый новый слой образует род кольца вокруг дерева, так что, считая их, можно придти к довольно верному заключению о годах его. Адамсон нашел баобаб возле Гореи, которому между 5000 и 6000 лет. Гумбольдт, говоря о нем, называл его древнейшим в мире деревом!.. В объеме некоторые баобабы имеют от 90 до 100 футов.

Говоря о родине, индусы всегда называют Индию «матерью».

«Душа Брахмы», высший духовный сан.

Они до того загадочны, что, при всех стараниях полиции вообще и тайной полиции в особенности, англичане до сей поры не могут сообразить следующего: «как могли во время мятежа 1857 года, без телеграфов и железной дороги, передаваться с такой быстротой новости с одного конца Индии на другой? Едва что случилось в Калькутте, как на 2000 миль оттуда где-нибудь на севере Индии, через несколько часов уже знали на базаре об этом, а англичане узнавали только чрез неделю. Сэр Джон Кей, в своем сочинении *Sepoy War 1857-8*, в подробной истории о мятеже, замечает этот странный «необъяснимый для правительства факт». «Когда был вырезан наш штаб в Аллахабаде, пишет капитан Морель, я был в то время в Мадрасе. На другое утро, 8 июня, является ко мне знакомый брамин и рассказывает о случившейся катастрофе. Не веря, я бегу в дом губернатора. Там ничего не знают. Мы официально узнали об этом лишь через шесть дней!» (*A few days in 1867 in India*).

Джумма-Мусжид была заложена и начата Шах-Джаганом на четвертом году его царствования (в 1633) и окончена на десятом. Она стоила около 100 000 фунт. стерл. на английские деньги на один материал, так как постройка ее и рабочие были, конечно, даровые.

Мой путь ведет во град мученья,
Мой путь ведет на вечное страданье,
Мой путь ведет среди проклятых людей.

Публичное оскорбление (англ.). – *Прим. ред.*

Известно, что император Акбар никогда не был правоверным мусульманином, но, целую жизнь отыскивая истину во всех религиях, постоянно колебался между христианством, мусульманством и религиями парсов и браминов. Он был великий астролог своего времени.

Диспепсия. – Прим. ред.

Аджа́нубаху – прозвище, состоящее из двух санскритских слов: *Аджа́ну* – «длинные» и *баху* – «руки».

Сиваджи, герой и покоритель моголов, основатель Махратской империи, родившийся во второй четверти XVII в. и вступивший на престол *пейшвы* в 1664 г., получил прозвище «Аджанубаху», так как имел очень длинные руки. Предание утверждает, что Сиваджи был – воплощением некоего сильного и могущественного «чудодея с далекого Севера». Он родился 17 лет спустя по смерти Акбара – кажется, в 1622 году.

Легенды о Могольской империи. Собрание преданий, переведенных с языков урду и махратского.

А с этого в переводе на русский язык – князь (коср Васишта, или Василий) Длинные Руки или Долгорукий!!?

Символический девиз Акбара, вырезанный на талисмани; и который Акбар жаловал лишь признанным магикам и астрологам для ношения одного на тюрбане, как знак их достоинства.

Хе, Неи, в переводе – Оно, то есть Бог.

Рабия была основательницей мистической секты *суфи* и жила в первом столетии хиджры. Поэт персидский Хафиз принадлежал к этому братству.

Пантеистическая идея суфиев и ведантистов об единстве всего мира. Вселенная составляет *одно*; формы и образы миров физического, как и отвлеченного – одни волны того же океана. Бог во вселенной и вселенная в Боге. Вне нет ничего, даже хаоса.

Ненаучные (нем.). – Прим. ред.

Увы! «уважаемый друг и союзник» превратился с тех пор в опасного недруга и неприятеля! Фанатизм и ханжество взяли свое. В противность первоначальной программе, свами *требовал*, чтобы «Братство человечества» – Теософическое Общество, – принимало членами одних лишь «арийцев», то есть особ, отрекшихся от прежней веры и переходящих *безусловно* в веру индусов-ведантистов. Когда-то сам «ведантист», он теперь стал гнать и преследовать «веданту» – самую очищенную и лучшую из древних философий Индии – и заменил ее всецело Ведами, с их мертвой буквой, объясняемой им на свой манер и по собственному произволу. Новый Лютер Востока вначале, он мало-помалу превратился в Кальвина, а теперь быстро следует по дороге, выбранной наследниками Лойолы. Убедясь в том, что ни полковник О***, ни я никогда не согласимся сделаться публично «ария-самаджами» и призвать его одного за *непогрешимого* папу, он воспылил гневом, стал публично обзывать нас «настиками» (атеистами) и предал анафеме. «Такур», заступаясь за нас, объявил его страдающим «безумием властолюбия». Таким образом свами потерял около 45 человек англичан и американцев, признававших его своим *учителем*, а наше общество выиграло человек 100 «арий-самаджей», перешедших из его лагеря в наш.

Жемчужина (англ.). – Прим. ред.

Аурунзэб, называл себя горделивым прозвищем «покорителя вселенной», всегда приказывал носить перед собой золотой глобус в виде символа...

Крайняя степень (*лат.*). – *Прим. ред.*

До Пророка, – уверяет нас Коран, – он являлся за жертвами во плоти, и только по просьбе Магомета, пожелавшего освободить человечество от ужасного зрелища, ангел является теперь невидимо и неслышно.

В Индии врачи зовут этот род смерти *Heat apoplexy*.

Вечный двигатель (*лат.*) – *Прим. ред.*

Да это же просто глумление! (фр.). – Прим. ред.

Между прочим (фр.). – Прим. ред.

Гуру – учитель.

Род светского монаха, от рождения посвященного безбрачию и обязанного изучать сидх – науку теургии или белой магии и чудотворство.

Эта система философии аскетизма самая трудно понимаемая в Индии. Как халдейская каббала, по которой Симеон бен-Йохай составил в первом веке еврейскую, или же некоторые трактаты алхимиков, каждое существительное имя в ней означает по условному ключу что-нибудь другое. Этот ключ, по общепринятым понятиям, находится у одних *раджа-йогов*, и брамины не имеют и понятия о настоящем значении ее учения.

Авани – «океан», *бай* – «сестра» следует после каждого женского имени у парсов, так и у индусов.

Акаша – эфир наших учений и, сверх того, еще нечто непередаваемое на нашем языке и чему метафизика Запада не нашла еще подходящего названия.

Рыцарь без страха и упрека (фр.). – *Прим. ред.*

Настика – атеист.

В Индии все большие и малые раджи отправляются по крайней мере раз в год на поклонение ко священным местам. Они обыкновенно совершают хоть часть пути пешком, одетые в бедное платье пилигрима-аскета, босиком и раскрашенные знаками своей секты.

Магазин старых диковинок (*англ.*) – хлама (*фр.*). – *Прим. ред.*

Молодой раджа Куч-Бехарский, которого я встречаю каждое лето в Симле, в Дарджелинге и на холмах миссурских, сделался теперь чистокровным англичанином; пьет шампанское бочками, одаривает всех *belles de la saison* [красавиц сезона (*фр.*)] – «мэм-сааб» и *миси-биби*, – которые ему делают *великую честь* провальсировать с ним, драгоценными браслетами, кольцо и брошками, разоряется на спорт и кутеж, делая все это не только с согласия, но с одобрения не отходящего от него ни на шаг воспитателя полковника Х... А ему нет еще и двадцати лет! Даже юные девицы не стыдятся принимать от него дорогие подарки. Понятно, какой будет правитель Куч-Бехарский раджа. А сломит он себе голову или допьется до чертиков, благодушные отцы правители тотчас, под тем предлогом, что они законные опекуны, сперва заберут все управление в свои руки, а затем и *аннексируют* потихоньку его царство. Тепло и сыто, и приличия соблюдены.

Религиозная *медитация*, предписанная всем богам, как и людям: самопогружение в Брахму, который сидит у каждого смертного в сердце.

Адвайти (не дуалисты) секта противная *двайтам* (дуалистам); они не признают богов, а одного Парабрахму, т. е. мировую божественную эссенцию, которая по вездесущности своей не отличается от эссенции духа человеческого.

Упанишады, третье подразделение Вед, называется также *gēhasya* или мистическое учение. Следует иметь ключ к тайному кодексу, чтобы понять в совершенстве эти метафизические концепции человеческого ума. Как справедливо заметил профессор Monier-Williams, Упанишады суть единственная религиозная школа, достойная глубоких мыслителей Индии. Это священные книги всех образованных туземцев. Упанишады, истолкованные Шанкарачарьей, суть краеугольный камень веданты (т. е. завершение или *конец* всей земной науки»).

Доти – кусок кисеи, в 8 или 10 аршин, служит мужчинам, вместо шаровар, а женщинам – вместо юбки.

Самая высокая местность Калькутты – улица Клайн, во время мелководья всего 27 футов над морским уровнем.

В продолжение пяти лет мы постоянно расспрашивали знакомых магометан об их происхождении. Где бы ни встречался арийский или бледнолицый тип с правильными чертами, мы открывали в их праотцах, *насильно обращенных могулами в ислам, индусов.*

Этот цемент был снят после того, как Сиваджи Махратский положил конец династии и дому Тимура, два века назад.

Тримурти изображается с тремя лицами (*мурти* – лицо), но всегда на одной голове.

Второстепенные боги (*лат.*). – *Прим. ред.*

Personal narrative (Rajisthan), vol. II, стр. 645–654. Тод жил в Раджпутане 22 года безвыездно политическим агентом.

Black rable.

Это будто пророческие слова относительно автора этих писем и Теософического Общества.

Упасика – буквально «ученица философии», под руководством гуру – «учителя», обыкновенно из монашеской братии. *Чела* – ученик студент тайных наук и мистик.

Олла – пальмовые листья, высушенные и приготовленные для письма.

«I have not so received it, nor shall I so impart it».

Шакти, буквально «сила», женский принцип в богах мужского пола. Но *шакти* в обыкновенном смысле – могущество.

Коли верить рассказам, эти волосы очень опасно трогать. Мульджи, в период своей невинной юности, украл такой чуб из храма Минакши, и *писача* тотчас же овладел мальчиком... «Насилу отделался от дьявола, благодаря дэвати», рассказывал генерал.

Пурана – в буквальном переводе, «древняя», но это слово также и синоним – *истории*.

В марте и апреле, смотря по секте.

Часы и минуты затмений, положим, и у нас астрономы предсказывают не хуже браминов-астрологов. Но странно то, что последние редко ошибаются, предрекая нередко за целый год вперед числа и даже часы случайных ураганов и дождей, которые (особенно последние) чрезвычайно редко случаются вне периода дождевого сезона. Вот что пишет об этих браминах-астрологах махараджа Траванковский, в статье *The Borderland between Matter and Spirit* («Граница между материей и духом»): «Вера в астрологию, над которой так смеются современные народы, все-таки крепко держится в большей части человечества, и мы находим верующих в нее в самых неожиданных областях. Некий приятель пишущего эти строки, европеец, рассказывал на днях, что раз он отправлялся к лесному складу, в самую чащу густого леса, находящегося на островке, при слиянии двух рукавов большой реки. Погода была сухая, и оба ложа потоков совсем высохли. Встретив знакомого астролога по дороге, мой приятель получил от него предостережение, что ровно через три дня будет сильный дождь, река выйдет из берегов и страшно разольется. Но небо было в тот день безоблачно и, не обратив на астрологическое предсказание никакого внимания, приятель мой все-таки продолжал путь к лесному складу. В результате случилось следующее: дождь полил как из ведра в назначенный день, река разлилась, прервав всякое сообщение и унося много драгоценного леса, а сам мой приятель вынужден был спастись на самом возвышенном пункте островка, в импровизированном на скорую руку убежище из бревен, где он и провел несколько суток в весьма плачевном положении. Теперь мой приятель верит в *астрологию*, хотя большее число *астрологов*, несомненно, мошенники. Мы знаем также о многих случаях, когда *час* рождения и *пол* ребенка были совершенно верно, задолго до периода рождения, предсказаны астрологами» (см. журнал *Theosophist* № за ноябрь 1884, стр. 41, 2-й столб.).

Богослов, изучивший на память все «шастры», богословские сочинения.

Кешуб Чэндер Сен всегда называл королеву своего «матерью», а члены брахмо-самаджской секты считаются и зовутся индийскими «унитариями», полухристианами.

Крора – 100 лакков или 10 миллионов.

Личная душа, или земное сознание, отлична от бессмертного в нас «духа» в учении браминов.

От слова *пуджа* – поклонение богам по установленным правилам; не молитва, а обрядность.

Passion flower, называется потому, что этот род орхидей распускается вполне только в полуденный зной.

Исследование (англ.). – Прим. ред.

Бедный малый утонул 1883 году самым ужасным и вместе глупым образом. Между Дерадуном и Хардваром Ганг еще не река, а поток мелкий, но чрезвычайно быстрый. Там переходят в одном месте по мостику, а у кого лошади, те ведут ее за повод, возле мостика, в воде, не достигающей лошади и по колено. Но Бабу захотел, невзирая на предостережение, переехать реку верхом. Лошадь споткнулась и упала, а он запутался в стремях и не мог высвободиться. Поток, по рассказам, катил обоих более мили, до бассейна водопада, где седок и лошадь оба исчезли. Его смерть была, само собою разумеется, приписана «гневу богов»!

Полностью (лат.). – *Прим. ред.*

Мулапракрити – буквально «корень материи», т. е. первобытная эссенция вещества. Но так как Парабрахма – Все, то и этот корень тот же Парабрахма.

Сат – слово почти неперебиваемое на европейские языки. Здесь *Сат* означает *единосущную реальность*, кроме которой все одна иллюзия, самообман. *Сат* есть вечная, безграничная *суть* всего, в вечном и безграничном пространстве, где кроме Сата нет ничему более места. Словом, *Сат* есть *единосущие* бескачественного и безусловного духа – *неявленного* божества.

Чарвака – секта бенгальских материалистов.

«Божественная душа» человека.

Манас, как седалище земного рассудка, дает мировоззрение, основанное на свидетельствах этого разума, а не духовное прозрение.

Ишвара – «коллективное сознание» *явленного* божества, Брахмы; а праджня его индивидуальная мудрость.

Тайджаси «светозарная» – вследствие связи ее с будхи; манас – озаренная светом «божественной души».

Манас-тайджаси – «светозарный разум», *человеческий* ум, освещенный светом духа; а *будхи-манас* «божественное откровение *plus* человеческий разум и самосознание».

В веданте Будхи, в своем совокуплении с духовными качествами, сознанием и понятием тех личностей, в которых она воплощалась, называется *сутратмой*, что буквально значит «нить души»; потому что как перлы на витке, так целый длинный ряд жизней человеческих нанизывается на эту нить. *Манас* должна сделаться *тайджаси* (светозарным), дабы в соединении с *сутратмой*, так сказать вися на ней, как жемчужина на нитке, достигнуть и *прозреть* себя в вечности. Но часто, вследствие греха и ассоциации с чисто земным разумом, и самая эта светозарность исчезает.

Познание прошлых своих инкарнаций. Одни йоги и адепты тайных наук достигают де посредством величайших аскетических подвигов такого полного прозрения всего своего прошлого.

То есть без полной ассимиляции с божественной душой, земной душой или манасом – не жить в вечности сознательной жизнью. Она делается будхи-тайджаси (или будхи-манасом), когда ее стремления влекут ее при жизни от земного к миру духовному. Тогда, упитанная эссенцией и проникнутая светом своей божественной души, манас исчезает в будхи, делается ею самою, сохраняя одно лишь духовное сознание о своей земной личности. Иначе, как манас, то есть человеческое мнение, основанное на свидетельстве только физических чувств, – земная или личная наша душа впадает, так сказать, в непробудный сон, без грез и без сознания, до нового воплощения.

Ведантисты чувствуют такое полное презрение к физической оболочке, что, говоря о чисто механических действиях тела, они не употребляют местоимения я, и говорят: «Это тело ходило», «эти руки делали» и т. д. Лишь когда речь идет об умственных действиях, они заявляют о себе: «Я думал», «Я желал» и т. д.

Между *нирваной* и *паранирваной* есть большая разница. *Нирвана* – та духовная жизнь, которую живет каждая *личная душа сутратмы* (кроме душ материалистов, как видно), то есть душа А., или душа Б., после каждого своего разоблачения и которая ей присуждается законом возмездия (*кармой*) за ее личные земные страдания. *Паранирвана* же – то блаженное состояние, которое ожидает *сутратму* в ее полном составе, то есть в совокупности всех личных душ, нанизанных на этой *нити*. «Душа» – неправильное выражение, но я его употребляю за неимением у вас термина более подходящего: следовало бы сказать не «личных душ», а «одних *ароматов* личных душ», по выражению такура. Ибо, по «разрушении мира» (пралайи), все эти «ароматы», слившись в одно целое, образуют единого «божественного человека», который и *живет в Парабрахме* – вечно; тогда как каждая душа отдельно взятой личности живет только в *луче* божества, в *атма-будхи*, временно. Между *нирваной* и *паранирваной* аналогическая разница как между состоянием души *до* и *после* дня Страшного Суда.

Дхиан-коган, *esprit planétaire* [планетарный дух (фр.)], «от Парабрахма исходящий и в Парабрахма вновь уходящий» после жизненного цикла.

Философия *тайной* веданты не верит в ад и не допускает наказания за земные грехи в духовном мире. Человек де рождается беспомощным, игрушкой внешних, не зависящих от него обстоятельств, хотя он и одарен свободным произволом. Он столько страдает безвинно в этом мире, что бесконечное милосердие даст ему полный отдых в мире теней; и только затем уже, в следующей земной жизни и в новом воплощении, он понесет должное наказание за грехи в предшедшей своей *роли*. Выбор всякой такой последующей жизни и наказание определяются и приводятся в исполнение *кармой*, «законом возмездия». Это де доказывается тем, что на нашей земле постоянно страдают, по-видимому, ни в чем неповинные люди.

В ответ на часто получаемое ведантистами замечание, что сотни и тысячи таких прожитых *сутратмой* или *эго* человека земных жизней, все-таки равняются как бы вместо бессмертия полному исчезновению каждой личности, они обыкновенно отвечают: «Возьмите для сравнения с вечностью жизнь человека на земле – жизнь, составленную из стольких-то дней, недель, месяцев и лет. Если эта личность сохранила в старости хорошую память, то она может легко вспомнить все выдающиеся в ее прошлой жизни дни и годы. Но, и забыв некоторые из них, разве она не остается все одной и той же личностью? Так и для божественного *эго* при конце цикла воплощений. Для него каждая отдельная жизнь будет тем же, что каждый отдельный день в жизни человека».

Первоначальный метод обучения кандидатов в йоги. Процесс состоит в том, чтобы постепенно приучаться не дышать, произнося известные мантры.

Brotherhood of the Grove – известное, хотя тайное общество мистиков в Мадрасском президентстве.

Ученик высшего класса, студент «тайных наук», прошедший все искусства, кроме последнего, делающего из него *садху*.

Рудракша – семя или скорее косточка плода на дереве, которое растет только в Гималаях и Нильгири, преимущественно в Непале. Ожерелье или четки из него – самая ценная, как и самая трудно приобретаемая вещь в Индии. Туземцы взирают на *рудракшу* как на нечто священное, и одни *йоги* имеют право носить их на шее или даже прикасаться к этому семени, вследствие необычайных приписываемых ему магических свойств. *Рудракша* – двойное слово, значит: «око Рудры» (*Рудра* – одно из имен Шивы), и одни *триглазые* адепты тайной науки, те, которые выработали себе годами аскетизма «третье око» Шивы (другими словами, ясновидение и дар прорицания, символом коих служит *рудракша*), знакомы со всеми этими свойствами. Целые тома на санскритском и тамильском языках посвящены описаниям этого талисмана, инструкциям, как распознавать годные от негодных семян и т. д. Магические свойства *рудракши* зависят от возраста дерева, от почвы, от окружающего это дерево леса и даже от *личных качеств* того, кто собирает плоды. «Человеку порочному – *рудракша* принесет де не пользу, а вред». Весьма немногие деревья этой породы приносят плоды, а из приносящих более 90 % не годятся для должного употребления.

Тайный храм, куда вступают одни *посвященные*. Такие существовали прежде во всех пагодах, но теперь их мало.

Кэсса – 1 $\frac{1}{4}$ английской мили.

Мы видели у одного махараджи *салиграммы*, на коих нашли изображения нескольких аватаров, как-то: *Уграха-Карасинхи* – то есть Вишну, раздирающий под видом льва *Хиранья Казиту*, тирана ракшасов; *Кальяна Нарасинга* – Вишну, улыбающийся спасенному им *Прахладу*, и т. д. «Не может это быть природой; это дело черта», говорил один миссионер.

Посвятить себя учению хатха-йоги по мертвой букве системы Патанджали может всякий. Для этого не нужно быть ни философом, ни даже уметь читать или писать, а надо просто обладать железной волей, выносливостью индусов, их равнодушием к физическим страданиям и слепым фанатизмом, да верой в выбранного бога. Настоящие хатха-йоги пожалуй те же медиумы, с прибавлением вменяемости и произвола, которые отсутствуют в западном медиуме. Они производят свои феномены *ad libitum* [свободно (*лат.*)], заставляя явления зависеть от собственной воли и управляя джиннами, тогда как спириты сами находятся под управлением джиннов (духов), олицетворяющих эту еще не открытую силу. И хатха-йоги доходят до этого страшными самоистязаниями, которых под конец и не чувствуют как *convulsionnaires de St.-Médard*, да некоторые католические святые. Но метод раджа-йогов совсем другой. Их девиз *Mens sana in corpore sano* [В здоровом теле здоровый дух (*лат.*) – *Ред.*].

Гопала-Кришна – пастух-Кришна. Есть *салиграмы*, представляющие *Сампата*-Кришну, «расточителя богов», *Сантана*-Кришну, «дарующего детей» и т. д. для всяких нужд и специальностей. Если за тем, кто носит на себе *Гопала*-Кришну, не бегут встречаемые им коровы, то камень, говорят, *поддельный*.

Удаягири – два слова: *удая* – солнечный восход и *гири* – холмы.

Рама, как царь и герой, лицо вполне историческое, что уже доказано многими ориенталистами; он представитель Солнца, *un dieu solaire* [солнечный бог (фр.)].

Хануман – олицетворенный символ «земного человека», который, невзирая на свою животную натуру, развивает в себе духовную природу личными усилиями и, побеждая первую, выходит интеллектуальным победителем всего земного, делаясь наконец богоподобной личностью, достойной идти рука об руку с Рамой, воплощением высшего божества.

День рождения Ханумана – в апреле месяце.

Будете популярны у коров, мой полковник (фр.). – Прим. ред.

Подобные им (*ит.*). – *Прим. ред.*

Шаива – поклонник Шивы, *вайшнава* – Вишну. *Рудра* – титул обоих богов – «господин».

Смазанам – место сожжения трупов браминов.

Кобра-капилла. Многие из факиров секты *шаивы* – носят эту змею живой на голове вместо тюрбана.

Угра – свирепый.

Санта – святой. Игра слов: «из угры сделался *сантой*» значит – из *свирепого* превратился в *святого*.

Имеется в виду немецкий писатель Э.Т.А. Гофман. – *Прим. ред.*

Замечательно, что слоны, народ обидчивый и с большой амбицией, никогда не дерутся между собой, живя в городах; хотя в диком состоянии они часто уничтожают друг друга. Замечательно и то, что, оказывая все знаки обоюдного уважения, они никогда не дружатся между собой, а выбирают постоянно предметом дружбы и пламенной любви – собачек, ослов, и других небольших животных. Один такой слон, полюбив ослика, взял его под свое покровительство. Слон был свободный, «пагодский», а ослика нанимали под работу. Раз английский солдат, наняв его, сел на него верхом и стал колотить по бокам тяжелыми сапогами. Слон стоял у ворот обитаемой его другом конюшни и; увидав, что его любимца обижают, схватил хоботом британского воина и так потрепал его, что тот, освободившись, хотел было в ярости на месте застрелить слона. Его уговорили не делать этого, потому что другие слоны, тут же стоявшие, рано или поздно, *убили бы его непременно: espris de corps* [чувство общности] у слонов удивительный. Солдат послушался. Заинтересованный рассказом, он простил слону и кинул ему кусок сахарного тростника, предложив ему его в знак примирения. Слон постоял над ним, подумал и, взяв наконец лакомый кусок, прямо понес его и положил хоботом в рот обиженного осла, а сам повернулся и ушел, «словно оскорбленный человек и не глядя на меня», говорил солдат, рассказывая нам сам это событие.

Доныне употребляется весовая мера жемчуга: в Турции 4,804, в Египте 4,6, в Персии 4,5 г.

Го-Кула – племя коровы (го). Кришна был воспитан пастухом Нанда; пролог этого праздника на месте рождения Кришны празднуется весной. *Аштами* – первая четверть луны.

Мать горы (*лат.*) – *Прим. ред.*

Вся провинция Мевара и окрестности Удайпура усеяны такими зубчатыми башнями древности, и все они под покровительством Амбы и *Гури-Дурги*.

Земля – *притви*, символизируется у индусов коровой. См. *Asiat. Res.* Vol. III, p. 278.

Музыка, пожалуй и лишенная мелодии для европейского уха, но имеющая *полную семинотную* гамму; хотя монах Гвидо Аретинский считается изобретателем (в XI веке) *седьмой* ноты и действительно греки имели всего *шесть*, но эта семинотная гамма есть в *пуранах*.

Но – «девять».

«Девять страстей» или девять муз Аполлона.

Бога звука, на этот раз мистического, *окультного*.

Цимбалы, *табор* и *мурали* (род флейты) чуть но свели меня с ума; но зато я узнала в тот вечер многое. *Чхобы* Маттры имеют огромную и, говорят, заслуженную репутацию в Индии, как певцы и мимики; и басы браминов с контральто и тенорами «небесных певцов» пагоды являлись полными гармонии. Но это музыка вокальная, а инструментальная под конец невыносима для европейского слушателя.

Остаются при своем (фр.). – Прим. ред.

Cyclopes (Κυκλώπιος) – циклопы. – *Прим. ред.*

См. «Одиссея», песнь 9. – *Прим. ред.*

Канза – дядя Кришны и узурпатор его престола. Каждый год брамины чоби осаждают его дворец и *якобы* убивают его в лесу, куда он спасается.

Небесные музыканты, или певцы, как известно, при пагодах всегда сыновья научей, танцовщиц. Это им не ставится нигде, кроме Раджастхана, в укор. Но в этой стране рыцарства *науци* – настоящие весталки.

Пишется *нава* (новое) – *нига* (масло). В младенчестве Нонита был очень лаком до свежего масла и часто крал его у соседок, отсюда и название.

Джи – учтивое прилагательное, вроде «почтенного», только ставится после имени.

Бхарт – бард и генеалог, а *чарун* – летописец, но оба класса – поэты и песнопевцы.

Государство в государстве (*лат.*). – *Прим. ред.*

То есть придунайских славян, а не пришедшей с Алтая чуди.

Дхакуна – злой дух и служит путеводителем *Джигер-Кхоре* – слепой гарпии.

Питри – предки, умершие родные в восходящей линии. *Питар* – отец, *эз* или *эшвар* – господин. *Питри-ишварез* выходит – «умершие господа предки».

Сакка раджпутов то же, что (вероятно, перешедшие от них к англо-саксонцам и галлам) современные слова *sack* и *sac*, «le sac d'une ville» – ограбление города по взятии.

Ала-ад-дин – патанский император.

Рани, женский род *рана* или *раджи*. Жена *раны* удайпурского зовется *рани*; а также и жена каждого *раджи*.

«Агни-кулла», племя *агни* (огня), вымершее с Читтуром.

Историк Феришта подтверждает факт, рассказывая, что Ала-ад-дину позволено было взглянуть на рани Падмани только посредством устроенных в дурбарной зале зеркал.

Исторический факт. Ала-ад-дин доверился Бхимзе, зная, что раджпут умрет скорее, нежели изменит слову, и сделал это для того только, чтобы заманить его в засаду. Лицемерием и фанатизмом этот воинственнейший и наиболее преуспевавший в делах изо всех государей, когда-либо занимавших престол Индии, походил на последнего из Тимуров, Аурунгзеба. Титул «Секундер-Сани», «второй Александр» (Македонский), который он выдумал для себя и приказал чеканить на своих монетах, был по отзыву летописцев вполне заслужен. В Индии он являлся настоящим Атиллой, бичом всех раджей, и почти совсем истребил племя *агни* в Чатуре.

Бадуль – один из величайших героев Раджастхана средних веков. Он один убил собственноручно множество могулов.

Обращаю внимание читателя на эту чисто раджпутскую фразу или скорее клятву. Слово *ладж*, – буквально «стыд», термин, употребляемый раджпутами в смысле чести. «Ладж рекхо» – *да не будет мне стыдно*, или буквально, что выходит одно и то же, «да сохранюсь от стыда», так как у раджпутов слово *стыд* синоним *бесчестья*. Не та ли это фраза, что была в употреблении у «богатырей Владимира», произнесенная «Добрыней Никитичем», если не ошибаюсь? Не то ли самое хотел сказать Святослав своим знаменитым: «ляжем ту костью; мертвые бо сраму не имут»? А «ладж рекхо», «да сохранюсь от стыда», фраза, которую можно найти в летописях Удайпура, сказанная за три тысячи лет тому назад Сурьявансой-Балрамой. Не раджпуты же переняли ее от варяго-русов?

Обожаемого повелителя (фр.). – Прим. ред.

Хотя мы посетили этот город гораздо позднее, но, чтобы не возвращаться к нему, описываю его здесь.

Где гнездышко свила поэзия любви (фр.). – Прим. ред.

Вопрос: персияне ли переняли этот способ стеного украшения от древних индусов, или же раджпуты от иранцев?

Правил в Меваре с 1418 до 1468 года.

Один из титулов махараджей удайпурских.

Рим имел своего Ромула, Читтур – своего *второго* основателя – племянника раджи Мори, происхождение которого тоже теряется в мифах древности.

Эта клятва *кафара-йогов* и до сей поры произносится ежегодно раджами удайпурскими: «Клянусь Гуру Чирндживой и богиней Еклинггой; Такъяком, мудрым змеем, и Хари – мудрым; клянусь Бхавани (Палладой) – разить врага. Рази, рази!» Все доспехи, полученные *Банпой* от Еклинги – лук и стрелы, копьё, щит и меч, – хранятся в сокровищнице раджи удайпурского. На них дают обет «монахи-воины».

См. летописи барда *Чанды*. Книга последняя, 2 стр.

Бира или *пан*, пахучий лист, бетеля, с разными пряностями, который подается у индусов при прощании и съедается вместе.

Большие барабаны в 8 или 10 футов в диаметре.

Считая жертвы свои, Акбар оценил свой успех снятыми с трупов золотыми *цинарами* (ожерельями), знаками царственного рода и дворянства, и все вместе весили $74 \frac{1}{2}$ *мана* (ман – 4 фунта). С тех пор *сумма* $74 \frac{1}{2}$ зовется *тилак* «проклятой». Поставленное на письме раджпута или деловом документе, это число означает ненарушимую клятву, ибо оно есть синоним клятвы «грехов сакка Читтура». Нарушителя ее выгоняют из племени и города, в котором он живет, предадут общему проклятию, часто убивают (См. *Rajpoot Tribes*).

Рани зовется только раджа удайпурский теперь. Между *рани* и раджей такая же разница, как между императором и королем».

«Имена» сияющие ярче всех других на этой темной странице истории Читтура, священные для барда, как и для всякого истого раджпута.

«Обручение» в Индии равняется узам брака, и его нельзя расторгнуть. Невеста по закону уже жена.

Вот, что пишет Бернье (Bernier) из Дели, 1 июля 1663 года (издание 1684 года, в переводе на английский язык) в Лондон: «Я не нахожу ничего замечательного в этом парадном входе (дворца) кроме двух каменных слонов по обеим сторонам ворот. На одном статуя Джамеля (Джеймуля), знаменитого раджи Читтурского, а на другом *Поттера* (Путта), его (двоюродного) брата. Это те два известные здесь храбреца, которые вместе с их матерью, *женщиной еще храбрее их*, задали столько работы Акбару, и которые... предпочли смерть вместе с матерью сдаче города; и за этот поступок даже их враги сочли их достойными посмертных статуй. Эти два большие слона, с сидящими на них храбрыми воинами, производят с первого взгляда на них при входе в этот укрепленный дворец впечатление какого-то величия и тяжелого ужаса».

На этом письма Е. П. Блаватской обрываются и продолжение их не найдено.